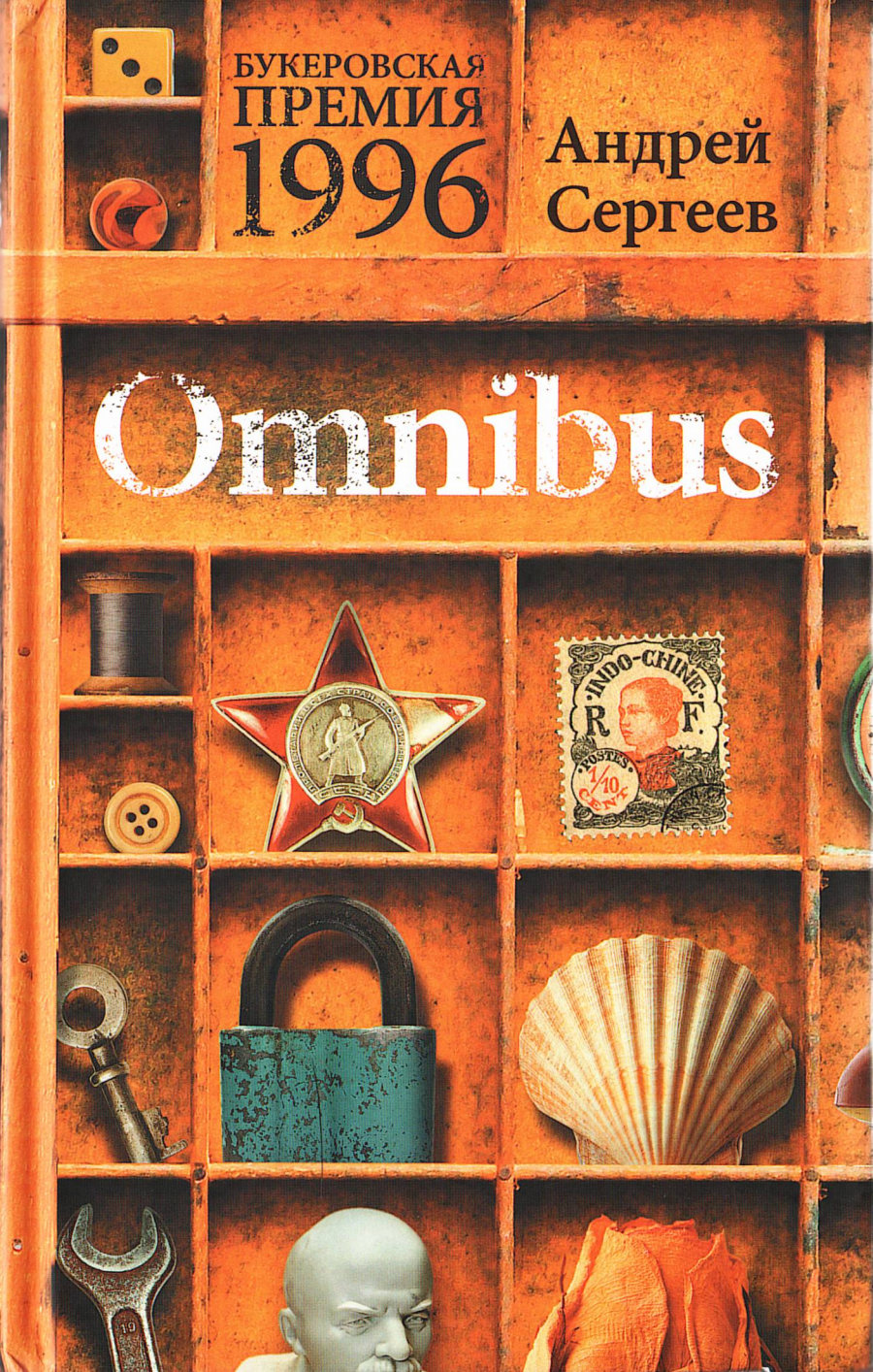
БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 1996

Андрей Сергеев

Omnibus



Omnibus

•●•

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

Omnibus

Роман, рассказы,
воспоминания,
стихи

Новое
Литературное
Обозрение

МОСКВА 2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
С31

Сергеев, А.
С31 Omnibus: Роман, рассказы, воспоминания, стихи / Андрей Яковлевич Сергеев. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 608 с.

ISBN 978-5-4448-0100-0

Эта книга — почти полное собрание сочинений замечательного прозаика, поэта и переводчика Андрея Сергеева (1933—1997), в 1996 году получившего Букеровскую премию за мемуарный роман «Альбом для марок». Кроме этого романа в книгу вошли рассказы и «рассказики» о выдуманных и невыдуманных людях (Б. Слуцкий, Е. Винокуров, М. Зенкевич и др.), воспоминания об И. Бродском, с которым автор был многие годы дружен, а также стихи. Широта эрудиции, острота и точность взгляда, стилевое мастерство, юмор и ирония, лиризм и гротеск — все это делает прозу и поэзию А. Сергеева ярким явлением в современной отечественной литературе.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© Наследники, 2013
© Д. Беляков, фото, 2013
© Оформление, ООО «Новое литературное обозрение», 2013

АЛЬБОМ ДЛЯ МАРОК

ТОМ ПЕРВЫЙ

ЕВРОПА

ДО ВОЙНЫ

Я лежу на мамином топчане и сквозь струганую перегородку вижу, как в моей комнате обсыпанные мукой белые люди кухонными ножами режут тугие рулоны теста. У меня воспалилась железка на шее. Из Малаховки приезжает на велосипеде статный хирург, которого я зову Гастрономом. Он входит ко мне с шоколадками и в один прекрасный день днем под зажженной лампочкой на столе в столовой — мама и бабушка держат меня — делает операцию.

— Сделал, как барышне. Шов такой, что никто не заметит.

Соска давно не нужна, но расставаться жалко. Папа сводит меня по насыпи, кладет соску на рельс и показывает рукой:

— Сейчас пойдет электричка.

Я гляжу в сторону Малаховки. Электричка быстро проходит. Мы снова у рельса, на нем пусто. Мне легко, что всё позади, и уже не жалко; и жутко, что так пусто.

Все надо мыть; мы моем тоненькую морковочку с грядки в помойной бочке. Вадику ничего. Мне от дизентерии доктор Николаевский прописывает белую, как простокваша, тухло-солено-сладкую микстуру. Живот болит много лет.

Анна Александровна, монашка от Тихоновых, приносит известие:

— Дети-цветы жизни выкинули доктора Николаевского из электрички. На полном ходу.

ДЕТИ — ЦВЕТЫ ЖИЗНИ написано на моей любимой маленькой вилочке. На больших — З-Д ТРУД ВАЧА. Железные ножи-вилки долго пахнут. На террасе за обедом мама/бабушка под руку предупреждают:

— Селедочный нож!

Хорошие — ложки, особенно, чайные ложечки. Они серебряные, на них клеймо с Георгием Победоносцем и фамилия САЗИКОВЪ. Такой фамилии ни у кого нет.

У Авдотьи гостил мальчишка Маркслен Ангелов. Потому что его отец — болгарский революционер. Юрка Тихонов сразу не понял, переспросил:

— Марк-Твен Ангелов?

У папы на работе есть знакомый Вагап Басырович.

Меня папа хотел назвать Виктором; мама назвала в честь Андрея Болконского. В роддоме соседка презрела:

— Что такое деревенское имя дали?

Сама родила. Назвала своего Вилорий. Мама съязвила:

— Что ж вы такое церковное имя дали?

Соседка возмущена: Вилорий — Владимир Ильич Ленин Отец Революций.

У мамы душа в пятки.

Мама и бабушка всегда боятся:

— Не бери в руки — зараза!

— Не трогай кошку — вдруг она бешеная!

— Там собака — смотри, чтоб не тяпнула!

— Вон идет человек — смотри, чтоб он тебя не стукнул.

Я всматриваюсь, напрягаюсь, мокну подмышками, устаю — и спешу приткнуться к маме, бабушке, к утешительному занятию — чтобы один и в покое.

Спокойно и интересно листать разноцветные детские книжки:

Анна Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят
Бегемот провалился в болото
Девочка чумазая,
Где ты ноги так измазала?
На Арбате в магазине
Зубы начали болеть
И немытый, и небритый
Человек сказал Днепру
Не завидуйте другому,
Даже если он в очках

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной
Мой знакомый крокодил
Может, снова можно драться
Значит, деду нужен бром

Уютно перерисовывать в юбилейные пушкинские тетрадки маленького Пушкина и маршала Ворошилова. Он лучше всех вождей, лучше него только Сталин, самый приятный, добрый, успокоительный — неотъемлемая часть моего детства.

— СПАСИБО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО — я представлял себе: низкое солнце, зима, просто стоят четырехэтажные с большими окнами — как новые школы — дома́, по широкому тротуару спокойно, не торопясь идут люди, дети тащат на веревке салазки. Все это чуть-чуть под гору.

Читать-писать меня никто не учил, все сам. В тридцать восьмом красным карандашом на первой странице нового к р а т к о г о к у р с а с нажимом вывел нестираемое ГОВНО. Папа не сразу заметил, чуть не взял на политзанятия. Пришлось нести бабушке в печку. Мне не попало, больше того, бабушка ласково:

— Домашний вредитель.

Ребята рассказывают, что в соседнем доме поймали шпиона. Он по ночам в ванной зашивал себе выше локтя под кожу военные тайны.

Взрослые говорят, что на обложках моих пушкинских тетрадок в *Вещем Олеге* и *Лукоморье* — контрреволюционное. Если в численнике перевернуть Калинина вверх ногами, получится Радек. Радек сочиняет все анекдоты, его не расстреляли — а то кто будет писать передовые статьи?

В синей красивой истории для пятого класса я нахожу на пуговице у Ленина-гимназиста четкий фашистский знак.

Барто подталкивает:

— Наш сосед Иван Петрович
Видит все всегда не так.

Общественница из красного уголка объясняет:

— Гофмана арестовали за то, что у него нашли фотографию Троцкого.

Гофман — партизан-дальневосточник — держал за заборчиком пару немецких овчарок. Наши мамы его ненавидели: всегда лез без очереди, размахивал красной книжечкой.

Красная книжечка — взрослые произносят медленно, осторожно. Но наш дом во все горло зовут Большим домом — он самый большой в переулке — пять этажей с полуподвалом. Вокруг осевшие флигели, а наш красивый поставили в четырнадцатом году прямо на речке Капле. Когда по Капельскому идет трамвай, стекла в рамах подрагивают.

На углу Первой Мещанской была церковка Троицы-Капельки. Построил кабатчик: с согласия не доливал всем по капельке. На месте церковки пустота и лужи с ярко-красными сколами кирпичей, как у бабушки во дворе, — а вокруг пустоты серый высокий дом со 110 почтовым отделением. Со стороны Первой Мещанской — колоннада, папа ведет меня на возвышении между ребристыми колоннами. Папа восхищается новой современной Первой Мещанской, только окна в домах низкие. И еще — посередине улицы *деревья чу́дные были* — все срубили.

В переулке зимой человек без пальто, опухший, в очках просит у мамы двадцать копеек. Она достает рубль:

— Несчастный.

Когда мы с ней в городе, она покупает мне разрезанную круглую булку с горячей микояновской котлетой, а сама ждет.

Микояновская, по-моему, вкуснее домашней, но сказать нельзя — обидишь. И жевать на виду в булочной — как будто кто подгоняет.

Старые дамы спрашивают через прилавок:

— Франзольки у вас свежие?

На стенах домов рекламы:

Я ЕМ ПОВИДЛО И ДЖЕМ
ВСЕМ ПОПРОБОВАТЬ ПОРА БЫ,
КАК ВКУСНЫ И НЕЖНЫ КРАБЫ!

Вечером на брандмауэре — кино: три поросенка поют с умильным акцентом:

— Кущай больще ветчины!

В дни получки папа приносит домой двести граммов любительской колбасы, нарезанные в магазине тоненькими лепестками.

Мама отдает книгоноше Брокгауза-Ефрона, он занимал доверху все полки сбоку на мраморном подоконнике. Придя с работы, папа хватается за голову: осталась одна Малая советская, и та неполная.

Папа не вырезает из энциклопедии статьи и не заклеивает портреты.

Летом в Удельной полоумная жилица Варвара Михайловна показывала маме книжки с Тимирязевым и Сталиным:

— Посмотрите, какое благородное лицо. А этот — совсем без лба!

Папа рассказывает о делах в Тимирязевке: сослуживец доцент Дыман появляется по воскресеньям в церкви: высматривает знакомых. Поручили: партийный.

— Противный, — говорит в рифму мама.

Дыманá наведываются к нам по нескольку раз в зиму.

Большая Екатерининская. Мы сидим на скамеечке перед печкой. Чуть растопится, дверцу скорей закрывать: перевод дровам. Смотреть на огонь увлекательно, но нельзя. Сегодня — можно.

Бабушка перебирает бархатный с золотыми застежками семейный альбом и отстригает головы от солдатских мундиров с погонами:

— Были бы лица целы!

Иногда говорит в стену:

— Садист! — или в окно: — Сифилитик!

Я слышал, маме она вполголоса признавалась:

— В уборной попадется портрет в газете — я помну́, помну́, а все-таки переворачиваю, все-таки человеческое лицо...

Бабушка так неотъемлема, что я, унижая сверстника во дворе, как-то вознесся:

— Тебя одна мама родила, а меня — мама и бабушка!

Мне не внушают, что́ можно, чего нельзя, но я только раз безумно соврал во дворе же, что мой папа — царский генерал. Опять не попало.

В другой раз похвастался — даже понравился. Кая́нна — Клара Ивановна — наклонялась:

— Ну, Андруша, ну скажи еще раз, как сказал?

— У меня папа военный, мама военная и бабушка — военная старушка.

Формы и знаки различия завораживают — кубики, шпалы, четыре ромба со звездой, красные обшлага, нашивки на рукаве. Роскошней всего — казачьи лампасы, пронзительней — будённовские усы.

Остроконечность буденовки это военная хитрость: из окопа покажется острый кончик — его-то враг и прострелит.

В разноцветной книжке Буденный приезжает в детский сад и дает потрогать саблю и усы. Называется книжка *Будённыши*.

Меня привели в новую парикмахерскую ЦДКА. Я не свожу глаз с мужеподобной женщины в лётной форме. Раскова? Гризодубова? Осипенко? Маме ничего не стоит спросить. Вера Ломако. Тоже готовилась лететь Москва—Дальний Восток.

Имена моего детства:

Самолет *Максим Горький* — ледокол *Челюскин*

Отто Юльевич Шмидт — капитан Воронин

Мо́локов — Ка́манин — Ляпидевский — Леваневский и пр.

Чкалов — Байдуков — Беляков

Громов — Юмашев — Данилин

Раскова — Гризодубова — Осипенко

Папанин — Кренкель — Ширшов — Федоров
Бадигин — Трофимов

Самый главный — Чкалов. Моложе меня уже много Валериков. И вдруг мамы рассказывают друг другу и плачут. Чкалов, говорят, врезался в свалку. Я представляю себе черный ход, дворницкую, деревянный ларь для очисток — и из него торчит маленький самолетик.

Может быть, на него из дворницкой глазеют татары.

Татары-старьевщики кричат под окнами:

— Старьем-берем! Шурум-бурум!

Их заводят на кухню с черного хода. Ихними мешками няньки пугают маленьких.

Нянек сколько угодно. У меня когда-то была Матённа, Мария Антоновна Венедиктова, бабушкина приятельница, водила меня по церквам, могла тайно крестить. Мама/бабушка меня не крестили с о з н а т е л ь н о: вырасту, захочу — дескать, сам крещусь.

В улочках потише, по тротуарам, по пять-шесть мальчиков-девочек в ряд, тянутся г р у п п ы. Старушка-руководительница разговаривает на иностранном языке.

— Я своего отдала в немецкую группу.

— Мой ходит во французскую.

— И зачем вы своего в английскую?

Я не ходил ни в какую группу. В детский сад за забором тоже.

В Удельной по переулку с деревянным ящиком на плече проходят стекольщики:

— Стюкл' вставлять! Стюкл' вставлять! —

или х а л т у р щ и к и:

— Чиним-паяем, ведра починяем!

Раз в лето объявляется Иван Иванович, отходник из Вя́лок. Лопатой на длинной ручке он вычерпывает говно из-под дома и отвозит в железной тележке к яме у ворот.

И в Удельной, и в Москве забредают тощие одноногие шарманщики: *тюрлюрлю́*. Одноногие они из-за своих одноногих шарманок.

Во дворах торгуют китайскими орешками. Они невкусные, отдают землей и касторкой, но если облупить и расколоть ядро — на одной половинке вверху — маленькая голова китайца с бородкой.

Бабы разносят малиновых петушков на палочке — ужас мам:

— Сплошная зараза.

В день демонстрации их много на Первой Мещанской.

Первую Мещанскую пробовали назвать Первой Гражданской, потом вернули Первую Мещанскую.

По Первой Мещанской идут люди. Высоких мало. Так мало, что не ленятся произнести длинное прозвище *Дядя-достань-воробушка*.

В простые дни на Первой Мещанской — телеги, сани, фургоны, лошади. Лошадей — как машин. Лошади — неинтересно, машины — разные. Обыкновенные — серые, тощие. Редко-редко по середине промчится солидная черная, лакированная, выпискивающая дискантом что-то вроде:

— Овидий!

На углу Третьей Мещанской у кооператива, у Соколова, — с лотком моссельпромщица. Ириски, тянучки, ракушки с белой или розовой начинкой, шоколадные бомбы — внутри пустые. Говорят, раньше в них были какие-нибудь замечательные маленькие вещицы. Все это дорого.

Заманчивее всего — потому что запретно — самодельные игрушки разносчиков:

Бумажный мячик с опилками на резиночке — хлопнуть по лбу соседа.

Соловей — ярко-красная деревянная втулочка со свинцовым сердечком. Нажимая, вращаешь — изводит скрипучими трелями.

Шмель — глиняный цилиндрик на веревочке и на прутике. Раскрутишь — гудит.

Уйди-уйди — напальчник на трубочке с перемычкой. Надуешь — воет, еще один ужас мам:

— Изо рта в рот, опять сплошная зараза.

Баббитовый пугач с пружиною на винте. Громко стреляет пороховыми пробками, самый большой ужас мам:

— Руку оторвет!

Чтобы победить разносчиков, на Первой Мещанской в маленьком игрушечном магазине мне покупают коробку — как спичечная, но большая — десять солдатиков и командир, раскрашенные, переложены ватой.

Солдатики прибавляются по одному—по два. На Большой Екатерининской показываю дедушке:

— Пехотинец, конник, знаменосец, трубач, пулеметчик.

Дед на бегущего в противогазе в атаку:

— Аташник.

На Капельском, пока мама готовит на кухне, я играю в солдатики на дубовом паркетном полу. Стол один — папин письменный/наш обеденный. По радио передают беседу на тему *Существовал ли Гефсиманский сад?*

Каждое утро в десять часов я слушаю детскую передачу:

Жили в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре
Веселых чижа
Жили в квартире
Злые черные клопы.
Их морили голодом,
Их студили холодом,
Поливали кипятком,
Посыпали порошком

— и сказки, рассказы — всегда заслушаюсь, если только не:

Текст читал Николай Литвинов, — он говорит, как подлизывается, голос в к р а д ч и в ы й, словно все врет.

За детской — передача для домохозяек: жены-общественницы, премированные велосипедом, девушки-хетагуровки. Песня: *Уезжают девушки на Дальний Восток.* Песня про героя-стрелочника:

Пусть жизнь он отдаст,
Но только не даст
Врагу разрушить путь.

Мама выключает тарелку, только когда укладывает меня спать или когда про Павлика Морозова.

В восемь часов папа слушает сводку.

Иногда радиостанция имени Коминтерна транслирует из Мадрида *Но пасара́н*. Все передачи хриплые, самые хриплые — из Мадрида и записанное на пленку.

Папа катает меня на метро. Дух захватывает, когда поезд идет над Москва-рекой и в окно видно Кремль с рубановыми звездами. Известно, что самая красивая станция — Киевская.

На ноябрьские дни папа возил меня смотреть иллюминацию и показывал на вокзале новые паровозы ИС и ФД — в лентах, как кони из книжки.

Я голосую, как большие. Папа поднимает меня, и я опускаю в урну — за Булганина.

Во дворе я — как все, хочу быть, как все. Боюсь Аркашку из флигеля, заношусь над Рахитом — Рафиком из дворницкой. Катаюсь на санках, стоя скатиться с горы — слабо́. От неловкости избегаю скакать по асфальту в классы. Играю в войну, в прятки, раз играл в дочки-матери.

Только заиграешься, мама руку за шиворот:

— Как мыш, мокрый.

И без нее не легко — постоянное чувство досады (не такой быстрый и ловкий), обиды (хотя никто меня не обидел). Я напрягаюсь, с ничего устаю, до беспамятства выхожу из себя. Девочка с четвертого этажа заспорила — я ее по голове ребром железной лопатки, в кровь. Мама бегала извиняться, стыдила меня. У меня был не стыд, а ужас: что я натворил, что теперь будет?

(Верить-не верить поздним маминым воспоминаниям:

— Ты все хотел дворником стать. Говорил: встану рано, лопату возьму — пойдут люди, а я им под ноги снег — швырк! швырк!)

С бидоном на кухню приходит тощая голодная молочница Нюша. Из полного бидона выливает кружку, потом вливает назад. Неполный — покачивает, бултыхая. Я выношу ей гадость — соленый огурец с вареньем.

Екатерина Дмитриевна видит и говорит, что у них на Украи́не огурцы едят с медом. Мама ничего не говорит. Папа без радости мной восхищается:

— Просто прелесть, какая гадость!

А я слышал, как Нюша шепотом маме, что к ней приезжали ее сыновья-летчики и что она их б о и т с я.

Бабушка любит лечить, мама все время лечится.

Слова моего детства: банки, горчичники, синий свет, кальцекс, аспирин, акрихин, стрептоцид, дигиталис, адонилен, сальсолин, диуретин, люминаль, папаверин, фитин, йоридонт, пурген.

Я люблю бывать в аптеке. Вокруг все неряшливо, грязновато. А в аптеке — белизна, порядок, форма — почти что красиво.

У меня постоянно болят зубы. Мама водит меня в Москве на Первую Мещанскую к Барской, в Удельной на Северную к Саланчевской. Обе пожилые, невысокие, одинаковые, обе накачивают ногой бормашину. Мама объясняет:

— Сейчас тебе в рот влетит китайская пчела. Она не кусается.

Скарлатина. Районный врач приговаривает: в больницу, — и уходит. Мама в ужасе: кто знает, что они там в больнице с ним сделают? Бабушка — сама служит в больнице — распоряжается:

— Приедут — скажешь, уже увезли.

В высоком черном такси меня перевозят на Большую Екатерининскую.

Как-то один-единственный раз меня посетил свой, д о м а ш н и й, доктор. Заставил поприседать, послушал, как трещат коленки:

— Гнилушка ты, гнилушка, прямо тебя на помойку.

В Удельной я не такая гнилушка — там спокойнее, больше один.

Под вечер спадает жара, находит стих бегать. Несусь от колодца к воротам, обратно шагаю, загораживаясь рукой: слепит солнце.

Часто со мной гуляет папа. В Москве он приходит поздно.

Папа не боится, что кошка вдруг бешеная, что собака тяпнет, что человек может стукнуть. Проходит рядом с лошадью и коровой и не боится, что лошадь брыкнет, а корова на рог подцепит.

Папины анекдоты:

— Старушка молится в церкви. Вдруг замечает что-то белое, круглое. А поднять неудобно. Старушка встала на колени, не глядит, рукой потянулась: — Тьфу ты, прости меня, Господи, думала двугривенный, а это плевок.

— Барышню приглашают танцовать, а она все отказывается. Кавалер спрашивает: — Отчего вы не танцуете? — КОгда я тОнцую, тОгда я пОтею, а кОгда я пОтею, тОгда я вОняю.

Я требую чего-нибудь интересного. Папа рассказывает про папу римского. Я не унимаюсь:

— Папа в Риме, а где мама?

— Мама? В Париже. Папа римский и мама парижская.

Я заказываю про шпионов. Папа про них ничего не знает. Рассказывает про Соньку-Золотую-Ручку и Нат-Пинкертона. За речкой, в Чудакове, показывает облупившийся барский дом:

— У меня был маленький револьвер-бульдог. Я ждал обыска и положил его на балку между бревнами и обшивкой, он и свалился — со второго этажа. До сих пор, должно быть, лежит.

Я поднимаю с земли железное грубо-тонкое повторение ломика.

— Фомка, — узнает папа и объясняет, что́ это, для кого и зачем.

— Удельная — земли Удельного ведомства. Красково — красть кого. Малаховка — малая аховка, там было спокойнее. Однажды в студеную зимнюю пору разбойники напали на сани, а кучер наставил на них копченую колбасу, закричал: Убью! — они и разбежались. Бывает, бывает, колбаса стреляет. В мирное время в Удельной от станции до Чудакова конка ходила. Богатые дачи были.

Старуху Клепикову бандиты убили зимой, она одна оставалась. Она им не открыла, они подожгли.

Мама просыпается под утро: скрипнула рама, кто-то хотел влезть. Спящим жулики прижимают к лицу тряпки с хлороформом.

Бабушка привезла на всякий случай свисток: на соседней даче услышат и прибегут.

Идти со станции поздно — опасно. Чаще всего раздевают в ольшанике перед Новой Малаховкой, за новым мостиком, где два китайца утонули.

Два китайца утонули — из наших с папой прогулок. Они учились в КУТВе и пьяные пошли вброд.

Суховольский, папин знакомый — он старше папы, — тоже помнит китайцев, посмеивается: в самом мелком месте. Он в косоворотке, подпоясан кавказским шнурком, в галифе и тапочках. Приглашает к себе в Быково:

— У меня фисгармония! Я вам Бортнянского сыграю! Это такая музыка — стены плачут!

От Суховольского:

— Лакримоза!

Милиционер — один и на станции.

Иногда по Интернациональной важно проходит — грудь, как бочка, — невысокий в новой диагоналевой форме. Мамы глядят ему в спину:

— НКВД.

Вспоминают:

— У Козьей бабушки жил Вацетис. Каждое утро делал гимнастику и обливался холодной водой.

Володька, младший брат нашего дачника Саши, забирает у мамы *Дни* Шульгина:

— Вас еще за нее посадят.

— Возьмите, — говорит мама, а когда он уходит: — Поганец!

В выходной в компании дачников Володька рассказывает, что слово *керосин* произошло от фирмы *Керо и сын* — она первая им торговала. Все великие люди —

евреи: Колумб, Кромвель, Наполеон, Карл Маркс. Гитлер тоже еврей.

После обеда летники и дачники собираются на верандах вокруг патефона. Годами готовятся, откладывают, обговаривают — и покупают театральный бинокль, термос, патефон.

Пластинки, в общем, у всех одинаковые.

Из сознательности — *Все выше*, *Марш-велотур*, *Марш водолазов*, *Машину ведет комсомолец-пилот*.

Из образованности — Шаляпин.

По пристрастию — у кого Лемешев, у кого Козловский. Лемешисты воюют с Козловским отчаянно и безнадежно.

Для души — Козин или цыганское.

Для компании — Утесов и заграничные танго, фокстроты, румбы. Пластинки — не заграничные, все до единой — Ногинский или Апрелевский завод.

В компании танцуют. Папа не танцует. Мама умеет вальс. Мне сказали, что варламовская *Свит-Су* — китайская музыка, и я танцую в углу террасы фокустрот по-китайски, с поднятыми указательными пальцами.

Патефонная музыка не та, что по радио. Там оперы, хор Пятницкого, хор Александрова, песни советских композиторов, фантазии на темы песен советских композиторов, песни о Сталине.

Радиомузыка увлекает куда меньше, чем патефонная.

И все же за долгие годы включенной трансляции я уловил, полюбил, запомнил такое, чего недоставало в самой жизни, — яркое, экзотическое:

Секстет Глинки
Тореадор, смелее в бой
Тореадор и андалузка
Кукарача
Тиритомба
Мадрид, ай-ай-а

Я все время напеваю: говорят, у меня слух. Бабушка, мама, папа хотят учить меня музыке.

Это значит, на пианино. В музыкальной школе на пианино не принимают, там евреи на скрипке учатся: в случае чего скрипку под мышку и побежал.

Сумасшедшая тетка Вера на своей прямострунке ФОЙГТ никогда не играла. Прямострунку отвергли, скорее всего, из щепетильности. В начале тридцать девятого бабушка отыскала, папа купил хороший недорогой ОФФЕНБАХЕР. Недорогой: пять тысяч! Понятно, откуда такие деньги — папа только получил за книжку. Непонятно, как высокий, большой инструмент влез в наши тринадцать метров.

Я тычу пальцами в клавиши. Думаю, каждая клавиша — буква; если знать слова, по клавишам можно набрать любую песню.

Бабушкин знакомый учитель музыки, чех Александр Александрович Шварц уже очень старый. Незнакомая учительница принесла Гедике, заставила постучать карандашом по деке, подложила под меня тома Малой советской и убила насчет клавиш-букв. Я, рассерженный, ей в спину:

— До свиданья, Маланья!

Попало.

В трамвае мама разговорилась с серьезненькой девочкой лет восьми: папка с лирой.

— Я учусь у Любовь Николавны Басовой, лучше ее никого нет.

На Пушкинской площади в доме Горчакова у Любови Николаевны Ба́совой занимаются одаренные дети:

— После этого сфорцандо Мильчик интуитивно взял педаль...

Я не одаренный. За пианино кнутом не загонишь, калачом не заманишь. Хожу с невыученными уроками — как раздетый. Маюсь.

На патефоне или по радио слушать было полегче. Даже последние известия интересней, чем зубрежка на пианино. Я раскрываю газету. Дедушка читает *Известию*, я — *Правду*, как папа. Уже знаю, что и про что пишут. Привыкаю. И вдруг — на переднем месте насуп-

ленный Гитлер, поодаль наш Молотов. Во дворе из красного уголка выходит общественница:

— Теперь нельзя ругаться фашистом.

Наступает пора изумления.

Папин сослуживец, молодой дядя Володя, — чуть ли не единственный, кого с радостью приглашают на Капельский, — рассказывает, что в Западной Белоруссии и Литве не радовались Красной Армии:

— Стояли и плакали.

Он привез мне 30 копеек/2 злотых 1835 года и 20 сентов со скачущим рыцарем.

Эстонские кроны с ладьей — как золотые.

В магазинах полно латвийских конфет — *шоколади фабрику Лайма*. Клара Ивановна переводит. С отвычки сначала читает *Лайма* как *Сайма*, хозяйство.

— Лайма, ну, это счастье.

Конфеты в сто раз вкуснее, чем *Красный Октябрь*, а таких красивых фантиков у нас просто не бывает. А какие коробки с папиросами!

Взрослые говорят:

— Откуда у них табак? Торфом, наверное, набивают...

В последний день финской войны, после перемирия, под Выборгом убили папина брата Федора.

Вернувшиеся изумляются злобности финнов:

— Кукушка сидит на дереве, стреляет до последнего патрона.

— Медсестра наклонилась над раненым финном, а он в нее нож!

По радио, в газетах никогда: финская армия, финские солдаты. Только: банды, бандиты, в лучшем случае: шюцкоровцы, лахтари.

Первый *Огонек* за сороковой год: Красная армия по просьбе рабоче-крестьянского правительства Финляндии помогает трудовому народу прогнать помещиков и капиталистов.

Из Риги вернулся дачник Саша — изумляется злобности латышей:

— Они же нас ненавидят! Бреюсь у парикмахера и боюсь, что он перережет мне горло.

Саша вывез из Латвии много особенного: полосатые трусики с костяной пряжкой для Леньки, яркие платья и кофточки для своей Дуси и Володькиной Надьки, чайник со свистком, никелированную немецкую зажигалку с пастушком, точилку для карандашей в виде хорошенького автомобильчика.

Автомобильчик вскоре переезжает в мои зáвидные вещи. В латунной — внутри шелк — коробке от духов *Билитис* (Ралле, Моску), — расписная жестяночка с китаянками из-под царского чая, стальной американский футлярчик для десятка лезвий *Жиллéт*, перламутровый кошелечек, полированная мраморная пластиночка, раздвижной серебряный перстенек с рубином, любимый бабушкин брелок с зеленой лягушкой и незабудкой, кавказский кувшинчик с узорной эмалью — тоже брелок, медный жетон в пользу беженцев, образок святой преподобной Ксении без ушка.

Дедушкины подарки — старинная копейка-чешуйка, петровская гривня, елизаветинский пятачок с орлом в облаках, пробитые екатерининские гривенники.

Все это редкостное — ни у кого нет. Я хочу, хочу того, чего нет ни у кого. Это красивое — красивое встречается так редко...

Вéрхом французского придворного изящества кажется мне головка в окне парикмахерской: черты тонкие, легкие, таких черт на улице, у гражданок, не бывает.

Красивые — ярко-алые кровавые плевки на снегу. Красивый — голубой лев и единорог на унитазе. Красивые ордена и значки. Красивые цари в книге и на марках. Последний царь — Николай Третий.

Марки у меня в большой — с гроссбух — нелинованной грубой зеленой тетради. Мама их налепила по порядку: на первом листе Англия с Викториями и Георгами, на втором — Франция со Свободами, потом Италия, Германия с Лессингами и Лейбницами и дальше, с Запада на Восток.

Сначала мама приклеивала марки за уголок синдетиконом, они быстро промокали, уголок темнел. Посмотрела, как у Юрки Тихонова и стала сажать марки на н о ж к а х. Удивительно, если всмотреться в самые некрасивые марки, всегда увидишь, что на самом деле они все равно красивые.

Сын дачника Саши Ленька не любит красивое, он даже не знает, красивое это или некрасивое. И вообще он здорово не такой, как я.

Каждое лето с папиной помощью я горожу в углу участка из старых досок дом с дверью на ремешках и со щеколдой. На крыше — обрывки толя, перед окошком — самодельный стол.

Как-то мама и Сашина Дуся усадили нас с Ленькой туда — обедать. Он так чавкал и перемазался, что я от омерзения стукнул его и убежал. Он оскорбил мои чувства.

Назавтра я накормил его заячной капустой и козьими орешками. Я делал вид, что ем сам, он жадничал и вырывал изо рта. Когда у него заболел живот, он сказал. Саша тронуть меня не отважился, но маме посетовал:

— Вы такой чудный человек, Евгения Ивановна, и откуда у вас сын-садист?

Совесть меня не мучила, наоборот:

Ленька-Шпонька говночист
Едет на тележке,
А из жопы у него
Сыпятся орешки!

Ленькиного дедушку зовут Леон Абрамович, бабушку Мария Ефимовна. Мама сомневается:

— Какая Мария! Матля, наверно.

Матля нараспев читает Леньке:

Сьома долго не́ бил дома,
Отдыхал в А́ртеке Сьома...

Про Артек она не дослышала, про Арктику передают все время. Она ощипывает петуха и с тоскливой замедленностью выводит:

Он щёол наа Одеессу, он виищел в Херсоону,
В зесааду пепаался отраад.

Нелеево зестаава, мехноовци непрааво,
И дьеесять остаалось гренаат...

До этого у нас жили Юра и Боря, чуть постарше меня. Боря сердечно мне нравился, и я назвал его услышанным от бабушки/мамы словом сердечник. Под его влиянием — не бывало ни до, ни после — я увлекся природой. Целыми днями мы пропадали в Со́сенках — особом месте в конце участка над речкой, где ничего не вскопано, ничего не посажено, и растет только трава, сосны и сосенки. Мы поедали щавель, кочетки и дикую горчицу. В Сосенках или возле купальни ловили траурниц, махаонов, огромных стрекоз и тоненьких коралловых и бирюзовых стрекозок, били коричневых и брали в руки зеленых лягушек.

Лягушки прыгали в воду. Над водой стоял разбирающийся — сустав в сустав — хвощ. Под водой волшебно росли водоросли и мелькали мальки. На воде тяжело лежали кувшинки. По воде на собственных круглых следах, как на коньках, бегали водомерки. Из воды торчали коряги. В голову не приходило, что все это тоже красивое.

Нет выше блаженства, чем босиком, проваливаясь по щиколотку, ходить по теплому покачивающемуся болоту и глазеть во все стороны. Детский рай — возле речки.

Купались не с берега, а из купальни. Ее каждое лето строили папа и дядя Иван. Мне разрешалось при взрослых спуститься спиной вперед по лесенке и окунуться. Вода была перегретая и не освежала.

Купальню разбирали после августовского *олень в воду нассал*.

Мамин двоюродный брат, дядя Игорь, курсант, прогнулся на лесенке, показал десну и выпустил из-под воды пузыри.

Он загадал загадку: как пишется шЕколад или шИколад, щЕкатурка или щИкатурка? Отвечать я засовестился.

От Игоря я перенял песни рязанского артиллерийского училища:

Для защиты свободы и мира
Есть гранаты, готова шрапнель...

Через поля и реки
Шел боевой отряд.
Здравствуй, родной навеки
Наш белорусский брат.
Шляхта в бою разбита...

Боря был праздником — один раз. Каждое лето моим лучшим другом и утешением был тихоновский дачник заика Вадик, о т с т а л ы й. Мы сикали с ним через забор, забирались на высокие яблони и распевали:

На рыбалке у реки
Потерял старик портки
Тореадор объелся помидор
Самолет летит
Мотор работает
Комсомолец сидит
Картошку лопает.

Удобно дразнить:

А в нем Ленька сидит
Картошку лопает.

Все любимое у нас — неприличное. Песня:

Цыпленок жареный, цыпленок пареный
Пошел по улице гулять.
Его поймали, арестовали,
Велели паспорт показать.
А он заплакал, в штаны накакал
И стал бумажечку искать.
Бумаги нету — давай газету,
И стал он жопу вытирать.

Зимой мы с мамой и папой ездили на Усачевку к Варваре Михайловне. У нее был толстый альбом неприличных немецких открыток, по три на каждой странице:

два мальчика сидят на горшках
мальчик и девочка сидят на горшках
кавалер и барышня сидят на горшках спиной друг к другу
кавалер и барышня сидят на горшках лицом друг к другу
кавалер и барышня на горшках в одном белье
кавалер и барышня на горшках в пальто

усатый господин и дама на горшках
дедушка и бабушка на горшках.

Папа сказал, что эти открытки — порнографические.

С Вадиком мы уединяемся в сарае, стягиваем трусы и показываем друг другу зады. Это называется епаться. Вадик говорит, что у них в Сокольниках мальчишки епаются с девчонками.

Все называют по-разному:
мама и папа — пи́сать
бабушка — пысать
Вадик — сикать
Боря и Юра — по-маленькому
Андрюша Звавич — пипи́
дядя Игорь — побрызгать
Юрка Тихонов — ссать.

Есть и другие ряды: попка, пупушка, задница, мадам Сижу, жопа.

Мама примирилась с тем, что мы р у г а е м с я. Говно, жопа — почти пожалуйста. Ёпа — нельзя. Про епание мы молчим. Ищем новые ругательные слова. Радостно подслушиваем, как сосед папе рассказывает про охоту:

— А мы ходим да попёрдываем.

Юрка Тихонов — старше нас года на четыре — пришел домой с одним — только забыл — хорошее слово:

— Что-то вроде звезды.

Воробьев Юрка зовет жидами, хорошеньких птичек — дристогузками.

Про дождь говорит: — Бог ссыт, — про гром: — Бог пердит.

Замечает: — Что эт' у тя одна портка ворует, другая караулит?

Грозит: — Ноги выдерну, спички вставлю
И ходить заставлю!

Любит воткнуть в разинутый рот белый, в пуху, одуванчик.

На переспрос *как?*: — Сядь да покак,
А потом подтерись.

Срал Юрка на каждом углу и, к нашему изумлению, натягивал штаны не подтираясь.

Благодушествуя, Юрка рассказывал про кино:

— Поле. Вдруг посредине взрыв! Бегут люди...

— Над речкой сидит старик и ловит рыбу. А он — шпион.

Тоже из кино:

На палубе матросы
Курили папиросы,
А бедный Чарли Чаплин
Окурки подбирал.

Тучи насрали две кучи,
В воздухе пахнет говном...

Миро́-оза...

Юркин анекдот: — Построил барин деревню. Решил, что первое на дороге увижу — так и назову. Вышел, а поперек дороги портки лежат. Так и назвал: Портки. Потом один из другой деревни едет на базар. Баринов мужик спрашивает: — Что везешь? — Яйца. — Разве это яйца? Вот у нашего барина в Портках — это яйца!

Юркина мать Наталья Сергеевна пилит Юрку за у л и ч н о е. Он квакает:

— Ладно тебе!

Мы про Юрку считаем: Тихон
С чорта спихан.

С Юркой можно стрелять из лука. У них в полуподвале — старая мебель, к р а с н о е д е р е в о. Из нее получаются самые прямые, самые точные стрелы.

С Юркой можно играть в самолет:

— Контакт?

— Есть контакт!

На долгие игры его недоставало.

Мы играли в солдатики серьезнее, чем взрослые — в шахматы. Дядя Игорь научил — на крокетной площадке перед террасой мы сделали линию Маннергейма. Проволочные заграждения, окопы, доты, пушки. Бабушка при-

везла искренний пулемет — крутишь ручку, от кремешка из дула снопом летят искры. Комья земли разрываются, как снаряды. Солдатики падают. Игорь натирает проволоку воском и пережигает спичкой. Танк выходит в прорыв. Вдоль дорожки плавает деревянный линкор. Война идет бесконечно. Ни я, ни Вадик не побеждают — назавтра продолжение.

Солдатиков у меня уже штук сто. Всех знаю в лицо.

Столовым ножом, молотком и стамеской — нажил на правой руке мозоль — я соорудил самолет и две пушки, стрелявшие камешками, как рогатки.

И все же я страдал черной завистью.

Никогда никому ни до, ни после я не завидовал так, как толстому сыну международника Звавича — тоже Андрею. Они жили у Козьей бабушки.

Солдатики у Андрюши были заграничные — английские гвардейцы в больших черных шапках и французские пехотинцы в красных штанах. Они могли поднимать руку и класть винтовку на плечо. По сравнению с моими, приблизительными, они были невыносимо прекрасны. Я брал у тетки Веры масляные краски и пытался раскрашивать своих — получалось уродство. Я так страдал, что Звавичам пришлось подарить мне одного француза.

Я заболел Францией — Наполеонами из комиссионки, Парижской коммуной из детской книжки, революциями из Малой советской энциклопедии. Соседи по капельскому двору подарили мне цветную открытку 1912 года — *Казаки отбивают обоз Наполеона.*

С Францией связаны два счастливейших воспоминания.

Елка в непонятно просторном и отдельном — как дача — полном красивых вещей доме Трубниковых, где бабушка — свой человек.

Зять Трубникова, профессор, химик Баландин — маг и демонстрирует фокусы: соединил две простые воды в воды разных цветов, поджег белую бумагу, и она обгорела по краям, так что вышли фигуры зверей, устроил в большой комнате большой фейерверк.

Я забыл обо всем на свете — может быть, в первый раз, — пляшу у елки с незнакомыми, как с друзьями,

тараторю, смеюсь, подружился с маленькой девочкой, то есть повалил на диван и стал выкручивать ноги. Нас разняли, весело, необидно смеялись.

На дорогу мне поднесли царский подарок — огромный *Имаж Милитэр*, альбом с красными штанами в исторических битвах и просто.

Милые Трубниковы, если бы они только знали, как много они для меня сделали!

Елка у них — единственный раз, когда бабушка/мама не побоялись вывести меня на люди.

Второе воспоминание — третье июня тридцать девятого года. Я играю в солдатики на полу на террасе. Мне исполнилось шесть лет. Все мне рады, все привозят подарки. Сумасшедшая тетка Вера заезжает из Москвы, дает мне импортную французскую книжку и убегает назад, на станцию, чтобы ни с кем не встречаться. В книжке много красных и полосатых — трехцветных — штанов. Гете задумался на коне. Генерал Келлерман поднял на шпаге свою треуголку...

День теплый, ровный, медлительный. За столом мама, папа, бабушка, мать Игоря бабушка Ася, ее муж Дмитрий Петрович, дачники. Все улыбаются мне и друг другу. Большего благожелательства, большего счастья в детстве у меня не было.

Самый лучший мой день рождения...

1977

ВОЙНА

Жестяная коробочка от монпансье. Под уродливыми пограничниками на нижнем ребре — заманчивая недомолвка: МЫ ВСЁ СБЕРЕЖЕМ — МЫ ЗОРКО ГРАНИЦЫ. Очень не сразу приходит в голову, что это — начало слева, конец направо — скучный корявый стишок:

ЧТО ДАЛ НАМ ОКТЯБРЬ, МЫ ВСЁ СБЕРЕЖЕМ —
МЫ ЗОРКО ГРАНИЦЫ СВОИ СТЕРЕЖЕМ.

На всех границах враги:

БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ ФИНЛЯНДИЯ — с финнами повоевали.
ФАШИСТСКИЕ ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ, ЛИТВА — не понять, воевали мы с ними или нет.
ПАНСКАЯ ПОЛЬША — эту разбили.
ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ. В школьной книге для чтения — рассказы о будущей войне Ефима Зозули.

Наступающие красноармейцы захватили польский танк. В нем часовня и химическая лаборатория. Ксендз-танкист должен отравить всю окрестность. Приходят крестьяне, видят, благодарят Красную армию.

Германские фашисты взяли в плен раненого красноармейца и привезли в Берлин. Берлинские рабочие немедля восстали и свергли фашистов.

Без Ефима Зозули известно, что фашистская Германия и фашистская Италия напали на хорошую республиканскую Испанию.

В *Мурзилке* из номера в номер приключения испанского мальчика.

Стихи:

Ты знаешь, Чарита, я сбил самолет,
Я черный *Капрони* сжег.

В СССР привозят испанских детей. Их никто не видел, но все любят. Они знают:

Всем понятные слова —
Камарадос, Ленин, Сталин,
Комсомол, Мадрид, Москва.

Меня и сверстников наряжают в испанки — простая шапка карманом, спереди кисточка. У фашистов на карикатуре Бориса Ефимова — кисточка спереди-сзади.

БОЯРСКАЯ РУМЫНИЯ с нами не воевала — испугалась. ТУРЦИЮ и ПЕРСИЮ настраивают против нас ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ АНГЛИЯ и МИЛИТАРИСТСКАЯ ФРАНЦИЯ.

Самая прославленная граница — Дальний Восток. Туда уезжают девушки-хетагуровки. Там три танкиста. Там

пограничник Карацупа с собакой Индусом задержал сто нарушителей.

В детской книжке опасный шпион уходит, загораживаясь пионером: пограничники не могут стрелять. Уйдя, он сам стреляет в сердце пионеру. Больше и лучше всех про мальчиков и шпионов пишет Гайдар, т а л а н т л и в ы й.

Стихи:

В глухую ночь, в холодный мрак
Посланцем белых банд
Переходил границу враг,
Шпион и диверсант.
..Горел химический завод,
Горели провода...

Взрослые говорят, что стихи у Михалкова п о э т и ч н ы е:

Жив и здоров
Пограничник Петров.

ФАШИСТСКАЯ ЯПОНИЯ напала на хороший КИТАЙ. В *Мурзилке* рядом с батыром Ежовым — легендарный Чжу Дэ. Сын народа Ян бросает гранату в японцев. На глазах у японцев китайский мотоциклист переезжает по воздуху пропасть.

У озера Хасан японцы пробуют напасть на нас. Особая дальневосточная разбивает их.

Японцы захватывают советский пароход и пионера Мишу Королькова. Спрашивают, где Сталин. Миша не выдает. Японский майор — японцы всегда майоры — сердится:

За хорошие ответы
В правом ящике стола
Приготовлены конфеты,
Шоколад и пастила.
За такие же, как эти,
Принесут кнуты и плети.

Родина спасает Мишу Королькова.

На Халхин-Голе японцы нападают на Мэнэрэ́. Это единственная невражеская заграница. Как из Риги в сороковом, из Мэнэрэ давно везут хорошие заграничные вещи. В разговорах Мэнэрэ занимает места, как Англия или Польша. Мы выбиваем японцев из Мэнэрэ. Под Халхин-

Голом папин знакомый чуть не попал в плен: посреди степи сломалась машина.

Папа и мама ведут меня в первый раз в кино. Кинотеатр *Художественный* на Арбатской площади. Новый звуковой художественный фильм *Если завтра война*. Рекомендовал сосед Борис Федорович, так и сказал:

— Рекомендую.

Сквозь ядовитый газ наступает пехота в противогазах, скачет конница, ползут тяжелые танки. В неравном бою погибает один наш летчик. Последние кадры — цветные. Победа. Сталин и Ворошилов на мавзолее. Песня:

> Мы войны не хотим, но себя защитим,
> Оборону крепим мы недаром,
> И на вражьей земле мы врага разгромим
> Беспощадным могучим ударом.

Мы крепим оборону родины. Все подписаны на лотерею Осоавиахима. В небе летает дирижабль с большим портретом Карла Маркса. В газетах гордые о р д е н о н о с ц ы — Ворошилов, герои-летчики, Гайдар, Михалков. На улицах гордые значкисты — ворошиловские стрелки. Значкисты попроще, о р д е н о п р о с ц ы, носят на пиджаках и теннисках по одному-два-три (треугольником) значка ГТО, ГСО, ПВХО. Большой знак ПВХО вешают на дома. На Первой Мещанской, на Садовом кольце вырубили деревья — зелень мешает дегазации.

Противогазы продают в аптеках, как грелки. Противогазов и брошюр по ПВХО нет только на Большой Екатерининской. На Капельском я натягиваю на себя новую серую маску с резинками за ушами и длинной гофрированной трубкой. Болезненно поглощаю противохимические брошюры. Иприт пахнет горчицей, люизит — не понял чем, синильная кислота — миндалем. Химическая тревога — удары гонга или по рельсу.

Когда на дворе общественница запретила *ругаться* фашистом, на свете уже шла большая война. С Капельского на нее смотрели, как с бельэтажа: интересно, но не более, чем кино, и нас не касается. Всей кухней смеялись, что Бек и Рыдз-Смиглы бежали в Румынию. Веселились, читая про первого пленного англичанина. Он заснул на

передовой, проснулся и удивился. Удивились и немцы: англичан они еще не видели. Статья называлась: *Где же вы, храбрые томми?*

В *Огоньке* — разрушения Лондона, французские беженцы на дорогах, немецкий солдат в Париже у Триумфальной арки.

На карикатуре Бориса Ефимова французские, английские и американские капиталисты ловят цилиндрами деньги: *Золото, золото, падает с неба.*

В карманном атласе к западу от СССР — светло-коричневая Область гос. интересов Германии.

В новом альбоме для марок по листу для каждой страны. Лист Уругвай, лист Парагвай, хотя марок оттуда — пустяк. Ни листа — Австрия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, хотя марок много. Вместо Чехословакии просто Словакия.

От дружбы с Германией — в магазинах алые бумажные цилиндры мемельского цикория.

Во дворе присказка:

— Внимание, говорит Германия.

Дружбу газеты подтверждали неоднократно. В полдень 22 июня Молотов сообщил, чем она кончилась. Папа, мама, соседи, дачники выбежали в переулок на громкое радио от Богословских.

Все обмерли от неожиданности, никто не сказал такого, чтобы запомнилось. Только Вадик:

— Пойду на фронт — и пускай убьют, как Гавроша.

Как нечто само собой разумеющееся — без обсуждений — воспринимали ежедневное от советского информбюро: наши войска оставили город такой-то, город такой-то, город такой-то. С некоторым ужасом, что Кишинев — весной папу звали туда работать, мог бы и согласиться: вместо наших тринадцати метров давали квартиру. С некоторой надеждой, что который день не сообщают про Минск и Смоленск.

Летом — не вовремя — объявили о сталинской премии изобретателю Костикову. Шушукались, что секретное оружие. По радио еще долго пели про самовары-самопалы.

Разговоры лета сорок первого были короткие:

— При современном развитии транспорта голода опасаться не приходится.

— Запасите соли, крупы и спичек, пока есть в кооперативе.

— Не знаю, куда эвакуироваться, на Украину, в Ташкент или в Кисловодск.

— В Быкове старик с козой оказался шпионом.

— На Вялковском кладбище из подбитой *рамы* спустились четыре летчицы.

— Леваневский не погиб на Северном полюсе, а перелетел к немцам и сейчас бомбит Москву.

— Это все из агентства ОГГ: одна гражданка говорила.

— Как сказать...

По предписанию поссовета халтурщики за пол-литра вырыли в Сосенках щель.

Ночью страшно выла сирена, страшнее сирены от Богословских загробно вещал Левитан:

— ГрАжданЕ, воздУшнаЯ тревОга!

Мама тащила меня сонного через весь участок. Шафранова Дуся одной рукой прижимала маленькую Люську, другой волокла Леньку — он спотыкался и припадал на колени.

В щели пахло свежей землей, но очень быстро делалось душно. Ленька громко чмокал во сне; когда громко били зенитки, просыпался и от страха икал.

Утром всей дачей сладострастно ходили в Малаховку посмотреть — случайная бомба разбила пристанционный домик, кого-то насмерть. Мы искали осколки — были только осколки стекла.

Днем я выискивал в *Правде* отчеты о зверствах:

— Правая грудь отрезана, левая выпечена, сердце высверлено, половой орган раздавлен.

Алексей Толстой в статье о бомбежке Москвы — как сейчас вижу и наверняка ошибаюсь:

— Раненая женщина восторженно онанировала.

Я не знал, что такое *половой орган* и *онанировала*, но запомнил.

Под вечер из гамака сквозь елочки: по переулку медленно, немолодые. Военный со шпалами запрокинул голову, высоким голосом, тоскливо, почти про себя:

— Когда я на почте служил ямщиком...

Вечером у Македонки дачница Тихоновых — маме:

— Счастливый Андрюша — уже все понимает и в армию не возьмут. Будет потом вспоминать...

Юрка Тихонов приходит прощаться: едет в Тюмень, к дяде. Я:

— Окопался в тылу?

Юрка с кулаками. Мама меня отчитывает. Как объяснить, что это я из *Хулио Хуренито*, никого не хотел обидить.

В тот самый день, когда мы с мамой приезжали на Капельский, явилась общественница — переписывала детей для эвакуации. Мама велела мне залезть под стол, а ей сказала:

— Уже увезли.

Папа роет в сарае убежище — чтобы не в Сосенках, а поближе и поосновательней — потолок в три наката и сверху груда земли почти до крыши. Замаскировано сараем, может, выдержит прямое попадание. Ну, и если придут и выселят. К счастью, не пригодилось.

Над Македонкой правее свалки стоит ольха, высокая, как сосна. Папа ее среди бела дня без помощников при мне ловко спилил пилой, распилил на бревна, у нас во дворе наколол, сложил в сарай: дрова на зиму. К счастью, тоже почти не пригодилось.

Соседки в ажитации прибежали за мамой:

— Евгения Ивановна, вам удастся...

Над дачей Богословских к макушке самой высокой сосны ремнем пристегнулся взрослый Павлик Хлебников. Разводит, как в воде, руками-ногами.

— Павлик, что вы там делаете? Слезайте!

— Сейчас. Я хочу испытать ощущения парашютиста...

Я люблю валяться на крыше сарая. На черном толе осеннее солнце заметней.

Над головой не спеша летит самолет с красными звездами. Он гудит не как наши — сплошным гудом,— а как немецкие: ý-ý-ý-ý-ý[1]. В стороне быковского аэродрома слышно

[1] Выли немецкие и на другой лад: тбу-ту́-тид, тбу-ту́-тид...

шесть глухих взрывов. Самолет так же неторопливо летит назад. Минут через пятнадцать по небу снуют, стреляют трассирующими пулями тупоносые ястребки.

Иногда ко мне забирается Ленька — он боится гнилой приставной лестницы. Я говорю:

— Если придут немцы, скажи, что ты не Шафран, а Акимов. Все равно ты тут с матерью.

(Мама рассказывала — не мне:

— Дуся чуть не на пятом месяце была, решила избавиться. Пила какую-то хадось — эт' как мертвому припарки. Уж я ей помогла. Дуся деревенская, здоровенная, хоть бы что. А ребеночка мы закопали в Сосенках.)

Неожиданно за Ленькой, Люськой, Дусей из госпиталя приезжает Шафран. Он так потрясен, что все время твердит одно и то же:

— Меня ранил немецкий летчик. Я его видел. Он летел совсем низко. Доктор сказал, еще бы полмилли́метра, полмилли́метра...

Из ополчения, из-под Смоленска, возвращается старик Богословский:

— Мы на руках по грязи тащили орудия — четырнадцатого года!

У меня копились трофеи — стабилизатор зажигалки, наши красные, немецкие желтые гильзы, наши острые, немецкие тупые пули, осколки.

Осколки — отечественные, от зенитных снарядов. Я просыпался ночью от бухания и слышал, как в спинке моего дивана возятся мыши. Неслышный осколок лег на подоконник рядом с моей головой. Под соснами Богословских, где мы с Борей когда-то собирали ландыши, осколки лежали поверх игольника, не зарываясь в землю.

Вдруг я вздрогнул: у Богословских я был не один. Я спрятался за сосну, он тоже. Он мог быть уличный, я — хозяйский, оказалось, оба посторонние.

Разложили друг перед другом добычу. Осколков у него было чуть больше. Его так же интересовали марки/монеты.

Шурка Морозов жил на Кривоколенной напротив Тихоновых. Отец весь день в Люберцах на заводе, мать общественница. Дома — бабка, злыдня, дед был полиц-

мейстер, фамилия Гарниш, считается, чехи, наверно, немцы — весь день заставляет пасти козу.

Я выбегал к нему за Сосенки, на свалку. Летом сорок первого года на ней валялись измазанные говном красивые царские облигации. Мы колебались, брать—не брать.

Шурка гонял козу, матерился, пел:

У попа была коза,
Хайль Гитлер!
Через жопу тормоза,
Хайль Гитлер!
Поп на ней говно возил,
Хайль Гитлер!
Через жопу тормозил,
Хайль Гитлер!

Мальчишка с козой — хотя фамилия Гарниш, считается, чехи, наверно, немцы — все не старик с козой, поет *Хайль Гитлер*, а не шпион.

Мы ссыпаем в ключ серу от спичек, затыкаем гвоздем и на привязи жахаем о бревно. Раскурочиваем патроны на порох, устраиваем взрывы. Из никелированной трубки — для малокалиберных — устраиваем самодрачку. Взрослые вздрагивают от этого слова, еще не поняв, что оно из области: *Руку оторвет!*

Самодрачка стреляла с раскатом из любимого каталога Ивéра:

— Солотурн!

Я нашел круглую — как колбасный круг — часть от зенитного снаряда, вставил в отверстие гвоздь и стукнул — стала греться в руках, я успел зашвырнуть в речку.

Мы бежим в поссовет на боевой киносборник *Победа будет за нами*. В зале одни мальчишки. В кино фашисты толстые, глупые, с повязкой на рукаве. Над ними легко потешается бравый солдат Швейк. В наш тыл с парашютом спускается бывший помещик. Заходит к своей крестьянке. Старушка незаметно посылает внучку куда надо.

Кажется, мы понимаем, немцы — не то, что в кино. Поражают воображение величественные слова:

мотопехота, *Мессершмит*, *Юнкерс-88*, *Фокке-Вульф*, штурмбанфюрер,

дивизия *Мертвая голова*.

Про своих рассказывают анекдоты. Например:

Приходит генерал в окопы. Грузин докладывает: — Кацо — налицо, елташ — в блиндаж, Абрам — в кладовой, Иван — на передовой.

Анекдотов про немцев я никогда не слыхал.

Лето тянется так долго, что до поступления в школу на моем огородике успевает из зернышка вырасти и созреть большой кукурузный початок.

Беспалый Борис Иванович, директор, оглядел меня и сказал кому-то в окно:

— Не свисти, не в лесу!

Удельнинская школа располагалась в обширной дореволюционной даче со службами и достройками. За ними — плотницкое, на скорую руку, издавна — М и Ж. Устоявшийся запах за тридцать шагов, кучи на улице и внутри, между М и Ж просверлена дырка.

Девочки приседают, сикают у забора. Все видно. До того я считал, что у шафрановской Люськи еще не выросло.

Мама огорчилась, что учительница не старая, о п ы т н а я, а молодая, но и молодой отнесла новенькие галоши.

В первый же день завуч Тукан вошел посредине урока:

— Учебная тревога!

Школа, киша, расселась в длинной — изгибами во весь двор — щели. Я оказался у выхода.

— Эт' даже лучше, — решила мама. — Если что, скорей выбежишь.

В ней застряла идея бегства:

— Научись кататься на велосипеде. Стоит велосипед — ты взял и уехал...

— Научись управлять машиной. Стоит машина — ты взял и...

Сама, как огня, боялась велосипеда и машины. Да и ни о каком отъезде, бегстве, эвакуации в семье речь не шла: что будет, то будет.

Домашние задания я выполнял одним махом. И все же, видя меня за тетрадкой, мама не могла не запеть незабвенного *Ива́нова Павла*:

Надоели мне науки,
Ничего в них не понять.
Просидел насквозь я брюки,
Не в чем выйти погулять.

Незанятое унылое время я слонялся по снегу или читал.

Последние довоенные детские книжки не вяжутся с тем, что вокруг. *Чудесное путешествие Нильса* — так далеко, что впервые от чтения делается еще тоскливей.

Марка страны Гонделупы — жизнь совсем как в Удельной, но неправдоподобно легкая, нестрашная, благоустроенная. Захватывает — потому что про марки. Только я не поверю, что вся серия может быть на одном конверте. Папин сослуживец уходил на фронт и оставил мне на всю войну драгоценную редкость — каталог Ивера 1937 года. Я узнал, что в шведской серии не десять, а двенадцать марок, и они совсем не те, что на книжке. *Ивер* творил чудеса. Без словаря я понимал не только наглядные *руж*, *блё*, *бистр*, *вермийон*. Споткнулся на *тембр* в *тембр-пост* и на *герр де л'индепенданс* — из-за сходства с *л'Инд*.

Кавалер Мезон-Руж — мой первый взрослый роман, 365 страниц. Сладко тайно щемило, и я понимал, что рассказывать маме/папе про любовь Мориса и Женевьевы так же немыслимо, как про епание.

Еж конца двадцатых-начала тридцатых, комплектами — от выросших Игоря и Бориса — привозила добрая бабушка Ася. Все листали, читали, никому в голову не пришло, что мне лучше бы этого не давать — выключали же на Павлике Морозове! *Еж* утверждал, что жизнь везде отвратительна. Например, в Америке. Там есть один наш, хороший — пионер Гарри Айзман (его письмо и портрет), остальные — не наши, плохие. *Агентство Пинкертона* в *Еже* ничего общего не имело с прекрасным Нат-Пинкертоном папиных воспоминаний. Безработный с горя идет в шпики и из номера в номер — в картинках — пытает и убивает таких же рабочих. Было в *Еже* и смешное — ненужные изобретения: машина для сбивания яблок, машина для снимания сапог, машина для мытья спины. Но главное для *Ежа* — Лига наций, буржуи с

сигарами, контрреволюционные переговоры о разоружении. Похожи на американцев — фашисты: в Италии они поят касторкой, в Германии — бьют.

В ожидании немцев *Еж* пошел в печку. Туда же случайно попала папина — сельскохозяйственная — *Лошадь как лошадь* Шершеневича. Печка стояла горячая от книг двое суток.

Ценности — кольца, часы, отрезы, мои марки — зарыли возле крыльца под фундаментом. Когда отрыли — марки заплесневели, сквозь рисунок проступили желтые прямоугольники самодельных наклеек.

Немцы должны были прийти — в Удельную и в Москву — шестнадцатого числа. Все — в Москве и в Удельной — почему-то сразу узнали, что из метро вышел поезд с правительством.

Нам с мамой было жутко в пустой даче, и мы пошли ночевать к соседям.

Голубоглазый седой Михей — у него был царский полтинник и крымские камешки — неистово бегал по комнате:

— Я увижу строй, я пройду сквозь строй, я скажу им: братья!

Михевна сидела у чайника:

— Ельня, Ельня, помешались они на своей Ельне. А про мое Ржищчево хоть раз написали? Где там моя мама? Михей, перестань бегать!

Михей не переставал:

— ...и всюду жиды пархатые! Вот он здесь — не успел оглянуться, а он уже там. Пархачи!

На ночь я спросил маму про новое слово:

— Пархатые — это потому что порхают?

Я долго не мог заснуть, вспоминал:

— Ихь бин айн щюлер. Ихь хайсе Андрей. Майн фатер ист Сергеев. Майне муттер — Михайлова. Вир зинд руссиш.

Год назад на Большой Екатерининской бабушкин знакомый, учитель музыки, чех Александр Александрович Шварц узнал о моей любви к Франции и не одобрил:

— С немецким я прошел всю Европу. Учи немецкий — все тебя поймут.

Мама подучила меня немецкому, который вынесла из гимназии:

— Когда тогда немцев ждали, я, помню, все хожу, немецкие фразы вспоминаю, думаю, я сразу с ними по-немецки заговорю. А потом как подумала — да они меня живо в штаб заберут, переводчицей. А Андрюшку возьмут, да на штык подденут. Нет, думаю, молчать надо.

Утром мы возвратились к себе и легли спать. За Македонкой вдруг началась канонада. Мама вскочила, упала и голенями со всего маху ударилась о спинку железной офицерской раскладушки. Охая, заперла еще на один оборот двери, поплотней занавесила окна. В убежище казалось еще страшнее. В Москве дед с бабушкой никогда не ходили: судьба.

К вечеру стало стихать. Мама выглянула сквозь стеклянную дверь на террасу: на деревянном топчане, прикрыв лицо, спал толстый чужой солдат.

Проснувшись, он оказался красноармейцем и объяснил, что на той стороне, в Новой Малаховке рвался артиллерийский склад.

Алексей Иванович повадился ходить к нам, то один, то с женщинами. Напевал:

Жить невозможно
Без наслаждений.

Мы с Шуркой прозвали его кашалотом.

Кашалот пил, кричал неожиданно: что все военные — паразиты, — носил со склада консервы и сало в обмен на последние сливы/яблоки. Из Москвы приезжала его жена, плакала, привозила из магазина мануфактуру.

Все всё тащили. Кто-то сказал, и мы с мамой отправились за Чудаково в Кролиководство. Там нам за так — из старой дружбы к папе — дали с выставки два джемпера: загляденье — белый и белый с голубым в крупную матроску. Носить их было нельзя: пух лез в рот.

Сам папа вывез из Дома агронома отсыревшую пропыленную коллекцию минералов, учебную гранату Ф-1, перекошенный школьный микроскоп. Подобрал недостающие тома Малой советской энциклопедии.

После шестнадцатого октября папа заехал за нами. Электрички не ходили. От платформы до тамбура паровика зиял прогал. Мама его перепрыгнула, папа меня перенес на руках.

На Казанском вокзале у выхода в город сиротливый красноармеец с винтовкой проверяет паспорта. Вокруг вокзала — женщины на узлах.

По Первой Мещанской рядом с лошадьми тянутся беженцы. На подводе везут разбитый фанерчатый ястребок.

На трамвайной остановке в горчично-зеленых шинелях и квадратных конфедератках поляки-не поляки, говорят между собой по-русски и немыслимо матерятся.

На Первой Мещанской у гимназии Самгиной выстроились американские штудебеккеры.

В марочном на Кузнецком офицер невоюющей Болгарии скупает неизвестно откуда взявшиеся раритеты.

Букинисты забиты роскошными старыми книгами. Ювелирные, даже галантерейные ломятся от самоцветов. Прекрасный камень с орех стоит как два-три кило картошки.

Тревога была два раза. В стороне ЦДКА стреляли зенитки. Театр Красной армии расписан пятнами, перед ним дощатая пристройка, чтобы сверху был не пятиугольник, а похоже на церковь. В сквере перед театром — зенитчики со слухачами.

В просторной Удельной зенитный огонь опьянял. Хотелось высунуться и посмотреть. На Капельском, в оторванном от земли замкнутом пространстве хотелось деться от окон подальше. Не из чувства опасности — его у меня не было.

Мама встала в очередь в булочной напротив 110 отделения, я остался на углу. Побыл минут десять, вдруг вижу, что на меня несется сорвавшийся с проводов троллейбус. Не испугался, не удивился, отошел. Троллейбус врезался, булочную тряхануло. Маму успокоили:

— Там мальчик стоял — он отбежал.

Я не отбежал, отошел.

На рынке кило картошки стоило 70—80, кило сахара 700—800, кило масла 1000—1200. У нас — вместе с

дедушкой/бабушкой — по карточкам много хлеба. Вечером, тут же в булочной, папа загоняет буханку черного за 120.

Появляются невиданные продукты: в магазинах — кунжутное масло, на базаре — квашонка, в учрежденческих столовых — какавелла.

Новое выражение *отовариться* я долго производил от аварии.

К новому году выдали двести грамм карамели *Сибирь* с белочкой.

Новые военные вещи. От холода — химическая грелка. Толстый бумажный пакет нужно залить водой, тогда долго несильно греет.

От темноты — чтобы на улице не натыкались друг на друга — значок: светящаяся ромашка или просто бумажный кружок в жестяной оправе.

Зимой не топили, часто сидели без света. В кухонной темноте Бернарова Тонька слила мне за шиворот большую кастрюлю драгоценной картошки. Я заорал. Потом, помню, я на моем топчане, в комнате, вся квартира с бутылками. На спину мне прикладывают компрессы из постного масла. Не пожалел никто. Скорая помощь говорит: ожог второй степени; помочь ничем не можем, все уже сделано.

Изумленно и без разумения я обнаруживаю и выучиваю наизусть папины *Облако в штанах* и *Хулио Хуренито*. Из них явствует, что были, есть и не иначе будут другие, яркие страны, другая, яркая жизнь. В первую военную зиму я запомнил и полюбил бодрое слово *футуризм*.

Не верится, что Эренбург — тот же самый, что сочиняет в газетах, как маленький Гитлер подкладывал няне на стул кнопки.

В продовольственных пусто, витрины кормят окнами ТАСС:

Шаловлив был юный Фриц,
Вешал кошек, резал птиц.

Днем фашист сказал крестьянам:
— Шапку с головы долой! —
Ночью отдал партизанам
Каску вместе с головой.

Сидит Гитлер на заборе,
Плетет лапти языком,
Чтобы вшивая команда
Не ходила босиком.

В отрывном календаре загадка:
Что самое гадкое на букву Г?
(Гитлер)
В газете: Хорти, Рюти, Антонеску,
Недич, Квислинг и Лаваль.

В газете из небытия на видное место выполз некогда всемогущий л и з о б л ю д Демьян Бедный, Ефим Придворов, то ли сын великого князя, то ли еврей. Когда-то из *Комсомольской пасхи* я вынес:

Дьякон Кир тузит попа
Афанасия...
Евпл, Хуздазат, Турвон, Лупп,
Евксакостудиан, Проскудия, Коздоя.

За *Комсомольскую пасху* бабушка/мама меня осудили. Теперь я читал в *Правде* такое же хлесткое:

Берлинская ночь под Рождество.
Геббельсовское естество
Протестовало против довременной кончины.
В силу этой причины
Сидел Геббельс в бомбоубежище за столиком
Этаким меланхоликом:
Канун Рождества
Без праздничного торжества,
Без хвастовства о победном марше.
В припадке тоски
Растирая виски,
Геббельс диктовал секретарше...

Современное развитие транспорта не спасало. Папа и бабушка ездили за пятьдесят-сто километров менять вещи, чаще всего на картошку. Приморо женная, с л а щ а в а я шла на оладьи; немороженая, почти нечищенная варилась или жарилась на воде.

В Талдоме баба наобещала папе, взяла отрез и смоталась. Папа не огорчился, он считал, что все равно доверять выгоднее. Мама позанудствовала:

— Ты всегда так...

Бабушка при обмене не верила никому, тем более что жулья развелось... Умела видеть, где в бутылке постное масло и где наполовину — внизу — моча.

Мы с мамой выбрались в город. Трамвай медленно ползет от Трубной к Петровским воротам. Вдруг у выхода, через стекло от водителя закричала женщина: ей влезли в сумочку, и она держала вора за руку. Давка была обычная, военная. Стоявшим рядом деваться было некуда, и они — мужчины и женщины — свели вора, молодого, дикого, на асфальт.

— Не выкручивайте! Больно! Я сам пойду! — кричал вор откуда-то взявшимся милиционерам. Пассажиры шли сзади толпой. Медленно их обогнул черный начальственный зис. Бросок — и вор уже висел на его задней решетке. Дальше как в замедленном кино: зис дергает, решетка медленно отгибается, и вор с размаху ударяется об асфальт и еще метров десять-двадцать едет на коленях, оставляя темные полосы.

Голод: в Сосенках собака понюхала только что произведенное собственное говно и принялась аккуратно есть.

К первой военной зиме никто не готовился. Ко второй бестолково готовились с ранней весны. По совету газет/радио срезáли верхушки клубней, проращивали семена. Перекопали бóльшую часть участка, пустили далеких знакомых: близких никогда не было.

Дядя Иван по ночам ходил с берданкой по своей половине участка.

Забылись мамины распри с Авдотьей, часто на даче оставался за сторожа я один. Авдотья, *злыдня*, *мегера*, *живорычка*, мамина притча во языцех давала мне почитать библиотечных Лескова, Тютчева, Станюковича, Александра Грина, *Спутников Пушкина*.

Мир с ней продолжался всю войну.

Всю войну и позже я вел дневник. Сделал блокнот из бланков:

> МОСКОВСКИЙ Областной ДОМ АГРОНОМА
> п/о Долгопрудная, Краснополянского р-на, Московск. обл.
>
> «...».....194.. г.

> 9 июня 1944 г.
>
> Живу на даче.
>
> Сегодня мама привезла дневник, и я могу записывать, что произошло с 21 мая, когда мы приехали в Удельную. Огород у меня маленький — я посадил всего: картофель 9 шт., помидоры 10 шт., горох 25 шт., бобы 8 шт., кукуруза 15 шт., фасоль 3 шт. Все, кроме бобов, взошло...

> 19 июля 1945 г.
>
> ...Только я открыл дверь на террасу, как увидел, что человек 10 ребят обрываются по направлению к калитке из клубники. У калитки был сломан замок. Я конечно испугался.

Жутко, когда непонятные многие спины ускользают к калитке. Жутко одному в даче. Хорошо, что папа забил толстой фанерой стеклянные двери на террасу. Плохо, что окна такие большие и низкие, что кто-то с улицы может смотреть в дом. Стекло не защита.

Шурка Морозов — садолаз — меня не забывал, и не потому, что мог у нас есть все, что росло. Причина — марки, монеты, солдатики, игры.

Сидя на чердаке, мы сочиняли приказы, рисовали планы, придумывали ордена. Я вырезал их секатором из консервных банок и раскрашивал масляной краской.

В саду за столом играли в подкидного, в акульку, в три листика, чаще всего — искозлялись — вдвоем, со слепыми. Важное дело в козле — чья хвалёнка. Главная карта — шоха́, шамайка. Валета склоняли вальтом, в именительном падеже — пант. Десятка в инфляцию стала тыщей.

Переговаривались на тайном языке школьно-подзаборного происхождения. Вместо: *Я хочу курить*:

— Я-хонци хо́-хонци ку́-хонци.

Курили зверский вишневый лист, солому, изредка — филичевый табак и лакшовые папиросы: *Норд*, *Путину*, *Прибей*. До войны я таскал у деда — на пробу — копеечную *Ракету*.

Шурка ослепительно матерился. В ответ на просьбу: — Оставь:

— Хуй тебе от дохлого татарина! — или:

— Хуй те в сумку, чтоб не терлись сухари! — или:

— Кури, скорее сдохнешь, мне наследство останется.

Вместо *здравствуй*: — Как делишки насчет задвижки? — или якобы для взрослых: — Как делишки насчет запора к калитке?

Покупка: — Махнемся?

— ?

— Я те хуй в рот, а ты мне язык в жопу!

Шурка спрыгивал от к о н д ю к о в на полном ходу, набравшись электричечной цивилизации:

В стране далекой юга,
Там, где не злится вьюга,
Жил-был красавец,
Джунгли испанец,
Легкого был он веса...

Васенька толкнул меня сначала, да-да,
Так что меня сразу закачало, да-да,
Я собрался что есть духу,
Двинул Васеньке по уху,
Так что бедный Вася полетел.

Костя не стерпел такой обиды,
Кровью налилось его лицо,
Из кармана выхватил он финку — хлопцы —
И всадил под пятое ребро.

Сидели мы на крыше,
А может быть, и выше,
А может быть, на самой на трубе...

Целое лето я валялся на крыше — дачников не было, верх не занят — и горланил песни и арии. По переулку проносились садолазы, вопили:

— Андрей, спой серенаду!

Я дожидался Шуркина условного тройного посвиста — боялся пойти к нему сам, неуютно выходить за забор, страшно, что покусает Шуркина Мухтарка — однажды кусала.

Являлся Шурка:

Хорошо в краю родном,
Пахнет сеном и говном!

Вдвоем не страшно — ходили купаться. Он ловко плавал, я еле держался на воде. Пузырь воздуха в больших мокрых черных сатиновых трусах поддерживает.

Однажды попробовали повесить котенка, помня, что *шаловлив был юный Фриц, вешал кошек...* Приготовили шнурок, облюбовали сук — не выдержали, отпустили.

В другой раз — плывем на плоту по узенькой Македонке, баламутим воду у мостков. Баба полощет белье, ругается. Шурка:

— Молчи, старая!

— Как те не совестно, я те в матери гожусь!

— Ты мне в подметки не годишься!

Благонамеренные соседки шептали маме:

— Что общего у Андрюши с этим шпаненком?

Сказать то же про Юрку Тихонова не пришло бы в голову: сын хороших родителей.

Тихоновы происходили с Капельского. Когда Юрка родился, мой папа обменял свой просторный полуподвал на Покровке на маленькую барскую комнату на Капельском.

За зыркающую повадку Юрку прозвали Шпиком — смертельное оскорбление. Со мной он держался превосходительно — четыре года разницы, московский уличный опыт. Звал меня одиночником.

Рассуждал: — Потому что потому
Окончается на У.

Соглашался веско: — Факт.

игриво: — Вы правы, за вами рубль.

жовиально: — Прав, Аркашка, твоя жопа шире.

пернув: — Жопа подтверждает.

Вразумлял: — А ты говоришь, купаться...

В сердцах: — Ёп-понский городовой!

Закругляя: — Хорошенького понемножку, — сказала старушка, вылезая из-под автобуса.

Отказывал: — На вота тебе! — и показывал на ширинку.

Осуждая Шурку, соседки не замечали, что при — допустим — равном безобразии Шуркин фольклор был мальчишеский, бодрый, а Юркин — взрослый, усталый:

Поручик хочет,
Мадам хохочет...

На острове Таити
Был негр Тити-Ити...

И о девушке в серенькой юбке...

В Капитановском порту
С какава на борту
Жанетта оправляла такелаж...

Если у Юрки появлялось новенькое, то это бывало не дай Бог:

Старушка не спеша
Дорожку перешла,
Ее остановил милиционер:
— Вы нас не слушали,
Закон нарушили,
Платите, бабушка, штраф три рубля! —
— Ой что же, Боже мой,
Да что ты, Бог с тобой!
Сегодня мой Абраша выходной —
Я в этой сумочке
Несу три булочки,
Кусочек курочки и пирожки.
Я никому не дам,
Все скушает Абрам,
Набьется он тугой, как барабан...

— Что ты, Вася, приуныл,
Голову повесил,
Или в булочной Абрам
Хлеба не довесил?
— Надо свесить два кило,
Свесил кило двести.
Как увижу я его,
Удушу на месте!

Юрка прельщал засаленным гроссбухом с марками: Стрейтс-Сетльмент, Лабуан, Абиссиния, синяя американская:

— Линкóльн, освободитель негров.

В круглой картонной коробке из-под мармелада у него были монеты:

— Платина — самый легкий металл, — Юрка показывал алюминиевый жетон Лиги наций.

На очень тяжелой монетке — как сейчас помню — и ошибаюсь:

3 РУБЛИ НА СЕРЕБРО 1840 ГОДА — и по окружности: ИЗЪ ЧИСТАГО УРАЛЬСКАГО ПЛАТИНЫ.

(По Краузе, платиновая трешка 1840 года существует в единственном экземпляре, и надпись правильная).

Ни с легкой, ни с тяжелой Юрка не расставался. Однажды промурлыкал:

— Мои финансы поют романсы. Бери рупь Катерины Второй. Семь червей.

Цена дикая, быть в дураках унизительно. Я вертел екатерининские рубли, пока на лучшем не прочитал:

ПЕТРЪ III Б. М. IMП. I САМОД. ВСЕРОС.

Забрал. Деньги со своего огорода, цена кило помидор. Сам выращивал, сам продавал соседним дачникам.

Чем дальше, тем больше излишки сада/огорода шли на базар. Авдотья торговала сама. Мама — никогда: или бабушка, или Анна Александровна, тихоновская монашка:

— Яблоки — вырви глаз,
Налетай, рабочий класс!

После базара считали выручку — я смотрел, как неизвестно откуда выплывают непривычные, наверняка изъятые купюры тридцатых годов. Удивительным образом, люди брали эти сомнительные бумажки так же охотно, как рупь с шахтером, трешку с красноармейцем, пятерку с летчиком, червонец с Лениным, д и́ к а н.

У Анны Александровны был серебряный рубль Николая Второго. Она считала, что он стоит столько, сколько тогда можно было на него купить. Оставалось махнуть рукой.

Анна Александровна (мама за глаза говорила только: С в я т а я) происходила из бывших, сидела на Беломоре, ходила под номером. Тихоновы пустили ее сторожить на зиму — она осталась у них насовсем и из таких, как сама, устроила маленький монастырь. С утра до ночи шли старушки от станции и удельнинской церкви к Тихоновым и обратно. То ли никто не донес, то ли время военное — их не трогали. Соседи звали Анну Александровну Ханжой и были бы рады сказать про нее что-нибудь скверное. Нас всех подряд она почитала красными. Что бы ни делала или говорила, во всем был вызов и настороженность.

— Здравствуйте вам. Нельзя ли мокруши?

— Пожалуйста, — всегда говорил папа.

Перед террасой под яблонями она выщипывала мокрицу для кур. Я вертелся поблизости, она со мной заговаривала — всегда о своем. От нее у меня был на лето старый — с ятями — перевод с французского.

Дневник:

> 19 июня 1945 г.
>
> ...Анна Александровна дала мне почитать «Проповеди для детей» Де Коппета. Замечательная книга.

Над этими простенькими историями я лил слезы, молчал о слезах и о впечатлении. На всю жизнь запомнил и распевал на самодельную мелодию:

> К Тебе, Господи, прибегаю, потому что Ты — заступник мой, и буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, потому что Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего.

Лет через тридцать с лишним узнал, что это из 58 псалма.

Второй класс я начал снова в Удельной.

Появились беженцы. Ленинградцев расселили в пустовавшем с довоенных лет поселке бывших красных каторжан. Один эвакуированный поразил меня несообразной фамилией Курочкис.

Ручку ленинградцы называли вставочкой. О блокаде — им в голову не приходило рассказывать, нам — спрашивать.

Беженцы из Подмосковья жили кто где. У одного из них была дикая опасная кличка Гитлеровский пастух. Наверно, пас при немцах.

Прозвища были в ходу вовсю — в Удельной, в Москве — равно:

Седой — блондин (с уважением),
Мышка — блондин (маленький),
Шалфей — смуглый (обычно татарин),
Мора — цыганистый (Я цыган Мора из хора),
Хинéза — монголоватый (в школах обычно проходили немецкий),
Глиста —длинный,
Карапет — короткий,
Рупь-сорок — хромой (Рýпь-сорок, двá-с-полтиной, трú-рубля),
Фунтик — эфемерный,
Фáтя — жирный (от комика Фатти),
Котовский — лысый, стриженный под ноль,

от имен: Вовочкин — подхалимская форма,
Колú — залихватская,

от сокращенных фамилий: Ждан, Панфил, Баклан, Сот, Фадей,

необъяснимые: Притык,
Мирзак,
Патэка.

Изумительная для русского уха идиш-немецкая фамилия Визельтир исключала возможность переделки (дезертир) или замены прозвищем, ибо сама воспринималась как царское прозвище: — Эй, Визельтир!

Тукан было тоже прозвище: нос у завуча был как клюв тропической птицы. Одноклассники рассказывали, что Тукан вошел в женскую уборную за Лидией Степановной и нассал ей в жопу. От этого у нее родились две девочки, а в школе — неприличный глагол *втукнуть*.

Мне в Удельнинской школе было спокойно: уроки знаю, держусь в сторонке. Шурке Морозову хуже — удельнинский, известный, да еще меченый: над его головой

поработал стригущий лишай из пристанционной парикмахерской — Плешь, какой падеж?

По фамилии его дразнили Маруськой.

Когда на него наседали толпой, он всегда был готов задрать ногу — и громом на весь школьный двор:

— Лучше геройски пернуть, чем трусливо бзднуть! — и с присказкой: — Нюхай, друг, хлебный дух!

Кроме нас с Шуркой, марками/монетами в общем никто не интересовался. Из-под спуда возникли и бесплатно переходили из рук в руки марки — синие царские по семь копеек и голубые французские по пятнадцать сантимов — стопочками по сто штук, перевязаны пожелтевшей от времени ниткой.

Во втором классе я узнал муки совести. Интеллигентный и милый москвич Игорь показал мне свои монеты. На большой переменке, когда в классе никого не было — все гоняли по двору, — я сел за его парту, поднял крышку и достал коллекцию — хотел взглянуть еще раз. Неожиданно решил разыграть и сунул монеты в карман — пусть хватится, испугается, я посмеюсь и отдам. Я даже рассказал об этом соседке по парте, но она не обратила внимания.

Я судил по себе — пропади у меня что, я тотчас пожалуюсь хорошему товарищу. Но Игорь был выдержанный, воспитанный, он промолчал, сделал вид, что ничего не случилось, и я потерял повод вернуть.

Так я стал и сознал себя вором. Как меня бередили эти монеты — австрийский крейцер, американский никель с бизоном, двухзлотовик с паненкой, еще с десяток ничтожных русских, латвийских, эстонских, литовских медяков. Выбросить их — от растравы не спасло бы. Вернуть — с каждым днем все позорнее поздно. И я сидел на краденом — тогда цена ему грош, на 1977 — максимум трешка.

Перед седьмым ноября — двадцатипятилетие ВОСРа — наш класс стали готовить к вечеру.

Так — между собой — мы пели одни переделки:

Мы мирные люди,
Сидим на верблюде...

По военной дороге
Шел калека безногий,
А в кармане бутылка вина...

Если завтра война,
Слепим пушку из говна...

Теперь пионервожатая вдалбливала официальные тексты:

Броня крепка и танки наши быстры...

В бой за родину, в бой за Сталина,
Боевая честь нам дорога.
Кони сытые бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага.

Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим!

В сорок втором это петь было невозможно, и я про себя бубнил:

Наша поступь тверда,
И врагу никогда —
Уж гуляет по республикам нашим!

Тем не менее, когда спросили, кто назовет класс и объявит песню, вызвался я. Дома пришло отрезвление, неуверенность, страх.

Перед праздниками мы вернулись в Москву. Я спасся от конфуза на вечере и, главное, от непереносимого срама перед Игорем. Срам перед собой остался.

1977

КВАРТИРА

Перед очередным отъездом из Удельной — еще до войны — папа сказал, чтобы я поздоровался со всеми в квартире и после здоровался каждый день.

Я показал на кухне обложку новой *Мурзилки*:

— На кого похоже?

На раскрашенном кадре перегнувшийся пополам Маяковский на Красной площади мрачно любезничает с маленькой девочкой.

— На Алимпия! — хором ответила кухня.

В свои семь лет я прочно увяз в пересудах о странном соседе. Совсем недавно он бегал с французским паспортом, который пришлось сменить на обычный. Он был не как люди — соседей не замечал, не здоровался, по часу сидел в уборной или, наоборот, мог в ней запереть, носился по коридору как угорелый — того гляди, сшибет с ног или выбьет из рук кастрюлю-сковороду. Он раздражал кухню тем, что часто менял кашне и шил на заказ широкие кепки в клетку:

— Как у Маяковского.

Алимпий был сын Бернарихи — в мирное время им принадлежала вся квартира — четыре небольших комнаты, кухня с каморкой для прислуги, ванная, уборная. Остатки прежней роскоши — унитаз с голубым английским львом и счетчик с надписью СИММЕНСЪ-ШУККЕРТЪ.

Да Капельского Бернары жили еще лучше:

— При Люи мы снимали у Сретенских ворот в доме страхового общества *Россия*.

Французская Бернариха, как Малый театр, говорила по-старомосковски: *прынц*, *грыб*. Уборную по-декадентски называла: ватер.

От нее я впервые услышал древнее:

Чижик-Пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.

Она помнила и другое такое же:

Маленький мальчик
Стал на диванчик,
Снял колпачок:
Пожалуйте пятачок.

Я охотно отождествлял себя с маленьким мальчиком, но не сразу понял, что *пожалуйте* — не *пожалуйста*.

В войну дворовые дипломаты, голодные дети звонили в парадную:

— Здесь живет французская бабушка?

Бернариха выползала на сладкие звуки с черствой пастилкой или линялой конфеткой.

Когда-то она была проституткой, потом вышла замуж за коммерсанта Людвига Бернара — это он назывался Люи и имел французское подданство. Все интимное в доме — письма с марками, открытки с видами, паспарту фотографий было австро-венгерское: Бернхардт.

Кухня шептала, что коммерсанта Люи при строительстве дома Нирнзее рабочие столкнули с лесов.

В книжке о старой Москве соседки выискали портрет Бернарихина отца, пристава Раскинда. Автор писал, что пристав Раскинд обирал ночлежников Хитрова рынка.

Мама говорила, будто бабушкин брат, дед Семен, тоже коммерсант, давал Раскинду взятки: в *Трехгорном* у деда Семена в задних комнатах была запрещенная (в войну?) баккара.

Приходила Бернарихина сестра — несчастная Ávгуста, мумия, старая дева — точь-в-точь англичанка из Чехова.

Приходил Бернарихин брат Саша Раскинд — из нэпманов, до сих пор — коммерсант, по-квартирному — шахер-махер. Увидел в моих руках пять сантимов Наполеона Третьего:

— Иностранная валюта!

Коммерсант он, видимо, был никудышный. Всю войну прокручивались разговоры, как он прогорел на процентах подпольному ростовщику и б о г а т ы й Юлька его не выручил.

Бернариха располагала лучшей в квартире комнатой, сын Алька с женой-белорусской попал в кухонную каморку для прислуги. Старуха почти не вставала:

— Подагра...

Подагра — благородная болезнь, от шампанского. На кухне ее подагру считали сифилисом, но не брезгали и лишь ворчали, когда Бернариха час сидела в ватере. По ночам она извергала трубные звуки на всю квартиру:

— Стреляет, — хихикала кухня.

Изредка Бернариху визитировал придворный врач, доктор Таубкин — при соседях или по телефону:

— Профессор Таубкин.

В войну к ней несколько лет бегал — зимой на фуфу — юродивый Ванечка, маленький, невесомый, без возраста. Он кормился возле какой-то церкви, соседки над ним посмеивались, а он насмерть попал под трамвай.

По нескольку раз в год Бернариха спрашивала маму:

— А вы знаете, что Божия Матерь была еврейкой?

У Бернарихи под подушкой лежали зацелованные:

карт-посталь с Владимирской Божией Матерью,

в ладонь — деревянный Николай Угодник,

овальный финифтевый Трифон-Мученик.

Чистотой красок Трифон-Мученик потряс мое воображение: мне остро недоставало яркости. Екатерина Дмитриевна, хористка из *Немировича*, подарила мне лаковый красный ярлык от американских чулок — я не мог на него наглядеться.

У Бернарихи — как ни у кого в квартире — были редкостные сокровища. В запертом книжном шкафу за занавешенными стеклами хранились:

вольфовский Гримм с золотым обрезом,

комплекты киногазет двадцатых годов,

деревянная кофейная мельница с пружинящей ручкой и выдвижным ящиком,

старинный пушечный паровоз.

Собственно говоря, все это принадлежало Алимпию и предназначалось ему одному.

Несмотря на табу, Бернариха давала мне почитать Гримма, Тонька, жена Алимпия, не раз и надолго доверяла мне киногазеты, а на мельнице постоянно мололся кофе.

Иногда Алимпий наглухо затворял дверь большой комнаты и пускал на столе паровоз — паровоз должен был бегать по рельсам и тонко свистеть. Сам я этого не видел.

В коридоре над вешалкой — вместо шапок — и под вешалкой — вместо калош — лежали Алимпиевы гимназические учебники, случайные книги, альбомчики с перерисованными цветными звездами: Рунич, Максимов, Полонский. За этим никто не присматривал, и мама — по одной — перенесла для меня в нашу комнату *Историю древнего мира, Географию Российской империи, Прощай, оружие* Хемингуэя.

Бернарихины сыновья были художественными натурами.

Младший, Юлька — лишенец — учиться нигде не мог — женился на подслеповатой вдове богатого артиста Кузнецова (кажется, знаменитый Швандя) и вышел в помрежи Малого театра. В программках встречалось: *Ведет спектакль Ю. Бернар.*

Юлькин пасынок, сын Кузнецова Миша, воспитанный, поражал меня грубой трезвостью:

Дают — бери,
Бьют — беги.

Тебе жалко?
Жалко у пчелки,
Пчелка на елке,
Елка в лесу,
Лес за версту.

Мы прочитали в *Мурзилке*:

Лампа моя, говорю тебе я,
Эта чернильница тоже моя.

— Жадина, — заключил Миша.

Я радовался игре звуков, созвучий, слов, мне в голову не пришло бы, что из стихов можно вывести — в одно слово — суть. Я задумался: суть получалась верная, но не моя.

Старший, Алимпий, успел кончить несколько классов гимназии и знал, что имеет понятия, вкус и манеры.

По воскресеньям он готовился к выходу в свет — чистил ботинки и лацканы, звонил знакомому администратору *Фору́ма* (у нас в районе делали ударение на втором слоге), заказывал два билета в ложу и после обеда выводил Тоньку на что-нибудь заграничное. Если перед началом сеанса играл Лацо Оля́х — ходили вечером, загодя.

Их любимое — *Невидимый идет по городу* — обожаемый Гарри Пиль с подмигиванием и *Индийская гробница* — как выговаривала Тонька, Кондрат Вейт.

Всерьез слушал Алимпий радио, театр у микрофона, МХАТ, Малый, Ленинского комсомола:

Инженер Сергеев
Кому подчиняется время

Под каштанами Праги
Губернатор провинции
Жизнь в цитадели,

эстрадный концерт:

Миров и Дарский
Шуров и Рыкунин,

монтаж оперетты:

Летучая мышь
Сильва
Холопка
Золотая долина,

и больше всего — в конце тридцатых-сороковых был настоящий расцвет — музыкальные радиокомпозиции/радиопостановки:

Много шуму из ничего
Давным-давно
Соломенная шляпка
Бал в Савойе.

В постоянно открытую дверь большой комнаты было видно, как в неудобной позе Алимпий часами выстаивает, замерев под ревущей на всю квартиру черной бумажной тарелкой.

Кумиром его был актер Терехов, такой редкостной красоты, что мама его заподозрила:

— Евреи все красивые...

И этого знаменитого Терехова снабженец Алимпий ухитрился зазвать в гости. Пока Терехов в передней снимал калоши, мама успела показать ему набор открыток — двадцатые годы, Терехов в разных ролях. Гость успел ахнуть — у него таких не было, — Алимпий шикарным жестом пригласил его в комнату.

Терехов пришел после спектакля, поздно, когда, по мнению кухни, гости, собиравшиеся на Терехова, все уже съели. Хозяйки много дней не могли уняться:

— Он пришел, а ему — ну, одна груша на блюдочке.

— Они эту грушу месяц, наверно, для него берегли — гнилая совсем.

Алимпия не любили, вернее, нелюбили — в одно слово.

Его подозревали Бог знает в чем за дружбу с шофером из американского посольства — нормальные люди с посольскими знаться боялись;

обвиняли в разведении клопов — клопы ползли от лежачей Бернарихи; в худшую зиму я за ночь убил больше сотни;

негодовали на службу в МПВО — спасала от передовой.

Как-то мама, забывшись, окликнула:

— Алимпий Людвигович, вас к телефону! — и обмерла: считалось, что полоумный сосед способен ударить.

Валентин Людвигович Бернар в детстве назвал себя Алей — из Али с годами получился взрослый Алимпий.

При всей неприязни соседки наперебой с ним заговаривали и хвастались, если он удостоил ответом.

Единственный в квартире — а может, в квартале — Алимпий читал гибкий волшебно пахнущий послевоенный журнал *Америка*. *Америка* полыхала летне-осенним жаром во всех киосках: дорого (десять рублей) и боязно (возьмешь, а вдруг что?).

Вожделенный, роскошно-прекрасный журнал попадал ко мне через Тоньку, и я упивался инобытием — так все было ярко и не похоже:

стихи Сэндберга,
картины Уайета,
художественная фотография,
современные города с многоцветными толпами,
ультрамариновый фермер у вермильонного трактора,
прекрасные, чистых линий и цельных красок сковороды и кастрюли...

Мама — когда мне было лет четырнадцать — пригласила Алимпия послушать две гостившие у меня пластинки Вертинского. Войти к нам он отказался и, страдая, слушал из коридора.

Он был странным образом деликатен.

Никогда ни у кого не одолжался.

Не замечал косых взглядов.

В уборной сжигал за собой бумажку — впрочем, так же делали Клара Ивановна и Борис Федорович, Алексей Семенович и Екатерина Дмитриевна. После Бернарихи долго пахло старушечьей затхлостью.

В пятьдесят третьем году, летом, мы переехали на Чапаевский. Алимпий вскорости умер. Перед войной ему было лет тридцать пять.

В нашей квартире на Капельском не было ни одного орденоносца,

ни одного партийного,

ни одного военного,

ни одного инженера,

никого за все время не посадили,

никто не ездил в эвакуацию,

никто не был на фронте: Борис Федорович и папа — по возрасту, Алексей Семенович — по броне, Алимпий — из-за МПВО (я думаю, по нездоровью).

В эти выкладки не попадаю я сам: малолетний.

Все взрослые по определенному признаку (опускаю семейный) распределялись — каждой твари по паре:

русские — папа и мама,

украинцы — Алексей Семенович и Екатерина Дмитриевна,

прочие славяне — Борис Федорович и Тонька,

несостоявшиеся лимитрофы — Борис Федорович и Клара Ивановна,

евреи — Бернариха и Алимпий,

бывшие иностранные подданные — они же,

бывшие проститутки — Бернариха и Клара Ивановна,

из бывших — Борис Федорович и Бернариха,

кандидаты наук — папа и Алексей Семенович,

артистические натуры — Алимпий и Екатерина Дмитриевна,

интеллигенты — Борис Федорович и Алексей Семенович,

служащие — Борис Федорович и Тонька,

преподаватели — папа и Алексей Семенович,

старые без пенсии — Бернариха и Борис Федорович,

учились в гимназии — мама и Алимпий,

нигде не учились — Клара Ивановна и Тонька,

склочничали — они же,

действовали на нервы — Бернариха и Алексей Семенович,

устрашали — Алимпий и Алексей Семенович.

Кухня — народное собрание, товарищеский суд, телеграфное агентство, дискуссионный клуб и театр самообслуживания.

Едва я родился, кухня потребовала, чтобы мама убирала и за меня — мама всегда просила Клару Ивановну или молочницу Нюшу.

На кухне — из любви к искусству — разыгрывались драмы типа *занятие чужой конфорки* или *незапись газа в тетрадь*.

У кухни были свои словечки (*старпер, пердикуку́, шедеврально*), свои клише (*выплывают расписные* — всегда про Бернариху — и из советских песен: *догадайся, мол, сама; согласна на медаль*), стишки:

басня Михалкова *Лиса и Бобер*,

загадка про трамвай: Один правит,
Один лает,
Двадцать избранных сидят,
Девяносто масло давят,
Двадцать смертников висят,
Двести с завистью глядят,

свои нестрашные анекдоты:

— Кавалер ухаживает: — Вы такая интересная, вы не полька? — Я не Полька, а Танька — Полька срать пошла.

— Генеральская жена хвастается новым роялем. Ей говорят, что у неё резонанса нет. — Ничего. Мой Ваня все купит. Он и резонанс купит.

— Идут две расфуфыренные. Про них говорят: — Крали! — а они: — Это не мы крали, это наши мужья крали.

— Вокруг газ, в середине гадина — что такое? Это моя жена в газовом платье (вариант неуклюжий: Это моя жена торгует газировкой).

— Меняю жену сорокалетнюю на двух двадцатилетних!

— Меняю жену на комнату!

— В военное время приходит иностранец в нашу баню. При входе ему дают кусочек мыла — знаете, какой дают? Он говорит: — Что это? — Ему говорят: — Это хорошее яичное мыло. — А он скромно так: — Да мне, знаете, всему надо мыться.

— Рузвельт с Черчиллем говорят: — Мы вам помогали, вы нам за это после войны Крым отдайте. — Сталин говорит: — Хорошо. Только угадайте, какой палец средний, — и показывает им большой, указательный и средний. Рузвельт думает: средний и есть средний. Черчилль думает: средний из этих трех — указательный. А Сталин сложил три пальца и показал фигу.

— Начерчилли планы и ждут рузвельтата, — по образцу революционного: — Крыленко встал на дыбенко и как заколлонтает!

Екатерина Дмитриевна рассказала мне, чтобы Клара Ивановна не услышала:

— После войны в Москве откроют новые театры. В театре имени Калинина будет идти *Слуга двух господ*, в театре имени Сталина — *Не в свои сани не садись* и в Народном театре — *Без вины виноватые*.

После постановления услужливое:

— Бетховен выпил Чайковского, съел Маяковского в Сметане, стало ему Хренников, ощутил он Пуччини, вышел во Дворжак, остановился у ящика с Мусоргским, присел на Глинку, сделал Бах, пошло Гуно, но не Могучая кучка, а Девятая симфония Шостаковича.

Не слышал ни одного анекдота от Клары Ивановны, даже нестрашного: она пересказывала фелетён из газеты.

У кухни было свое общественное мнение!

Она бесстрашно разочаровалась новым гимном: не как *Боже, царя храни*, а надоевшая песня: *Партияа Ленина, партияа Сталина, мудрая партия большевиков. Интернационал* хоть красивый был.

Кухня участвовала во всеобщей тяжбе Лемешев—Козловский. Предпочтения никому не отдавалось, пока Козловский сам не нанес себе смертельный удар: спел Юродивого. Кухня ахнула: — До чего дошел!

На операх прямо из Большого кухня тонкачествовала, злорадно ловя шепот суфлера.

Кухня вздрагивала каждый раз, когда радио произносило: Марина Козолупова, класс профессора Козолупова.

Специально для кухни транслировалось культурное и понятное:

Ах, истомилась, устала я
Сын мой милый, дорогой
О дай мне забвенье, родная
Я тот, кого никто не любит
И, как бомба, разрывает
Бродил я между скал
Бедный конь в поле пал
Я цыганский барон
Любовный мой напиток
Не дорог он ценой
Расскажите вы ей
Сто разных хитростей и непременно
Скоро ты будешь, ангел мой
Близок уж час торжества моего
Что ж потом? что ж потом? что ж потом?
Паду ли я стрелой пронзенный
Часы любви бегут
В сиянье ночи лунной
Украли мою копеетьку
Не счесть алмазов каменных в пещерах
Восток прекрасный сказочный край
Сатин, муслин, кисея
Каким вином нас угощали
Я собой хорош
Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный
Хожу по дворам
Фигаро здесь, Фигаро там
Помнишь ли ты
Мне все здесь на память приводит былое
Красный фонарик при самом входе
Привет тебе, приют невинный
О мистер Браун, как рады мы вам
Если ты хочешь знать, друг прелестный
У любви, как у пташки, крылья
Высота ль, высота поднебесная
Любви все возрасты покорны
А баронесса — низший сорт

Рахиль, ты мне дана
Кто может сравниться с Матильдой моей
Силы потайные
Представьте, это был
Законный мой супруг
Аршин Мал-Алан

и чтобы не отставать от солнечной Грузии:

Кето и Коте.

Прямой принудассортимент: Хренников, Будашкин, Гомоляка, Мейтус, Подковыров, Брусиловский, Ряузов, карело-финский композитор Пергамент, Сиркка Рикка, Ирма Яунзем, трио баянистов всесоюзного радиокомитета в составе Кузнецов, Попков и Данилов, квартет имени Комитаса, еще квартет: Жук, Вельтман, Гурвич и Гуравский, и все на скрипке — т я г о м о т и н а, ж и л ы т я н у т.

После победных салютов — увертюра и концерт мастеров искусств:

Козловский,
Лемешев,
Михайлов,
Пирогов,
Рейзен,
Алексей Иванов,
Андрей Иванов,
Петров,
Нелепп,
Норцов,
Бурлак,
Максакова,
Преображенская,
Шпиллер,
Барсова,
Пантофель-Нечецкая,
Шумская,
Ирина Масленникова,
Леокадия Масленникова,
Хромченко,
Орфёнов,
Александрович,
Бунчиков,
Лебедева и Качалов.

Под праздники — эстрадные концерты — песни советских композиторов, конферанс. Под новый сорок четвертый или сорок пятый — с единственным повторением — передали — продерзостно — *Артиллерийскую колыбельную*:

С колыбельной песней на губах —
Бах!
От тебя я отгоняю страх —
Трах!
Положив под голову ладо-о-онь,
Спи, не реагируй на огонь:
— Огонь!

Граф Борис Федорович Юркевич взял Клару Ивановну из заведения. В советской Москве он был бухгалтером простого домоуправления, в царской Варшаве — следователем по особо важным делам.

Кухня считала: по особо важным, значит... Клара Ивановна вставала на дыбы:

— Особо важные — ну, уголовные, если кого убили... Как можно — Борис Фэдорович!

Борис Федорович произносил:

— Беспаспóртный.

— Октябрьский переворот.

Как и Бернариха, знал: Чижик-Пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.

Придя с работы, выпивал рюмку водки и заедал маленьким кусочком селедочки с луком:

— Для аппетита.

Не ел, а медленно кушал, совочком отправляя серебряную ложку в полуоткрытый рот. У него — как у Алимпия — были салфетки с перламутровыми именными кольцами.

Я за столом всегда спешил, обжигался. Мама назидала:

— Посмотри, как красиво кушает Борис Федорович.

В квартире все с пристрастием знали, кто что и как ест.

Никого в квартире не трогали, потому что первым должны бы тронуть Бориса Федоровича, — не трогали потому, что Клара Ивановна состояла в а к т и в е.

На работу никуда не ходила, но получала гортовские отрезы и имела закрытый распределитель. В какой-то момент где надо ее безграмотность не снесли и обязали кончить десятилетку. Перед экзаменами она волновалась, как школьница, после — как школьница, ликовала:

— Вытащила, ну, Финляндию — как раз в газете...

Энкаведешники ходили к ней открыто.

— У нас все Клар' 'Ванну ненавидели. Никого не было, пришел один — морда, как у лошади. Спрашивает о соседях напротив, а я говорю, никого не знаю, целый день с ребенком. Вам, наверно, Клар' 'Ванна нужна? — Да, я зайду попозже.

Льготы — льготами, денег у Юркевичей не было. Борис Федорович зарабатывал пустяки. Клара Ивановна чуть-чуть подрабатывала на швейной машине, но больше расстарывалась услужить — постирать белье, сбегать в магазин, прибрать комнату; за того, чья очередь: мыть коридор, уборную, кухню, плиту. Горе тем, кто отказывался от услуг — против них восстанавливалась вся квартира. Распри длились недолго — до новой общественной коалиции против нового неблагодарного.

Уходя в город, мама по необходимости оставляла меня на Каянну. Та сажала меня на двуспальную кровать, и я пересыпал из банки в банку разноцветные пуговицы. Восхищалась:

— Ну, опять ни одной не съел!

Я любил шить, сшивать листочки бумаги:

— Вдень иголку в нитку и сделай на конце кулёк!

Каянна привычным движением вдевала нитку в иголку.

Иногда она ложилась в постель, и я забирался к ней под рубашку.

У Клары Ивановны был фикус. Другой фикус был у Бернарихи. У Клары Ивановны была единственная в квартире собака — всегда черно-белый шпиц, всегда Тобик, Тобка, мой лучший друг по Москве. У Клары Ивановны до войны и после войны на окне висела клетка — всегда щегол с песнями и коноплей. Изо всех жильцов она одна из кухонного окна прикармливала голубей. Мама ни разу не завела мне цветка или зверя.

Из окна Клары Ивановны я еще различал прозрачную — из колонн — башенку над ротондой Филиппа-Митрополита. Году в сорок втором, прочитав в *Пионере* школу разведчика, я стал на глаз прикидывать расстояния — все оказалось нелепо далеким. Прозрачная башенка существовала, я ее видел вблизи, но уже не из окон Клары Ивановны.

Борис Федорович обращался со мной деловито, по-взрослому — как чиновник с привычным клиентом. Рекомендовал посмотреть в кино *Если завтра война.* Назначил ответственным по квартире с окладом три копейки за шестидневку. Я сказал, чтобы он мне лучше платил бумажками.

Анекдот Бориса Федоровича: — Глупую барышню учат, как вести себя в обществе — сначала поговорить о погоде, потом о музыке, напоследок — что-нибудь острое. Она и сказала:

Какая чу́дная погода!
Училась музыке три года...
Бритва.

Граф Борис Федорович жил жизнью посредственного бухгалтера, но иногда спохватывался, набирал в библиотеке Грибоедова классиков и на кухне сухо докладывал Алексею Семеновичу:

— А у Жуковского есть перлы — не хуже Пушкина.

Когда в сороковом присоединили Латвию, Клара Ивановна спела мне:

Кур ту теци, кур ту теци,
Гайлите ман? —

но от розыска родственников воздержалась. Ей хватало работы в активе.

Нота бене: осенью сорок первого года у Клары Ивановны просили, чтоб защитила, когда придут немцы!

В голодное время Клара Ивановна и Борис Федорович прятали друг от друга продукты, разыскивали и съедали. Заперев дверь, жилистая латышка лупила тщедушного графа и вопила на всю квартиру:

— Он мене бьет! Он мене бьет!

Алексей Семенович Литвиненко и Екатерина Дмитриевна Матвеенко — курские уроженцы из переселенных при Екатерине — блюли честь нации и говорили по-русски с неслучайным распевом. Говоря по-русски, Алексей Семенович никогда не гакал, но аккуратно произносил: заўтра. Кухню бесили ночные телефонные разговоры х о х л о в — не потому, что ночные, а — по-украински. Кухня настаивала, что такого языка не существует. Алексей Семенович принимал вызов и высокомерно предлагал произнести по-украински *пятница*: п ь я т н ы т я. Не получалось ни у кого. Тогда заходили с другой стороны, за глаза:

— Табуретка по-ихнему — пидсрачник. Хоре хорькое, нарочно не придумаешь!

— А горшок — урыльник, — у рыла на ночь ставят — хи-хи-хи хи-хи-хи...

Кухня возмущалась тем, что хохол брился по два раза на дню, утром и вечером.

Раздражали его телефонные разговоры с коллегами и соплеменниками:

— Коммутатор НИИСа? — (Мне слышалось замечательное слово: хомутатор).

— Это разные фонемы! — (Кухня брезгливо повторяла: фонема).

— Васыль Ехорычу!

Поразительно, что из-за телефона не возникало скандалов — даже когда говорили часами, даже когда по междугороднему — громко, за полночь. То ли дело газовый счетчик на кухне: рядом с ним висела тетрадь и огрызок карандаша на веревке. Хозяйки умонепостижимым образом высчитывали и записывали, сколько сожгли. Тоньку постоянно подозревали в мошенничестве, но ругня — до надсада — взрывалась не обязательно из-за нее, скорее — просто когда приспевало время.

Клара Ивановна постоянно мыла, скребла, чистила — и не вылезала из грязи. Хохлушка подолгу пропадала в театре — и при том комнатка Литвиненок всегда сияла чистотой. Даже пыли не было, хотя стены ломились от книг. Из-за стеклянной дверцы книжного шкафа выглядывал Гегель, похожий не то на колли, не то на борзую.

Алексей Семенович знал и ценил философию не позже Канта/Гегеля. Быть может, от этого знания и происходило его повседневное грозное высокомерие.

Когда Лёня уходил в институт, Екатерина Дмитриевна садилась за пианино и выводила контральтовые вокализы:

— áа áа áа áа, óо óо óо óо, ́ии ́ии ́ии ́ии...

На пианино, на крахмальном полотенце, лежали ноты: вальс *Над волнами* с парочкой в лодке, *Спите, орлы боевые* с военным памятником, *Юнкера* Вертинского — мама про них говорила Екатерине Дмитриевне, что это те самые, которые защищали Кремль:

— Мы тогда все бегали убитых смотреть, может, кто свой...

Иногда Екатерина Дмитриевна пела:

Оружьем на солнце сверкая,
Под звуки лихих трубачей...

Вспоминала:

— Когда в Курск вступила деникинская кавалерия... Рассказывала, как на репетиции *Прекрасной Елены* Немирович не удержался и погладил Кемарской плечико. Как посадили Голембу — ненадолго, но ноги себе поморозила. Как к ним приезжала мать Зои Космодемьянской:

— Лекцию прочитала. Хоть бы прослезилась. Мать все-таки.

Приносила из театра новости:

— В центре оборвался эскалатор — настоящая мясорубка...

Однажды подарила две контрамарки, но не в оперу, где пела в хоре (— Стоит сбоку, только рот разевает, — считала кухня), а на украинский балет *Ночь под Рождество*. Ходили мы с бабушкой. В антракте я перелезал из ложи бенуара в партер и обратно. Все вместе так понравилось, что вместо спасибо спросил:

— Кто может бесплатно смотреть каждый день?

Екатерина Дмитриевна подумала:

— Пожарник.

Я возмечтал стать пожарником в театре. Через какое-то время бабушка расписала, какого ужасного обгорелого

пожарника привезли к Склифосовскому: ж а л к о, м о л о д е н ь к и й.

Екатерина Дмитриевна, видя мою любовь к красивым вещам, рассказала, какие сокровища хранятся у бутафора.

У Немировича ставили *Тихий Дон* и *Поднятую целину* Держинского (тогда писали без З). Екатерина Дмитриевна в лицах изображала, как Григорий прячется в стоге сена, а казаки его ищут и тычут в стог саблями. Пела, как с одной стороны:

Светопреставление, брат на брата восстает,
Все кругом перемутилось, Антихрист идет, —

а с другой речитативом (теперь нельзя без прононса Поль Робсона):

Харощие ребьята, жизнь па-новаму пастроют,
Настоящимы людьмы будут, настоящимы...

Надо думать, из-за Екатерины Дмитриевны и опер кухня из года в год дебатировала:

— Шолохов не сам написал...

Возражений не было, всем хотелось, чтоб не сам, но кому интересно прикрыть занимательные пересуды?

В отсутствие Лени Екатерина Дмитриевна приглашала меня глядеть французские книги:

— Руки у тебя чистые?

— Чистые, только что хлеб ел.

— Пойди на кухню и вымой мылом!

Я соображал, что это она не доверяет хлебу: она всегда обжигала на газе батоны из булочной:

— Продавщица за сопливый нос схватится, а потом той же рукой хлеб подаст.

У себя она показывала мне большие тома, вроде энциклопедии, и говорила, что самые красивые города на свете не Париж и Ленинград, а Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро.

Как-то она переодевалась при мне, я увидел ее огромные груди и обалдело спросил, что это.

— Это у меня два сердца, меня нельзя убить, — сказала она и сглазилась.

На гастролях на Волге она упала с пароходного трапа и умерла от перелома основания черепа.

Алексей Семенович самолетом отвез ее в Курск — в осужденном кухней дорогом цинковом гробу.

Через несколько лет он женился на даме с неслучайной фамилией Бромлей.

В предвоенном году Алексей Семенович меня напугал. Он пришел советоваться с папой, как заполнить анкету. Я подглядывал через руку и в графе *партийность* увидел б/п. Я знал, что *б* — бывший, и что за это бывает. Папа не вдруг меня успокоил.

Алексей Семенович меня игнорировал. Только раз, когда мне было пять лет, усадил меня на свой письменный стол, дал в руки коробку из-под *Красного мака* и сделал феноменальный снимок.

Да еще во время бомбежек Лондона показал мне нижнюю часть картинки из *Дейли Уоркера*: параллельно друг другу трубы, трубы, трубы:

— Угадай, что это?

Я угадал, но из вежливости не сказал. Он вручил мне фотографию огромного пожара с параллельными пожарниками и шлангами.

Не от бабушки/мамы, а от Алексея Семеновича я впервые услышал *домовой*, не понял, послышалось: *дымовой*.

Мама спросила, нет ли у него *Гекльберри Финна*.

— Есть по-украи́нски, — отказал он.

С годами все чаще приходилось — через не могу — спрашивать его, что это за марка, монета, медаль. Он постепенно менял гнев на милость.

В сорок седьмом консультировал, какой приемник купить. Остался доволен, что мы с папой принесли из комиссионки *Телефункен*. Толк он знал: перед войной выпустил шестиязычный словарь по радиотехнике и добыл восхитительный 6-Н-I, который отобрали в сорок первом, когда отбирали у всех. На 6-Н-I в довоенном эфире все было, как Москва — чуть погромче, чуть потише. Когда я слышал по радио иностранную речь, мне всегда казалось: ругаются.

После войны Алексей Семенович купил ВЭФ самого первого выпуска, с круглой шкалой. Он растолковывал

мне, что надо слушать, чтобы скорей понимать по-английски. Дал мне недели на две книгу американских скаутов.

Учил меня фотографии. Объяснил, что лучший ФЭД — довоенный, от такой-то тысячи до такой. Предупредил, что снимать деревья в веселом инее — пошлость. Критиковал мои первые снимки, демонстрировал свои, восхитительные.

Зимой он ходил под Москвой на лыжах, летом — в длинные пешие путешествия. Был на Куликовом поле. Сфотографировал похожего на Суворова смотрителя монумента:

— Поразительный человек!

Из фетовских мест привез вирированные, как старинные, впрямь фетовские пейзажи и потемневший кирпич с круглым клеймом ШЕНШИНЪ. Сокрушался, что старики помнят барина и понятия не имеют о поэте.

Алексей Семенович посвятил меня в украинскую поэзию. Ранний Тычина, сгинувший Дмитро Загул, дореволюционный Рыльский, из снисхождения к моему футуризму — Михайль Семенко, двухтомная антология года тридцатого, без переплета, зато с портретами.

Я увлекался Хлебниковым; Алексей Семенович показал мне тоненькую книжку: учитель петрозаводской гимназии Мартынов утверждал, что речь человека состоит из дышевы́х чу́ев.

— Дышевы́е чу́и! Подумай только, это же девяностые годы!..

В начале двадцатых Алексей Семенович учился в Брюсовском институте, вспоминал, что Брюсов в каждом студенте видел врага и соперника.

Анатолий Семенович требовал, чтобы я читал классиков как современников — критически и пристрастно:

— Ты знаешь, что *Погасло дневное светило* — переделка из Байрона? Ты заметил, что *Шуми, шуми, послушное ветрило* — абсурд? Если парус наполнен ветром, он не шумит.

Алексей Семенович дал мне урок политграмоты:

— Марксизм занимает такое же место в системе философии, как твои башмаки в системе музыкальных инструментов.

Я приносил Алексею Семеновичу свои творения. Он важно указывал на несообразности, корил за неестественность тона, стыдил за неряшливость в русском языке:

— Ты послушай, как говорит твоя мама!

Часто из-за письменного стола он вылетал на кухню и требовал, чтобы мама, не задумываясь, прочла написанное на бумажке слово. В благодарность рассказал американский анекдот:

— В Нью-Йорке Рабинович меняет фамилию на Киркпатрик. Через несколько дней меняет фамилию на Мак Магон. — Рабинович, зачем вы это делаете? — А, меня спросят, мистер МакМагон, какая у вас была фамилия раньше? И я скажу им: Киркпатрик.

После сессии ВАСХНИЛ он схватил папу за пуговицу и шепотом:

— Я ничего не понимаю, Лысенко — это же ламаркизм!

Сталинский марксизм в языкознании лишил его верной докторской:

— Нам приказывали основываться на Марре. Теперь у нас отняли основу, а взамен ничего не дали...

С папой Алексей Семенович советовался по практическим, житейским, служебным делам и торжественно провозглашал:

— Я восхищаюсь Яковом Артемьевичем! Ясность его взгляда на мир достойна удивления.

1977

ОТЕЦ

Если бы не беременность мной, мама вряд ли вышла бы за отца. Бабушка до конца дней думала: мезальянс. В богатом доме Трубниковых навидалась красивой жизни, мечтала, чтобы дочери барынями никогда не работали — так оно и случилось, только не дай Бог как.

Бабушка напевала:

Муж на теще капусту возил,
Молоду жену в пристяжке водил:
Ну-ка, ну-ка, ну-ка, теща моя,
Тпру, стой, молодая жена!

При мне говорила: — Скот. Жену привел, как корову купил.

Отец был: Деревня серая. Нечуткий. Нетонкий. Невнимательный. Негалантный. И работал где — в Тимирязевке:

Там из орудий не палят
И шпор не носят,
И шпор не носят.
Студенты там коров доят.
И сено косят.
И сено косят — тру-ля-ля!

С другой стороны, куда маме было деваться? В проходной комнате — после уплотнения остались две — жила бабушка с дедом, в дальней — мама и Вера.

— Я никого к себе пригласить не могла. Кто придет — Верка назло разляжется лицом к стенке, ни за что не уйдет. У Якова хоть маленькая, да была...

Маленькая, но со всеми удобствами — центральное отопление, газ, ванна, позже — телефон, и — самое главное — рядом с Большой Екатерининской, с бабушкой.

Когда мама перебралась на Капельский, дед с бабкой не спали ночь: отец был простой, но скрытный — кто его разберет? Может, подкоммунивает, может, свой в доску.

Жизнь на Капельском не заладилась с первого дня: из деревни нагрянула отцова мать Ксения Кирилловна.

— Две недели на голове сидела. Будто ничего не понимает, дубина стоеросовая. Прям' не знаю, как надоела. Да еще-ещ' косо глядит: барыню привел. Он тоже хорош — хоть бы сказал. Убиралась бы к Ивану с Авдотьей — он тоже сын. У него две комнаты. А то летом в Удельной — распожалуйста, только сиди с Сережкой. А зимой в Москве — так фиг жареный!

И в Удельной маму почли барыней. Брат Иван — агроном, деревенский, Авдотья — из учительской семинарии — тоже деревенская. Оба любили землю и рылись в саду дотемна. Мама — городская, земле не кланялась: не было ни желания, ни необходимости.

До — в одной половине дачи жили, другую сдавали. Мама была против:

— Ни за что! Все слышно, чуть не все видно.

Иван, человек угрюмый, по привычке отошел в сторону. Авдотья — нрава лихого — так, чтобы слышали:

— Знаешь, где Яков ее подцепил? На Цветном бульваре.

— Откуда ты знаешь?

— Это ты один, дурак, ничего не знаешь.

Мама нажаловалась отцу. Отношения между братьями натянулись.

Так это было или не так — не знаю.

В таком соседстве на полупустом участке, едва огороженном слегами, мама просиживала со мной с мая до октября-ноября. Боялась, когда забредали коровы, пуще того — цыгане.

За стенкой Сереня— Ксении Кирилловне:

— Бабушк', а бабушк', хочешь я до станции голый дойду?

С соседними дачами — Тихоновыми, Богословскими — мама ладила плохо: в глаза лебезила, за глаза — не считала людьми. Московских подруг не приглашала. Для облегчения жизни пустила Матенну, мою няню. Бабушка заявлялась в любую погоду: плыть, да быть. Обязательно привозила вкусное и дорогое — икру, лососину, осетрину, семгу, ветчину — пусть по сто-сто пятьдесят грамм.

Отцу вменялось в вину, что он не носил маме в роддом из торгсина. Время было такое, что, когда бабушка передала маме туда апельсин, палата сразу враждебно:

— Буржуйка...

В отпуск отец возился в саду, а так — ночевал с субботы на воскресенье, привозил крупу, сахар: в Удельной, в поспо было с наценкой.

На базар, в магазин за провизией — как и по всем делам — обычно ходил отец. Мама ленилась, оправдывалась:

— Не я зарабатываю...

Отец зарабатывал скромно, но больше, чем дед вместе с бабкой.

Как-то мама, соскучась, бросила меня на Матенну и покатила в Москву.

— Пришла я на Капельский — у него щеки лоснятся, он сосиську ест, а я в Удельной на одной окрошке сижу...

Разница в воспитании: отец мог смолотить сковородку картошки, мама брезгливо:

— Хадось какая! Видеть эту картошку не могу!

Отец удивленно поднимал брови: едва кончался второй, самый страшный голод.

Разносолов, деликатесов, *снадобий, телячьих нежностей* не признавал, считал, что надо есть досыта, калорийное и с витаминами; доцент кафедры кормления.

Для баловства — по воскресеньям к чаю — сам жарил хлеб.

Консервы — необходимость: мясные — бывали и в Удельной. Шпроты — роскошь — покупались перед войной раз или два. Сгущенное молоко — чайную ложечку — дала попробовать Екатерина Дмитриевна. Потрясло.

Восхищала любительская колбаса — два раза в месяц по дням получки, тонко нарезанная в гастрономе — двести граммов. На колбасу отец иногда клал сыр — получался двухэтажный бутерброд, как на Первой Мещанской — двухэтажный троллейбус.

Летом арбузов, дынь, персиков, абрикосов не покупали: хватает своих фруктов-ягод.

Но когда в первый раз после стольких лет зимой выкинули — из Испании — апельсины, отец принес их кошелку (сетки, авоськи еще не возникли) — да еще отстоял в очереди.

Мама, считалось, прекрасно готовила. Услышав выражение *национальное блюдо*, я решил, что русские национальные блюда — картофельный суп со сметаной и котлеты с кашей или пюре.

Отцу нравилось именно это; вечером, после работы, просил добавки и сам подкладывал. Мне тоже нравилось. Жареного мяса мне никогда не давали: не ужуешь. Селедка непонятно почему казалась мне едой неприличной — может быть, из-за запаха на ножах-вилках. Отец рыбного ничего не ел: кости.

Отец копил деньги. Хотел нашу комнату обменять на две с приплатой. Мама на словах соглашалась, но каждое

предложение отвергала: боялась хоть чуть подальше отъехать от бабушки.

Отец ворчал, что приезжим дают отдельные квартиры, а коренным москвичам...

Отдельных квартир я не видел — трубниковская ошеломила, как прихоть природы. Люди не жили в своих квартирах, а проживали — кто свободнее, кто теснее — на жилплощади в коммуналках. Наше существование втроем на тринадцати метрах с двумя огромными окнами и скошенным углом не казалось мне ненормальным. Отцу — казалось; а я так привык к разговорам *комната на две комнаты*, что *меню* на стеклянной двери столовой прочел как *меняю*.

Как я любил маму! В Удельной первое утреннее движение — к ней (ее топчан стоял в папиной комнате, но спала она на другом — в моей). Всех прекрасней, родней, утешительней. Лучше всех понимает.

А отец...

Отец был в академии с утра до ночи. Меня присвоили и баловали бабушка/мама. Видя, что получается, отец вздыхал:

— Лень раньше нас родилась.

Он бывал бит прежде, чем начинал возражать, и умывал руки:

— Ваш ребенок, вы и воспитывайте.

Мама на слово говорила ему десять. Он возмущался:

— Да дай ты слово сказать! — а когда мешала работать, взывал: — Иди в свое стойло!

Он был оскорбительно простой, здоровенный, ни чорта его не берет, за все довоенное время болел один раз — малярией, молча и неинтересно.

Маме постоянно недомогалось, она с увлечением рассказывала бабушке и мне, где что у нее кольнуло, ёкнуло, то́кнуло, подкатилось. Недомогание я счел хорошим тоном и, подражая, жаловался на болящее и придуманное. Отец этого не любил:

— Жертва вечерняя.

Отец с грехом пополам — для кандидатского минимума — осилил Гальперина. В анкетах писал: *английский*,

читаю со словарем. Мама участвовала в моем увлечении Францией и учила французскому и немецкому.

Отец знал: *Однажды в студеную зимнюю пору* и:

Уши врозь, дугою ноги
И как будто стоя спит.

Мама — Бальмонта и Северянина. Говорила: эстетные. Под лаковым гимназическим переплетиком я читал:

Пишу тебе в альбом:
Ударься в стенку лбом,
Тогда от сильной боли
Меня ты вспомнишь поневоле, —

и в обрезе последней, переплетной страницы — клязьма, приведенная Пушкиным:

Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня.

В альбомчик я внес свое, крупными буквами:

Средь таежных синих льдов
Бродит старый рыболов.
21/III—41 г.

Несомненно, влияние радио. (Было у меня еще воспоминание о наших с Борей речных радостях:

Плывет там плот,
Заросший травой
И дохлой стрекозой.)

В родне отец один любил русские песни — только не хор Александрова. Мама все русское называла *хор Пятницкого*. Она по радио слушала *Элегию* Массне — Шаляпин тянул м-м-м — и *арию с колокольчиками* — Барсова, колоратура. В споре Козловский — Лемешев не принимала ничьей стороны. Соглашалась, что Козловский красиво выводит *ллубллу* и что голос сильнее, но признавала, что у Лемешева — *тембр приятный*. Она вспоминала Собинова и как Шаляпин рассердился на Шуйского, дернул за бороду — а борода-то приклеенная...

У них с отцом даже слова были разные. Уродилась клубничина в мой кулак, мама: — Забабаха.

Отец: — Граммов сто...

Отец шутил: Увы и ах, —
Сказал Сирах, —
Мои последние штаны
И те в дыра́х. — Мне было не смешно.
Загадывал: А и Б
Сидели на трубе... — Я недоумевал.
Разводил руками: — Не годится Богу молиться,
Годится горшки покрывать. — Я не понимал смысла.

Когда на плечо капнула птичка: — Оставила визитную карточку. — Я ёрзал.
Иронизировал: — Кусочек с коровий носочек. — Меня передергивало.
Осуждал кого-нибудь: — Охрёмка. Ваняга. — По лицам бабушки/мамы я понимал, что они обращают эти слова на отца.

Ему доставалось за всю епархию: за себя, за Ивана с Авдотьей, за бабушку Ксению:

— Все ей Сереня да Сереня. Тут Андрея не на кого оставить...

Стало быть, Матенны уже не было.

Редко я оставался на бабушку Ксению, смотрел в ее левый невидящий глаз, слушал скучное, деревенское. Раз она исполнила мне былину:

...граф Пашкевич
Собирался во поход.
Он походом-то идет,
Полки вслед идут за ним,
Пыль клубилася за ним.

Я был на стороне Бальмонта и Массне, не полюбил землю, не полюбил бабушку Ксению, выдумал для отца обидное прозвище Отчи́м — с ударением на И. Прочитав *Принца и нищего*, я стал бредить благородным происхождением.

Чего-то важного в соотношении возможного и невозможного не узнал тот, кто в детстве не подозревал, что его родители — ненастоящие,

Мои были самые настоящие.

Году в пятидесятом я нашел за диваном коробки со старыми роскошными стеклянными негативами 13 на 18 и отпечатал.

Снимок семьи Сергеевых. Год примерно десятый. Деревня Жуковка.

Перед избой с большими высокими — недеревенскими — окнами с резными наличниками — не на завалинке, на лавке во всю стену — сидят восемь человек.

Тощий хозяин в казакине, бороденка, взгляд некрасовского страдальца.

Хозяйка — бабушка Ксения — темный цветастый платок, темная до полу юбка — суровости, важности на двоих.

Невестка чуть-чуть позатейливей, на руках плачущий внук в картузе и тёплом — у него оспа.

Деревянный конь с хвостом, но без головы.

Старший сын Павел — рабочего вида, в пиджаке и косоворотке, дельный; для солидности — небольшие усы.

Кирилл — в фуражке, учится, глядит в объектив, хихикает.

Иван — полная неожиданность — светлое лицо, улыбка, тоже в фуражке, учится.

Яков — отец — слегка не в фокусе: это он снимает, завел затвор и сел сбоку — барин, плоская шляпа, тройка, стоячий округлый воротничок, нога на ноге, брюки в стрелку.

Девятый — белый на белой стене — как после болезни. Десятый — впереди всех на другом деревянном коне, тоже в фуражке. Один из них Федор, другой — первый сын Павла, имени я не знаю.

Конечно, все принарядились для снимка. Но — все в ботинках, все, кроме хозяина и хозяйки, глядят в город.

Старше этой фотографии только бронзовый складенек, Николай Чудотворец; мой прадед, отец хозяина с фотографии носил в Севастополе.

Жили так: у помещицы брали коров на зиму, сено было свое, от навоза поле рожало исправно. Пить заводу не было.

После земской трехлетней школы учительница определила самых способных — в том числе моего отца — в Щапово.

Художественная фотография И. Д. Данилова. Москва, Мясницкие ворота, дом Кабанова против телеграфа. Негативы хранятся. Рукой отца: *18/XII—1905 г.*, то есть ему шестнадцать. В тужурке, причесанный, лоб хороших пропорций и лепки, лицо задумчивое — лицо студента из разночинцев, деревней не отдает.

Коллективный снимок первого выпуска Щаповской школы. Все двадцать выпускников выглядят простовато, некоторые грубовато, и отец из прочих не выделяется. Умение слиться с окружением впоследствии оказалось полезно.

Российский герб. Затейливый шрифт:

АТТЕСТАТ № 628

Дан сей аттестат от Педагогического Совета Щаповской казенной сельскохозяйственной школы первого разряда, на основании ст. 35 устава ее, за надлежащим подписанием и приложением печати, ученику означенной школы Сергееву Якову Артемьевичу в том, что он поступил в школу 1903 года, окончил в ней полный курс 1907 года и на окончательных испытаниях оказал следующие успехи:

1) По общеобразовательным предметам:
Закону Божию — хорошие 4.
Русскому языку — хорошие 4.
Арифметике — очень хорошие $4^1/_2$.
Геометрии — очень хорошие $4^1/_2$.
Землемерию — хорошие 4.
Черчению — хорошие 4.
Географии — очень хорошие $4^1/_2$.
Русской истории — хорошие 4.
Физике — хорошие 4.
Химии — хорошие 4.
Ботанике — очень хорошие $4^1/_2$.
Зоологии — отличные 5.

2) По специальным предметам:
Земледелию — отличные 5.

Лесоводству — не обучался —
Животноводству — отличные 5.
Садоводству и огородничеству — отличные 5.
Сельскохозяйственной экономии и счетоводству — отличные 5.
Законоведению — отличные 5.

3) По мастерствам:
Столярному — обучался.
Слесарно-кузнечному — обучался.

4) По практическим работам:
Земледелию — отличные 5.
Животноводству — отличные 5.
Садоводству и огородничеству — отличные 5.

Во время пребывания в школе он, Сергеев, поведения был отличного.

На основании ст. 37 устава школы он, Сергеев, пользуется по отбыванию воинской повинности льготою второго разряда.

Из предоставленных Сергеевым документов видно, что он родился 16 октября 1889 года, происходит из крестьян и вероисповедания православного.

Село Александрово, Московской губернии, Подольского уезда, Августа 22 дня 1907 года.

Управляющий школою — (подпись).
Преподаватели — (подписи).
Секретарь Совета — (подпись).

Печать с московским гербом.

Я привожу документы: они снимки с меняющегося времени. Я привожу даты: слишком многие совпадают с громкими датами времени, которого мой отец был житель, отчасти свидетель, никогда — соучастник.

Для начала: в 1889 году родился Гитлер и построена Эйфелева башня. В том же году родилась Ахматова. Мой отец был бы счастлив всю жизнь не слыхать о них.

ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПОДОЛЬСКОГО УЕЗ. МОСКОВСК. ГУБ.
ЯНВАРЯ 28 Дня 1914 г. № 319.

АТТЕСТАТ

Выдан сей крестьянину Московской губернии, Дмитровского уезда, Подчерковской волости, дер.

Жуковка Якову Сергееву в удостоверение того, что он по окончании Щаповской казенной сельскохозяйственной школы I разряда 22 августа 1907 года поступил на должность заведующего Сенькинским имением, находившимся в пользовании Подольского общества сельского хозяйства, в каковой должности и оставался до 22 октября 1911 года. Обязанности свои Сергеев исполнял вполне добросовестно и аккуратно, хозяйство имения во время заведывания им Сергеева было в вполне удовлетворительном состоянии. Оставил службу свою в Сенькинском имении Сергеев по случаю поступления в солдаты для отбывания воинской повинности.

Председатель общества — (подпись).
Секретарь — (подпись).

Печать с двуглавым орлом.

...Теперь бы это называлось характеристикой и не имело отношения к действительности. Тогда слова сохраняли смысл. *Вполне добросовестно* и *вполне удовлетворительно* значило вполне добросовестно и вполне удовлетворительно. *Воинская повинность* называлась воинской повинностью.

В неполные восемнадцать лет отец заведовал имением — племенным рассадником крупного рогатого скота и свиней. Расхаживал хозяином — со стальными часами *Мозер* на цепочке — до недавнего шли минута в минуту. По тогдашнему обыкновению, помимо жалования, ему полагалась бесплатная квартира и любые произведения подведомственного хозяйства.

— Тогда все проще было, люди свободнее жили и не боялись. Заглядывали на огонек. Вечером прикажешь заложить дрожки и едешь за семь верст к соседу. Что делали? Чай пили, в карты играли. Как-то за зиму я всего Чехова прочитал. И *Сахалин* Дорошевича. А в Щапове устраивали любительский спектакль — я был Агафьей Тихоновной...

В эпоху Блерио и Уточкина приятели оравой наезжали в Москву, где-нибудь на улице, в толчее затевали:

— Вон он! Да нет, не там, левей... Над трубой. Теперь ниже, еще ниже! Над зеленой крышей. Совсем у карниза. В углу! Увидел? Вот он — да вот же! — и незамеченные выходили из самодельной толпы. Тогда это считалось художеством в самом житейском смысле.

Отец никогда не пил-не курил. Компанию старался водить с равными себе — друг Качкин (про него знаю мало) — или с теми, кто выше, у кого поучиться — потомок Гоголь-Яновский; Менделеев-сын, брат Любовь Дмитриевны, агроном, умер двадцати шести лет — отравился консервами. С тех пор у отца навсегда опаска к консервам. Остался подарок — *менделеевская кружка* — большая, толстая, чтоб не разбилась, — из корабельной посуды. Из нее якобы пил сам Менделеев.

Павел освобождался от призыва как старший сын, первым в солдаты пошел Яков. По образованности — остался на месте, вольноопределяющимся, непонятно, почему на так долго. Служба была нетрудная, времени и сбережений хватало. Тут-то и развернулась его фотографическая деятельность.

Место действия. Три солдата на крыльце двухэтажного дома. Над дверьми: УПРАВЛЕНИЕ ПОДОЛЬСКОГО ВОИНСКОГО НАЧАЛЬНИКА и табличка: ДОМ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА № 94. Почтовый ящик с орлом и конвертом, над ним: ПРИЕМ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В 12 ЧАС. 30 МИН. ДНЯ И В 8 ЧАС. ВЕЧЕРА.

Автопортрет на железной койке. Лежит спокойно, опершись щекой на ладонь, локоть в двух белых подушках; в левой руке — газета. В изголовье на железном пруте овальная бирка: 5, ПИС. УЧЕН. ЯКОВ СЕРГЕЕВ 1912 г.

Пять солдат под ракитой.

Пять солдат в каменоломне.

Восемь солдат в казенном дворе.

Струнный оркестр. Отец с балалайкой. Лица на снимках красивые и некрасивые, попроще и поотесанней, — но все спокойные и благообразные.

Пирамиды сокольской гимнастики — из десятков солдат. У подножия — офицеры. Маленький, с брюшком, в

пенсне — подольский воинский начальник. В отличие от других офицеров, он не в сапогах, а в штиблетах, и на мундире — ни ордена, ни медали, один полковой знак. У солдат в пирамидах лица молодцеватые, у офицеров внизу — довольные, гордые.

Воинский начальник с женой и дочерью — перезрелой, томной — у самовара. Он и здесь в фуражке: боится, на снимке будет заметно, что он закрашивает плешь краской.

Без усов отец себя не запечатлел. Было дело — сбрил, из интереса. Фельдфебель при всех обругал:

— У, ляха старая!

Упущение: ни одной карточки Кононенки, подольского Швейка. Словесность. Фельдфебель вопрошает:

— Кононенко, кто наш государь император?

— Государь император... Мария Хвёдоровна!

— За кого мы готовы отдать живот?

— Отдать живот... За Марию Хвёдоровну!

— Кто враг наш, внешний и внутренний?

— Внешний и внутренний... Мария Хвёдоровна!

Пирамида поредела, мрачная на фоне щербатого кирпича и покосившейся галереи.

Трехаршинный циркач-ополченец с крестом на картузе и винтовкой к ноге — до пояса. Рядом с ним, как бывало перед пирамидой, снимаются офицеры. Это война.

Отец почему-то в Сибирском линейном полку, обреченном в Карпатах. В последнюю минуту подольский воинский начальник его возвращает. Буквально перед посадкой:

— Сергеев, останешься у меня. Звания вольноопределяющегося лишишься. Согласен?

Конечно, согласен. Почему воинский начальник его спас? Незаменимый писарь? Лично приятен? Кто-то замолвил слово? Жених для дочери?

Постоянный пэттерн судьбы моего отца состоял в том, что всегда кто-то его спасал.

Последний солдатский снимок. Садик, забор. У клумбы в белой гимнастерке барином развалился отец. На погонах две лычки. Унтерский чин вскоре пришлось скрывать.

Политикой он не интересовался, но летом семнадцатого — снова за грамотность — стоял во главе мелкого малопартийного совета. От советской власти и это пришлось скрывать.

В ноябре брат Иван привез из Москвы двух подростков:

— Юнкера из Кремля.

Сам себе голова, отец выдал им документы.

На выборах в Учредительное собрание голосовал за народных социалистов — почти эсеры, но против террора, как кадеты.

— В Подольске у нас один помещик был. Усадьбу ему сожгли. Остался у него дом в Подольске и на всю се́мью — тысяча серебряных рублей. Он говорит дворнику: — Такое трудное время. Боюсь дома держать. Ты пойди, Василий, зарой в саду. — Сам не мог! Потом хватились — а там ничего нет. А верный был человек, этот Василий. Наверно, сказал кому, похвалился...

После ВОСРа отец понял, что новая власть любит бумаги, стал их копить, огораживался ими, снимал впрок нотариальные копии.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 930

Солдат Управления Подольского Уездного Воинского Начальника Яков Артемьевич Сергеев, призыва 1911 г., происходящий из гр. Московской губ. Дмитровского уезда, Подчерковской волости, дер. Жуковки, согласно приказа Войскам Московского Военного Округа 1918 года . 158 уволен от службы вовсе, что подписью с приложением казенной печати удостоверяется. —

23 февраля 1918 года, гор. Подольск, Моск. губ.

Подольский Уездный Воинский Начальник, Член Совета Раб., Сол. и кр. депутатов — Качкин.

Делопроизводитель — (подпись).

Печать с двуглавым орлом без корон, машинопись по старой орфографии, содержание и язык — от Временного правительства. Нота бене: *гр.* вместо *крестьян*. От большевизма — листок, в половину тетрадного.

Отец ушел из воинской канцелярии, оставив открытый сейф с позолоченными орденами Временного правительства, ушел от гражданской войны.

Как это удалось? Помог сенькинский друг Качкин? Пэттерн. Так или не так, оправдалась любимая отцова пословица — со сдвигом:

— Не хвались едучи во рать, а хвались возвращаючись с рати.

Из автобиографии 1948 года:

> С 19 февраля 1918 г. по 1 марта 1919 г. работал секретарем Подольского райзо и затем управляющим совхоза «Дубровицы» Подольского района, принадлежавшего в то время МОЗО. С 1 марта по 15 декабря 1919 г. учился на курсах при Тимирязевской с/х академии.

В сущности, перевод с ленинского на сталинский. Одиозная дата демобилизации 23 февраля 1918 года исправлена на нейтральную. Уездный земельный отдел превратился в райзо, отдел земледелия московского губсовдепа — в МОЗО, Петровская академия — в Тимирязевскую. Остались одни Дубровицы:

— В Дубровицах церковь была чу́дная... историческая. —

И лиловый вирированный снимок дубровицкого барокко.

Ветхий листок в линейку, резиновый штамп в углу; далее — от руки:

> Народный Комиссариат Земледелия
> Отдел Животноводства
> Курсы инструкторов
> по животноводству и молочному хозяйству
> По части учебной
> Октября 18 дня 1919 г. № 200
> Москва, Петровская с-х Акад.
>
> УДОСТОВЕРЕНИЕ
>
> На основании постановления Комитета обороны г. Москвы о регистрации нетрудового населения

опубликованного в № 211 «Изв. В.Ц.И.К.» 23 сентября 1919 г., Курсами Инструкторов по животноводству и молочному хозяйству выдано тов. Сергееву Якову Артемьевичу, родившемуся в 1889 г. в том, что он состоит слушателем на вышеозначенных курсах отдела животноводства Наркомзема, что подписью с приложением печати удостоверяется.

Вр. Заведывающий курсами — (подпись).

Секретарь курсов — (подпись).

Печать с гербом РСФСР.

На обороте — казенные записи об отправленных в центр посылках с почтовым штемпелем УСОЛЬЕ СИМБ.:

17/III Подольск Моск. г. И. А. Сергееву 17 ф. сух.

28/IV Дмитров Моск. г. А. К. Оштукову для К. К. Сергеевой 19 ф. сух.

12 мая Сергееву Ф. А. 13 ф. сух.

4 июня А. С. Пановой 20 ф. сух.

25/VI—20 К. Кир. Сергеевой 19 ф. сух.

16/юл 1920 Качкину — 15 ф. сух.

31/VIII—20 Яковлеву Москву сух. 19 ф.

И. А. и Ф. А. Сергеевы — братья.

К. К. Сергеева — мать.

Качкин — друг.

А. С. Панова — ?

Яковлев — Митрофан Николаевич — Митроша — бывший щаповский учитель, депутат Учредительного собрания, кажется, от эсеров, чуть ли не министр в самарском КОМУЧе. Не расстрелян потому, что за него вступилась знакомая, Фофанова — та, которая прятала Ленина и которой Ленин 24 октября оставил записку:

— Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил.

В Москве был военный коммунизм. Бесплатно выдали стальные запонки — стиль *деловой человек* — и забрали кучу подольских знакомых. В день своего кадетского корпуса они собрались и спели *Боже, царя храни*. Донес, подозревали, князь Волконский.

Какое-то время отец пожил в Солодовке — огромное здание, первоклассный венский модерн: крохотные ком-

наты со всеми удобствами для неимущих. Построил благотворитель, купец Солодовников, украсил Вторую Мещанскую — рядом с безархитектурной деревянной Большой Екатерининской.

Курсы при академии подкармливали:

— А вот я вам расскажу, как я спекулировал. В Шиловском уезде под Рязанью на практике. Там нам все давали — молоко, творог, сыр давали — голландский сыр мы делали. Молоко, творог мы ели, сыр не ели. Вот я с головкой сыра поехал в Москву. Сыр продал — на эти деньги купил целое теплое пальто. Хорошее, видно, было — в тридцатом году перешивали, нашли — на груди гагачий пух подложен. До самой войны носил.

Из такой Москвы — по пэттерну — Яковлев отправил отца в Усолье. В Средне-Волжском Высшем сельскохозяйственном техникуме спасались от голода многие москвичи и петербуржцы. Для особ титулованных Яковлев изобретал фантастические синекуры. Отец работал действительно — ассистентом кафедры животноводства и заведующим племенным рассадником.

— Это было имение Орлова-Давыдова. Из Усолья мы посылки в Москву слали. На Митрошу и донесли, что много продуктов отправляет. А мы за ширмой сидели и все слышали. У волостного старшины Михаила Савеловича. Царя в Москве полиция не охраняла — только сельские старшины. Набирали в губернии. Царь едет по Садовому, а с двух сторон старшины за руки взялись, толпу сдерживают...

Отец вспоминал о веселой жизни в Усолье, об амурных приключениях Митроши; как не знали, чего бы съесть повкуснее — курицу в сметане, яблоко в сливках.

Мама возмущалась:

— Ему там яблоко в сливках запекали, а мы на одной селедке сидели.

К началу голода в Поволжье отец вернулся в Москву. Трудно вообразить, как он одновременно работал ассистентом кафедры скотопромышленности и кормления с-х. животных Московского высшего зоотехнического института, заведовал учебно-опытным хозяйством института *Родники* (*Чудаково*) и учился в этом же ин-

ституте. Единственно — ректорствовали там Фофанова, потом Яковлев.

Реконструирую. Вставал ни свет-ни заря, давал распоряжения по хозяйству, а то обходил скотный двор или выезжал в поле. Чудаково — нынешняя Новая Малаховка, через Македонку от Удельной. (В конце двадцатых там размещался КУТВ, д в а к и т а й ц а у т о н у л и). До ближайшей станции Удельная — не меньше версты, надо полагать, подвозили. Затем минимум час на поезде — и вряд ли редкие пригородные паровики начала двадцатых были настолько свободны, чтобы читать в вагоне. В институт — от Казанского вокзала до Смоленского бульвара — первые годы пешком. После института — обратный путь и дотемна хозяйственные обязанности: скотный двор, поле, занятия с практикантами, лекции для крестьян. До коллективизации просвещение земледельцев считалось делом, угодным революции. За усадьбою глаз да глаз — как бы не растащили, да еще крышу отремонтировать, обои переклеить, пруд почистить. Чтобы не хуже, чем при настоящем хозяине. От отца я слышал, что Чудаково — как и все в России — имение графа Шереметева.

Барский дом — двухэтажный с садом и прудом при своих свежайших продуктах — сдавался хорошим дачникам. Знаменитые дачники — трагики братья Адельгейм, — и вряд ли случайно: в соседней Малаховке был стильный белый деревянный летний театр с колоннами, играли лучшие силы из Малого, от Корша. Туда, в обшарпанный, чем попало подкрашенный летний кинотеатр потом ходил я.

ЛИЧНАЯ КНИЖКА (форма № 4) от 5/IV-23 г.
В углу бумажной обложки наискось от руки:
Выдан вид на жит. Бык. Виком 30/V 1924 года
Председ. — (подпись).

Посередине обложки жирная надпечатка: ПАСПОРТ ВЫДАН 33.
На развороте: *Воинская категория № 53.*
имя, отчество, фамилия, дата и место рождения, далее:
4. а) Воинское звание в старой армии — рядовой.

б) Должность в Красной армии — нет.
5. Воинская специальность — переписчик.
6. В каких кампаниях участвовал — нет.
7. Был ли ранен, контужен, отравлен газами — нет.
8. Образование общее (гражданское) — среднее.
9. Образование военное —
10. Образование спортивное —
11. Партийная принадлежность — нет.
12. Семейное положение — холост.
13. Состав семьи и число нетрудоспособных членов — 2 — 1.
14. Профессия основная — управл. племхозом.
15. С какими профессиями еще знаком — нет.
16. Состоит ли членом профсоюза и в утвердительном случае — какого именно — ВСЕРАБОТЗЕМЛЕС.

Лист плотной бумаги вдвое больше машинописного. Грязно-золотая, почти траурная рамка. Над тусклой фотографией старика в кепке и бабочке:

18 декабря дня 1924 г.
ВЫПУСК МВЗИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА
П. Н. КУЛЕШОВА

УДОСТОВЕРЕНИЕ (временное)

Настоящее удостоверение выдано гр. Сергееву Якову Артемьевичу в том, что он состоял студентом Московского Высшего Зоотехнического Института, прослушал полный курс теоретических и практических общеобразовательных, агрономических и зоотехнических наук, сдал курсовые испытания:

Физика	Проф.	С. И. Вавилов
Химия неорганическая Химия органическая	} "	М. Н. Попов
Минералогия, геология	"	Н. З. Милькович
Ботаника	"	Л. М. Кречетович
Зоология	"	Н. В. Богоявленский
Политическая экономия	"	М. Н. Нерсесов
С.-х. география и статистика	"	Е. Д. Мошков

С.-х. политика	"	М. М. Шульгин
Обществоведение	Преп.	М. Е. Костерин
Химия агрономическая	Проф.	Я. П. Королев
Микробиология	"	Н. Я. Михин
Сравнительная анатомия	"	В. А. Дейнега
Анатомия животных и гистология	"	А. Ф. Климов
Физиология животных	"	М. Н. Шатерников
Почвоведение, луговедение	"	М. П. Григорьев
Общее земледелие Частное земледелие	"	А. А. Бауэр
Луговодство	"	М. П. Григорьев
С.-х. машиноведение	"	Д. Д. Арцыбашев
Строительное искусство	"	Н. Н. Бехтерев
Разведение	"	Н. А. Юрасов
Генетика	Преп.	А. С. Серебровский
Кормление	Проф.	И. С. Попов
Технология молока	" Преп.	А. А. Попов Р. Э. Герлах
Химия молока	"	Г. С. Инихов
Бактериология молока	"	А. Ф. Войткевич
Зоогигиена	"	Н. В. Зеленин
Ветеринария	Проф.	Г. М. Андриевский
Коневодство	"	П. Н. Кулешов
Крупный рогатый скот	"	Е. Ф. Лискун
Свиноводство	Преп.	М. Н. Яковлев
Овцеводство	Проф.	П. Н. Кулешов
Птицеводство	"	В. П. Никитин
Откорм с.-х. животных	Преп.	М. Н. Яковлев
Мясоведение	Проф.	Ф. П. Половинкин
Холодильное дело	Преп.	К. П. Тихоцкий
С. хоз. экономия	Проф.	Н. П. Никитин
Организац. с. хозяйства С.-х. счетоводство	"	М. Н. Вонзблейн
Опытное дело	Преп.	А. А. Левицкий
Обществен. мероприятия по животноводству	Проф.	Е. Ф. Лискун
Молочная кооперация	Преп.	А. П. Юрмалиат

Выполнил все установленные учебным планом практические занятия по перечисленным дисциплинам.

Для полного окончания специальной подготовки по крупному рогатому скоту и молочному хозяйству должен еще представить удовлетворительно написанную дипломную работу по своей специальности.

Ректор — М. Фофанова
Члены правления — П. Кулешов
Од. Половинкин
Секретарь — (подпись).
Печать с гербом РСФСР.

Мосгублит : 4690. Москва. Тираж 100 экз. Типогр. Моск. Полигр. Т-ва, Б. Лубянка, 16, тел. 4-83-23.

Простая арифметика — на сорок три дисциплины *общественных* всего две. Профессора — сколько и какие! С. И. Вавилов стал президентом Академии наук. И. С. Попов — отцовым завкафедрой в Тимирязевке. М. Н. Яковлев — ангел-хранитель на всю жизнь. Некоторых помню по корешкам книг. Про одного слышал, что его запугали и завербовали — он долгие годы предавал и казнился. Про большинство ничего не знаю, а, без сомнения, есть что...

После института отец всерьез занялся *Чудаковым/Родниками*, добился значительной прибыли, был замечен, происхождения почти пролетарского — и вот его уже прочат в управляющие обширного государственного имения. Уезжать не хотелось: за Македонкой в Удельной отец с братом Иваном в двадцать шестом затеяли дачу. На нее ушел остаток царских десяток по курсу червонца: девять с полтиной за десятку.

Яковлев посоветовал бросить *Чудаково* и не прикасаться к большому имению: на него зарился Ворошилов. Времена менялись — всякий сельский хозяйственник и просветитель был под ударом.

Казалось бы, невинная бумажка и даже милая:

Б/ЗАВЕДУЮЩЕМУ ПЛЕМХОЗА «РОДНИКИ»

Якову Артемьевичу Сергееву,

Мы, граждане дер. Вереи, приносим Вам, Яков Артемьевич, глубокую благодарность за Ваши лекции, доклады и практические указания по уходу за скотом.

Ваши указания и советы не пропали даром: они принесли нам большую пользу.

От Вас мы многому научились; и желаем продолжить начатое Вами дело с благодарностью.

(После машинописи от руки):

От гр.-дан дер Вереи Быковской волости, что с/совет дер. Вереи удостоверяет

Председатель Жарков

12/VIII-26 года.

Два-три года спустя эта бумажка подводила под Соловецкий монастырь: *начатое Вами дело, дело Сергеева*. И вообще, тимирязевские профессора за воскресные лекции крестьянам попадали в кулацкие идеологи.

СПРАВКА

Местком Свеклоцентра настоящим удостоверяет, что агроном-животновод тов. Сергеев Я. А. за все время работы в Свеклоцентре с 20 апреля 1926 года по 1-е мая 1930 года вел общественную работу по профсоюзной линии, исполняя обязанности с начала делегата объединенного Месткома, затем по организации Месткома при Свеклоцентре состоял выбранным (не освобожденным бесплатным) секретарем последнего, в каковой должности состоял до последнего времени.

Одновременно с указанными обязанностями т. Сергеев в разное время был уполномоченным по Агросекции, уполномоченным об'единенной кассы Взаимопомощи, а также сборщиком членских взносов, как по Профсоюзу, так и по последним организациям.

Отец старался казаться и быть как все. Главное — не выделяться, сливаться с фоном. Усы навсегда сбриты, на

голове кепка, толстовка мятая, пиджак поношенный. На курортных снимках двадцать девятого года — в белых брюках и белой рубашке апаш — как все на курортах. Лицо всегда добродушное.

Брат Иван моложе, но в пикейной косоворотке и хорошем костюме; интеллигентское пенсне, аккуратные усики — вид даже щеголеватый, но лицо омраченное.

В империалистическую он тоже был вольноопределяющимся. Отцу повезло, что этого звания он лишился. А вольнопера Ивана на чистке определили в белые офицеры — тогда их вынюхивали — и посадили. Авдотья в панике развелась с врагом народа. Но Ивана быстро выпустили, семья снова сложилась. Зато Иванову книгу *Разведение с.-х. животных* не издавали, пока ее вместе с Иваном не подписал отец.

Туже всех пришлось старшему брату Павлу: все двадцатые он проработал в Дмитрове — о ужас!— кооператором. Дмитровская кооперация существовала с пятнадцатого года. В восемнадцатом-двадцатом в ней принимал участие выжитый из Москвы Кропоткин. Павла загребли в первый заход коллективизации. К счастью, срок был не насмерть.

Отца, как и всех, таскали. На одном допросе весь день играли в молчанку. Следователь Ласточкин писал на клочках бумаги вопросы, отец на клочках бумаги — ответы. Под вечер отец прочел:

— Признаете ли вы себя виновным в укрывательстве племенных лошадей?

Психика здоровая, отец рассмеялся: к племенным лошадям никогда не имел отношения. Ласточкин рассвирепел, махал наганом, грозился, но отпустил. Через несколько лет отец встретил Ласточкина на совещании — тот на племенных лошадях выехал в люди и рекомендовался профессором коневодства из Краснодара.

Тетрадный лист в клетку:

> 3 января 1933 г.
>
> СПРАВКА
>
> Дана Якову Артемьевичу Сергееву в том, что он действительно происходит из бедняцкой крестьян-

ской среды дер. Жуковка Дмитровского района Московской области.

Родители Сергеева наемного труда никогда не имели и торговлей не занимались.

Председатель сель/сов. (подпись)

Секретарь (подпись).

Гербовая печать.

На казенном бланке с голубоватой сеткой:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ повторное

Гражданин Сергеев Яков Артемьевич и гражданка Михайлова Евгения Ивановна вступили в брак 23/I—1933 г., о чем в книге записей актов гражданского состояния о браке 1933 года января месяца 23 числа произведена соответствующая запись за № 326, что подписью и печатью свидетельствуется.

После регистрации присвоены фамилии мужу — Сергеев, жене — Михайлова.

Место регистрации — Дзержинский райбюро ЗАГС г. Москвы

Дата выдачи 3/VI. 1949 г. 11—А № 661952.

Дзержинский райбюро ЗАГС значит, что в 1933 году отец уже переехал с Чистых прудов на Капельский; повторное — что свидетельство о браке в начале тридцатых требовали разве что по особому поводу.

На плохоньком листке, примерно в четвертушку тетрадного:

РСФСР	СПРАВКА
ЗАГС	Засвидетельств. рожден.
Дзержинского р-на	Сергеева Андрея
27 июня 1933	3/VI—33 г.
№ 3482	(подпись)
г. Москва	Гербовая печать.

В день моего рождения, 3 июня 1933 года Федор Гладков писал из Москвы в Коктебель Андрею Белому:

А мы здесь потеряли солнце. Уже около десяти дней — промозглый холод, мокрый туман, непре-

рывные дожди, мрак. Хочется уехать, а нельзя: чистка партии и обществ. работа.

Я родился в год прихода Гитлера к власти, завершения Беломора и самого страшного голода на Украине.

В Москве тоже с едой было плохо. Картошку мама в рот не брала, жила на одной брюкве:

— Ты у меня брюквенный...

Торгсинного золота на полноценную еду у отца не было.

— Я слабенькая была — 38 процентов гемоглобина...

Родив меня, мама нигде не работала. Отец шутил:

— Нянька у Андрея дорогая, с высшим образованием.

Самодельный снимок: папа и мама в Удельной у стога сена, лица хорошие, молодые. А вот фотографировать отец словно никогда не умел — снимки тоже как у всех — случайная муть 9 на 12.

Долгая командировка в Оренбург. Отец раскрыл пожелтевшую политическую брошюру. Сосед по купе — ехали вдвоем — резко вырвал из рук:

— Ленин... А я думал, Троцкий какой-нибудь...

Он оказался государственным исполнителем:

— Ведешь по коридору, а он ничего не знает. А ты в определенном месте стреляешь в затылок. Он проваливается. И так каждый день человек тридцать. Устал до смерти. Еду к матери отдохнуть...

Рассказывая, отец не удивлялся и не ужасался: так и должно быть, у нас диктатура, мы же не скрываем.

Спал он всегда крепко, но в тридцать седьмые — рассказывал — просыпался от каждой остановившейся машины, от поздних шагов по лестнице. Это тоже как все, но что-то ему угрожало конкретно. На работе постукивали Дымана́, они же являлись в гости. Быть может, к отцу они чище снега — и все же...

1 октября 1937 года академия соцземледелия — как который уже год — установила отцу нагрузку 360 часов с оплатой по доцентской ставке.

5 октября 1937 года отец был освобожден от занимаемой должности доцента в связи с уменьшением педагогической нагрузки в 1937/38 учеб. году.

Честный немец Павел Александрович Раушенбах старательным артритическим почерком написал спасительный

ОТЗЫВ

Доцента Сергеева Я. Ар. я знаю с 1930 года, когда мне пришлось с ним работать на кафедре Кормления в б. Институте мясомолочного скотоводства, переименованном затем в Моск. Зоотехнический Институт им. Молотова. Далее Зоотехнический Институт был влит в Зоотехнический фак-тет Тимирязевской с/х Академии. Таким образом на протяжении этого времени протекала наша совместная работа на кафедре Кормления с/х животных. За весь этот период учебная работа тов. Сергеева Я. А. ни разу никем не была запятнана, наоборот он всегда считался хорошим преподавателем, всегда относился к своей работе весьма аккуратно и пользовался симпатией среди студенчества. Кроме своей педагогической работы, тов. Сергеев все время выполнял исследовательскую работу, связывая ее с производством. Тов. Сергеев был хорошим общественником и нес почти все годы большую общественную работу. Считаю тов. Сергеева вполне созревшим работником, как педагога и как исследователя, кроме того отмечаю его, как хорошего товарища, который прекрасно уживается со своими сослуживцами по работе.

Если Всесоюзная Академия Социалистического Земледелия потеряет тов. Сергеева, то это явится ущербом для кафедры Кормления, так как если в дальнейшей работе придется вновь приглашать педагога, то он может оказаться менее квалифицированным и менее подходящим с точки зрения преподавания и выполнения исследовательской работы.

В заключение хочется подчеркнуть, что Сергеев Я. А. в настоящее время выполняет большую работу, которая предназначается для защиты диссертации на степень кандидата с/х наук.

16/III—38 г. Проф. Раушенбах.

Павел Александрович был очень старый и очень высокий. Привычным жестом из левого кармана пиджака — горсть миндаля:

— Прошу вас. Шесть орешков после еды — и вы никогда не будете жаловаться на желудок.

Отца восстановили. Пэттерн: самоотверженно смелый отзыв Раушенбаха — и не иначе, как вмешательство бессменного Яковлева — он уже стал профессором.

Легко представить, что говорили о Яковлеве, процветающем человеке с опасным прошлым, странным всепониманием и непонятным могуществом. Раздражало и то, что после раковой операции он, как все, не загнулся, а наоборот — женился на молодой и прожил с ней лет пятнадцать.

Придя с его похорон, папа медленно подытожил:

— Хороший был человек Митроша.

По мнению мамы, профессором мог стать и отец:

— Эт' все Попов ему хадил, непорядочный он. Конкурентов боялся. Он языки знал, вот и надергал на докторскую. А отец не знал. Эт' Иван Семеныч не давал ему защититься. А отец все терпел. Там все удивлялись, какое у него терпение. А он это в армии научился.

Отец не соглашался — не потому, что так ценил и уважал Попова. Себя отец никогда не считал ученым — только научным сотрудником, так писал, так говорил. И еще говорил, что любит хозяйственную работу.

Он был зачислен доцентом кафедры кормления 15/I—1932 г.

Утвержден в ученом звании доцента 19 марта 1935 г.

Окончил курс марксистско-ленинского университета 28 марта 1935 г.

Получил отзывы на диссертацию 29 августа 1939 г. — после советско-германского пакта.

Получил почетную грамоту СельхозВНИТО за активную и плодотворную деятельность 31 августа 1939 г. — в день окончания Халхин-Гола и канун второй мировой.

Защищался 10 сентября, когда уже защищали Варшаву.

Получил ученую степень кандидата с.-х. наук за работу *Состав и калорийность последовательного привеса у*

свиней при мясосальном откорме 1 октября 1939 г. — после присоединения Западной Украины-Западной Белоруссии — и накануне своего пятидесятилетия.

Здоровьем отец отличался завидным. Но в тридцать седьмые вместе с неприятностями его постигла удельнинская малярия — из лета в лето глотал хину, хинин, акрихин, ходил желтый. В предвоенный год по путевке — во второй и последний раз ездил на юг. Прислал мне открытку с генуэзской башней.

Любительские — свои и чужие — снимки. Моложавый, пикнического сложения, с приятностью улыбается в объектив. Теплое — на ватине — пальто с широким каракулевым воротником, каракулевый пирожок. Кепка, невидный пиджак с жилетом, крученый в веревку галстук. Или в очках и белом халате у пробирок и микроскопа.

Кобеднешний костюм не очень отличается от будничного. Человек без особых примет — как все.

Беда, что хватали всех. Трудовой список — это при защите диссертации и сопутствующих бесчисленных справках — обрывается 3/IV—39 г. Трудовая книжка начинается 1/X—44 г. С сорокового года, по совету того же Яковлева, отец увольняется от греха из Тимирязевки и заведует кафедрой животноводства в Московском доме агронома — подальше от слишком знакомых, в Долгопрудной.

На работу ездил на электричке. В октябре сорок первого ушел оттуда пешком за полчаса до прихода немцев.

О войне говорил мало, покорно судьбе. Часто с чувством напевал:

Ты успокойся, шалью накройся,
Сын твой вернется домой.

За первую военную зиму отец спустил пуд. Пиджак висел, брюки болтались. Отец не жаловался, наоборот, пошучивал.

Приезжал из Дмитрова старший брат, Павел:

— Один день мы едим мясное, другой — грибное, третий — постное.

Нам он один раз привез кусок сала, в другой — банку отварных грибов.

Выручил знакомый, профессор Осольчук — из изобретателей советского шампанского, кажется, сталинский лауреат. Он подарил отцу огромную бутыль спирта. Спирт разбавляли водой и меняли на продукты.

Летом сорок второго по невероятному блату отец почти ежедневно ездил в Панки и за нечитанные лекции получал в совхозе молоко и сметану.

Устойчивое относительное благополучие началось с литерной карточки НР и прикрепления в лимитный магазин у Петровских ворот. Там отоваривали поприличнее: скажем, вместо мяса не селедка, а кета или красная икра. Перед лимитным целое лето была энэровская столовая в ресторане *Спорт* на Ленинградском шоссе. Обычно там брали на дом.

В голодное время отец ворчал на мамину безалаберность:

— Нет, чтобы растянуть: ешь, пока есть!

Мама оправдывалась:

— А я, чтоб не отсвечивало.

Умер дедушка — от дистрофии. Папа плакал. Хороших отношений у них до конца не получилось. Я знал и спросил:

— Почему ты плачешь?

— На похоронах люди плачут потому, что себя жалко.

К умершим трезвый деятельный отец тотчас терял интерес. Опекал старушек, сослуживиц двадцатых годов. В голод носил им что-то из сада. Мама глумилась:

— Яков к старухам неравно дышит.

А отец сам не ходил и меня не сводил ни разу на Вялковское кладбище к своей матери, бабушке Ксении.

Согласно удостоверению № 930, 23 февраля 1918 года отец был уволен от военной службы вовсе.

Личная книжка двадцать третьего года кончалась: *Снят с учета 12/IX—30 за достижением предельного возраста — сорока лет.*

Краснополянский (дом агронома) райвоенкомат 21 июня 1943 года признал его годным к нестроевой службе по ст. 31 гр. 1 — в пятьдесят четыре года. На войну все же не взяли.

Не взяли — по возрасту брата Павла, по болезни — Ивана и Кирилла. Кирилл — дядя Кира — приезжал перед войной в гости с женой и дочкой. Дочка билась о наш небольшой пол и требовала, чтобы масло на хлеб было ромбиком.

— Дрянцо с пыльцой, — за глаза определила мама. И про Кирилла:

— Самый чуткий из всех Сергеевых. Только чудной какой-то — рассказывает печальное, а сам все хи-хи да ха-ха.

Теперь Кирилл был в эвакуации в Сарапуле. Строка из его письма: *Завел сталинскую корову — козу.* На конверте стоял штамп: *Проверено военной цензурой.*

В Сарапуле он заболел. Бабушка устроила его к Склифосовскому. Андросов его вскрыл и зашил: запущено. В моем дневнике:

ДЯДЯ КИРА УМЕР
27 февраля 1944 г.

Пересидев самое опасное время за городом, в сорок четвертом отец снова в Москве, в Химико-технологическом институте мясной промышленности, с начала сорок шестого — опять в Тимирязевке.

Как все — работал с утра до ночи, на заем вычитали двухмесячный оклад.

Даже все хорошо. В сорок четвертом — медаль *За оборону Москвы*, в сорок шестом — *За доблестный труд в великой отечественной войне.* С мая сорок девятого — за двадцатипятилетний педагогический стаж — академическая пенсия в 250 рублей. В пятьдесят первом — орден трудового красного знамени, в пятьдесят четвертом — медаль ВСХВ.

Размеренно — зимой Капельский, летом Удельная. Видя мое одиночество, папа охотно ходил со мной в кино, в театр — первые мои спектакли *Ночь ошибок* и *Давным-давно* в театре Красной Армии. Летом на Кузнецком мосту накупал мне марок побольше, чтобы выдавать в Удельной частями, в несколько приездов — никогда не выдерживал. Когда попадались одинаковые или ненужные, я испытывал чувство мучительной бла-

годарности. Ненужный подарок растравлял очищенным от интереса и стоимости проявлением кровной любви и внимания.

Очень рано, на *Фотокоре* и довоенных пластинках папа обучил меня фотографии, а году в сорок шестом купил мне в комиссионке ФЭД.

Зимой сорок седьмого мы долго выбирали там же п р е е м н и к, выбрали замечательный *Телефункен*.

В сорок восьмом папа возил меня на экскурсию в Ленинград.

Тем же летом он подарил мне велосипед ХВЗ — немецким, трофейным не доверял. Мы ездили в Марьинский мосторг, в электричке за недозволенный провоз заплатили штраф. В Удельной, к моему изумлению, папа сел и поехал. Я учился немало дней, считал столбы и канавы. Боязнь людей, скованность помешали мне загодя выучиться на чужих.

Иногда папа в сердцах называл меня тепличным растением, к и с е й н о й б а р ы ш н е й. Гнал на улицу — года до сорок шестого не получалось. Учил плавать — кое-как я научился сам. Несколько раз пытался поставить меня на коньки — впустую. Должно быть, в незапамятное время я стукнулся головой: много, много лет я боялся зимы — будет скользко, я упаду. Два сотрясения были — в сорок девятом и пятьдесят первом или втором.

Я подрастал, комната становилась теснее. После войны папа снова начал откладывать на обмен — и попал в декабристы, когда в сорок седьмом десятка стала рублем. Папа не тосковал и снова носил с получки сколько-то на сберкнижку. Остальное лежало дома — известно где и не под замком. Наверно, поэтому сам я ни разу не брал. Когда просил, папа без разговоров давал сколько нужно:

— Без денег человек бездельник.

Мои самостоятельные покупки он поощрял:

— Хорошо. Этой монеты у тебя не было. Это историческая книга.

Обменять тринадцатиметровую комнату так и не удалось. Летом пятьдесят третьего дали семнадцатиметровую в тимирязевском доме — Чапаевский переулок, рай-

он Ново-Песчаной. Во вторую комнату въехали соседи, не слишком приятные — мама с ними, естественно, не поладила, ворчала:

— Это он такой тютя. Мог бы всю квартиру отхватить.

Не из-за смерти Сталина, а по возрасту и развитию начались мои политические истерики. Папа — на Ново-Песчаной или на прогулках в Удельной — с терпеливой досадой выслушивал и объяснял:

— Мы же не скрываем, что у нас диктатура. Это царь-дурак виноват, не мог дать ответственное министерство. Только его и просили: дай министерство, ответственное перед Думой... При царе у меня бы свой дом был... Был бы жив Ленин, он не отменил бы НЭП и не устроил коллективизации. Он в завещании написал про Сталина: этот повар может приготовить острое блюдо... Всю интеллигенцию уничтожили. Чу́дная была интеллигенция... А летом семнадцатого Россия была самая свободная страна в мире. Война идет, а на митингах от всех партий говорят. И газеты выходят какие угодно...

Отец не доверял *Голосу* и *Би-би-си*. Он считал унизительным в газетах читать между строк. Раз случилось то, что случилось, надо не ф о р д ы б а ч и т ь с я, а принимать то, что есть. Сам он принял и перенял послушно и внешне все формы и формулы:

— А еще называется советский человек... а еще комсомолец... А еще член партии...

В конце пятьдесят первого я за столом разглагольствовал об эстонцах: летом втроем мы ездили с дачи на гастроли театра *Эстония*. В Прибалтике я старался высмотреть альтернативу, а эстонцы пели действительно хорошо. Мама была в восторге:

— А Тийт Куузик на балу — как подхватит Ольгу — и поет, и танцует — лучше Хохлова!

Я разглагольствовал об эстонцах, и вдруг папа:

— Сейчас я тебе билет одного эстонца покажу, — и вынул из ящика новенький партбилет. Я онемел.

Мама скрывала от родных и знакомых:

— Мне мать сказала: смотри, никому ни слова — мало ли что еще будет. Что случится — их на первом фонаре вздернут...

Лет через десять в лесочке за Чудаковом я услышал, как было дело.

Пока я кончал десятилетку, поступал во ВГИК, кичился причастностью, папу таскали. Как на работу — раз в неделю на целый день на Лубянку. Вербовали — репутация слишком хорошая. Издавна по профсоюзной линии заступается за студентов, за преподавателей, все к нему за советом. Прекрасная кандидатура. Отец не знал, как отделаться. Ему угрожали. Он посоветовался в Тимирязевке с кем-то из партбюро. Неизвестный спаситель сказал, что надо испортить себе репутацию, срочно подать в партию — все равно давно зазывают — а тогда кто будет откровенно делиться с партийным? Отец по-дал — сразу отстали.

Он доверял мне; не вникая, доверял моим предприятиям — ВГИКу, ИН-ЯЗу, необеспеченной профессии переводчика. Он предпочел бы, чтобы я стал научным работником, кандидатом, доктором с твердым окладом, но не возражал и лишь время от времени переспрашивал:

— Работа-то у тебя есть?

Женился я осенью пятьдесят седьмого. Отец был против житья вчетвером в одной комнате, но снять не удалось, и мы наш последний год перезимовали на Чапаевском.

Летом в Удельной он прописал Людиных родителей и добился решения на пристройку. По несходству природных свойств дело кончилось бурно, криком на всю ночь и моим уходом.

Мы с Людой снимали где попало, углы, комнаты, четыре года, мест десять, на птичьих правах. Денег не было, и я долго брал у отца. Люда к моим не ходила. Примирение состоялось, когда мы въехали в кооперативную квартиру — 46 864 старых рубля дал папа.

Но когда у нас с Людой разладилось, отец — главным образом, из-за внучки, делал невозможное и непростительное, чтобы вернуть меня в прежний дом и не допустить новой женитьбы.

16 октября 1959 года ректор Тимирязевки Лоза поздравил папу с семидесятилетием.

В шестидесятом году в комитете по делам изобретений и открытий папа получил удостоверение о регистрации за работу *Диэтические свойства некоторых кормов и рационов при скармливании крупному рогатому скоту.*

Это была готовая докторская. Перед ней — полсотни печатных работ. Попов прошел в академики и, даже по мнению мамы, не мешал бы. Защищаться отец не стал: слишком многие не выдерживали нагрузки.

— Мне и так хватает.

На стодвадцатирублевую пенсию папа вышел 9/II—62 г., но 1 сентября явился на работу. На его кабинете по-прежнему висела табличка Я. А. СЕРГЕЕВ: Хрущев грозил разогнать академию, и молодые специалисты разбегались.

Тимирязевка всегда была бельмом на глазу. В коллективизацию Чаянов—Кондратьев. Перед войной на первую сталинскую премию Прянишников упорно выдвигал своего ученика, арестованного Н. И. Вавилова. В Тимирязевке Лысенко на слово не верили: как-то получили испуганное письмо из Чехословакии: опыты дают не лысенковские результаты — что делать? На ученой сессии в Киеве Хрущев поносил специалистов — профессор Чижевский с места крикнул: — Надо еще разобраться, кто виноват в развале сельского хозяйства на Украине!

Хрущев решил убрать Тимирязевку подальше. Ректора, партийного секретаря и профсоюзного председателя с несколькими профессорами-доцентами Полянский привез на болото километрах в ста от Москвы:

— Ваша академия будет здесь.

Доцент Колеснев, Самуил Георгиевич, еврей, бросился на него:

— Нет, не будет!

— Тогда мы вас закроем!

— Нас царь хотел закрыть — не закрыл, а у вас и подавно не выйдет!

Полянский ничего не сказал и уехал. Папа рассказывал несколько раз, как легенду.

Наутро после падения Хрущева Брежнев вызвал ректора Тимирязевки и заверил в любви и уважении.

На пенсии папа ничуть не скучал: люди — хотя бы по телефону — были ежедневно. С Фофановой — из сталинской опалы она вышла в дамки — перезванивались по праздникам. Дела находились сами — и по магазинам, и в академию (на партсобрание не пойти неудобно, да и всех увидишь, новости узнаешь), и в городе что-нибудь происходит.

— Нет ли какой выставки?

Тянуло к историческому, современному, непревзойденному.

Ходил поблизости в кинотеатр *Ленинград*. У *Сокола* открылся Камерный музыкальный театр — стал придворным, тем более что кассирша — соседка по Чапаевскому.

Стыдно сказать, после смерти бабушки папа с мамой зажили хорошо, ладно. Каждую весну отправлялись в Удельную, жили там, как старосветские помещики. Обсуждали смену погоды, месяцев, времен года:

— Петр и Павел час убавил.

— Илья Пророк пару уволок.

— Как рано темнеть стало...

Папа ходил с сумкой через плечо на станцию — на базар, в магазины, в палатки — его знали — за молоком, хлебом, маслом. По-прежнему, до глубокой осени рылся в саду. Для чего потруднее — перекопать, развести удобрения, разбросать игольник — нанимал люмпенов. Маму от них воротило. Папа был с ними уважителен и спокоен: хозяин. Не боялся давать вперед — на пропой — рубли и трешки.

В мою обязанность входило несколько раз весной съездить — посеять, посадить, обрезать на яблонях пасынки. Мы уезжали на целый день, проветривали дачу, ходили к соседям за водой, пили чай с маминым завтраком. Папа блаженствовал, сидел на террасе с открытыми окнами и восхищался:

— Какая чу́дная тишина!

Брал бутерброд с газеты и восхищался, вспомнив, что в Усолье на деревянной хлебнице было вырезано: ХЛѢБЪ НА СТОЛѢ — РУКИ СВОѢ.

Восхищался, что, выйдя из метро у музея Ленина, вдруг увидел во всей красе — *Грандотель* и *Стереокино* снесли — колонны Дома союзов.

Восхищался чудесным изобрéтением — радио.

До конца дней восхищался *Онегиным* и каждый день читал его на ночь.

Как-то с Галей они собирали с дерева сливы. Папа ахал на каждую, до чего хороша. Галя спросила:

— Яков Артемьевич, что вам важней, урожай или удовольствие?

— Ну, не урожай... — и засмеялся.

На зиму под навесом крыльца — так, чтобы кошка не забралась, — оставлял для синиц худую кастрюлю семечек и большой кусок сала. Зимой приезжал посмотреть на дачу, подсыпал, прибавлял.

Каждый вечер выходил гулять по Чапаевскому — вдоль парка. Парень из-за кустов спросил:

— Папаша, ты не боишься, что тебя тут пристукнут?

— Нет. А что с меня взять? Все старое.

Он не боялся — удивлялся — когда на него набрасывалась злая собака:

— Ты что, очумела?

Сказывалось так и не стершееся за цатые годы чувство собственного достоинства.

Он никогда не бился над неразрешимыми задачами, но поставленные решал всегда и всегда полагался лишь на себя. Когда мама в Удельной слегла с воспалением легких, он выхаживал ее все лето.

— Раз в жизни хоть отдохнула от готовки. Лучше всякого дома отдыха.

Братья Сергеевы умирали по восходящей — начиная с младших. Порядок нарушил Павел: опередил папу.

Весной семьдесят пятого папу оперировал лучший хирург. Разрушительней вскрытия оказался наркоз. Он сутки метался в кровати, порывался встать и идти, соседи его удерживали. Он разумным голосом увещевал:

— Почему вы применяете насилие?

Он так и не вспомнил, что Галя его навещала.

То лето он с мамой жил в Удельной. Но новому стилю, 29 октября мы вчетвером отметили его восьмидесятишестилетие.

Я уже давно с гордостью говорил:

— Моему отцу восемьдесят, а он здоровее меня.

— Моему отцу восемьдесят пять, а он...

Восьмого декабря он взял в сберкассе пенсию, купил на неделю еды, вечером шутил с соседской девчонкой: накрасила ногти синим.

В час ночи он поднялся:

— Женя, мне что-то нехорошо. Дай нитроглицерин.

Мама не помнит, как вызвала неотложку, как пришла из соседней квартиры приятельница врачиха:

— Вы уже сделали все, что можно...

Днем девятого мы с Галей пришли из кино. В дверях торчала записка: *Умер Яков Артемьевич.* Срочная телеграмма пришла позже.

Много месяцев папа не заходил в поликлинику, и его увезли на вскрытие. Литфондовский терапевт удивилась:

— Сколько понаписали... Да в его возрасте таких болезней не бывает. Ваш отец умер от старости.

Мы ночевали у мамы. Я лег на папин диван: притягивало. Хотелось сунуть ноги в папины шлепанцы.

На похороны к моргу пришло неожиданно много старых, на ладан дышащих тимирязевцев. Впереди плакали Дымана́. До крематория его провожали присланные от парткома/профкома и никогда не видавшие его наши с Галей друзья.

С кафедры прислали письмо:

> Дорогие Евгения Ивановна и Андрей Яковлевич!
>
> Вас постигло большое горе. В таком горе трудно найти слова утешения, можно сказать — невозможно.
>
> На кафедре кормления академии Яков Артёмыч проработал 36 лет. Из кафедрального коллектива навсегда ушел товарищ и друг, которого мы все любили.

Яков Артёмыч был человеком большой скромности, большого трудолюбия и высоких моральных качеств.

Все члены кафедры, независимо от их служебного положения, были для него равны, и в своем обращении с ними он был всегда прост и непосредствен. Его любила студенческая молодежь, которой он передавал свой богатый зоотехнический и педагогический опыт, одновременно он был требователен, строг и объективен.

Научная деятельность Якова Артёмыча характеризует его как принципиального ученого, независимо от складывающихся объективных ситуаций.

Коллектив кафедры в этом посмертном письме еще раз вспоминает старейшего члена коллектива академии, зоотехнического факультета и кафедры кормления и говорит ему: «Спи спокойно, дорогой друг и товарищ, ты навсегда сохранишься в наших сердцах».

Шесть подписей. Может быть, в их числе тот неизвестный спаситель, который присоветовал папе срочно испортить себе репутацию.

Мама долго твердила — мне, себе, стенам:

— Отец был хороший человек, — и утыкалась в платок.

А я давно уже понял, что в силу верности себе, здоровья и редких стечений обстоятельств мой отец был одним из самых незапятнанных людей выпавшего ему времени.

В намеренном одиночестве я хоронил урну в Николо-Архангельском. Она казалась мне теплой — я не то прижимал урну к себе, не то сам прижимался к ней.

1977

БОЛЬШАЯ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ

Деду исполнилось восемнадцать, сваха попросила карточку.

Вскладчину с приятелем снялись на Тверской: барский кабинет-портрет, колонны и фон с кипарисами. При-

ятель — простой, Дед — не простой: лицо длинное, усы, волосы бобриком, статный, брюки модные, полосатые.

Не скажешь, что никто, ниоткуда — сомнительная деревня Шилово Рузского уезда. Что чужая изба, оспа на печке — оспины на снимке заглажены. Что с восьми лет в городе, в учениках, то есть за водкой — сначала другим, потом и себе. Что развлечения:

— Франт в соломенной шляпе прогуливается. Мы ему соленым огурцом — в пенсне! Он по земле шарит, не видит — а мы хохочем, бежать!

— Зимой на Москва-реку выходили на кула́чки.

Бабушкиной рукой на обороте барского кабинет-портрета: *1891 года*. По паспорту дед родился в 1876, бабушка — в 1886. Бабушка моложе деда на год. Мама родилась в 1898. Решение задачи см. на стр. 115 и 135.

Бабушка — немыслимый фэндесьекль: вавилоны, шляпки, муфты. На обороте паспарту медали и:

> Фотография Трунова в Москве. Придворный фотограф ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ШАХА ПЕРСИДСКОГО, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ СЕРБСКОГО, ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ЭРЦГЕРЦОГА АВСТРИЙСКОГО, ЕГО ВЫСОЧЕСТВА КНЯЗЯ ЧЕРНОГОРСКОГО И ЕГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНОГО ПРИНЦА ШВЕЦИИ И НОРВЕГИИ.

А лицо простое, скуластое. В деревне — Ожерелье, возле Каширы, — звали Мордовкой.

— Еще меня Лесовичкой звали. В лесу — не страшно. Раз столкнулась с бродягой — юркнула в кусты. Ищисвищи! Я отчаянная была, ничего не боялась. В омут ныряла. Могла самую мелочь со дна достать — ногой, пальцами ухвачу, как рукой. Кто что утопит — сейчас за Аришей. А поля — боялась. В поле никуда не денешься.

По семейному преданию, бабкину бабку в поле цыган догнал. Бабкин брат Семен — черный, смуглый: Цыган. У самой бабки вторая дочь, Тоня, такая же: Цыганка. Мама всю жизнь выцыганивала.

В Ожерелье в семье Кала́бушкиных всего выжило:

Екатерина, бабушка Катя, старшая, слабоумная,

Семен, дед Семен, Цыган, самородок,
Ирина, Ариша, моя бабушка,
Васса, бабушка Ася, самая добрая,
Федосья, бабушка Феня, красивая.

Их мать была кормилицей у купцов Трубниковых. За ней в Москву первой попала Ариша — в широкий богатый дом. Что дом — весь переулок вроде бы их — Трубнико́вский, с характерным старомосковским ударением.

Пошлют Аришу в кладовку за вареньем, она:

— Ложку в вазу — ложку в рот, ложку в вазу — ложку в рот. А самой страшно — старуха тру́бниковская твердит: — Очи твои — ямы, руки твои — грабли; что очами завидела, то руками заграбила. — Я все равно наедалась, как Данила. Был в Ожерелье бобыль такой. Мне, говорит, мало не давай. Дай мне так наесться, чтоб потом целый год на́ дух не надо.

Варенье стояло в глиняных банках. Раз Ариша открыла — а там золотые: старуха трубниковская ото всех спрятала и забыла[1]. Золотые— не варенье, не тронешь. Зато гардероб — как варенье. С девчонками, без зазрения совести, вырядилась в хозяйские туалеты — и гулять на бульвар к Пушкину — прямо на молодых Трубниковых. Те посмеялись, старухе не рассказали.

— Культурные были... Анастасий Александрович хороший был человек, обходительный, галантный. Эстет, статьи писал... Жил больше в Париже. Мать на него все ворчала, что отцовские капиталы транжирит...

Анастасий Александрович в приподнятом настроении возвращается домой заполночь. Открывает ему Катя — Ариша упросила Трубниковых взять и ее. Анастасий Александрович:

— Мерси-размерси, тыщу раз мерси!

Катя в слезы. Трубниковы утешают:

— Он же тебе ничего дурного не сделал.

---

[1] К концу войны, году в сорок четвертом, с излишков сада, отец купил у тихо безумной Вивеи Александровны Трубниковой две золотые пятерки, новенькие, к моему великому сожалению, обе — 1883 года. Может, из той банки...

— Ну да! Говорит: мерзкая-размерзкая, тыщу раз мерзкая.

Анекдот — но выше этого разумением Катя не поднялась, и старуха ее спровадила.

Аришу — *своего человека* — Трубниковы определили на фельдшерские курсы Бродского, на правах прогимназии, учиться четыре года. Курсы — Третья Мещанская, до Большой Екатерининской рукой подать.

У Трубниковых — все хорошо, если бы не старуха. В семнадцать лет бабушка сказала молочнице:

— Найди мне жениха, только почище.

На деда сначала раскапризничалась: рябой. Молочница утешила:

— Нам с лица не воду пить.
И с корявым можно жить.

Венчались у Старого Пимена. Мама:

— На свадьбе у деда посаженным отцом — ты прям' ахнешь, кто был — еврей! Кнопп...

Кноппово благословение — васнецовского вида Спаситель — цел до сих пор.

Зажили на Большой Екатерининской. Деревянные домики часто горели. После женитьбы в пожар погибли бумаги. Дед сирота, настоящей фамилии отродясь не знал, числился то Мартыновым, то Кочновым. Теперь деда с бабкой насовсем записали по отчествам: Иван Михайлович Михайлов и — на благородный манер — Ирина Никитична Никитина-Михайлова. Это был первый случай, когда могли измениться даты рождения.

Бабушка про другой пожар:

— Въехали после лета, в углу Николая Чудотворца повесили, под ним сложили узлы — и за мебелью. А тут на втором этаже загорелось. Пожарные льют на второй — протекло на первый, обои отошли и свернулись, все вещи закрыли. Воры вошли — ничегошеньки не видать. А других жильцов обобрали как липку...

И с другой интонацией:

— Вор залез, украл костюм и оставил записку:

Твой костюм зимой не греет,
Летом жарко в нем ходить.

Это на Большой Екатерининской считалось верхом остроумия.

Екатерининские улицы — рабочая слобода у Крестовской заставы, каре между Екатерининским институтом, Трифоновской, Третьей Мещанской и Самарским переулком. Деревня преодолена прямотой линий и штукатуркой фасадов.

Достопримечательностей — по диагонали — две: на Трифоновской — старинная церковь Трифона Мученика, на Самарском — деревянный ампир Остермана-Толстого.

Большая Екатерининская довлеет себе. В город выходят к родственникам или на праздник — в собор. В теплое время по воскресеньям на столах под деревьями играют: с важностью — в шахматы, серьезно — в стариковские шестьдесят шесть, с присказками — в лото:

— Два кола!

— И туда, и сюда!

Над крышами мальчишки всякого возраста гоняют голубей.

В молодости дед буянил, быстро и тяжело напивался, свирепо мечтал:

— Из городового кишки выпустить...

— Долгогривого за волосы оттаскать...

Возможность представилась в пятом году. Дед — профсоюз металлистов — корчевал фонарные столбы на Пресне. Бабка носила ему еду.

Похмелье пришло скоро и на всю жизнь: меньше пил, мягчал нравом, *Русское слово*[1] читал от доски до доски, но сам ни во что не лез:

— Не нашего ума дело.

Дед знал и любил церковное пение, советовал, в какой праздник куда пойти. После пятого года они с бабкой о церкви не вспоминали. Разве что бабка в крутую минуту — что делать? — помолится.

Вместо церкви теперь — Большой, чаще — Зимин: Шаляпин, Собинов, Нежданова. Для деда всего душевней — *Аскольдова могила* с Дамаевым:

---

[1] Сытинская газета, разная, от Дорошевича до Розанова и Блока.

Близко города Славянска...
— Эй жги-жги, говори-говори,
Приговаривай! —

добавка к всегдашним дедовым:

— Было дело под Полтавой...
— Взвейтесь, соколы, орлами...
— Солдату́шки, бравы ребяту́шки,
Где же ваши жены?
Наши жены — пушки заряже́ны,
Вот где наши жены...[1]

Весенняя фотография года шестого-седьмого.

Деревянные дома и забор, кирпичный брандмауэр, водосточная труба самоварным коленом. Сзади — крыши, деревья. На широком дворе:

дед — высокий, в шляпе и тройке, улыбается в черные усы: ремесленник-художник;

вальяжная, в шляпе с бантом бабушкина приятельница Мария Антоновна — моя будущая вылинявшая нянька Матённа;

бабушка —маленькая, со страусовым пером и в ротонде:

мама и Вера в белых пальто. Тоня, Цыганка, уже умерла. Родилась такая красивая, что ясно всем: н е ж и л и ц а;

бабушка Варя, жена деда Семена, Цыгана, — в черных кружевах и палантине, снизошла, позволяет собой любоваться;

ее дети — Володька в пальто с пелериной, будущий коллекционер китайских древностей; Маргушка — как куколка;

особняком — руку в карман — дед Семен, Цыган, мамин крестный, в котелке и визитке: коммерсант. Видно, что здесь он в гостях. Был пастухом, был камердинером у Полякова, ездил с ним в Биа́рриц, выучился солидности и французскому[2], самородок, сам вышел в баре. Этот Поляков — врач, известный благотворитель. Дед Семен

[1] Словно сочинил кто из братьев-славян.

[2] Сетуя на нашу серость:
— Во Франции с любым крестьянином поговорить интересно.

больше брал пример с его брата, заводчика, миллионера. Только бабушка Варя могла — губы в трубочку:

— Кала́бушкины — все простофили.

Знавшие деда Семена — аттестовали:

— Калабу́шкин —

Загребушкин.

Между пятым и четырнадцатым жизнь а Большой Екатерининской наладилась.

Дед солидно работал у Фа́берже, получал семьдесят пять. Говорили, *таких закрепщиков в Москве — два, Фаберже́ и Лорье пытаются их сманить друг у друга, Лорье в Лондон звал — куда там, дед чужой жизни, чужого языка как огня боялся*[1]. *Фаберже — приглашал в компаньоны.*

Дед повышения не желал: сроду претило командовать, решать за других. В своем деле он был художник:

кулончик из разноцветного золота — листья, тра́вы, цветы из розочек;

перстни с цветами и бантиками из разноцветных камней;

перстни с капюшонами — *так теперь не гранят*, с большими пейзажными яшмами, с искристым искусственным *собранием любви.*

По тогдашним понятиям, это даром: рисовал приятель, свой труд не в счет, золото — вынул из портмоне, камешки простенькие, если алмазы — то розочки, касты — серебряные.

В сорок втором за кружку молока для меня ушла одна из четырех плетенок с японским секретом: снять с пальца, бросить на стол — рассыпается в выгнутую цепочку, четыре звена. Собрать — единственным способом, если не знать — не додуматься.

Фа́берже кончился так. Мастер разорался на соседа. Дед — профсоюз металлистов — начал укладывать свой сундучок.

— Что вы, Иван Михайлович! Это вас не касается.

— Знаем, знаем, кого касается.

---

[1] Возможность уехать!

И ушел, насовсем. Себя уважал. Работу любил — праздниками тяготился. На лето отправлял бабку с дочерьми в дешевую деревню. Но трижды за девять лет мирного времени — на юг, в Старый Крым, Новый Афон, Ессентуки.

Господину Ивану Михайловичу Михайлову
Верхние торговые ряды № 102-й
1-я артель ювелиров. Москва.

1910 г. 3 июля, Кавказ.

Дорогой папа!

Мы твое письмо получили 2-го июля и были очень рады, что у Вас все благополучно. Мы через день ходим с Верунькой в ванну и почки мои стали немного лучше. Мы целыми днями сидим в парке с Верой. Верунька ждет от тебя 1 р. за рождение. Я свесилась и во мне 1 п. 36 ф. В Вере 1 п. 17 ф. а в маме 2 п. 39 ф. Васюта[1] еще не весилась. Целуем тебя все.

Женя.

После Николаевского детского приюта (Почему он был? Не от бедности же!) маму, способную, хотели отдать в пансион[2]. (Мама уже начиталась Чарской — и ни в какую. Выбрали гимназию Самгиной на Первой Мещанской. Бабушка стала объяснять, что надо говорить на вступительном экзамене. Мама:

— А как же *долой царя-правительство*?

— А *долой семидержавие*?

— А *Одесс подпирует в роскошном дворце*?

Это из разговоров больших во дворе и от подружек, равно как:

Бедный Пуриш озадачен,
Мрачен он и околпачен.

Гимназия Самгиной, даже не последние классы — самое полноценное, активное и успешное время в маминой жизни.

---

[1] Бабушка Ася. Моя бабушка всегда заботилась о своих.

[2] Папу, тоже способного, определили в Щапово.

— Я все волновалась: — Мам', я на столько научилась, сколько заплачено? — Не беспокойся, Жень, на много больше.

— Закон Божий был — хоре хорькое, как политграмота. Батюшка спросит: — Опять тропари не выучила? — Да они, батюшка, не запоминаются, не в рифму — нескладные. — Женя, разве можно так говорить? — Батюшка у нас был добрый...

— Я на круглые пятерки училась. Немка Альма Иванна Вальтер во мне души не чаяла. Я по-немецки хорошо болтала. Нас четыре подружки было — Надька Павлова, Лидка Кудрявцева, Милька Подъельская — мы, кто доктор, кто, значит, — мама, кто — дочка больная. Все уроки так разговаривали, разговоры сами придумывали. Ленивые-то, кто не выучил, прям' не знаю, как рады — на этом и ехали. Ну, а нам хорошо...

— Француз мсье Люке ко мне все на парту подсаживался. Я его спрашиваю: — Мсье Люке, правда — французский язык самый красивый? — О нет, госпожа Михайлова. Самый красивый язык — португальский[1].

— Танцевать я любила, легко танцевала. Кавалеров хоть отбавляй. На балах со мной распорядитель танцевал. А еще любила коньки. Бегала на *Унион* — поближе куда...

> Педагогический совет женской полноправной гимназии Лидии Федоровны Самгиной, в Москве, на основании § 12 правил об испытаниях учениц женских гимназий и прогимназий Министерства Народного Просвещения постановил дать в награду похвальный лист и сию книгу ученице пятого класса Евгении Михайловой за отличное поведение, прилежание и отличные успехи, оказанные ею в 1913—1914 учебн. году. Москва 4 сентября 1914 г. № 388.

Издания — вольфовские, с золотым обрезом:
Петискус — *Олимп.*
Царские дети и их наставники.
Стихотворения графа А. К. Толстого:
— Лучше бы, Князь Серебряный.

---

[1] Математику преподавал Гангнус — дед Евтушенки.

На простеньком павленковском Лермонтове маминой школьной прописью:

От папы 19 5 ч. / 9 мая 08 год.

На сытинском Гоголе:

За успехи от мамы 19 5 / III 09 г.

Дед с бабкой стеснялись своего корявого почерка.

Окончательно обосновались в трехэтажном кирпичном 5-а, кв. 5: пять-опять.

Из трех комнат одну — в подспорье, а скорее даже, как все — сдавали, старались кому посолиднее. На Большую Екатерининскую проникали люди из внешнего мира.

По рекомендации явился — куда солиднее — Лев Павлович Никифоров, пензенский помещик, имение отдал крестьянам: толстовец, знаком с Толстым. Живет переводами: Джон Рёскин, Макс Нордау[1]. Жена — Екатерина Ивановна Засулич, сестра Веры Засулич. Сыновья — профессиональные террористы, уже все погибли. Один в тюрьме облил себя керосином и сжегся, другой убил начальника тюрьмы и был застрелен на месте, третьего повесили после ленских событий.

Никифоровы перевезли вещи, а сами куда-то ушли. Мама — к замочной скважине. Из плетеного — в рост человека — короба медленно растекается красное: террористы. Бабушка еле их дождалась, не знала, как сказать. Сами извинились, что половицы запачкали: грузчики кокнули полуведерную банку варенья.

Дочь Никифорова была замужем за Мураловым, но не венчалась и фамилию мужа не брала: Никифоровы-эсеры презирали Мураловых-эсдеков. Николай Иванович Муралов впоследствии командовал МВО: это он вызывался убить тирана. Бабушка моя обобщала, что и эсеры и эсдеки:

— Все норовят, как бы на шармака пообедать.

Патриотическая манифестация:

[1] Сказки Макса Нордау с дарственной надписью бабушке, с цветными картинками, были у меня все детство.

— Немка нам: — Гутен таг! — а мы ей: — Здравствуйте!

Патриотическая благотворительность, инициатива, несомненно, из гимназии:

> Русская специальная ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА, кому, куда.
>
> Письменные сношения военнопленных или с военнопленными допускаются только посредством почтовых карточек, подаваемых открыто.
>
> Письменные сообщения допускаются только на русском, французском и немецком языках.

> Германская обыкновенная ПОСТКАРТЕ
> Штемпели: Кригсгефангенензендунг Гепрюфт.
> Вскрыто военною цензурой г. Петроград.
> Военный цензор № 675.

> РОССИЯ
> ЕВГЕНИЕ ИВАНОВНЕ НИКИТИНОЙ
> Москва, Б. Кисловка, 8, кв. 6[1].
>
> Германия. Город Альтдамм. Лагерь военно-пленных № 1-й в 1-ю унтер-офицерскую роту Ивану Сидорову Аксенову.
>
> Евгения Ивановна! Я вашу посылку получил в таковой нашлося ниже указанные вещи, пара белья, полотенцо, носки, чай, сахар, табак, мыло и сухари все это необходимо для меня при чем приношу сердечную благодарность, но я более нуждаюсь в съестном, за тем будте здоровы и пожелаю всего хорошего унтер офицер 116 п. Малоярославского п.
>
> Иван Сидоров Аксенов.

Дед — ратник ополчения второго разряда, по нездоровью. В окопы попал на второй или третий год. Мок и мерз в Карпатах, мучили головные боли.

Бабка — сестра милосердия — из Москвы помчалась к нему. Не могла найти, по отчаянности явилась к командующему. Брусилов приложился к ручке, указал на стул. Дед отыскался немедленно — и попал в условия более сносные.

---

[1] Фамилия бабушкина, адрес подругин: военная хитрость.

Перед призывом он положил в банк на маму и Веру по тысяче — на университет. Тысячи усыхали и в один прославленный день ухнули.

Февралю дед обрадовался: во-первых, демобилизовался; во-вторых, царя не любил — как любое начальство. В доме пять-опять долго хранилось *Русское слово* с присягой войск Временному правительству.

Перед выборами в Учредительное собрание мучился, за кого голосовать:

— Дураки мы темные — откуда нам знать? Эх — за кадетов, они хоть умные...

С войной вместо солидных жильцов — студенты. Первый мамин ухажер Толя Павперов:

— Я в седьмом классе была. Верка ревновала! Она меня ко всем кавалерам ревновала, все злилась, что за ней никто не ухаживает. А мне он не нравился. Я хитрая была. Он спросит: — Женя, можно вас проводить? — Я в окно погляжу: если дождик — пожалуйста, под зонтом все равно не видать. Он некрасивый был, лицо — как у Сократа. Он с товарищами — все студенты — провел меня к Зимину на *Бориса*. Шаляпин всегда у Зимина пел. Большой — только название, мест у Зимина больше. Они меня между собой посадили и все пугали, что капельдинер подойдет и спросит билет. Я прям' вся истряслась.... Содержательный был человек, умный. А мне — с кем бы поплясать, да на каток...

Когда Павперова призвали, на его место появился Гукас:

— От Гукаса паленым пахло. Говорили, что у них в Армении шестьдесят градусов жары, на свиньях кожа лопается. Он на задания ходил — тогда все ходили, гимназисты, реалисты, студенты — все революции сочувствовали, контрреволюционеров искали. Мама за него волновалась, она его как родного полюбила. Говорит: — Если бы мой сын на задания ходил, что бы я делала — только молилась. — Он придет и говорит: Ирина Никитична, спасибо вам, вы за меня молились...

Осенью семнадцатого мама репетиторствовала — еще было где. У вдовца Квальхайма натаскивала дочек —

неизвестно куда. К дочери профессора Бадера ходила как мадемуазель, обучала французскому за двадцать бумажных рублей в месяц. Жена профессора, разодетая, как манекенщица от Мюра-Мерилиза, говорила, что будет еще хуже. Сватала маму за норвежца, инженера Христиансена[1]. Мама побоялась:

— Чудной он какой-то был, нерусский. Говорит: смотрите, я ушами шевелю. И правда — у него уши шевелятся. Я подумала: увезет он меня и бросит там. Что я тогда буду делать?

На Большой Екатерининской кто-то первым сказал:

— Триста лет налаживали...

Мама на верблюде — ядовито-лиловый провинциальный снимок.

После зимы семнадцатого-восемнадцатого бабушка подрядилась в спокойную сытную Астраханскую губернию. Ее предшественник, фельдшер Гоголь-Яновский[2], генеральский сын, неуч, лентяй, не справлялся с работой. Должно быть, не мог:

— Как Епиходов — двадцать два несчастия.

Против бабушки ничего не имел. С мамой и Верой подружился. Его сестра Маруська Яновская — в брата — дружит с мамой по сей день.

Когда спокойная Ахтуба переходила из рук в руки, бабушка, Яновский, мама и Вера ухаживали за ранеными. И белые, и красные грозили зарубить — не зарубил никто, даже не угнали с собой, по неопытности. Бабушка благоволила к тем, кто почище, поинтеллигентнее.

Дед никуда уехать не мог: сразу забрили в Гохран.

За большим столом в одинаковых робах линялые люди заняты чем-то мелким. Во главе стола перед аналитическими весами — дед, без усов, глядит в объектив. Лицо

---

[1] Снова возможность уехать. Сколько же этих возможностей было не на Большой Екатерининской!

[2] Гоголь-Яновский уже был с папиной стороны; теперь еще один появился и с маминой.

арестанта, замученное. Над ним — слоноподобный надзиратель.

По отношению к любимой работе, Гохран — антиработа. Закрепщик выколупывал камни из драгоценностей двора и дворянства. Принесли исковерканную диадему с приставшими на крови волосами — деда вырвало.

Каждое утро переодевайся в казенное, без карманов, каждый вечер подставляй задний проход для досмотра:

— Как будто я вор...

Сейчас не понять, как шла почта, как ездили через фронты. Бабушка получила письмо, что у деда испанка, и прорвалась в Москву. Спасла — может быть, не от одной болезни: в бреду дед вскакивал и искал веревку:

— Да как же это я Троцкого не удавил...

В двадцатом к деду поехала мама, отъехала пустяк — сняли в тифу в Саратове:

— Бабы несут в барак. Отдыхают — носилки на снег ставят. Я ору: — Замерзну! — Стала поправляться, врач — симпатичный был, говорит: — Если останетесь здесь, в бараке — еще что-нибудь подцепите, тогда вам не выкарабкаться. — Ко мне все всегда хорошо относились. Я написала отцу Маруськи Яновской: если бы ваша Маруся оказалась в таком положении, моя мама ее на произвол не бросила бы. Он прикатил на извозчике, вовсю понукает, боится, что я замерзну. Я выздоровела, хочу в Москву. Комиссар на вокзале говорит: — Поймите, мне вас жалко. Вас первый отряд снимет с поезда — и на трудфронт. — А я сержусь, ничего не понимаю: почему снимут, какой трудфронт?

В одно время с папой мама оказалась на Волге и даже при сельском хозяйстве: для проформы записалась в землемерный техникум.

Наверно, это было хорошее время Саратова: Волга, воля, старые шоры спали, новых еще не надели. Была публика — вчерашние студенты из столиц, беженцы из западных губерний.

— Поляк, лощеный такой, пши-вши, все расшаркивается. Я, говорит, сильный, я этот арбуз вам сейчас донесу. А арбуз — во какой, невподъем. Он нагнулся — трыкнул...

Поклонников у мамы — т ь м а - т ь м у щ а я. Даже в дикой Ахтубе, не считая пентюха Яновского и мимолетных офицеров, был, солидно ухаживал управляющий баскунчакскими соляными промыслами пятидесятилетний инженер Третьяк. Гонял для нее паровозик, устраивал пикники на верблюдах — отсюда и фотография.

В Саратове и без бабушкина надзора ничего такого быть не могло: слишком мама всего боялась, да и Саратов воспринимала как продолжение гимназических балов, не более. Днем и ночью общество, гуляния, лодки, песни.

Саратовские страдания — без хора Пятницкого:

Пароход идет по Волге —
Батюшки!
Крысы ходят по канатам —
Матушки!

У моей милашки Тани —
Жигулечки-Жигули —
Колокольчик на гайтане, —
До чего ж вы довели...

гитары — без обвинения в мещанском уклоне:

Я отчаянный мальчишка
И ничем не дорожу.
Если голову отрежут,
Я полено привяжу!

Ах, я влюблен в одни глаза,
Я увлекаюсь их игрою...

неаполитанское — без государственных теноров:

Легким зефиром
Вдаль понесемся
И над реко-ою
Чайкой взовьемся.
Лодка моя легка,
Весла больши-ие —
Са-ан-та-а Лю-у-чи-и-я,
Санта-а Лючия!

Три юные, мечтательные, в белых платьях, свесили ноги с лодки. Средняя — мама, правая — Вера, стало быть, двадцать первый год, на пути в Москву.

Дед за Гохран — больше не за что — получил тогдашнего героя труда — без регалий и привилегий, одна бумага с шапкой р а с ф у ф ы р и л а с ь[1]:

— Жесткая, не подотрешься.

В эпоху аббревиатур и интернациональничанья *герой труда* у деда сэтимологизировался наоборот:

— Никулины опупели совсем, дочке имя придумали: Гертруда́.

Герою труда объявили, что ювелирное искусство чуждо пролетариату и пристали с ножом к горлу: — Вступай! — Дома он: — Мать, что делать, хоть в петлю. — Да куда тебе, совсем с ума сойдешь.

За отказ у героя отняли профсоюзный стаж — с металлистов, с пятого года.

Кстати, когда маму не принимали в профсоюз, она побежала к *съевшему столько обедов на шармака* эсдеку Муралову. Б о л ь ш о й ч е л о в е к помочь отказался:

— Надо уметь самой постоять за себя.

Почти эсеровское: *в борьбе обретешь ты право свое.*

Дед работал у Швальбе — тонкий медицинский инструмент. Бабка — у Склифосовского. Еле сводили концы с концами. Дед возмущался:

— Кому на, а кому — нет. И так гроши платят, а тут опять на английских шахтеров собирали. Бастуют! Да они живут в тыщу раз лучше нашего. И ефимплан им никто не навязывает...

Промфинплан при ж и д о в с к о м з а с и л ь е предстал ефимпланом.

В двадцать первом году мама поступила на естественное отделение I МГУ, не вынесла анатомички и перешла на химическое.

На первой же лекции оглядела аудиторию и соседке:

— Одни евреи!

Соседка тоже была еврейкой.

Маму таскали во все комы:

— Вы не дочь меховщика Михайлова?

В общем:

---

[1] От рэсэфэсэрэ́. Бабушка, зная, произносила и: сэсэрэ́.

Я не хоз и не гос
И не член союза —
Если чистку проведут,
Вылечу из ВУЗа.

На чистке: — Какая разница между партией и правительством?

Мама подумала: — Никакой.

Посмеялись. Оскорбления величества не усмотрели.

Оскорблять — ох как хотелось! Бабушка приносила от Склифосовского:

Царь-пушка не стреляет,
Царь-колокол не звонит.
Червонец не покупает,
Президент не говорит[1].

Под гул гудков,
Под вой жидков
Ушел наш избранный Мессия,
И благодарная Россия
Под звуки пушек и мортир
Его отправила в сортир.

Мамина подружка по пьяной лавочке спела в компании:

Я куплю, куплю свечу —
Чум-чу, чум-чу ра-ра —
На могилу Ильичу —
Ишь ты, ха-ха!
Ты гори, гори свеча —
Чум-чу, чум-чу ра-ра
В красной жопе Ильича —
Ишь ты, ха-ха!

Спела и села. А когда вышла, ее стали бояться — както сразу запало в сознание, что выходить оттуда — противоестественно. Показывали на большой угловой дом на Солянке:

— Там в подвалах расстреливают — и трупы в Москва-реку.

[1] В лефовской кинохронике похорон высокохудожественно было:
титр: ЛЕНИН
кадр: гроб
титр: А МОЛЧИТ.

— Савинков, говорят, мешок с костями был, когда сбросили.

Вычисляли, кто гадит; с вычисленными отношений не прекращали — мало ли что...

Фольклорные расшифровки: ГПУ — Господи Помяни Усопших.

НКПС — Небойся Катастрофы Публика Садись; а если справа налево — Сядешь Поедешь Костей Несоберешь.

Что до одни евреи, мамины ухажеры, товарищи по университету:

Митька Языков, медик:

Не Дмитрий я Донской,
Не Дмитрий Самозванец,
А Дмитрий я простой,
Я пьяница из пьяниц.

Гавка Попов, тоже медик, сын крупного лесосплавщика. Скрывал, попался на том, что слал посылки на север. Кончил на лесоповале.

Коля Сабуров — тайный дворянин, восходящее светило химии, уцелел.

Коля Шуйкин — тоже химик. Эту фамилию за глаза не могли не переиначивать. Писал маме стихи под Есенина.

Было их — пруд пруди, все на -ов да на -ев, всех не упомнишь:

— Вроде Володи, похоже на тарантас.

И каждый со своей Большой Екатерининской— столичной, губернской, уездной, заштатной. И каждый, как мама, и без ВОСРа был бы в университете. И каждый с понятиями — разлететься с букетиком:

Роза вянет от мороза,
Ваша прелесть — никогда.

И каждый вставал в тупик перед политграмотой. Классово, может быть, чуждые, отнюдь не враждебные, они не были и не стремились стать в доску своими, но их уже нес поток, и один Бог хранил их, растерянных, от непонятной им гибели.

Что они пели в своей компании!
Городская частушка:

Ты ль меня, я ль тебя иссушила,
Ты ль меня, я ль тебя извела,
Ты ль меня, я ль тебя из кувшина,
Ты ль меня, я ль тебя из ведра.

То же с неким кулёром:

Чудный голос музыканта канта-канта,
И услышали его во-во:
Из окна, Мария Санта Санта-Санта-Санта,
Чем-то облили его во-во.
По́лна слез душа живая-вая-вая,
О проклятый Бельведер-дер-дер!
И гитару разбивая-вая-вая-вая,
Удалился офицер-цер-цер.

Героически-довоенное:

Если бы курсистки по воздуху летали,
То бы все студенты летчиками стали.
С утра, с утра и снова до утра,
С вечера до вечера и снова до утра.

Вампука:

Мы э, мы фи, мы о, мы пы,
Мы э-фи-о-пы.
Проти-проти, проти-проти,
Противники Европы.
Мы в Аф, мы в Аф,
Мы в Африке живем,
Вампу-Вампу, Вампу-Вампу,
Вампуку мы найдем —
Гип-гип-ура, гип-гип-ура,
Гип-гип-ура, ура, ура...

Нэповское:

Но недолго Клаву он любил,
И конец печальный наступил —
Спец проворовался
И в чека попался,
И оттуда прямо в Бутырки угодил.
Он сел на лавочку
И вспомнил Клавочку...

Факультетско-химическое:

Карл Иваныч с длинным носом
Приходил ко мне с вопросом:
— Что мне делать с длинным носом?
— Ты намажь его купоросом.
Ты возьми, возьми квасцы,
А в квасцы-то ты посцы.
Потом выставь на мороз —
Вот те и будет купорос.

Самодельное:

Ну и стали времена,
Что ни день, то чудо —
Стали спирт гнать из говна,
Четвертную с пуда.
Русский ум изобретет
На радость всей Европы —
Скоро спирт потечет
В рот прямо из жопы.

Дед с бабкой, в отличие от маминых кавалеров, не были растерянными. Молча, без слов, без колебаний они причисляли себя к побежденным. Вслух возмущались, вспоминали м и р н о е в р е м я:

— Как сейчас, на одной гречке сидели, зато никто не таскал.

В *Московском ювелирном товариществе*, потом в артели *Фотоювелир* мало платили, много подозревали. Трясли, требовали золото-бриллианты. В лубянской парилке выдерживали не раз. И потчевали слушком, что есть машинка такая — вставят в задний проход — все отдашь.

Дед был готов отдать до последнего обручального. Бабушку не тягали, ей было виднее: чем больше отдашь, тем верней не отстанут. И неистовостью своей кое-что сохранила.

К практической неистовости — наивная предосторожность. На дверях пять-опять — круглый звонок ПРОШУ ПОВЕРНУТЬ — для чужих (ГПУ?). С в о и тонко постукивали в стенку ребром ключа.

На производственной практике концессионер Ралле преподнес маме свой шедевр — духи *Билитис*: золотистая латунная коробка с барельефом Билитис, внутри —

в шелковых подушечках флакон с золотистой металлической этикеткой, Билитис во весь рост.

После университета — с двадцать седьмого — мама работала на фабрике *Красный мыловар*, трест *Жиркость*. Фабрика — на краю света, воняло от нее — за версту.

Работа — качественный анализ, как гимназические классные задания.

— Меня жалели, в ночную смену я никогда не работала, слабенькая была...

Пожалели — приняли в профсоюз, пожалели — дали общественную нагрузку: распределять билеты в театр. Пролетариат просил:

— Дайте нам в оперетку. *На дне* — это нам не надо, это мы каждый день видим.

Трест Жиркость. Эмблема: над Ж вырастает Т.

Заведующий лабораторией, тоже ухажер, уверял:

— Мы кто? Тэжэ: Толя и Женя. И Толя возьмет верх.

Ни давнишний жилец, первый мамин кавалер Толя Павперов, ни Толя-заведующий лабораторией, верх не взяли.

Первым браком мама была за инженером Камандиным. О нем знаю: невысокого роста, складный, по тогдашней моде, пенсне и бритая голова.

— Эт' такой человек был черствый, жесткий. Рази он дал бы мне кончить университет? Я пришла на Большую Екатерининскую, говорю: — Возьмете назад? — Я прям' сбежала, уехала на извозчике, все вещи остались. Книги немецкие, хрестоматии. Я только Надьку Павлову к нему послала за коньками: что я без коньков делать буду?

Если подумать, сбежала не напрасно: через несколько лет Камандин загремел в промпартию.

— Все тогда говорили, что на суде эт' не они — ряженые. Я прям' не знаю, как пер'живала — вся почернела.

Думаю, маму не таскали. Представить ее на Лубянке у следователя — страшно.

— Врачиха как увидела, что у меня 57 процентов гемоглобина, сразу записку к заведующему производством, чтобы дал отпуск. Мне тогда студенческую путевку

в Судак достали. Я молодо выглядела, тридцать лет мне никто не давал. Ехать не на что было — я пошла к заведующему производством, прошу: — Дайте за месяц вперед, я потом отработаю. — Он улыбается: — Женя, так нельзя. Ты никому не говори — вот тебе премия, — у них премии были, а я и не знала... Ну, уехала, отдохнула, в себя хоть пришла.

Погрелась на солнышке — на фотографии, правда, замечательно молодая и миловидная.

Погуляла по берегу — плавать не умела, в горах — боялась высоты.

Судак — последнее мамино путешествие.

Мама никогда не была в Ленинграде,
мама никогда не была в Киеве,
никогда ничем не интересовалась,
никогда не делала никаких усилий,
никогда ни над чем всерьез не задумывалась,
никогда не признавала высокого и абсолютного,
никогда не верила в Бога,
никогда не считала себя равной кому-то,
никогда не была недовольна собой,
никогда не сомневалась в своей правоте,
никогда не умела влезть в чужую шкуру,
никогда не заводила кошек — собак — цветов,
никогда не влюблялась,
никогда не верила никому, кроме бабушки,
никогда не отождествляла себя с властью,
никогда никого не предала.

Сестра Вера отбивалась от Большой Екатерининской. Поступила во ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН: Машков, Кончаловский. С брезгливостью: Соколов-Скаля. Обожала современную западную живопись и литературу:

— Два-три штриха — и все видишь.

В выкрашенном белилами шкафчике за стеклом:

Пушкин в жизни,
Ежов и Шамурин,
Роза и крест,
Русский футуризм,
Цыганские рассказы Берковичи,
Странное происшествие в Уэстерн-Сити,

Новое южное открытие или французский Дедал. И брошюры: *Третьяковская галерея, Музей нового западного искусства, Сезанн, Стейнлен, Мазереель, Кете Кольвиц, Прогулка по Трансбалту, Ребенок-художник.* Программка Персимфанса.

В ахрровском журнале *Искусство в массы* я выискал неправдоподобное письмо в редакцию: самоучка Точилкин и погромные стишки под Демьяна:

Я вышел на площадь поглядеть на октябрьский парад
И увидел напротив Кремля, в аккурат,
Изображение красного воина
На сером большом полотне.
Была дура-фигура плакатно удвоена,
И уродство ее выпирало вдвойне.
На плакате другом с идиотскою харей
Красовался квадратный урод—пролетарий.
Ворошилов вскипел: — Это глупость иль дерзость?
Сейчас же убрать эту мерзость!
На вредительство наглое очень похоже...

Книги, брошюры, даже лихие стишки были наличностью. Внизу, за глухими дверцами скрывались неописуемые возможности:

сиена жженая,
умбра натуральная,
берлинская лазурь,
изумрудная зелень,
кобальт синий,
крон желтый,
марс коричневый,
кадмий красный,
ультрамарин,
ка́пут мо́ртум,
краплак,
гуммигут...

Настоящих красок — немецких, английских — давно не было, и свои уже не досекинские. Холстов тоже не было. На одном — слой за слоем — писали две-три-четыре картины. Мама часто позировала: бесплатно натурщица. Верина соученица написала ее убранную, разодетую; Вера — в деревенском платке с овощами. Начинала Вера

всегда во здравие, но остановиться вовремя не могла, перемучивала, холсты выходили пасмурные.

Пасмурная — вот, пожалуй, слово про Веру.

Внешность у нее была породистая, в деда. Нрав дикий, с заскоками, больше, чем в деда. Мужчин презирала — особенно, маминых кавалеров. На Веру — *жених еще не родился.*

Если бы не беременность мной, мама вряд ли вышла бы за отца? А может быть, наоборот? Деваться было так некуда, что беременность мной, чтобы выйти замуж? Очень уж близки даты регистрации брака и моего рождения. Мамины слова:

— Мне говорят, мы тебя сейчас с откормщиком познакомим. Там многие хотели его на себе женить. А я цепкая... Он все раздумывал. Ты, говорит, легкомысленная. А я, правда, никогда не задумывалась, хорошо я делаю...

Отец раздумывал не случайно: он только что был женат.

Лет в сорок, году в тридцатом, расписался с сестрой Нади Павловой, маминой гимназической подружки. Та быстро и на виду ему изменила с общим знакомым. Отец не стерпел. Мама же, у ц е п я с ь, побежала к недавней жене узнавать, какой характер у Якова и вообще...

Как никто на Большой Екатерининской не был рад моему отцу, так все были рады мне. Бабушка не оставляла нас ни в Москве, ни в Удельной. В Москве каждый день — или мы к ней, или она к нам, особенно утром, после Склифосовского, где с у т к и д е ж у р ю — т р о е с в о б о д н ы х. Работала в хирургии у Юдина. Юдин сказал:

— Старух разводить не буду!

Вводили паспорта, и бабушка убавила себе впрок лет восемь.

Дед ни разу не был на Капельском, ни, конечно, в Удельной.

Отец на Большой Екатерининской появлялся по необходимости. Сидел за столом, помалкивал или замечал на

деревянной хлебнице надпись: ПРІЯТНАГО АППЕТИТА! Хорошая, а в Усолье была еще лучше: ХЛѢБЪ НА СТОЛѢ — РУКИ СВОЂ!

Мама любила тонкие ломтики — *как лепестки*. Дед резал крупно:

— Большому куску рот радуется!

В обычные дни на Большой Екатерининской:

— Щи да каша — пища наша.

В получку дед ш и к о в а л: щедро, на русском масле, жарил крупные пласты картошки. Мне нравилось больше, чем бабушкины елисеевские деликатесы. Дед сиял:

— Колхозник!

Когда я ронял на пол, подбадривал:

— Русский человек не повалявши не съест.

Когда я капризничал, требовал, — одобрял:

— Герой! Все ему вынь да положь!

Бабушка ревновала, *что я весь в деда*.

Мама объясняла: — В Духов день родился, с душком парень.

Вера не рассуждала: — Милюня моя.

И с тех пор, как себя помню, на меня изливали невообразимый поток фольклора — старинного и пореволюционного, деревенского и мещанского, народного и самодельного, жантильного и откровенного.

I. ДЕД. Был молчалив. Мне пел:

Ах вы, Сашки-канашки мои,
Разменяйте бумажки мои.
А бумажки все новенькие,
Двадцатипятирублевенькие!

Произносил свято-банное:

Понедельник и суббота —
Тараканяя работа.
Таракан воду возил,
В грязи ноги увязил.
Мухи его вырывали,
Живот-сердце надрывали.

От деда — хвост рифмованной азбуки:

Ер, еры —
Упал дедушка с горы,

Ерь, ять —
Его некому поднять,
Ю, юс —
Я сам подымус![1]

Дедово на чих: — Будь здоров, Капусткин!
Анекдот: — Одному прописали лекарство. Он выпьет и: Пи-пи-пи-пи. — Его спрашивают: — Ты чего пищишь? — А у меня в рецепте написано: принимай после пищи́.
II. БАБУШКА. Любимая песня:

Над полями да над чистыми
Месяц птицею летит,
И серебряными искрами
Поле ровное блестит.

Допетровская считалка:

Раз, два —
Кружева.
Три, четыре —
Прицепили.
Пять, шесть —
Кашу есть.
Семь, восемь —
Сено косим.
Девять, десять —
Деньги весить.
Одиннадцать, двенадцать —
На улице бранятся.
Тринадцать, четырнадцать —
Перо и чернильница.

Нелепица:

Чепуха, чепуха,
Это просто враки —
Сено косят на печи
Молотками раки.

Школярские вирши:

Пифагоровы штаны
Для решенья нам даны.
Нам все пуговки известны.

[1] Дед с бабкой не смягчали концы возвратных глаголов и корень *ним* произносили как *ым*: сымать, отымать.

Отчего же они тесны?
Оттого, что Пифагор
Не ходил три дня на двор.

Доисторическая трагедия:

Фердинанд (видит на троне кучу): — Изабелла, это ты?
Изабелла: — Не я, не я!
Фердинанд: — Не верю, не верю,
Уведите эту засерю.

Такая же бытовая комедия:

Священник (нараспев): — Дьякон, дьякон, где мои нюхны?
Дьякон (тоже нараспев): — За иконой, батюшка, за иконой.
Певчие: — Подай, Господи!

Такой же адрес:

На гору Арарат,
На улицу Арбат,
Козлу Козловичу Баранову.

Такой же каламбур:

Запер дело в сундуке.

Телеграфистский юмор:

Птичка какает на ветке,
Баба ходит срать в овин.
Честь имею вас поздравить
Со днем ваших именин!

Революционная частушка:

Ленин Троцкому сказал:
— Пойдем, Лева, на базар,
Купим лошадь карюю,
Накормим Пролетарию.

Двадцатые годы: *Кирпичики*

— Маруся отравилась...

Анекдоты:

— Едет человек в трамвае, читает вслух газету. Ему говорят: — Читай про себя! — А про меня тут ничего не написано.

— Идет Пушкин по теперешней Москве, видит — кругом одни сокращения. Пришел в общество, там сидят, кушают. Вместо *здравствуй*, говорит: — Жопа! —

Все в ужасе. А он объясняет: — Я хотел сказать: Желаю Обществу Приятного Аппетита.
И монстриозное воспоминание: — Малый был. Отец его — первый матершинник в Ожерелье. Так он первое слово не *мама* сказал, а *хуй*. Его и звали потом: Хуета.

III. ВЕРА. Тетку быстро съела болезнь. Поэтому только раннее:
Кисейно-оранжерейное:

У речки над водичкой
Построен теремок,
Там с курочкой-сестричкой
Жил братец-петушок.

Самодельное:

У Робинзона Крузо
Заболело пузо,
Зовите доктора Мабузо
Лечить у Крузо пузо.

И совсем из другой оперы:

Шумит ночной Марсель
В притоне *Трех Бродяг*...
У маленького Джонни
Горячие ладони
И ногти, как миндаль.

IV. МАМА. Самый близкий, самый богатый, самый пестрый и непоправимый источник.
Гимназическое:

Голова моя кружи́тся,
Пойду к доктору лечиться.
Доктор спросит: — Чем больна?
— Семерых люблю одна.

Каламбурно-минаевское:

Однажды медник, таз куя́,
Сказал жене, тоскуя:
— Задам же детям таску я
И разгоню тоску я.

На популярный мотивчик:

Путеец-душка,
Как ты хорош!

Берешь под ручку —
Бросает в дрожь.
А поцелуешь —
Всю кровь взволнуешь,
Ты покоряешь сердце дам!

Основополагающие песни:

Бескозырки тонные,
Сапоги фасонные —
То юнкера молодые идут...

Оружьем на солнце сверкая,
Под звуки лихих трубачей...

Пошел купаться Веверлей...

Военного времени:

Мичман молодой
С русой бородой
Покидал красавицу-Одессу...

Опереточное:

Кит-Китай, Кит-Китай,
Превосходный край —
Шик-блеск-ресторан
На пустой карман!

Скороговорочное:

Жили-были три японца —
Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрони.
Жили-были три японки —
Цип, Цип-Цидрип, Цип-Цидрип-аля-Попони,
Все они переженились —
Як на Ципе,
Як-Цидрак на Цип-Цидрипе,
Як-Цидрак-Цидрони на Цидрип-аля-Попони.
Родились у них детишки — и т. д.

Кавказский жанр:

Ашемахи́я
Прэмия хочет —
Одлеорануны́!
Пад уклоном
С паром скочит —
Одлеорануны́!!
Одлео-делья,

Одлео-делья,
Одлеорануны,
Одлео, одлео,
Одлео, одлео,
Одлеорануны!

Армянская загадка:: — Балшой, зеленый, длинный висит в гостиной. Что такое? Селедка! Пачему зеленый? Мой вещь — в какой цвет хочу, в такой крашу.

Армянский анекдот: Посмотрел армянин *Евгения Онегина*. Его спрашивают: как? Он:

— Балшой девка Танька
Бегает в одной рубашке
И кричит: — Нянька, нянька,
Дай бумажки!

Салонные игры:

— Когда человек бывает деревом? — Когда он со сна.

— Когда ходят на балконе? — На бал кони никогда не ходят.

— Когда садовник бывает предателем родины? — Когда он продает настурции.

— Какая разница между слоном и роялем? — К слону можно прислониться, а к роялю приройлиться нельзя.

— Почему митрополит, а не митрострелляет?

— Почему попрыгун, а не попадья-рыгунья?

— Почему попукивает, а не попадье кивает?

— Я иду по ковру,
Ты идешь, пока врешь,
Он идет, пока врет.

— Первое — блюдо, второе — фрукт, вместе — кухарка бывает довольна, когда приходит кум-пожарный. (Щи — слива).

— Первое — птичка, второе — приветствие в телефон, целое — говорит прислуга, беря на плечо коромысло. (Чиж — алло).

Детские анекдоты:

— Мама, он мушек давит! — Ах ты, хороший, добрый мальчик, мушек пожалел. — Нет, я сам хочу их давить!

— Мальчишке в трамвае живот схватило. Мама ему говорит: — Терпи, казак, атаманом будешь. — Он терпел, терпел, а потом говорит: — Мама, я уже не атаман.

— Смех и грех. Мальчик за столом пукнул. Гости на него глядят. Он подумал и говорит: — Это я ротом.

— Проехал грузовик. Воробьи попрыгали по мостовой и возмущаются: — Навонял, а есть нечего!

Уже пореволюционное:

Мой муж комиссар
Подарил мне гетру,
А я ее одеваю
И хожу до ветру.

Студенческая пародия:

Из-за острова на стрежень —
Мелкой тропкой —
Выплывают расписные —
Кверху жопкой.

Нэповское:

Он женит сына Соломона,
Который служит в Губтрамот...

Тоже, с кафешантаном:

Проснувшись рано,
Я замечаю,
Что нет стакана
В доме чаю,
Хваля природу,
Я выпил воду
И к Наркомпроду
Направил путь.
А Наркомпрод шумит, как улей,
Трещат под барышнями стулья,
Курьеры быстрые спешат
Вперед-назад, вперед-назад.
Но тут мальчишки
Мне рвут штанишки.
Исполнен муки,
Бегу в Главбрюки,
Но ветер шляпу
В пути сорвал.
И вот по новому этапу
Я отправляюсь в Центрошляпу — и т. д.

Мама постоянно распевала оперные арии — по старой памяти и с радио.

Изредка — за штопкой (глажкой) — радиокомитетские песни советских композиторов:

Каховка, Каховка,
Родная литовка...

В сознание не умещалось, что родной может быть винтовка.

А трансляция на Капельском была, как везде, как у всех. Не было ее только на Большой Екатерининской — и не только у бабушки с дедом.

В тридцать седьмом из Карабугаза в Москве — чудом, на один день — оказался ссыльный Камандин, первый муж мамы. Он пришел на Капельский днем, когда папа был в Тимирязевке. Умолял маму уехать с ним, брался меня усыновить. Мама трезво отказалась. Пораженный, я вечером доложил папе:

— Был дядя, пил водку, плакал и закусывал огурецом.

В переулке зимой человек без пальто, опухший, в очках просит у мамы двадцать копеек. Она достает рубль:

— Несчастный.

Сажали всех. Бабка с дедом, естественно, ни минуты не верили, что кто-то из арестованных виноват. За себя не тревожились:

— От судьбы не уйдешь. Не судьба — ничего и не будет.

За своих — тряслись, за других — возмущались. Не возмущался дед показательными процессами:

— Что мне, Бухарина жалко? Мне Никулина жалко[1].

По Москве в сопровождении младшей Трубниковой барином разъезжал Лион Фейхтвангер. Посетил он и простое жилище своей переводчицы: Трубниковы-Баландины за огромные четырнадцать тысяч рублей купили кооперативную квартиру Бурденко в районе Грузин. Это там на елке все было непонятно красиво и, как на даче, просторно.

Переводчица бабушке на ухо рассказала, сколько при ней получил Фейхтвангер за *Москву, 1937 год* и сколько ему давали, чтобы остался.

[1] Сосед и сослуживец.

На кухне Капельского мама, на всякий случай, громко произносила:

— У Гайдара — лицо хорошее.

— *Как закалялась сталь* — я прям' обревелась вся, такая искренняя.

— Проникновенная! — про любимую песню Чкалова:

С песнями борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет.

С песнями боролись. То ли за скверный характер, то ли за сезаннизм в тридцать седьмом Верины работы после благополучного вернисажа исчезли из экспозиции. Нашлись они в темном чулане.

Несколько дней Вера просидела в своей комнате, а потом — с заявлениями помчалась в приемную Ворошилова, в приемные почище. Вопреки воззрениям дедовым, бабкиным, собственным, она поверила людям в форме.

При мне на Большую Екатерининскую приезжал врач в форме НКВД. Вера разговаривать с ним отказалась: форма не настоящая, еврей.

Форма была, правда, не настоящая, все зло заключалось в евреях.

Евреи-требушители по ночам деформируют нам черепа, вычленяют кости для перелома, подпиливают зубы, меняют впрыскиваниями цвет глаз и волос, чтобы не были голубоглазыми, русыми: русскими.

Евреи-ритуалисты окружают нас своими словами, слова эти всюду, в созвучиях, сдвигах:

с древности славянам грозил *Наваха-донос-сор*,

всю жизнь бабушку преследует профессор *Трупников*,

жасмин в Удельной надо вырубить: он навлекает мешающий мысли *джаз Миньковской*[1].

Хуисты делают нас бесплодными, и нельзя взять на воспитание: будет *навоз-питание*.

Шуцбундовцы днем и ночью шумителем глушат мысли или читают их с помощью реостата, он же мыслитель.

---

[1] Гимназическая подружка, к музыке отношения не имела.

Для предосторожности — избавиться ото всех меток, клейм, примет. Вера счищала *САЗИКОВЪ* и *84* с ложек, *Золинген* и овечку с ножей и ножниц, *ПОПОВЪ* со швейной машины, *№ 4711* с пудры, *СІУ* с леденцовых жестянок. Чертежно сломанной по диагонали бритвой выковыривала на себе родинки и веснушки.

Полное спасение — в книге *Багдад* с предисловием Джугашвили. Достать эту книгу трудно, если и попадется — то с вырванным предисловием[1].

Защищены от евреев только вольные хлебопашцы — бабушкины, из Ожерелья, только права у них отняли. Охраняет обращение *гражданин*. Мне:

— Гражданин пришел.

— Гражданин, хочешь тертой морковки?

Евреем же мог оказаться кто угодно:

— Просыпаюсь ночью и вижу — рыжая старуха с потолка спускается.

Рыжая старуха — бабушкина сестра, моя бабушка Ася, по мужу — Рыжова. Более доброго, ласкового, внимательного и безответного человека не вообразить. Я любил ее, как никого из родни — даже не за то, что она всегда привозила мне что-нибудь от подраставших Бориса-Игоря: еще один комплект Ежа.

игру *Кто догонит,*

блошки,

грубый альбомчик с марками:

— Это тебе на первых порах.

Я представлял себе что-то, мчащееся на всех парах.

Опускала в мою копилку не копейку, а гривенник:

— Серебром собирать выгоднее.

Я представлял себе сказочное серебро. Бедные дары ее всегда были богатыми[2].

Бабушка Ася не повышала голоса. Лаской, намеками меня, тупого на соображение, подводила к тому, что я сам хотел/делал, что надо и вел себя должным образом.

---

[1] Все предисловия тогда были вырванные.

[2] Когда говорят: *добрый*, представляешь себе человека глупого, бестолкового — раздает, что нужно самому или что нужно не тому. Судя по бабушке Асе, доброта — талант, может быть, более редкий, чем музыкальный или художественный.

Обитали Рыжовы в полухибарке в Покровском-Глебове — тогда Подмосковье. Чеховский нудный Дмитрий Петрович, бабушки-асин муж острил:

— Сан-Глебау.

Их Борис и Игорь целыми днями сидели возле шоссе и записывали номера проезжавших машин: попадаются ли одинаковые. Обрати кто внимание — ш п и о н а ж обеспечен.

Папа получал больше, чем дедушка с бабушкой; Дмитрий Петрович и бабушка Ася — меньше. Из нужды сыновей пустили по военной части. Младший Игорь на фронт не попал из-за редкой тропической болезни. Старший Борис, красавец, в з я л у отца и матери самое л у ч ш е е, взорвался в воздухе над своим аэродромом. Бабушка Ася ездила *под Смоленск* на могилу. Если бы не очевидцы, можно было бы надеяться, что Борис где-то среди бывших пленных, рассеявшихся, как евреи.

В тридцать седьмые дед Семен, Цыган, коммерсант, бабушкин брат, мамин крестный, приезжал тайком из воронежской ссылки[1].

Не случайно антрепренером эрдмановского самоубийцы был некий Кала́бушкин, владелец тира в саду *Пролетарский бомонд*. Мой дед Семен, Семен Никитич Кала́бушкин, арендовал в Петровском парке тот самый *Яр* — с цыганами. У Петровских ворот — потом на Большой Дмитровке — держал еще ресторан. Подкармливал спившегося кумира, певца Дамаева. По дороге из университета на Большую Екатерининскую к нему изредка забегала мама:

— Язык проглотить можно!

Но когда в к о н е ц п р о ф е р ш п и л и в а л а с ь или раз — потеряла домашние деньги, крестный крестнице ссужал под проценты. И то жена его, бабушка Варя была недовольна:

— Калабушкин, простофиля, детей по миру пустит...

По миру детей пустил не он.

Бабушка Варя жила у Никитских ворот вчетвером на десяти метрах: сама, дочь Маргушка, внук Андрей, зять Кимряков.

---

[1] По активности характера мог там знать Мандельштама.

Кимряков торжественно провозглашал про отсутствовавшего:

— Преклоняюсь перед Семеном Никитичем: простой пастух — и в такие большие люди вышел!

Когда-то два молодые поэта приехали из провинции завоевывать Москву, Сережа Михалков прочно женился на дочери Кончаловского (внучке Сурикова). Его друг Володя Кимряков, если верить, был первым браком женат на Любови Орловой. Потом пристал к Маргушке — может, в расчете на сокровища деда Семена. Что до литературы, то поэт Михалков получил орден, а поэт Кимряков напечатал в *Огоньке* басню *Два ежа и два ерша* — предмет маминых издевательств.

К и м р я к а почему-то считали осведомителем. Может, поэтому, может, по другой причине, бабушка Варя ссыльного мужа не пустила.

Побоялся и сын Володька, инженер — уже ездил в Италию, будущий коллекционер китайских древностей. Жена Володьки, детская поэтесса Ольга Гурьян вытолкала свекра взашей и разоралась на лестнице:

— Если вы еще раз покажетесь, я заявлю в домком, чтобы вас арестовали...

На Большую Екатерининскую путь был закрыт из-за болезни Веры.

В Покровском-Глебове он просил бабушку Асю:

— Зарой у себя на участке. Я тебе много денег дам.

Бабушка Ася боялась: дети, а, главное, Дмитрий Петрович, порядочный человек, но трус и до опасного прост.

Дед Семен в слезах объявился у крестной, то есть в Удельной. Лица его я не помню — помню, как он естественно вынул складной ножик, срезал орешину, и через десять минут у меня в руках была сырая пастушья свирель.

Зарыть у нас на участке не просил — то ли остерегался моего отца, который не отказал бы, то ли уже пристроил.

На обратный путь он прибинтовал золото и бриллианты к ноге. Взяли его в Воронеже на вокзале.

Бабушка Катя, старшая бабушкина сестра, слабоумная, вечно равна себе. Увидела в нашей капельской тесноте пианино:

— Куда ж вы пионер-то поставили?
Или на всю Удельную:

— Револючию зделали Троцкин, жиды да стюденты!

Ее Дочь Мария, партийная, наверно, была с ней согласна — как летом семнадцатого была согласна с любым оратором: все нравились. Мария в мать, ничему не выучилась, зато единственная в родне активно вступила в ряды и зарабатывала больше моего папы-доцента: проверяла в Госбанке выигравшие облигации и, не скрывая, осведомляла. Марию пытались расспрашивать, как мухлюют с займами, — она истово охраняла тайну. Гуляя со мной, рассказывала, как на границах буржуи затаскивают наших товарищей к себе и там мучают.

Сын бабушки Кати Сергей — старше Марии. Когда моя мама играла с ним в барыню-барина, Мария была прислугой.

Сергей с отрочества пустился во внешний мир и приобрел цветистую биографию.

Был типографским учеником, тайно печатал что-то для эсдеков, посадил его якобы сам Малиновский. После ВОСРа служили в чеке, начал пятить:

— Поймали молоденького, на велосипеде ехал, поставили к стенке — шпион. Он говорит: — Дайте Богу помолиться, — и стал на колени. Мы и жахнули. А мне его жалко, из головы не идет, снится. Я сказал врачу: — У меня, знаете, в голове птички поют, — и смылся.

С этой службой и временем связана его женитьба на баронессе фон Моргенштиерна[1] — умыкнул ее из остзейского замка и в приданое получил тещу-лишенку.

Около того же времени его вычистили из партии.

Лет двадцать он прожил в Киеве и, по мнению московской родни, вконец о ж и д о в е л.

Он сидел у нас на террасе в качалке и с восторгом рассказывал о евреях:

— На конгресс Коминтерна опаздывает индийский делегат. По всем станциям разослали депеши. Из Жмеринки отвечают: — Рабинович красится, когда высохнет — выедет.

---

[1] Если род шведских баронов фон Моргенштиерна не пресекся, я их свойственник!

— У моего дружка Шеферсона в трамвае срезали хлястик. Выходим мы из трамвая, гляжу — у него в руках хлястик. — Что, нашелся? — Нет, я срезал точно такой же!

— Старик Шеферсон жалуется мне на жизнь. Я говорю: — Что же делать? Льошио́схо кеви́си аденои́. — Он отзывает моего Йоську в сторону: — Это а ид? — Это гой. — Тогда это высокообразованный человек, он знает древнееврейский язык...

В подтверждение Сергей оставил нам Шолом Алейхема, *Записки коммивояжера*, Укргоснацмениздат.

Я попросил его привезти из Москвы моего любимого *Гавро́ша*.

— Я в электричке с большим удовольствием прочитал твоего *Га́вроша*.

Царапнуло. И все же — веселость, блеск, широта Сергея меня обворожили. Я даже вслух пожалел, что не он мой отец.

Отец же мой над Сергеем подтрунивал:

— Сто верст до небес и все лесом...

А Сергей тоже ко мне привязался, обдаривал, не жалел на меня времени. При нем я легко парировал самые замысловатые шутки, складно острил сам, мухлевал в карты, хвастался *за́видными вещами* в латунной коробке из-под духов *Билитис*. Сергей прозвал меня О с т а б е́ н д е р о м. Я понимал, что это хорошее слово.

Однажды за столом на Большой Екатерининской он сказал:

— У нас забота о людях, чтобы они скорее сдохли.

Он не шутил. Теперь мне кажется, он даже противостоял названному положению.

Я слышал, как он заботился о жене и дочери. Когда они оказались по ту сторону фронта, он перенес заботы на нас: постоянно слал переводы своей матери — бабушке Кате, моей бабушке, маме. Мне — особо — был перевод на 150 рублей. Затем — бандероль: рулоном листы ватмана, уклеенные советскими марками — из какого-нибудь краеведческого музея при отступлении. Я написал ему на кустарной открытке с базара — натрафареченные анютины глазки:

Здравствуй, дорогой дядя Сережа!

Я уже учусь во 2-м классе. Очень благодарю за 3 плаката, я их получил 19 июля. Живу на даче. Бабушка благодарит тебя за деньги. Все пока живы, но я часто болею.

Целую тебя крепко.

19/X 42 г. Андрюша.

Послать не успел: Сергей в самом начале сталинградской кампании объявился на Большой Екатерининской. Под Сталинградом он возводил укрепления. Немцы подошли не с той стороны. В голове у него вновь запели птички, и он получил незапятнанно-белый билет.

Объяснил происходящее:

— Война — потому что Гитлер видит: разбойник на него ножик точит. Он и напал. А так — мы бы напали в сорок втором...

Остановился он у сестры — и вдруг туда заявляется его давний — еще по чеке — знакомый: увидел на улице и пошел следом. Сергей сделал вид, что не узнает, что ошибка, что он — не он, и много-много ночей ночевал у моей бабушки.

Он подарил мне все замечательное, что у него было, кроме трубки из канадского корня, а когда я на нее покусился, остановил:

— Андрюша, это агрессия.

Он водил меня в цирк, в кино — *Джордж из Динки-джаза*, *Три мушкетера*. Рассказывал, что война это быт, а не приключения, что немцы одеты элегантно, что железный крест производит впечатление мрачное и величественное.

Я сетовал, что вокруг так мало красивого и тыкал пальцем в домишки на Большой Екатерининской.

— Ну что ты! Если каждому дать хозяина, подновить, подмазать — красота будет, глаз не отведешь!

Под Москвой Сергей устроился на трудфронт начальником лесоповала, окружил себя целым гаремом. Избранная из избранниц, б о ж е с т в е н н ы й д о к т о р, — с ее мужем-летчиком Сергей пил водку — подарила мне п у ш к и н с к и й р у б л ь — рублевик 1836 года.

Для рабочей карточки он оформил к себе сбежавшую из лечебницы Веру — работать она не могла. Для рабочей карточки и чтобы не загреметь на трудфронт, мама устроилась в артель «Промхудожник» к Кимряку, Маргушкину мужу. Надомники шили отвратительных эскимосов, карточка оставалась у мамы, деньги шли Кимряку.

Любящий нас, окруженный гаремом Сергей отчаянно тосковал по жене, баронессе фон Моргенштиерна и дочери Маргарите. Твердо знал, что они в Киеве, все же надеялся на эвакуацию, наводил справки.

Только после освобождения Киева — и то не сразу — пришло письмо от соседки: да, остались. Восемнадцатилетняя Маргарита погибла летом сорок первого — кажется, при рытье окопов. Жена с голоду и по внушению тещи объявила себя *фольксдойче*. Этого слова в Москве не знали, почерк был неразборчивый, мама прочла *фольксфайнд*, поняла, что по-немецки, чтобы прошло через *проверено военной цензурой*.

Дневник:

8 февраля 1944 г.

Вторник. В воскресенье Сергей поехал со мной в марочный и купил мне 24 марки за 80 рублей... В субботу приехал Сергей, в Киев его не пускают...

9 июня 1944 г.

Недавно Сергей прислал из Киева письмо: Маргарита и Ольга Романовна погибли.

Спустя много после войны баронесса написала Сергею из Польши. Она отступала с немцами до Познани, а там вышла замуж за пожилого поляка:

— Он мне как отец...

Чтобы мы не сдохли, в военные зимы, через силу, с пудовым — для всех сестер — грузом меда приезжала из Ожерелья отечная, багровая бабушка Феня, *самая красивая из Калабушкиных*. Мед распределялся поровну, доставалось не так уж много. Дед и папа — пробовать не желали. Бабушка подкармливала Веру — несчастная, маму — слабенькая, и вовсю — меня. О себе забы-

вала, никто не напомнил. А я в голод учился распознавать сорта и оттенки медов.

Сердцем бабушка Феня мучилась с детства, осталась в деревне, счастливо вышла замуж за просвещенного крестьянина Ивана Павловича Бычкова. Это был книгочей, мастер на все руки и богомаз. Деду Семену в ресторанах расписывал потолки амурами. Первым в Ожерелье завел пасеку. Моя бабушка Ирина выписывала ему журнал по пчеловодству.

В коллективизацию соседи-завистники с помощью его собственного родного сына-комсомольца состряпали на него донос: не 6, а 600 десятин. Ивана Павловича не раскулачили, а арестовали. Через год-два-три из-под Караганды — опустил добрый человек — пришло единственное письмо. Смысл: не ждите.

Пасека пережила хозяина, и по-деревенски бедная, больная бабушка Феня дарила нас, городских. А какие она присылала письма! По всем правилам: *Во первых строках моего письма...* — и перечисление, кому, в каком порядке, какие поклоны. И затем живо, как говорила, — фонетическая запись рассказа о новостях в Ожерелье, о новых пакостях сына с невесткой...

Зиму сорок второго-сорок третьего мы с мамой жили у бабушки: центральное отопление не действовало, голландку худо-бедно топили.

В Вериной качалке я читал дореволюционную *Тысячу и одну ночь*, в комплектах *Пионера* выискал *Экспедицию Барсака*, отвратился от *Великого противостояния* и *Старика Хоттабыча*. Сладко пощипывала *Дикая собака динго*, пугала *Военная тайна*, добрые чувства пробуждала *Школа в лесу*.

С бабушкой я повадился по епархии. На Большой, на Малой Екатерининской видел старинную утварь, коврики, статуэтки, чашки, киот с эмалевыми образками Серафима Саровского. Получал: где открытку Делла Вос-Кардовская или *Христос Воскресе!* где — царскую марку, где — франк Наполеона Третьего. Однажды бабушка, ликуя, притащила мне толстый неровный медяк с двумя фигурами и большим М:

— Чуть не Михаил Федорович!

Растравила меня бабушка Варя, жена сгинувшего деда Семена, Цыгана:

— У меня была медная монета со Христом, византийская.

Моя бабушка — в утешение — тайно подарила мне новенькую пятерку 1818 года.

После серебряной мелочи дед презентовал мне советский рубль с рабочим и крестьянином:

— А еще был червонец — как царская десятка, только крестьянин сеет.

У него я был уже не колхозник, а старьевщик.

Дед пытался сводить меня в *Экспресс* — по старой памяти, звал его *Инвалидным* — на *Петра Первого*. Меня, *до шестнадцати лет*, не пустили.

— Хорошая картина *Петр Первый*. Хорошая — *Чапаев*. Там психологическая атака. Я из-за нее четыре раза смотрел.

(Папа в *Чапаеве* запомнил другое: *Вы спите, мнимые герои...*)

Дед научил меня играть в шахматы. Говорил: гарде, офицер, тура́. Шахматы у него были революционные — обычные фигуры, только не белые и черные, а красные и черные — чтобы никто не был белым. На доске — накладной квадрат в одно поле:

> Тов. Михайлову И М от шах-коллектива «Фото-Ювелир» занявшему 2-е место в I-м турнире 10/VII—33 г.

Папу я иногда обыгрывал, деда — ни разу.

Папа приходил почти каждый вечер, носил картошку, ходил за водой, колол и носил из сарая дрова, со всеми ел *суп-рататуй*, сдержанно говорил о войне и политике.

По воскресеньям гулял со мной. Раз зашел во дворе в уборную — в доме канализация/водопровод замерзли — кто-то снаружи хлопнул его палкой по голому заду. Папа рассказывал, смеялся.

Я ходил на лыжах один — детей в доме 5-а не было — вдруг меня обступили Тимур и его команда. Вырывали одну лыжную палку. От оскорбленности я не кричал — держал, упирался. Отняли, исчезли. Я рассказывал, не смеялся. Старался сидеть дома.

Меня выгоняли гулять с Верой. Я часами выслушивал о евреях, гнусно поддакивал: Вера дарила мне марки — венгерские с парламентом и жнецами, колониальные с туземцами и ландшафтами, греческие с вазами и скульптурами. Она наглухо вклеивала марки в альбомчик и обводила поле с зубцами золотой акварелью:

— Так сейчас модно за рубежом.

Некоторые марки, показав, сжигала. Сожгла она все свои холсты и этюды, принялась за книги. Никто не препятствовал:

— Ее вещи. Что хочет, то и делает.

Только папа официально купил у нее *Пушкин в жизни. Academia*, в коробке.

Вера была хроником, держали ее в Столбовой. Бабушка ездила к ней дважды в месяц — редкими, почти без расписания, паровиками — целая история. Раз ездила мама — потом три дня лежала в лежку.

Вера требовала, чтобы ее забрали, на глазах выливала, выкидывала с трудом собранную еду.

Часто сбегала. Сбежав, била бабушку по щекам; деда — боялась. Рассказывала тюремные ужасы — скорее всего, чистую правду.

Из Столбовой по пятам вваливались санитары, увозили — иногда с боем. Зачастую бабушка не выдерживала, оставляла дома под расписку, — со всеми мыслимыми последствиями.

> Дневник:
>
> 17 июля 1944 г.
>
> Верка совсем спятила: приехал Игорь — Верка назвала его шуцбундовцем и плюнула ему в лицо.

Плевала она в бабушку Асю и в папу. Папа отшучивался:

— Недолет, Вера Ивановна.

В ответ она строила дикие рожи, показывала язык.

Странным образом, папа уважал Веру, ценил в ней культурность, художественное начало. Перед войной, когда она была лучше, на свою ответственность устраивал ей в Тимирязевке заказы на диаграммы.

По-прежнему Вера любила меня и оказывала мне всяческое внимание. Мне же само ее присутствие было чем дальше, тем невыносимей. Сидит, молчит — а я хоть вон беги. Папа пытался меня оградить, протестовал, что-то говорил по-хорошему. Со своей стороны дед, домашний тиран, боялся, что как-нибудь ночью Вера всех нас перережет. Безуспешно. В бабушке верх брала жалость к несчастной дочери[1].

Бабушка по-прежнему работала у Склифосовского, только теперь — в приемном покое и — сутки дежурю — двое свободных. Месячной зарплаты ее с пенсией хватило бы на три-четыре рыночных буханки хлеба или пять-шесть кило картошки. Зато всем родным были лекарства — даже сульфидин. При этом в голову не приходило, что лекарства можно продать. Лечить бабушка обожала:

— Выходит из нас пудами, а входит золотниками.

Лечила дома — может быть, слишком. Лечила и на работе.

Есть рассказ, что она дала профессору Юдину от дизентерии порошок ксероформа вовнутрь — и как рукой сняло.

Сама — никогда не лечилась: *а мне все нипочем*. При гнойном аппендиците отказалась от операции.

Работа в приемном покое непосильная, а видеть приходится столько, что жизнь предстает еще ужасней, чем есть:

Ребенок проглотил лезвие безопасной бритвы.

Рабочие перепились метиловым спиртом.

На пешехода ребром упало стекло с этажа.

Воры накачали лягавого автомобильным насосом в задний проход.

Среди дежурства примчалась к нам — убедиться — привезли мальчишку из-под троллейбуса: вылитый я.

Бабушка до последнего опекала маму: может быть, понимала, что той не справиться. Мама *никогда не дела-*

[1] Что такое любовь, что такое жалость, если с моего первого дня бабушка/мама надо мной и через меня враждовали с моим отцом? Лет в двенадцать я уже понимал, что жалеть душевнобольных — не жалеть здоровых.Тогда сказал — повторю сейчас: заболею — засадите без размышлений.

ла никаких усилий — а когда я родился, усилия ох как понадобились. Мама изнемогала, ей постоянно недомогалось. Кто-то сказал слово: гипертония. Слово пошло в ход.

— Я же гипертоник!

— Разве я человек? Я полчеловека...

С утра голова стянута мокрым полотенцем:

— Эх, башка-башка, от поганого горшка...

На бабушкину долю пришлось учить меня уму-разуму. Она объясняла мне историю и политику, ниспровергала кумиры:

— Усатый садист!

— Ленина спрашивают: — Владимир Ильич, что вы все руку в кармане держите? — Это я комячейку поддерживаю: член и два сочувствующих.

Бабушка же не дала мне кощунствовать, когда я начитался *Комсомольской пасхи*. Больше того — подарила мне на всю жизнь иконку Смоленской Божией Матери, где на обороте дощечки еле виделось карандашное: *Ризу в память чудесного исцеления* и число: не то *1841*, не то *1871 года*.

Учила подавать нищим:

— Просить труднее.

И — недаром маленький я во дворе сказал:

— Тебя одна мама родила, а меня — мама и бабушка!

Отношения с бабушкой я омрачил только однажды. В *Закономерности* Вирты понравилось выражение: *Наш хлеб ешь*! — я и ввернул. Плохо от этого было мне. Мама стыдила, бабушка сделала вид, что ничего не произошло, и продолжала меня, как маленького:

— Кушай, это последнее. Последнее — самое вкусное.

Я поднывал: — Конфетку бы мне завалящую...

Конфетка-не конфетка у бабушки всегда находилась.

Я решал, что отдал бы серебряный рубль с рабочим и крестьянином за одно яблоко — и не подозревал, что яблоко тогда было дороже, намного.

Удельнинская полоумная жилица Варвара Михайловна приносит мне в подарок морковку: *как зайке*. Му́ка моральная: я не мог взять ценный подарок, зная, что сколько-то морковки у нас есть, и забился под стол.

Мука физическая: серая мышь Мегера — ею квартиру пять уплотнили в двадцатых — приволокла из МОЗО рицинус, касторовые бобы. Со скрипом отсыпала нам. Ей — хоть бы хны. Нас всех рвало. Назавтра бабушка через силу пошла на работу. Мама лежала пластом весь день. Меня мутило до лета.

Дед — рослый, работа физическая плюс нервное напряжение, на работу/обратно — пешком. Голод давался ему труднее всех. Красное лицо в оспинах становилось еще краснее, острые глаза от головной боли еще острее, бритый череп в стариковских пигментных пятнах. Ходил — пошатывался. Упал на улице. Привезли к бабушке, к Склифосовскому. Через месяц я бегал смотреть, как бабушка медленно ведет его на Большую Екатерининскую. Дед крепил алмазы на маршальских звездах и умер от алиментарной дистрофии после Сталинграда, почти на Пасху. При смерти повторял:

— Посмотреть бы, что дальше будет. Хоть одним глазком.

Мама/бабушка долго шушукались, как быть со мной: первый покойник в моей жизни.

Деда сожгли, урну оставили в общей могиле.

Бабушка мне объясняла, что после войны будет свобода торговли, и тогда все будет.

Ничего не было.

Посадили профессора Юдина. У Склифосовского объяснили:

— Арестован на аэродроме при попытке бежать в Америку.

Как всегда, бабушка не поверила.

Как она сдала! Помню ее всегда в движении, в заботе обо всех *своих*. На первых моих фотографиях — маленькая, сгорбленная, усталая.

Как она тянулась за мной, как следовала моим увлечениям! Джильи — Джильи. Вертинский — Вертинский. Бальмонт — Бальмонт. Футуризм — футуризм. Может, это прибавляло ей сил...

В пятидесятом году я узнал стихи Пастернака. Ни с мамой, ни с папой поделиться этим счастьем не мог.

Подумал, что бабушке будет интересно — по воспоминаниям — и прочел ей *Высокую болезнь*:

В те дни на всех припала страсть
К рассказам, и зима ночами
Не уставала вшами прясть,
Как лошади прядут ушами...

Хотя, как прежде, потолок,
Служа опорой новой клети,
Тащил второй этаж на третий
И пятый на шестой волок...
Однако, это был подлог,
И по водопроводной сети
Взбирался кверху тот пустой
Сосущий клекот лихолетья...
Что был нудней, чем рифмы эти.
И, стоя в воздухе верстой,
Как бы бурчал: «Что, бишь, постой,
Имел я нынче съесть в предмете?»

А сзади в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила...

Бабушка слушала, ожив, когда я кончил, задумалась:
— И как это он все верно подметил!

Умерла бабушка — от инфаркта — 17 октября 1951 года. Я в последний раз пришел в пять-опять. На длинном дубовом столе в тазу стоял остывший кувшин с молоком. Я витал во вгиковских эмпиреях и не пошел на похороны из-за пустой репетиции. Никто мне ничего не сказал.

Студентом снимавший на Большой Екатерининской из провинции написал маме:

> ... мы очень рады поэтому, что В/здравствуете, рады так могут только радоваться люди о самых дорогих для них друзьях. И в самом деле, разве можно забыть Вас и такого исключительной душев-

ной красоты и поэтической души Ирины Никитичны и вероятно в целом тяжелом ее переживании в жизни! И как обидно и глубоко несправедливо, когда уходят такие хорошие люди, как И. Н. одно присутствие которых и даже, что они где-то живы, существуют, скрашивает жизнь и побуждает Вас на все светлое и доброе! И о таких людях нельзя не вспомнить слово поэта — «не говори их больше нет, а с благодарностию — были!»

После смерти бабушки мама здравствовала, то есть держалась с полгода. В начале весны поднялась ночью — и упала назад, на свою раскладушку. Скорая помощь не приехала вовсе. Утром явилась тетя из поликлиники Стурцеля:

— Что случилось, больная?

— Да вот допрыгалась.

— Откуда прыгали?

Мама, сколько я помню, искренне полагала, что изнемогает от непосильных трудов:

— Яков меня батрачкой сделал. Я сначала прям' вся обревелась...

Труды заключались в уборке/готовке. По магазинам большей частью ходил папа. Теперь, когда мама слегла, придя с работы, папа готовил нормальный обед из первого и второго — как всегда, не мог угодить.

Долгая болезнь и медленное выздоровление,
мой уход из ВГИКа в ИН-ЯЗ,
переезд с Капельского на дальний Чапаевский,
моя бурная деятельность в ИН-ЯЗе и арест Черткова,
моя женитьба и уход из дому,
самоубийство Веры в лечебнице,
мой развод и вторая женитьба,
наконец, отдаленность и годы —

из-за всего этого Большая Екатерининская постепенно выветривалась из маминого сознания — как и общая могила старого крематория, где оказались дед и потом бабка. Мама жила просто и безмятежно.

Вот ее письмо из Удельной нам на отдых, в Апшуциемс:

Дорогие мои, не хотела писать, скоро увидимся, а все же думаю, будете беспокоиться, не зная о нас долго. У нас все по-прежнему спокойно, живем с переменной бодростью, по-стариковски. Наварила варенья из клубники, немного из вишни. В этом году вишни много, до вас еще довисит. Смородины красной и черной по ветке висит, совсем нет и очень дорогая на рынке — не покупала. Яблок много, но мелкие, как грецкие орехи. Будете есть, а хотите, варите варенье. У меня кончился песок и нет банок. Поругала немного Галю, забыла привезти банки с крышками, они остались у вас. Сварила немного малины. Успела как-то, а то все дожди, и малина испортилась на корню. Кроме Слесаревой, у нас никого из Москвы не было. Видно, все устарели, и не под силу ездить на дачу. Андрейчик, когда будешь в Москве, спроси у Леночки, чего бы попить от склероза? Иногда пошатывает в сторону. Диоспонин перед отъездом я не нашла, чего еще не пила, и не знаю.

Писать некогда, папа идет на базар и торопит меня. Целый день кручусь, устаю, а сделано мало.

Спроси, нет ли настоящих шерстяных носок у твоей хозяйки. А то купить их трудно в Москве. На базаре у крестьян, только я не хожу. Папа не понимает. Еще раз целую крепко.

Почерк не то мамин, не то папин. Ни подписи, ни числа. Вне времени и пространства.

На Чапаевском весь подъезд были такие, как она, только без Большой Екатерининской, правильные. Мама боялась их, как боялась всех в жизни, но часами обсуждала с ними не только личную жизнь Зыкиной, Магомаева, Фурцевой и Фирюбина, Лемешева и Масленниковой, Симонова и Серовой...

— Я так думала, вдова Чкалова за Белякова выйдет.

— Правда, что Хрущев, Шолохов и Мао Цзе-дун женаты на сестрах?

— Надо же, придумали! Цари у нас были: Владимир Мудрый, Иосиф Грозный и Никита-Кукурузник.

— Ток' никому не говори, а то еще-ещ' посадют: Лёнька загрустил, что всё его, а мавзолей не его. Один рабочий ему говорит: — Не грусти, я тебе помогу. — Как? — Да я над Е там две точки выбью и будет ЛЁНИН.

После смерти папы мы съехались: мама предпочитала сидеть голодной или выцыганивать у соседей, только бы не возиться с готовым обедом из холодильника. Окна нашего одиннадцатого этажа на бывшей Четвертой Мещанской выходят на то место, где находилась Большая Екатерининская. До олимпиады вдалеке был виден трехэтажный кирпичный 5-а. Его снесли перед самым открытием. Маме не интересно даже взглянуть в ту сторону.

О Большой Екатерининской: разъяснение.

Как всякий замкнутый мир, Большая Екатерининская обладала своими устойчивыми представлениями о мироустройстве. Суть их сводилась к четырем положениям:

1. *Истина — то, что я уже знаю, и что мне сказал родной, знакомый, сосед.* Предположение, слух, понравившийся рассказ, вычитанное между строк в первой же передаче превращались в неоспоримые факты:

— что царская семья и сам Николай Второй уцелели. Нищенка с Переяславки видела его на Ленинградском вокзале. — Что, узнала? — спросил он. — Возьми на память. — Нищенка показывала золотую десятку с портретом.

Году в сорок пятом бабушка Варя с Маргушкой и внуком снимали в Кратове. На соседней даче жил полковник с женой: — Я сразу подумала, что — она. Зовут Татьяна Николаевна, вылитый отец и, главное, палец так же отщелкнут;

— что Ленин помиловал эсерку Каплан, и она живет в своем домике на Колыме;

— что Ленин был сифилитиком — как Маяковский;

— что Сталин — садист и застрелил Аллилуеву — к ней Большая Екатерининская испытывала слабость и захаживала на могилу;

— что Буденный тоже застрелил жену — шпионка, а Ворошилов не дал арестовать свою — защищал с наганом;

— что Буденный — из конокрадов, а Ворошилов — из штейкбрехеров;

— что Оксана Петрусенко забеременела от Ворошилова и умерла от аборта;

— что Луначарский, Молотов и Калинин любят балерин;

— что Калинин тайно верует в Бога и устраивает на дому молебны;

— что Рыков — пьяница: *ушел Рыков в час с четвертью, пришел Рыков в два без четверти*;

— что все анекдоты придумывает Радек, и его расстрелять не могли: кто же будет писать передовые?

— что в промпартию и тридцать седьмые на процессах сидели ряженые: кто бы сам на себя такого наговорил?

— что на Лубянке есть жуткая баба — с и к о с ь - н а - к о с ь, монстр. Впустят к тебе в камеру — что угодно подпишешь;

— что Гельцер и Жизнева — осведомительницы;

— что Мейерхольд топором зарубил Зинаиду Райх;

— что Веру Холодную разрубили на куски и бросили в колодец;

— что Демьян Бедный — сын великого князя: Придворов;

— что все матерные стихи сочинил самый милый человек на свете Сергей Есенин.

2. *Враньё — всё, что от властей*: из газет, радио, с ненавистных собраний. Это положение свято соблюдалось лет двадцать пять, пока из-за военных побед возросший престиж власти не соединился с традиционной подозрительностью к посторонним. На Большой Екатерининской заговорили:

— что поймали старушку, которая торговала котлетками из младенчиков;

— что по Москве ходит человек и бросает встречных мальчишек под трамвай: чтобы у нас меньше защитников было.

Отсюда один шаг до врачей-убийц:

— Я всегда боялась Андрюшу в больницу отдать: кто их знает...

3. *Мы — простые, хорошие; прочие — не такие.* Бабушка/мама верили, что все чужие — дошлые, скрытные, злыдни. Себя и своих считали порядочными, отходчивыми, простофилями:

— На нас только дурак не ездит.

При этом мама долго и с чувством помнит зло, а бабушка без излишней щепетильности добивалась, чего хотела.

Свои — русские, *широкая натура*:

— Коль рубить, так уж с плеча.

— Последнюю рубашку с плеча сымет, — *опять с плеча*, — а на хлеб или на пропой — не наша забота.

— *Бесшабашные:* — Дамаев голос пропил, в мороз на тройке купцам пел, — и почти с осуждением: — Шаляпин — этот свой голос берег.

— *Талантливые:* — Пушкин, Толстой. Самородки. Водка всех губит.

Русские тоже не все свои. К примеру:

— Деревня серая.

— Дворяне бывшие. Как редиска — внутри белые, сверху красные. Все выслуживаются. На кого хошь раздокажут. Пакостники.

— Поповичи. От поповского семени не жди доброго племени. Жадные, изовравшиеся, прям' — русские евреи.

Евреи — особый разговор. Большая Екатерининская считала, что революцию сделали нам евреи. Литвинова бабушка величала сионским мудрецом. В еврействе подозревали Сталина, Ленина — никогда: в его пору всеобщим жидом был Троцкий. Вне подозрений — вожди ГПУ: Дзержинский, Менжинский, Ягода, Ежов.

Евреев на Большой Екатерининской никогда не было.

Вчуже читали про дело Бейлиса и самодовольно:

— Вот какие мы, не дали безвинно пропасть.

Погромы осуждали тоже со стороны, не могли и не пытались представить себя на месте громимых.

После революции образовалось жидовское засилье:

— Куда ни глянь — везде они. Два жида в три рядá.

— Все устраиваются, да еще-ещ' своих норовят вытянуть[1]:

[1] Будто бабушка Ирина не вытащила в Москву бабушку Катю и бабушку Асю и не помогала учить Сергея и Марию!

— Во все дырочки пролезем,
Трай-лей-бум!

— Я на бочке сижу,
А под бочкой каша.
Вы не думайте, жиды,
Что Россия — ваша.

В двадцатые годы сказать: *Я — русский* — было почти то же, что сказать: *Я —контрреволюционер.* Сказать: *Ты — еврей,* — было почти то же, что сказать: *Я — антисемит.*

Всякий на Большой Екатерининской обиделся бы, если бы его назвали антисемитом. Обостренное внимание к вдруг замелькавшим евреям шло не от антисемитизма, а от старания и невозможности уразуметь:

— По десять человек в одной комнате готовы жить. И все им не тесно: кагал.

— То-то видно. Не успеют приехать — им отдельную квартиру...

— Отродясь не моются, грязные, луком протухли.

— Чистюли, знай намываются. Рубашки чуть не каждый день новые.

— Работать не любят. От того и командуют, что работать не любят.

— Работящие такие. Жен работать не заставляют, всем обеспечат.

— Умные. Детей учат на скрипочке. Пианино за собой не потащишь, а скрипку взял и пошел...

— Дубы стоеросовые. Хоть им кол на голове теши — все переспрашивают.

— К языкам способные — любой живо выучат.

— Хоть бы русский не выворачивали! Всю жизнь живет в Москве, а говорит как местечковая: *паражочэк с тваражочком.*

— Над своими трясутся: — *Яшька, ешь кугиный жьиг!*

— Евреи земные, реальные, не очень переживают, когда у них кто умрет.

Большая Екатерининская приходила к выводам: во-первых, евреи сами знают, что евреями быть стыдно:

— То-то они русских фамилий понахватали — скрывают все.

— Манькой назвали — в честь бабки Матли.

во-вторых, евреи самые что ни на есть не свои:

— На праздник Кучки у них кто выше прыгнет, тому грехи отпустятся.

— В трамвае опять слышу галдят: *фир пар порцелейн теллер лах.*

— Нас не любят...

Большая Екатерининская была готова любить евреев культурных[1], то есть обрусевших, которые не похожи на местечковых, махровых. Такими даже умилялись: руки-ноги есть, голова не песья, по-русски знает, даже зубы болят, как у людей.

И после войны, когда Сталин выпил за русский народ, Большая Екатерининская поняла, что он имел в виду, но не перестала верить в засилье. Когда слышали, что евреев не берут на работу или гонят, с сомнением:

— Это они преувеличивают.

— Привыкли плакаться...

И по-прежнему про каждого нового человека:

— А он не еврей?

Все остальные вместе взятые народы занимали в сознании места куда меньше, чем одни евреи.

Кроме евреев, в рассеянии среди русских жили татары, китайцы и немцы.

Татарам помнили *с тех самых пор*, злорадствовали, что теперь они дворники да старьевщики, кнёзи:

— Шурум-бурум, старьем-берем!

Ох, ох, не дай Бог,
С татарами знаться —
Некрещеная душа
Лезет целоваться.

После ВОСРа татарин вдруг стал опасностью:

— К кому придут, спросют? К дворнику. На обысках кто сидит? Дворник...

Опасность китайская быстро прошла и забылась:

— Как сейчас помню, в девятнадцатом году сидит ходя на тумбе, *ищется*. Вошь поймал — и на зуб. Хрустнул и проглотил: «*Ши-зя-ши шии...*»

[1] Как и культурных армян — в отличие от армяшек. Бабушка бережно, как хрупкую драгоценность, извлекала фамилию интеллигентнейшего, прекраснейшего врача: Бабасинов.

— Хóдя, добродушный такой, все ходит, фокусы показывает. Приставит к больному зубу трубочку, поколдует — вытащит червячка: вылечил.

— Китайцы на Сретенке прачечные держали. Чисто стирали, не обманывали...

До войны во дворе доживало:

Немец-перец-колбаса —
Кислая капуста —
Съел селедку без хвоста
И сказал: — Как вкусно!

Русских немцев — не остзейцев, не колонистов Поволжья и юга, а горожан культурных профессий — уже не было.

Не удивительно, что в Китае некому было заметить исчезновение китайцев в России. Поражает, что исчезновения русских немцев не заметили немцы германские.

Большая Екатерининская не чувствовала себя равной ни одному народу на свете.

Существование украинцев и белоруссов подвергалось сомнению.

Белоруссов — так точно нет никаких.

Украинцы — те же русские, только ополяченные, вариант *не своих* русских: хитрые, чистюли и прижимистые. Хохлы. А нас называют кацапами и москалями. Русский язык выворачивают:

— Самопэр попэр до мордописця.

— Чи я впаду, дрючком пропэртый,

Чи мимо прошпандырит вин?

— Голодранци усих краин, в кучу разом гоп!

Молдаване — те же цыгане, только не признаются. Цыгане же говорят:

— Мы не цыгане, мы сербияне.

К цыганам относились с презрением и опаской:

— Дикие они. Не работают — попрошайничают да воруют. Как ворвутся в дом — все растащут...

При этом всю жизнь с важностью вспоминали:

— Мне цыганка сказала...

Названия народов Севера и Поволжья звучали как ругательства:

— Комяки. Самоеды. Татары. Мордва.

Из прибалтов до тридцать девятого года актуальны были одни латыши-расстрельщики. В тридцать девятом-сороковом все сразу — финны, эстонцы, латыши и литовцы — оказались: злобные, нас ненавидят.

Дýши мой грузын воспринимался в двух ипостасях. В Москве — чахоточный студент, в Тифлисе — кинто:

— В парке гуляет публика. Идет барышня с крестиком на шее. Кинто подходит и прикладывается. Крик. Является городовой. Кинто объясняет: — Когда святой крэст вижу, всэгда целую.

Армяшка — карапет, чистильщик. Армян смешивали с айсорами.

Чеченцы, черкесы, кавказские татары — понаслышке — чуть что, за кинжал.

Крымских татар Большая Екатерининская видела в Крыму и уважала: хорошие хозяева, работящие, честные.

Туркестан — твоя-моя, калбиты, сарты, балáшки:

Один верблюд идет,
Другой верблюд идет,
Третий верблюд идет,
Целый караван верблюд идет.

Якуты — еще хуже.

Корейцы — все шпионы.

Восточные границы в сознании размывались. За ними просто жили:

Китайцы — желтые, нищие, их очень много. Главный революционер у них — Сук Ин-сын.

Япошки — тщедушные и жестокие. Нас, сволочи, победили.

Тоги, Моги, Камимуры
Не давали нам житья.

Индусы — мудрые и степенные. Их надо жалеть — как негров.

Арабы — статные, благородные.

Турки и персюки — турки и персюки.

— Турок Суворов бил.

— Персюки Грибоедова... Потом, говорят, найти не могли.

Братья-славяне обязаны нас любить. Полячишки — предатели из славян, потому что не любят. И вообще — снаружи лоск, гонор, только бы пыль в глаза, а внутри пшик один, пши-вши:

— Не пе́пши ве́пшу пе́пшем, але пешепе́пшишь ве́пшу пе́пшем.

Из великих народов Запада всех роднее и ненавистнее были немцы:

— Колбасники толстые, знай, пиво дуют.

— Немцы разве, как мы, работают? Немецкая точность. Немецкая техника.

— Немец ради порядка человека не пожалеет.

— А у нас немец стоял — офицер, — так он нам хлеб давал. Хлеб у них как резиновый.

Англичане — тощие, чопорные, аршин проглотили. Англичанки — все старые девы.

Французы — лягушатники, всё ножкой дрыгают. Французы — как мы, душевные и (вздох) культурные. Француженки рожать боятся.

Итальянцы — макаронники. С осуждением и умиленно:

— Все поют...

Испанцы начали существовать с их гражданской войной:

— Сколько в эту прорву нашего добра ухнуло...

Америка — дикая, некультурная, вроде Сибири. И это от бабушек/мам, воспитывавшихся на куперах, эдгарах-по, марк-твенах, джек-лондонах.

Еще у Трубниковых бабушка прочитала *Хижину дяди Тома*, мечтала замуж за негра, чтобы дети были негритята. До старости лет вспоминала, как Топси пляшет.

Изредка из экзотического тумана у бабушки выплывало:

— Когда на Мадагаскар приезжает белая женщина, ее украшают цветами.

— Райская жизнь — на Таити...

Интересно сопоставить, когда и с кем русские воевали в последний раз, и как это запечатлелось в сознании Большой Екатерининской.

ПРОТИВНИК	В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ	В СОЗНАНИИ
Швеция	В начале XIX века	При Петре
Финляндия	Вторая мировая война	Зима 1939—40
Польша	Сентябрь 1939	Смутное время
Англия	Крымская война	Никогда
Франция	Крымская война	При Наполеоне
Италия	Вторая мировая война	Никогда
Австрия	Первая мировая война	Первая мировая война
Германия	Вторая мировая война	Вторая мировая война
Венгрия, Румыния	Вторая мировая война	Никогда
Болгария	Первая мировая война	Никогда
Турция	Первая мировая война	Под Шипкой-Плевной
Персия	1828—29	Когда Грибоедова убили
Китай	Боксерское восстание	Никогда
Япония	1945	1945
США	Никогда	Никогда

Общая тенденция — даже такое живое и болезненное соприкосновение с другими народами, как война, — переносить в область преданий. Другие народы не требовали всечасного внимания, как соседи-евреи. Достаточо знать, что они — не такие, как мы.

Итак: 1. *Истина — то, что я уже знаю и что мне рассказал родной, знакомый, сосед.*

2. *Вранье — все, что от властей.*

3. *Мы — простые, хорошие; прочие — не такие.*

И наконец, 4. *Зло неизбежно, и не нам с ним бороться.*

При виде злодейства Большая Екатерининская пряталась, уходила в себя, возмущалась — погромщиком, комиссаром, осведомителем, хозяином жизни — и терпела, и разводила руками:

— Что уж теперь делать?

И, не подозревая того, сама находилась на грани преступления и святости.

В детстве меня мучило тихое убожество Большой Екатерининской. В юности я ненавидел ее за несовременность. В шестидесятых меня на нее повлекло. Улицу чуть подмазали, привели в порядок. Я видел и понимал то, чего прежде не мог видеть и понимать.

Может, стал, наконец, подобрей, поглупей.
Даже стыдно сказать, что живя понаслышке,
Я когда-то грозу призывал на домишки,
Где у крыш ни на чем примостившись, мальчишки
До сих пор над Москвою пасут голубей,

Где доселе царит досоветский покой,
И старушки стоят в допотопной одежке
И у каждой на солнышке в каждом окошке
Меж цветов одинаково замерли кошки,
Приложившись к стеклу разомлевшей щекой.

Я вступаю в отцовский и дедовский сон.
На углу, как всегда, магазин Соколова,
На Орловском палаточка Петьки Кривого,
На Самарском ампир Остермана-Толстого,
Чуть пониже за ним — стадион *Унион*.

Я не знал вас и все же добром помяну:
Вы достойные партии в жизненной драме.
О когда бы хоть как-нибудь встретиться с вами!
...Старичок с артистическими ноздрями
Осторожно ведет хромоножку-жену...

Я отсюда. И этого быта заряд
До конца как реальность во мне сохранится.
Я с надеждой гляжу в незнакомые лица —
Может, в ком-то блеснет узнаванья крупица,
В ком-то чувства созвучные заговорят?

Кто здесь помнит меня! Разве эта зима,
Разве улица, ставшая страстью моею...
Я мечтал по-щенячьи разделаться с нею,
А теперь опасаюсь дохнуть посильнее,
Чтоб не рухнули хрупкие эти дома.

Большая Екатерининская продержалась до 1976 года. Весь район от улицы Дурова до Трифоновской снесли под олимпийский комплекс. Редкие люди ковырялись на пепелище. Огромные липы и тополя лежали спиленные, рядами, как лес.

1978

ТОМ ВТОРОЙ

ЮБЕРЗЕЕ[1]

СЕМИЛЕТКА

С четвертого по седьмой — тягучая смена состояний: страх — растерянность — настороженность — привыкание — обалдение — скука.

Школа — однородная серая безличная среда. Даже если тебе дали по роже, в этом нет личного отношения. Тот, кто дал, ничего против тебя не имеет. В основе всего не живая жизнь, а некогда установившийся ритуал.

Ты приближаешься к школе. Во дворе рядом с толпой обычно плачет младшеклассник. Старшие всенепременно сворачивают, подбегают:

— Кто тебя? — и не дожидаясь ответа, несутся дальше.

Ты входишь в класс, и на тебя обрушивается орава орущих:

— Драки-драки-дракачи,
Налетели палачи!
Кто на драку не придет,
Тому хуже попадет!
Выбирай из трех одно:
Дуб, орех или пшено!

Дуб — получай в зуб!
Пшено — но! но! но! но! — с погонялками.
Орех — на кого грех?

— На Зельцера, на бздиловатого!

В классе стыкались, шмаляли в морду мокрой тряпкой, толкли мел, валили в чернилки карбид, харкались в трубочку жеваной бумагой или — пакостно и от сытости — хлебом с маслом.

Фитиль из-под земли вдруг вскидывает руку — ты вздрагиваешь, фитиль расплывается:

[1] Заморские территории *(нем.)*.

— Закон пиратов! — крестит: приставляет пальцы и бьет ладонью в лоб, под дых, в оба плеча с заходом локтем под челюсть.

На уроке подзатыльник сзади и шепотом:
— Передай!
Над головою ладонь и тихо:
— Висит!
— Бей! — успевает сосед, и ладонь опускается.

На первых партах гудят или натужно рыгают — особое искусство. На средних — под партой играют в картишки, подальше — из рогатки стреляют в доску и по флаконам. Рогатка — резинка с петельками на большой и указательный. Сжал кулак — ничего нет. Стреляют бумажными жгутами, злодеи — проволочными крючками.

На камчатке, очнувшись от одури, замедленно удивляются:

— Странная вещь,
Непонятная вещь...

По рядам шорох — продолжение известно:

...Отчего моя жопа потеет?
— Оттого, что сидеть,
Головою вертеть
Запретить нам никто не посмеет![1]

Для душ попроще —
негромкое сетование: — Гррудь болит...
сочувствие: — В ногах ломóта...
мысленно: — Хуй стоит,
Ебать охота.
Для характеров поактивнее — возглас: — За!
подхват: — лу!
хором: — пешка!

На уроках я всматриваюсь, ищу интеллигентные лица, вслушиваюсь, стараюсь не пропустить благозвучную фамилию — тщетно.

---

[1] Тынянов в гимназии знал похожее, даже нашел прототип стишка у Федора Глинки.

На переменах, во время буйства я съеживаюсь, ощетиниваюсь. С Большой Екатерининской я вынес ожидание каблука, который меня, амебу, раздавит.

Ощетиниваюсь, съеживаюсь — и мне прозвище: Еж, Ежик — недобро.

Антисоветчик Александров меня за сутулость: Горбатый Хер.

Из долгопрудненской жестяной коробки всем раздаю дефицитные перышки.

Всем подсказываю, подсовываю списать.

Сержусь, что сосед-татарин не способен скатать диктант или контрошку.

Все время в напряжении. Руки прижаты к бокам. Из подмышек сбегает холодными струйками пот. В школе — чувство физической грязи. Я брезгаю казенными завтраками — зараза — стараюсь не заходить в уборную.

С последним звонком срываю со стены пальто — вешалка тут же в классе — и домой.

После второй смены по темным улицам страшно. Ничего, когда по пути с кем-то. Когда один, мамино/бабушкино: *вон идет человек, смотри, чтоб он тебя не стукнул.*

На темной улице отнимают учебники: большие деньги на рынке. Я учебников не носил.

— Ты домой прибегал прям' весь в мыле. Я тебе по четыре рубашки на дню меняла. (!?)

Придя, всегда слышал:

— Опять еле можаху? Сейчас ужин будет, а ты пока прими положение риз.

И куда я так стремился? Мне ведь нужно было к утешительному занятию, чтобы один и в покое. Покой был, весьма относительный. Один — втроем на тринадцати метрах — я почти никогда не бывал. Делая уроки, громко выл, чтобы заглушить телефонные разговоры, соседское радио. На улицу не выходил: за зиму на Большой Екатерининской слабые дворовые связи отсохли.

В школу шел нехотя, загодя, по Второй Мещанской: Третья, ближе, была унылая, разве что в середине желтый особняк, некогда солиста Большого театра. Еще помню у двери латунную доску с орлом, да по школе бродят кремовые лакированные конверты: АМБАСАДА ЖЕЧИПОПОЛИТЕЙ ПОЛЬСКЕЙ В МОСКВЕ.

Раз у Филиппа-Митрополита навстречу мне совсем ранний:

— Заболела! Уроков не будет.

Сколько раз я потом у Филиппа-Митрополита сам решался и заворачивал: *заболела, уроков не будет.*

Сколько раз сам сказывался больным. Когда врешь, что болен, заболеваешь вправду. Было чем: бабушка/мама оберегали меня.

Болезнь — это чистая совесть, покой, законное утешительное занятие — чтение. В который раз *Облако в штанах* и *Хулио Хуренито*. Новое: Гоголь. С десяти лет Гоголь яркостью и искусством удивительных слов стал любимым на всю жизнь.

Третий класс. Сталинская красотка — перекись, надо лбом валик, маленькие глаза, большие щеки:

— Баба-Яга в ступе едет, помелом следы заметает.

— Людмила Алексеевна, что такое ступа?

— Это тележка такая.

Она или вроде нее:

— В городе — кварта́л, в году — ква́ртал.

Дневник:

25 декабря 1944 г.

...учусь в IV кл. в 249 шк куда перевели наш класс из 254 шк. школа не очень хорошая. Однажды я с товарищами убежал с 4-го урока не хотелось оставаться на 5-й урок, на следующий день нас вызвали к директору. Итог. 2-х исключили 5 простили. Меня простили. Учителей зовут по-русски Яков Данилович, Арифметика Клавдия Александровна (Рубь сорок), История Тамара Павловна Естествознание Ираида Никифоровна (живородка) География Ирина Самойловна (царевна лягушка), ри-

сование — Борис Иванович, Воен. дело — Яков Сергеич. Военрук ухаживает за Ириной Самойловной...

Конечно, что та, что другая школа — *обе не очень хорошие.*

254-я — сталинская четырехэтажная, с квадратными окнами — на случай войны под лазарет, десятилетка. Директор, старый Иван Винокуров провинившихся долбит ключом по темечку.

249-я — два этажа пятиэтажного жилого модерна, семилетка. Директор, слепнущий минер с двадцатью шестью осколками, оставляет на час-два-три после уроков, дотемна, до ночи, пока самому сил хватает:

— Кто разбил окно — встать!

Все сидят.

— Кто не разбивал окно — встать!

Все встают.

Сначала просвет: Яков Данилович, литератор, с фронта, только что руки-ноги целы. Интеллигентные очки, ямочка на подбородке:

— Кто знает, откуда произошло слово *алфа́вит*? Может, кто догадается? Кто из вас учил иностранный язык?

— Какая у тебя самая любимая книга?

Я, как положено, полным ответом:

— Моя любимая книга — роман Гоголя *Мертвые души.*

— *Мертвые души* не роман. Это поэма.

И мне радостно, что поэма.

Он продержался недолго: только что руки-ноги целы. Несколько раз его замещал еврей, опухший, в очках — такой в переулке просил у мамы двадцать копеек, и она дала ему рубль: несчастный. Класс не ставил его ни во что, игнорировал или глумился:

— Швейка пришел! Швейка!

Он ничего не замечал и с нищим пафосом свистел межзубными:

— Вороне где-то Бог поΘлал куΘочек Θиру...

ЛиΘица видит Θир, лиΘицу Θир пленил...

Потом русский/литературу захамила арифметичка — старая, румяная, хромая: Рубь-сорок, Яков Данилович

называл свой предмет литературное чтение, Клавдия Александровна — просто чтение.

Отчитала меня за *дитё* в изложении. Распекла Булекова: в диктанте *халат* написал *холад*. Булеков был последний китаец со Сретенки, сын циркача.

> Дневник:
>
> 28 апреля 1945 г.
>
> Вчера наши войска в Германии соединились с союзниками. По радио говорили Сталин и Черчилль. Были салюты...
>
> Сегодня в школе. На чтении Рубь сорок вызвала Булекова и дала читать ему «1 мая» там фраза: — «Вбежал Федя Мазин и в трепете радости...» Булеков прочел: — «Вбежал Федя *Магазин* и в трепе́те радости...» Рубль сорок Булекову двойку, а ребята смехом сорвали урок.

На немецком читают чудовищней. Здоровенный дебил Франк на каждом Ich ухает, на heute радостно матерится.

Полкласса верит, что клеенка по-немецки — дас Пизда́с, что *фарштеен* — это вообще. Подначивают:

— Спроси, как будет клеенка!

— Спроси, что такое *фарштеен*!

— Спроси, что такое *Муттер дайне зо*!

Дальше этого интерес к немецкому не подвигается:

— Не хотим учить фашистский язык!

Чванная немка Василиса Антоновна Чако оправдывается:

— Я не немка, я гречка.

Кто-то в немецко-русском нашел *Чако* — и о чем говорить, если с царя-Гороха школьники затвердили:

Их бина,
Ду бина,
Полено,
Бревно.
Что немка — скотина,
Мы знаем давно.

Ираида Никифоровна — Живородка — по естеству — у передней парты:

— Слово *ботаника* происходит от греческого *ботанэ* — растение. *Ника* — сокращенное от *наука*.

Глиста Панфилов с первой парты тянется пальцем к ее причинному месту. Весь класс — внимание. Живородка:

— Что тебя привлекает?

Грохот.

Хорошенькая географичка Ирина Самойловна—Царевна-лягушка — за ней ухаживает военрук — входит в класс. Закрывая дверь, естественно, на миг отворачивается — и тотчас в нее нацеливаются, летят фрейдовские бумажные голуби. Краснеет. Подходит к карте. Там переделано: *Джезказган — Джазказган, Соликамск — Ссаликамск.*

Как на брошюрах *Госполитиздат — Госполипиздат.*

Мой сосед татарин Резванов взахлеб рассказывает, как будет работать шпионом в МГБ, а пока дрочит под партой. Я не понимаю, чем он занимается, но не спрашиваю, а он на одном прекрасном уроке наполняет своими молоками непроливашку и передает на стол Ирине Самойловне.

Гогот.

На военном деле — без уговору — парты вдруг наступают на военрука, окружают, теснят к окну. С парт медленно поднимаются. Военрук решает: сейчас выбросят — и, спасаясь, когтями насмерть вцепляется в передового.

Впереди всех, по иронии, как всегда, Зельцер, наш единственный активист, носитель красной селедки.

Отец Зельцера — директор типографии, и в бестетрадное время Зельцер в школу, в призрачный дом пионеров, на не имеющий отношения районный актив ходил с роскошными кожаными гроссбухами, на переплете и корешке золотом: ЮРИЙ ЗЕЛЬЦЕР.

Кроме него, пионерством в школе не пахло. Партийно-блатное:

— Ответь за галстук! — отсохло за отсутствием кумача.

Красную селедку я в первый/последний раз — чужую — нацепил, когда нас перед выпуском из семилетки гуртом погнали в райком в о л к а с ъ е м. Антисоветчик Александров, думаю, не пошел. А я, ох далекий — недели две глядел в зеркало, видел: Олег Кошевой. Меня,

отличника, избрали в бюро — я сбегал с него, как со всего школьного. Дружеское порицание мне вынес секретарь Зельцер.

Рыжий-красный —
Цвет опасный.
Рыжий-пламенный
Сжег дом каменный.

После военруковских когтей рыжий-пламенный недели три гулял с корябаной физиономией.

Военрук же так себя напугал, что на уроках читал нам вслух запретного желанного Мопассанчика *(Шкаф)* и *Лекции профессора Григоренко.*

Всегдашний, как школа, трактат (*Лекции профессора* — обязательно, *Григоренко, Григорьева* и т. п. — варьировалось) объяснял, как знакомиться, на какое свидание целоваться, на какое лапать, на которое — далее. Женщины по способу употребления подразделялись на вертушек, сиповок, корольков и бегунков. Профессор предупреждал: соитие дело серьезное, мужчина тратит столько энергии, сколько требуется для разгрузки вагона дров.

Не знаю, как для переростков, для большинства это была увлекательная экзотика — как что-то из жизни в Африке, вне личного секса, который существовал разве что на словах — или делал вид, что существует. Трофейные порнографические открытки вызвали любопытство и отвращение. Юные переписчики *Лекций профессора* слово влагалище передавали только как *логовище.*

Тамара Павловна ведет истерику. По Григоренко, она сиповка. Говорят, что она водит к себе летчиков.

На карте древнего мира *саки* само собой — *ссаки.*

Средние века: *Мой вассал твоему вассалу в глаза нассал.*

Новое время — дневник:

24 апреля 1945 г.

... У меня с Тамарой Павловной, учительницей Истории, нелады. Сегодня она у меня съела. «Сергеев не смей мерзавец разговаривать!» — орет. «Дай противный мальчишка дневник!» Дал я дневник и

говорю: «Тамара Павловна, оставьте мне место в дневнике уроки чтобы записать», — и это говорю самым спокойным тоном. Морда у нее вытянулась, как у селедки. В растерянности она орет: «Пересядь на последнюю парту!» Я: «Пожалуйста, если доставлю вам удовольствие», — тоже очень спокойно. А потом сука продешовилась вызвала отвечать и поставила 5. Сегодня получил 5 по русскому устному и по чтению.

История непосредственная — дневник:

9 мая 1945 г.

День победы.

ОКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА.

9 мая в 00 час. 45 мин. немцы безоговорочно капитулировали перед союзниками!!! Война началась 22 июня 1941 года в 4 час. Окончилась 9 мая в 00 час 45 мин 1945.

Добросовестная, казенно-обрадованная фиксация. Окончание войны куда менее элоквентно, чем происшествие на уроке истории. Мне показалось, что день победы школа восприняла на уровне классных объявлений завуча или дерика.

В седьмом классе дерик, слепнущий минер с двадцатью шестью осколками, преподает конституцию. Мы: *проституцию* — по созвучию, без задней мысли и опасений. И каждое пятое декабря простодушно и громко: *день сталинской проституции.*

В начале урока с нас требуется политинформация. Я их сочинял всем желающим. Раз вместо *предатель индонезийского народа Джоядининград* написал *предатель индонезийского народа вульвовагинит* (слово из энциклопедии). Резванов, не ведая, читает. Дерик, не вникая, слушает.

Потом он рассказывает, что Москва — самый зеленый город в мире, только деревья не в самом городе, а вокруг. Что мы самые лучшие в мире, и все люди и все народы дружат друг с другом. Поэтому мысли у нас чистые, и мы с душой относимся к своему делу.

Тихо сидят, заняты своим делом:

книгожор, сытая морда Бакланов, переписывает из чужой в свою записную книжку: Луи Буссенар, Луи Жаколио, Густав Эмар, капитан Марриэт, Георг Эберс, Александр Беляев...

глиста Панфилов любуется л а п и н с к и м и открытками;

злодей Глазков, горя глазами, пасьянсом выкладывает немецкую порнографию;

золотушный блатарь Просоданов лезвием вскрывает на руках чирьи, уверяет, что в них не гной, а вода;

крохотный перероcток Хлебников, лет шестнадцати, спит: за утро он набегался по Центральному с папиросами: *Тройка — пара, рубль — штука*! Перед уроками он уютно поштевкал на парте — четвертинка и хлеб с луком. В парте у него финочка с наборной ручечкой — таких на класс штук пять, а то меньше.

Это русские, так сказать, норма.

Отсчитывая от нормы, быть китайцем — несерьезно, татарином — неблагородно, армянином — занятно, евреем — вполне респектабельно: с кем же еще дружить русскому? И как остроумно:

Два еврея ссут в проходном дворе.

— Абрам, почему ты ссышь так, что тебя не слышно, а я ссу так, что меня слышно?

— Потому что ты ссышь на доски, а я тебе на пальто!

В классе только антисоветчик Александров мог прошипеть сзади в ухо:

— Мойсе, ты мене не бойсе, я тебе не укушууу...

Ничего против евреев не было в присказке:

Народная драма —
Иван убил Абрама.

Как не было самоиронии в давнем:

— Руссиш, культуришь?
— А хули ж! —

ибо оно было слишком сродни первопятилеточному:

— Ты куришь?
— А хули ж!
— Баб ебешь?

— А что ж!
— Водку пьешь?
— Поднесешь?
— В церковь ходишь?
— Хуль хуевину городишь!

Быть айсором — привилегированно. На партах сидят по-двое, по-трое, только Шалита — один: а вдруг посреди урока ему захочется поразмяться, повыжаться на руках, попрыгать над сидением вдоль. Учителя делают вид, что не замечают. Дерик тоже боится. Айсоры со всех Лаврских по вечерам устраивают побоища у *Форýма/Урана*, наводят атанду на весь район:

— Нас мало, но мы армяне.

В устной традиции они — *армяшки с Самотеки*. При всей своей злобной капризности отзываются и не обижаются на а р м я ш к у.

Рисование последний урок, поздний вечер. Борис Иванович объясняет:

— Бежевый цвет это все цвета понемногу — в разбежку. Поэтому — бежевый.

Он поворачивается к нам от таблицы, и в этот момент злодей Глазков залепляет ему в лицо мокрой тряпкой. Борис Иванович бежал. Что мог он поделать?

Сын замнаркома Алексеев, развалясь, на уроке потягивает из четвертинки сквозь соску. Замещающая училка, старая дева с прононсом, боится глядеть в его сторону: встретясь глазами, Алексеев обязательно проворчит:

— У, брюзлая пизда!

На Алексеева с соской в середине урока входит инспектор, морщинистый Ваня Маштаков, — и забирает с собой к директору. Старая дева с прононсом машинально:

— Ты ля вулю, Жорж Дандэн!

Взрыв. *Тю-лю-лю* покрывает старую деву вечным позором. А сын замнаркома возвращается в класс триумфатором.

На переменке маленький Юрка Вятков бегает над проходом — левая нога на среднем ряду, правая — на пра-

вом. Кто-то его случайно толкнул или он сам оступился... Завуч Белла Семеновна завернула его в свою шубу и по снегу потащила к Склифосовскому — за два длинных квартала. На следующем уроке перекличка:

— Вятков!

— Нет!

— На прошлом уроке он был.

Антисоветчик Александров:

— Он яйца себе разорвал!

Хихиканье.

— Не понимаю, что тут смешного. Каждый мужчина имеет при себе пару яичников.

— Вам привет от трех лиц!

— ?

— От моего хуя и двух яиц!

Это п о к у п к а. Покупок много:

— Поехали!

— Куда?

— Армяшке жопу чистить!

Покупка семинаристская:— Разгадай сокращение ДУНЯ.

— Я не могу...

— Дураков Унас Нет. Понял?

— А как же Я?

— А ты дурак. Эт' точно.

Покупка на сдвиге: — Ты что, сегодня уху ел?

— Не.

— А на вид совсем ухуел.

Покупка с насилием. Звонок в нос: — Барин дома? — Испуганный кивок. Глядя в глаза: — Гармонь готова? — Еще более испуганный кивок. — Поиграть можно? — и за оба уха в стороны изо всех сил.

Покупка злодейская: Новенькому:

— Чой-т' от ти'я вином пахнет. Дыхни! — и лопух получал в рот скопленный сгусток харкотины.

Родом покупки и внезапным проявлением ритуала было, когда в проходном дворе Глазков неожиданно, ни с чего — речь шла о другом — спохватился:

— Эт' Сережа налягавил. Темную!

На голову мне накинули чье-то пальто и небольно побили. Небольно, ибо знали, что я не лягавил — да и

лягавил ли кто? — а когда отправили ритуал, то назавтра общались со мной, как будто ничего не произошло.

Шакальство тоже могло быть покупкой, но открывало возможность для особо махрового ритуала.

Шакал подкрадывался к жующему и врасплох:

— Сорок два!

— Сорок один! — должен был сходу ответить жующий: — Ем один! — и шакал по закону должен был отваливать.

В уборной шакал подходил к куряке и начиналось:

— Оставь!

— Остап уехал за границу,
Оставил хуй да рукавицу.

— Ну дай!

— Полай!

— Дай, баля́!

— Всем давать —
Не успеешь портки скидавать!

— Дай я те без смеха в карман нассу!

— Чо?

— Хуй через правое плечо,
А если горячо —
Перекинь через левое плечо!

— Будь другом,
Насри кругом.
Будь братом,
Насри квадратом.
Будь отцом,
Насри кольцом!

— Пошел ты на хуй!

— Ты мене не ахай,
Тут тебе не родильный дом.

— Зажал, етит твою мать!

— Чем мать,
Проще кошку поймать,
Легче выебать.

— А я еб твою мать!

— Свою — дешевле обойдется!

— Забожись!

— Приложись!

— Забожись, баля́!
— Я божусь,
Когда спать ложусь.
— Дешёв будешь!
— Я?
— Ты.
— Ты мене не тычь,
Я тебе не Иван Кузьмич[1].
— Пошел в пизду!
— Давай денег на езду!
— Садись на веник,
Поезжай без денег.
— А у веника сучки
Тоже просят пятачки.
— Басник ты, басник,
Еб тебя колбасник,
А лежа на подоконнике,
Еб тебя покойник!
— Мы таких говорунков
Сшибали хуем с бугорков,
А на ровном месте
Сшибали хуем штук по двести! —

Рифмованные диалоги, блочное красноречие не для истины или выгоды, но искусство ради искусства, почти поединок акынов — по сути своей — ритуал и сгущенное проявление словаря перемен и уборных.

Мой Бодуэн

АТА́НДА, ата́с — *Атас, дерик!* Шутка: *Атанда, кошка серит! ЦДКА на кубке на них такую атанду наведет!*

БАРДА́К — *Город — каменный бардак, а люди — бляди* (якобы Маяковский). Шутка: *Кавардак — тот же бардак, только без блядей.* Бардачи́на. Иногда вместо бардак: бар. В школе верили, что пивной бар на Пушкинской площади — бордель.

БАРЫГА — *Панфилов, барыга, открыточек надыбал себе* (с неодобрением).

БЗДЕТЬ — 1. *Дели в рот набздели.* 2. *С Глазом хоть кто забздит стыкаться. Бздун гороховый. Бздиловатый конёк.*

---

[1] Эвфемизм Владимира Ильича.

Это ему бздимо́ сказать. 3. *Ну эт' он те набздел!* (наврал). *Бздишь!*

БИЛЛИА́РД — *Карманный биллиард* — то же, что: *Скверная привычка — как в карман, так за яичко.*

БЛАТНО́Й — *Ты блатной или голодный?* (свой, имеющий право на некие привилегии). Блата́рь. Блатняга.

БЛЯДЬ — Блядь-дешевка. Бля́дина. Блядыга. Блядыща. Про́блядь. Блядский. Блядови́тый. Блядова́ть. Божба: *Блядь буду! Бля буду! Баля́ буду! Бля́дем буду. Блядем буду, не забуду / Этот паровоз, / На котором Чиче-Бриче / Чемодан увез!*

БОДА́ТЬ — *Забодал за тыщу тиснутые боча́та* (продал краденые часы).

БУ́ФЕР — *Какие у вас плечи, / Какие буфера, / Нельзя ли вас пощупать / Рубля за полтора?*

БУХА́ТЬ — *Ну, теперь они чемпионы, набуха́ются!* (напьются водки). Бухо́й. Бухарь, Бухарёк.

ВОЗИ́ТЬ — *А потом мы мента извозили* (унизительно избили).

ВРОТ — существительное от: в рот (без мыслей о сексе): *Врот нехороший. Дешевый врот. ёбаный врот.* Шутка: *В рот тебе тирьём кило печенья!*

ГАД — милиционер, враг, доносчик. Божба: *Гад буду!*

ГАЗЕ́ТА — *Чтобы залепила газетой и никому не давала. Хуй соси, читай газету — будешь прокурор!*

ДЕШЁВКА — *Военрук, дешевка, опять нам Мопассанчика почитал! Военрук, дешевка, забздел нам Мопассанчика почитать!* Божба: *Дёшев буду!*

ДОХОДИТЬ — *Вятков опять на географии доходил* (потешал собой). *Вятков, доходяга, опять географию сорвал.* Доходно́й.

ДРОЧИТЬ — 1. *Панфил из автомата Ираиду дрочил* (дразнил, доводил). 2. *В 6-Б полкласса дрочит.*

ЕБА́ТЬ — обычно без мыслей о сексе. Божба или изумление: *Ебать мои кальсоны! Дедушка Калинин, / В рот меня ебать, / Отпусти на волю, / Не стану воровать.* ёбаный. Шутка: *Еба́ный-сраный. Закрой свой ебальник!* (рот, без мыслей о сексе).

ЁБНУТЬ — 1. *Ебнул по уху. Бомба в чердак ебале́знула. Наебнулся с ве́лика.* 2. *Для смеху ёбнули у него чернилку* (украли).

ЖО́ПА — 1. *Прав, Аркашка, твоя жопа шире* (без мыслей о гомосексуализме). Анекдот: Сперматозоиды бегут вперед.

Вдруг самый первый кричит: — Нас предали, мы в жопе! — Отсюда два равнозначных выражения: *Нас предали!* и *Мы в жопе! Мы из-за него в такой жопе оказались!* 2. *Он все о своей жопе думает* (корысти). Жóпошник — жадный, корыстный до подлости человек.

ЖУКОВА́ТЫЙ — *Он жуковатый, смотри — попишет. У, жук!*

ЗАДАВИТЬ — *Задавлю, баля́!* (неконкретная угроза).

ЗАЖИМА́ТЬ — *У Ковната Александров задачник зажал. Не зажимай! Зажал, падла!*

ЗАЛУ́ПА — Залупу тебе! (хуй тебе!) *Залупу конскую!* Шутка: *Ты мал и глуп и не видал больших затруднений в жизни. Залупи́-разлупи́* — безнадежность, тупик, бессмыслица, ни то-ни сё.

ЗАЧЁС — стильная прическа, предмет гордости, так как в школе заставляли стричься под Котовского, даже без чубчика. Высшая форма зачеса — *политический зачёс.*

ЗЫРИТЬ — *Позы́рь по-быстрому, Василиса в учительской?*

КАТА́ТЬ — *Накатал сочинение в пол-урока. На перемене скатал у Сережи домашние задания.*

КИРЯТЬ — Бухáть. Кирнóй. Никогда не слышал: Кирюха.

КНО́КАТЬ — какие угодно значения — *Ты в этом деле кнокаешь* (соображаешь)? *Прикнокали домой к вечеру* (пришли). *Ну, я покнокал* (пошел). *Его в проходном дворе кнокнули* (подстерегли, убили и др.).

КО́ДЛА — *Всей кодлой пошли на Динамо.*

КОНОЕ́БЛЯ — *После уроков опять коноебля: встать — сесть!*

КОТО́ВСКИЙ — лысый или бритоголовый (по герою фильма).

ЛОХА́НКА — *У нее лоханка шире маминой* (пизда).

ЛЯГА́ВЫЙ — Божба: *Лягав буду! Ляга́ш, портки продашь, новых не купишь.* Ляга́вить.

МА́ЦАТЬ — *Помацай у него в по́ртфеле — есть завтрак?*

МЕНЕ́ЧИК — редкое, непонятное, чрезвычайно обидное ругательство. Не связывалось с вро́том.

МЕТЕ́ЛИТЬ, МЕТЕО́РИТЬ — *Вчера у Фору́ма армяшки гада изметелили* (без труда побили толпой).

МИЛИЦИОНЕ́Р — *Ты человек или милиционер?* (противоположность блатного). Мильто́н. Мент.

МИРОВО́Й — *Вчера Спартачок мирово́ играл!*

МО́ЙКА — *С моечкой в кармашке спокойней* (с бритовкой).

МОПР — *На Осоавиахим опять собирали — ну, это в пользу Мопра* (неизвестно куда, впустую).

МО́ЩНЫЙ — *Дерик у них мощный, после уроков никогда не оставит. У Глазкова малокозырочка мощная. Мощный зачес. Мощный фильм.* Мощá. *Пятого урока не будет — мощá! Жорик — моща, будь спок, никогда не продаст.*

МУДА́К — *Резван мудак, у дерика отпроситься захотел!* Мудило. Мудила. *Жена его будила: / Вставай, вставай, мудила! Мудила грешный.*

МУДЕ́ — 1. *У Бакланова муде жирное.* Му́ди. 2. *Муде несешь!* (ерунду). 3. *Это ему муде!* то же, что: *Это ему по́ хую!*

МУДО́ХАТЬ — *Зельцер забздел, что его измудохают* (унизительно побьют).

МУДО́ХАТЬСЯ — *Крылышки с Торпедо дополнительное время мудохались* (возились).

НАБЛАТЫ́КАТЬСЯ — *Сережа в истории наблатыканный* (настроповленный).

НАДЫ́БАТЬ — *Франк гондон надыбал, пол-урока надувал* (достал).

ОПРЕДЕЛИ́ТЬ — налягавить. В ответ на резкое мнение о комлибо: *Ты определитель?*

ОТОРВА́ТЬСЯ — *Оторвался с контрошки.* Призыв: *Отрыв Петрович!*

ОЧКА́ — от игры в двадцать одно, очко. *Марочки у него — очка! Сегодня мне всю дорогу очка.*

ПА́ДЛА — *У, падла!* Падлюка. Без мыслей о сексе, как элемент блочного красноречия: *Щё ты, падла, тянешь, щё ты оттягиваешь, ни хуя не прибавлю!*

ПАРА́ША — *Ну, эт' параша* (ложный слух). *Пустили парашу.* Парашник — лжец.

ПИДОРА́З — *Зельцер, пидораз, опять с новым альбомом пришел!* Пидорас (без мыслей о гомосексуализме).

ПИЗДА́ — 1. *Пошел в пизду! Ты что, с пизды сорвался?* Пиздорва́нка. Пиздорва́нец. 2. *Дело пиздой накрылось* (погорело). *Теперь ему пиздец!* 3. *Эх ты, пизда!* (мудак). *Пизда-Мариванна. Пиздюлина от часов* — ничтожно мелкий предмет.

ПИ́ЗДИТЬ — 1. *После матча которых за Динамо — всех пи́здили.* Испиздя́чить. Дать пизды. 2. *У Зельцера по-новой географию спиздили.*

ПИЗДИ́ТЬ — *Брось пиздить! Не пизди!* (не ври).

ПИ́СКА — Угроза: *Попишу́, баля́!* (порежу лицо бритвой).

ПОГОРЕ́ТЬ — *Динамовцам три мяча насовали, вот они и погорели!*

ПОНО́СНИК — *Этот поносник не умеет в кино протыриться* (презренный человек).

ПРИДУ́РОК — *Булеков придурок, все слова навыворот читает* (потешный, прикидывающийся дураком). Высшая степень: *лагерный придурок.* Ср. Доходяга.

ПРИЁБЫВАТЬСЯ — *Александров к жидам приёбывается* (придирается).

ПРИПУХА́ТЬ — *Киевское Динамо второй раз подряд припухает* (проигрывает). Шутливое приветствие: *Физкультприпух!*

ПРИТАРА́НИТЬ — *Просоданов, доходяга, на урок тараканов притаранил.*

ПХА́ТЬСЯ — еться. Перепихнуться.

ПЫРЯ́ТЬ — *Говорят, Хлеб пырял по карманам.*

РАЗГРУЖА́ТЬ ВАГО́НЫ — от лекций профессора Григоренко: еться.

СВИСТЕ́ТЬ — *Не свисти, никто не поверит. У него всю дорогу один свист.*

СВИ́СТНУТЬ — *На всем этаже свистнули мел и тряпки.*

СЕЛЁДКА — *Красная селедка* (пионерский галстук).

СКАЧКИ́ ЛЕПИ́ТЬ — *У, Шалитик скачки лепит!* (делает что-то громкое и опасное).

СРАТЬ — 1. *Я с таким сукой срать не сяду! Люблю повеселиться, но более — посрать.* 2. *Насрал, говноед!* (испортил воздух). 3. *Не было этого! Срёшь!* (врешь!).

СТА́ВИТЬ ИЗ СЕБЯ — *Бакланов ставит из себя* (задается). *Сережа ставит из себя научного профессора*(изображает).

СТЫКА́ТЬСЯ — *Так, значит, после уроков стыкаемся?* (деремся один на один).

СУ́КА — *Зельцеру, суке, ни слова!* Божба: *Сука буду!* Сукоед — приятель суки.

ТВАРЬ — *Он такая тварь! У, тварь!* (междометное ругательство).

ТИ́КИ-ТО́К — *Будут у тебя марочки в понедельник тики-ток!* (точно будут или отличные марочки).

ТИСНУТЬ — *У Просоданова на стадионе из кармана одеколон тиснули.*

ТÓТ ЕЩЁ, ТÁ ЕЩЁ, ТÓ ЕЩЁ — *У Хлеба финочка та ещё!* (высший класс).

ТРУХÁТЬ — *Александров всех экзаменов трухает.* Затрýханный.

У́РКА — *Франка никто пальцем не тронет: у него отец — урка* (сильный, смелый, резкий человек). Уркáн. Уркагáн.

ФИКСТУЛИ́ТЬ — *Напрямик не скажет — бабы, они пофикстулить любят* (кобениться, ставить из себя недотрогу — про девушек).

ФИЛÓН — *Резванов, филон, всю дорогу диктанты скатывает. 5-А оставили после уроков класс мыть — дак они до одиннадцати профилонили.*

ФРÁЕР — 1. *Ковнат фраер, ему ничего знать не надо* (чуждый, опасный). 2. *Вырядился, фраер. Разряженный, как фрей. Фрей с гондонной фабрики* (презрительно). Банфрей — особо шикарный фрей.

ХÁВЕР — *Ковнат — зельцеров хавер* (еврей — прятель еврея).

ХАВЕ́РА — 1. Квартира, где можно собраться; таковых не помню, дать пример не могу. 2. *Хлеб опохмеляется в хавере напротив пожарной части.*

ХЕ́ЗАТЬ — 1. *С похмелья обхезался* (жидко срать). 2. *Ну, дерику он это обхезается сказать* (струхнет). 3. *Хезаешь!* (врешь!).

ХИ́ТРЫЙ — *Хитрая задачка. На портфеле хитрый замок. На хитрую жопу — хуй с винтом* (без мыслей о гомосексуализме). Хитрожóпый — хитрый в практическом смысле.

ХМЫРЬ — *Хмырь болотный.* Хмер. Чмырь (ничтожный и веселый человек).

ХУЙ — 1. *Хуй тебе в рот* (*в глаз, в нос, в жопу, в пизду* — даже при обращении к мужчине). Шутка: *Хуй тебе в сумку, чтоб не терлись сухари. Катись нá хуй!* Сокращенно и германообразно: *Кат нах! Ты что, с хуя сорвался? Давай махаться — я те хуй в рот, а ты мне язык в жопу!* Хуесóс — ничтожество, мудак. 2. *Сидит на скамейке здоровенный хуй. Подходит к Булекову какой-то хуй, ну, в общем, хмырь.* (Человек значительный или ничтожный). *У меня такая хуёвина получилась, прям' не знаю, что делать. Ну, это хуёвина, в три дня заживет* (предмет или обстоятельство значительное или ничтожное). 3. *А вот хуй ему!* (ничего не давать!) *Это ему пó хую!* (наплевать). *Нет ни хуя.* 4. *Третий привод — теперь ему хуй!* (конец). *Ни хуя себе!* (тупик или изумление). *Хуёвая самописка. Можно*

ли хуем сломать дуб? Можно, если хуй дубовый, а дуб хуёвый. Очкарик хуев.

ХУЙ — *А хули!* (а что!) Шутка: *Хули ты матом?* Коленце блочного красноречия: *Хули в Туле, я в Москве!*

ХУЯ́КАТЬ — *Сзади подошел слева, а хуякнул справа — он вправо и оглянулся. Хуякнулся с лестницы. Нахуйну́лся в канаву.*

ЦЕ́ЛКА — Независимо от пола: *Брось из себя целку ставить! Не ломай из себя целку!* Шутка: *Целка — два кирпича, полпуда глины, еще щелка!*

ЧЕРВО́НЕЦ — *На Просоданове червонце-ев!* (вшей).

ШАКА́Л — *Франк в уборке чинарики шакалит* (клянчит, вымогает, отнимает).

ШАЛМА́Н — 1. *Пошли всем шалманом* (компанией). 2. Квартира, где можно собраться; таковых не помню, примера дать не могу. 3. *После уроков встречаемся в шалмане у дяди Гриши* (забегаловке).

ШВО́РИТЬ — еть.

ШТЁВКАТЬ — *До́ма поштевкать не успел, зажевал на ходу кусок черняшки* (есть в свое удовольствие).

ШТЫК — *Буду в десять, как штык!*

ШУ́ХЕР — *Опять шухер — стекло разбили. Александров на проституции шухарил.* Шухарно́.

Ритуал, поведенческое злодейство, блочное красноречие, фольклор, словарь перемен и уборных выдавали ПЕРВОЕ ВЛИЯНИЕ, под которым жила семилетка:

По широкой одесской дороге
Николай Кучеренко шагал,
Вооруженный наганом и финкой,
И такую он песню напевал:
Посещал я кафе-рестораны,
Был налетчиком смелым на пути,
Грабежи принимал без пощады,
Убивал я прохожих на пути.
А теперь я лежу в лазарете,
Пулю вынули мне из груди,
Каждый знает меня на примете,
Что налетчиком был я на пути.
Пойте, пойте, друзья, веселитесь,
Вспоминайте вы друга своего —

Раньше с вами был Коля Кучеренко,
А теперь расстреляли его.

У половины моих одноклассников отцы сидели не за политику.

Облепивший школу снаружи и снутри сплошной непролазный мат был одним из существеннейших проявлений Первого влияния.

Учившиеся по Бархударову-Досычеву могли сделать вывод, что самое обширное гнездо слов происходит от корня *ху*.

Хуячил хуй по хуёвой дорожке.
Хуяк! Хуй на хуёвой ножке.
Хуякнул хуй хуя́ за́ хуй
И захуйнул его на́ хуй.

Неистребимый живучий мат караулил на устоявшихся стыках слов и злорадно поджидал на рифме. Более того, очищенный игрой, мат повышал тональность высказывания и сыпал яркие блики на всеобщую нечистоту и серость, частью которой являлся сам.

Покупка на эпиграф:

Между ног болтается, на хэ начинается —
эт' что? Эт' хобот! А ты думал что?

Избранные сдвиги

допотопное:

Пришел Мамай
Воевать в Сарай:
Впереди НАС РАТЬ,
Позади НАС РАТЬ,
И Сарая нам не взять.
Испугался Мамай
И С РАНОЙ побежал в Сарай;

гимназическое:

СвеЖО ПО долине,
Туман над рекой,
И мноГО В НОчи
Прелести той;

патриотическое:

НАС РАТЬ немецкая не победила,
И БИТВОЮ МАТЬ-Россия спасена;

актуальные сетования на радио:

— Опять *Самое заветное И БАЛ в Савойе.*
— Опять хор мальчиков И БУНЧИКОВ;

радостное заголение приема:

В морозы жизнь свою страхуя,
Купил доХУ Я на меХУ Я.
С дохою той дал маХУ Я —
Доха не греет ни хуя!;

допотопное на грани рифм-ловушек:

НА ССА-, НА ССА-,
НА ССАмом солнцепеке,
НАС РА-, НАС РА-,
НАС РАдует весна...

гимназическое:

Итальянске министры
ПАПЕ СДЕлали визит,
ПАПЕ СДЕ-, ПАПЕ СДЕ-,
ПАПЕ СДЕлали визит;

современное устервление кольцом:

ПАПЕ СДЕлали ботинки
На резиновой ходе,
Папа ходит по избе,
Бьет мамашу —
ПАПЕ СДЕлали ботинки и т. д.

Р и ф м ы - л о в у ш к и

допотопное за гранью:

Укусила мушка собачку
За больное место, за СРА-
зу стала собачка плакать:
Чем же теперь буду я КАК-
тебе, собачка, не стыдно...

разнузданное с до- и послереволюционными слоями:

Ехал на ярмарку Ванька-холуй,
На показ там выставил трехметровый ху-
лиганы на мосту поймали китайца,

Руки-ноги оторвали, вырезали я-
блочко да на тарелочке,
Два матроса подрались из-за це-
лый день она хлопочет, пирожки печет —
Скоро миленький приедет, вдоволь по-
Песчаной улице народ идет смотреть,
Как повар повариху на печке будет е-
ехали пираты, веслами гребли,
Капитан с боцманом девушку е-
ехали казаки через лес густой,
Повстречали девушку с разорванной пи-
ки наставили, хотели воевать,
А потом раздумали и стали её е—

тоже очень старое:

По дороге в Киев
Мужик бабу вы-
— Ты что?
— Да ничего: вывел на дорогу!
А у тети Нади
Все девчонки бля-
— Ты что?
— Да ничего: бляхами торгуют!
Как из гардеропа
Показалась жо-
— Ты что?
— Да ничего: жёлтые ботинки!

и — так и представляешь себе детскую книжку с картинками:

Перед вами, детки, слон,
Он огромен и силен,
У него, как у китайца,
Отросли большие уши —
Да-да, детки, уши.
Морж на рыбу не похож,
Клык его — как острый нож,
Он полощет среди струй
Свой огромный длинный клык —
Да-да, детки, клык.
Гага — северная птица
И мороза не боится,
Целый день сидит в гнезде,
Ковыряется в пуху —
Да-да, детки, в пуху.

Перед вами муравей —
Трудолюбивей всех зверей.
Поглядите, детки, в лупу
И увидите ручки-ножки —
Да-да, детки.

Послевоенное, на мотив *Вдыхая розы аромат*:

Однажды вечером в саду
Я, помню, вас послал в кино,
Но вы бывали там давно,
И я ошибся на беду.
Я не хочу вас оскорблять,
Хоть вы порядочная тетя,
Скажите мне, с кем вы живете,
И можно ль мне вас погулять.
Впивая жадный поцелуй,
Я вынимал свой длинный ключ.
Луна сверкала из-за туч,
А ты шептала: не ревнуй.

Непривычное множество улыбок, равно как и беззаботная легкость тона в сдвигах и ловушках — свидетельство, что мы уже давно переехали во

ВТОРОЕ ВЛИЯНИЕ — стабильный школярский фольклор — не путать с лагерным — тот принадлежал полностью к Первому влиянию.

Не иначе, как до ГОЭЛРО:

Раз сидела я одна
У распёртого окна,
В небе звезды понатыканы,
Соловей в саду запузыривает.
Подошел ко мне милой
С крючковатой бородой,
Сам в гороховой пальте
И с пенсною на носе:
— Не схотится ль вам пройтиться
Там, где мельница вертится,
Там, где рожа молотится,
Лепестричество горит.
Впрочем, ежли не хотится,
Я и сам могу пройтиться. —
И осталась я одна
У распёртого окна.

тоже допотопщина:

Сидит химик на печи,
Хуем долбит кирпичи:
Химия-химия,
Вся залупа синяя.
Сидит химик на скамейке,
Хуем долбит две копейки:
Химия-химия,
Вся залупа синяя.

поразительно профессиональные стишки, вероятно, двадцатых годов:

Пионеры юные —
Головы чугунные,
Ноги оловянные,
Черти окаянные.
Пионеры честные —
Жулики известные,
Пять минут постой,
И карман пустой.

отдает пятилеткой:

Вышла новая программа
Срать не меньше килограмма.
Кто насерит целый пуд,
Тому премию дадут.

дань физкультуризму тридцатых годов, с аффектацией:

ГРРРУДЬ МОРЯКА!
жопа старика...
ННОГИ ФУТБОЛИСТА!
руки говночиста...

Известная школьная загадка (произносить с ужасом):

— Чего никогда не было, нет, не будет и не дай Бог, чтоб было?

Ответ: — В пизде зубов.

— Что в школе всегда было, есть, будет, а если не будет, произойдет культурная катастрофа?

Ответ: — Анекдоты о Пушкине.

Шли Пушкин, Лермонтов и Некрасов, глядят — четвертная. Заспорили. Решили, кто лучше стих сочинит, тому водка.

Некрасов:

Пароход идет ко дну,
Дайте рюмочку одну!

Лермонтов:

Рыбка плавает на дне,
Дайте рюмочку и мне!

Пушкин:

Я не знаю ни хуя,
Четвертная вся моя!

Хоть что-то школьное я рассказывал дома — из вежливости. И я рассказывал про Пушкина поневиннее.

Дневник

23 января 1945 г.

Зима. Мимо памятника идет прохожий и говорит:

«Полно, Пушкин, в шляпу бздеть —
Пора на голову надеть!»

Анект'д'от.

Пушкин играл в прятки и спрятался в кучи мха. Его разыскивали, но не нашли и стали звать: «Александр Сергеич, где вы?» А он в ответ: «Во мху я! Во мху я». Все в ужасе разбежались.

Рассказал папа.

Я передал в классе и получил продолжение:

Пушкин и девушка Буся спрятались под стол. Их не могут найти. Зовут. Пушкин радостно: — Я и Буся под столом!

ТРЕТЬЕ ВЛИЯНИЕ — кино, радио.

В школу приезжала кинопередвижка или нас водили в воскресенье на первый сеанс в *Уран/Форум*:

Фельдмаршал Кутузов,
Зигмунт Колосовский,
Неуловимый Ян,
В горах Югославии,
Великий перелом.

К действительности эти фильмы отношения не имели.

Перед коллективным сеансом что-то устраивали. В *Уране* фальшиво распинался Чуковский:

— Я хрюкать не умею, вы мне будете помогать — три-четыре —

Уточки заблеяли:
Хрю-хрю-хрю!

Вокруг него порхали балетные школьницы из призрачного дома пионеров. Вдруг одна схватилась за глаз и убежала: злодей засадил ей из рогатки. Чуковский нас злобно стыдил.

По своей воле мы смотрели несколько другое (лакомые *Заключенные* и выбранные места из *Котовского* относились к Первому влиянию). Наш выбор тоже не имел отношения к действительности, но фильмы были поярче, позавлекательнее и живо входили в фольклор:

Поединок: Петер Вайнер-Петронеску: — Прощай, матушка-Русь!

Подвиг разведчика: Вилли Поммер, король щетины.

Два бойца: *Шаланды, полные кефали* и *Темная ночь*.

Багдадский вор: — *Я хочу быть, я хочу быть моряком...*

Три мушкетера[1]:

Эх, вар-вар-вар-вар-ва́ры
Случилася беда
У нас под Ленинградом (!?)
Зарезало вора.
Он вар-вар-вар-вар-воришка
Попал под колесо,
Отрезало хуишко
И правое яйцо.

Джордж из Динки-джаза:

По экрану бегали фигуры,
Фриц какой-то жалобно вопил.
Я сидел, обнявшись,
Одной рукой прижавшись,
А другой по буферу водил...

Новые похождения Швейка дали прозвище *Швейка* (именительный, ед. число) и обрывки ленты, ставшие месяца на три меновой единицей:

— Я те за это две швейки дам!

[1] Братья Маркс.

Трансляция у всех орала с утра до ночи. Иногда повторяла кино:

Ай спасибо Сулейману,
Он помог сове-е-етом мне!

иногда подражала:

О горе мне,
О горе —
Ходит ко мне судья
Обедать.

По воспоминаниям, диво как хороши были самостоятельные радиоспектакли — сороковые были, наверно, их лучшим временем. Случайно, из многих несколько: композитор Никольский, режиссер Роза Иоффе, звукоподражатель Андрюшинáс.

Детские были никак не хуже взрослых. Для сравнения: взрослые:

Ночь листвою чуть колышет,
Серебрится луч луны...
У вас одно, у нас другое,
А разницы, пожалуй, никакой...

Жил-был Андрей Четвертый,
Он славный был король...

Настала ночь,
Уснул Париж,
Закрылись крепко все запоры.
Пока мы здесь,
Повсюду тишь —
Дрожите, жулики и воры!

детские:

Только на небе
Звезды зажглись,
Из дому вышел
Рейнеке-лис...

Стал искать я переправы
И налево, и направо,
Напевая: ду́-ду ду́-ду ду́-ду ду́.
Не нашел я переправы,
Ни налево, ни направо,
Право, переправы не найду!

Я мальчик-колокольчик
Из города Динь-Динь...

...Как поймать лису за хвост,
Как из камня сделать пар,
Знает доктор наш Каспар...

А ведь так могло случиться,
Потому что у ворот
Показался славный рыцарь,
Знаменитый Дон-Кихот.

...Все мы капитаны,
Каждый знаменит.
Нет на свете далей,
Нет таких морей,
Где бы ни видали
Наших кораблей...

Есть мушкетеры, есть мушкетеры,
Есть мушкетеры, есть!

Детские передачи нас почти что облагораживали — если возможно было нас хоть как-то облагородить.

ЧЕТВЕРТОЕ ВЛИЯНИЕ — самое слабое — чтение. То, что в книгах, не имеет отношения к реальной жизни. Читающие запоем зачастую не умеют связать двух слов в изложении и припухают на каждом диктанте.

Были снобы вроде Бакланова с его залуибуссенарами. А в общем, читали случайное.

По дневнику список прочитанного с 30 января 44 г. по 21 января 46 г.:

Н. Чуковский — *Водители фрегатов*,
Ильф и Петров — *Одноэтажная Америка*,
Шульц — *Синопа-маленький индеец*,
Бажов — *Малахитовая шкатулка*,
Гоголь — *Собрание сочинений*,
Байрон — *Корсар*,
Соловьев — *Возмутитель спокойствия*,
Жюль Верн — *Таинственный остров* — очень интересно,
Бальзак — *Шагреневая кожа* — дрянь,
Вальтер Скотт — *Граф Роберт Парижский* — оч. интересн,
А. Дюма — *Десять лет спустя*,
Диккенс — *Оливер Твист* — оч хор 5.,
Давыдов — *Русские Робинзоны*,
Жюль Верн — *Путешествие к центру земли*,
Конан-Дойл — *Рассказы о Шерлоке Холмсе*,

Тарле — *Наполеон*,
Джек Лондон — том XVI,
Де Коппет — *Проповеди для детей* — замечательная книга,
Тютчев — Стихи[1],
Диккенс — *Колокола*
Сверчок на печи,
Рождественская песнь в прозе,
Записки Пиквикского клуба,
Эренбург — *Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников*,
Ал. Толстой — *Хлеб*,
Гребнев — *Арктания*,
Приключения катера Смелого,
Шекспир — *Король Лир*,
Лурье — *Письмо греческого мальчика*,
Чехов — *Юмористические рассказы*,
Овалов — *Рассказы майора Пронина*,
Савельев — *Немые свидетели*,
Конан-Дойл — *Марракотова бездна*,
Затерянный мир,
Новиков-Прибой — *Соленая купель*,
Грач птица весенняя,
Станюкович — *Путешествие вокруг света на Коршуне*.

В моем случае не так уж и плохо. А кроме этого — постоянные Пушкин/Лермонтов, выученные наизусть *Облако в штанах* и русский фольклор Саводника, да еще гимназическая хрестоматия *Наш мир* от былин до Бальмонта и сытинская детская энциклопедия.

Четвертое влияние — самое слабое — сказалось на мне заметнее, чем на других: я не только читал, я и начал писать.

Третье и Второе — наверно, как на всех.

Первое было мучительством.

Бабушка/мама всегда всего боялись, всегда всем пугали. Невозможно понять, как мама могла отдать меня в семилетку вообще, да еще в такую семилетку.

Время брало свое, и с трудом прижившись, я стал замечать: в школе и вокруг школы мало кого мудохали,

[1] Переписал Silentium.

никого в смерть не испи́здили, никого ни разу не описа́ли. Когда кто-нибудь оголтелый ко мне приебывался, всегда сам собой возникал неблагородный заступник. Мерзкие школьные завтраки шли на хапок, но мне доставались всегда. И изначальное состояние настороженности сменилось состоянием скуки.

Скучно было не мне одному — всем.

Изнывая от скуки, пытались развеяться, глумясь над учителями и друг другом. Ритуал рождался от скуки и, будучи механическим повторением заученных действий, не мог не продолжить скуку.

От скуки, встрепенувшись, неслись куда попадя:

Улица Дурова дом 25 —
Слону яйца качать.

От скуки — экзотика — бежали к забору напротив *Фору́ма*, где пленные немцы строили большой дом с башенкой. Немцы были крупней, мордатей и на вид благодушней тощих мрачных прохожих. Кто-то пустил парашу:

— Немцы едут домой! —

и мы бросились к открывшимся перед законченным домом воротами с колючей проволокой и увидели немцев в грузовиках. Неожиданно для себя мы закричали и замахали шапками. Немцы заулыбались, кто-то осторожно поднес пальцы к кепи. Грузовики уехали.

От скуки толпой ходили на Трифонку. Туда, за Ржевский вокзал, пригоняли составы военной и предвоенной мелочи — цинк, алюминий, железо, медь, никель. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Чехословакия, Словакия, Богемия-Моравия, Венгрия, Румыния, Югославия, Сербия, Болгария, Греция, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, Франция, Германия. Смысл — со звонком зашмальнуть под потолок горсть-другую:

— Хапок!

Я собираю марки/монеты, сколько себя помню. В школе образовалось предложение. У меня была твердая валюта — завтраки, которые я все равно не ел. На большой перемене в класс вносили поднос — каждому бублик и грязненькая подушечка. Вещи и услуги ценились в один-

два-три-пять-десять-двадцать завтраков. На завтраки я выменивал что посеребрянее:

Бородинский рубль,
Кронунгсталер,
Зигесталер,
Дер Кёниг риф,
Рейнланд,
Гёте,
Ян Собеский и т. д.

Так как обе вступающие в сделку стороны — барыги, то для выделения мне дали еще прозвище: *спекулянт*. Я не обижался на *спекулянта*: во-первых, ритуал, во-вторых, мне нравился процесс купли-продажи. Как в *Мертвых душах* мне крайне импонировал приятный приобретательный Чичиков.

Читаный-перечитаный *Возмутитель спокойствия*, то есть Насреддин в Бухаре, соединился с *Тысяча и одной ночью*, и в бредовых грезах перед засыпанием восточная яркость года два-три казалась выгодным противовесом нашей серости.

Если сформулировать: пестрый халат, глинобитная прохлада в зной, премудрости медресе. А еще лучше обосноваться в Багдаде, изучить *Капитал*, торговать по науке и разбогатеть. У Маркса про капитал сказано все — дурак, кто не учится у него этот капитал наживать.

От скуки я стал сочинительствовать. Не воспарял, а доходил, потешая соклассников. Изложил стихами биографию классной руководительницы. Она с мужем-инспектором ютилась в каморке при школе. В школьном коридоре они постоянно просушивали/проветривали разнообразные шмотки. Живя у всех на виду, они, естественно, были притчей во языцех. Я кое-что досочинил, без мата не рифмовалось; сейчас вспоминать стыдно.

...Ваня Дураков инспектор,
Бздит его и сам директор.
Ваня дерика пугал —
Тот училкой Лидку взял.
Раньше жала между ног,
Теперь стала педагог и т. д.

Пустил по рукам. Читатели так хихикали, что через пол-урока стихи оказались в руках у героини. Что она могла сделать? При коллективном походе в театр — все билеты у нее — сказала билетерше: — Не наш, — и меня не пустили. Много недель ставила четверки по дисциплине, пока мама, удивившись, не сходила в школу.

Настоящим учебником, введением в кухню советской поэзии был для меня альбом пародий Архангельского, как-то забредший в класс. Я решительно входил в курс премудростей:

...Дворник намерен улицу мыть,
Хочется кошке курчонка стащить,
Тянется в люльке младенец курить,
Хочет пол-литра старик раздавить.
Утро настало. Корова мычит,
Зампрокурора в хавере торчит,
Фрей-математик блюет в автомат,
Поп не молитву бормочет, а мат...

Успех, признание... Такое сочинительство не освобождало душу, не спасало от домашней клаустрофобии и школьного ритуала — и от одиночества.

Ибо я все годы семилетки пытался высмотреть, раздобыть друга.

В третьем классе мама пыталась свести меня с Вадей Череповым — *из хорошей семьи*. Всю ту зиму я проболел, а потом меня перевели в другую школу.

В пятом я попытался свести знакомство с хорошеньким Мишей Кушнером — кличка Наташа. Раза два звал к себе. Променял ему папину *За оборону Москвы* на венгерские пять крон с Францем-Иосифом. Дня через два он сказал, что его мачеха отыскала медаль, и если я не верну монету, она куда надо заявит — медаль так и так не вернет. Я поговорил с папой, мы решили не поддаваться. Мне было страшно, и я в школе молчал. Кушнер, наоборот, похвастался, и его чуть не побили как определителя.

В седьмом классе я привязался к миленькому Лене Летнику. Забывшись, на бегу поцеловал его в щеку.

Мы гуляли по улицам, ходили в музеи, в театр. Были, вероятно, на последней *Мадам Бовари* в *Камерном*. Нежную дружбу я хранил в тайне. Мама вычисляла по телефонным разговорам.

У него — на страшной Троицкой, где айсоры — я никогда не был. Он как-то ко мне зашел. Мама сразу:

— А он не еврей?

Достойный сын назавтра спросил у соседа Летников по двору.

— Что ты! Леша истинно русский человек.

Через год Леня со мной простодушно, как с другом, посоветовался:

— Отец у меня еврей, мать русская — что писать в паспорте?

Во мне достало Большой Екатерининской:

— Делай так, как подсказывает твоя совесть. — И это в сорок девятом году!

Попытки дружбы кончались ничем, ибо я душой не дозрел до сознательной дружбы, а простой детской дружбы у меня не было.

Семилетка — гнетущее бессобытийное время.

Собственно говоря, событий за четыре года, можно считать, три.

Первое — если за событие принять само явление семилетки и связанный с ним опыт.

Второе — классе в четвертом-пятом.

После уроков на неосвещенной Второй Мещанской короткая сильная рука втащила меня в подворотню:

— Ты кто?

Я онемел от ужаса.

— Ты русский? — зимой человек без пальто, коренастый, курчавый, светловолосый. — Ты русский? Да? Береги нацию! У меня в паспорте тоже русский, а я цыган. Мой дед в семьдесят лет детей имел, а я в пятьдесят без силы. До войны я был врач-евгеник. Точно знал, сколько рентген надо, чтобы не было беременности месяц, год...

Из энциклопедии я знал, что такое евгеника. Слыхал, что ее прикрыли. Вспомнил, как в переулке зимой человек без пальто попросил у мамы двадцать копеек, а она

дала ему рубль: несчастный. Ужас во мне не прошел, но забрезжило понимание ситуации. Домой я пришел потрясенный. Рассказать было некому.

Третье событие — лето сорок седьмого года. Оно произошло в Удельной, и о нем, как обо всем удельнинском, разговор особый.

1980—84

УДЕЛЬНАЯ

Когда яркая листва на Второй Мещанской тускнела от пыли, начиналась Удельная.

Между Москвой и Удельной располагался мир электрички.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТ РЫВАТЬ ДВЕРИ НА ХОДУ ПОЕЗДА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТ РЫГАТЬ ДВЕРИ НА ХОДУ ПОЕЗДА

Шик и восторг упереться носком ботинка в стойку открытой двери и, замирая, грудью вбирать пространство и скорость.

Это с Шуркой. Без Шурки я, конечно, ездил внутри вагона. Наблюдал последнего нищего скрипача. Он клонился вперед и вперед по движению руки и страстным голосом детонировал:

— Когда я на почте служил ямщиком...

Нищие без скрипок внушали верлибром:

— Дорогие отцы, братья и сестры,
Ваша жизнь в цветах, моя жизнь в слезах,
Две-три копейки для вас ничего не составят,
Дóма не построите, сердце успокоите —
Подайте слЯпому инвалиду с двадцать шестого года!

Просили обворованные, погорельцы, возвращающиеся из больницы, из заключения.

На Сортировочной или Фрезере я два-три раза видал товарные составы, нагруженные людьми.

В только что поданной электричке человек лет пятидесяти повесил против меня тяжелую сумку и вышел в

тамбур. В окно я заметил, вгляделся и понял, что он спустился по лесенке на пути и перешел в соседний поезд. Я убрался в другой вагон.

Мужички в дороге занимались казуистикой:

— Это ты зря.

— Конешно, зря! Что я, незрячий, што ли?

Интеллигент восхищался:

— Взгляните, Вика! Подсолнечник на путях. И что замечательно — никто его не сорвал!

И два молодых вдохновенных прямо по мою душу:

— В Византии было направление — как наш футуризм — палишанэ́. Не палеша́не, а палишанэ́..

В Подмосковье, по Казанке, в Удельной было скудное скучное время без дачников.

Полупустые дома к ночи запирались на все замки, крючки и засовы. Люди обмирали от ужаса, если с улицы, из темноты доносилось мяуканье: в *богатых* Отдыхе, Кратове, поближе в Краскове, Малаховке шуровала Черная кошка.

Дневник:

5 июля 1945 г.

Достоверно и подлинно,
произошло в течении 2-х ближайших недель.

У дер. Вялки по М-Ряз. ж.-д. находится склад. Недели 2 назад неизвестными лицами было произведено нападение и ограбление этого склада, при чем был убит сторож. Через несколько дней после этого, рабочий, несший на склад 75 одеял был также ограблен и убит. Убийцу заметили и погнались за ним. Бандит убегал 2—3 км и на дворе, на котором проживала некая Гранька бросил при помощи Граньки одеяла в бак, стоящий на Граньки-ном дворе. Судьба бандита мне неизвестна. Шурку Морозова (плешивого) вызвали в поссовет пос. Удельная. В присутствии нескольких неизвестных лиц ему сказали, чтобы он поинтересовался соседями Корнеевыми и поглядел, что у них есть. Играя на дворе Корнеевых, Шурка заглянул под террасу и увидел целые горы бутылок, одеял и прочего. Пос-

ле игры Настасья Корнеева сказала ему: «Шура, на тебе 2 бутылки вина и 100 руб., потом я тебе дам еще 1000, только никому не говори, что видел». Шурка после этого сбегал в школу и позвонил по данному ему в поссовете телефону. Корнеевых мать и дочь арестовали.

На дворе у Граньки Шурка обнаружил в баке одеяла. Шурка сказал об этом Н. К. В. Д. которые ожидают на корнеевской даче человека, который должен придти за одеялами. Граньку и ее соседку Маньку арестовали. Дочь Настасьи Корнеевой вскоре выпустили. Она или спятила или симулирует. В деле еще обвинили 10—15 чел. шоферов, которые возили награбленное добро и продавали его. Шурка ставит из себя Ната Пинкертона.

Записано со слов Шурки 4/VII—45 г.

Вызывали в поссовет Шурку, а не кого другого, потому что мать — общественница-активистка.

Чтобы насолить активистке, соседи открыли Шурке, что он не родной, приемный. Поверил, не переживал, отношения не переменил, но ощутил себя попривольнее: отпало *из чехов, наверно, немцев и дед был полицмейстер* — и вообще, толково, явно так лучше, сам по себе. Если мать неродная вдруг попрекнет за безделье рабочим классом, проще по-школьному отбрехнуться:

— Рабочий —
Я насру, а ты ворочай!

Шурка пробыл в моих друзьях-приятелях десять школьных лет и что-то потом. Зимой мы встречались редко. Письма его я получал на почте по ученическому билету. На самом первом конверте стояло:

МОСКВА. 110 ОТДЕЛЕНИЕ. ДО ВАС ТРЕБОВАНИЕ.

Одно из характерных:

Здравствую Андрей! 13. 11. 46 года.

Андрей! Я так и знал что, тебя что-нибудь задержало. Ждал я тебя до 16/4/ часов вечера, а потом бросил надежду на твой приезд. Кинофильм «В горах Югославии» и «Великий перелом» еще не

смотрел но по рассказам думаю, что кинофильм хороший и содержательный. Музей[1] правда нехороший. Вот исторический и В. И. Ленина и Третьяковка «это да». Там экспонаты большенство не поддельные. На пример: монеты медные, бронзовые и серебряные не поддельные, а что косается золотых и «шапки Монамаха» то это всё подделка, а настоящие, и они хранятся в залах кремля. Марки с Тургеневым тебе я достал. А ты мне достань с немецк. паравозами и военную серию (немецкую), и марки которые ты отобрал еще летом. Повозможности купи мне альбом для заграничных марок, а если ты будешь продавать альбом для Советских марок (фабричного изделия), то тоже оставь мне его. Монет и марок достал порядочно.

Между прочим занимаюсь радиотехникой (притом читаю книги — по их изготовлению), и разными электроприборами. В будущем году думаю проведем между нами телеграф и если удастся, то и телефон. Андрей! если можешь то достань телефонную трубку. Пока всё.

Морозов.

Коллекционерство Шурка называл бизнесом, коллекционеров — бизноделами. Громкое заокеанское слово ему импонировало.

Между прочим было самое главное. В четырнадцать лет Шурка окончательно определился:

детектор,
супер-гетеродин,
кенотрон,
конденсатор,
сопротивление,
немецкие лампы — американские лампы.

Он непрестанно паял, совершенствуя жалкий домашний *Рекорд*:

— У, геморроид! —

и мотал девятнадцать, шестнадцать, тринадцать метров, ставил новые блоки, импортный штекер, — так что мать — неродная, общественница — взывала:

[1] Музей изобразительных искусств со слепками?

— Будет он у тебя когда-нибудь работать?

— А тебе на кой?

— Последние известия дай послушать.

— А ты так не знаешь, чем Москва торгует?

— Москва ничем не торгует! — и Шурка плясал вокруг стола, увертываясь от затрещины, — и уплясывал ко мне на террасу.

На террасе — мама на кухне, папа в саду на грядках — мы занимали огромный дощатый стол. Выставляли довоенный несломавшийся, непроданный патефон — как много он для нас значил! Колдовали над пластиночками — выискивали д и к и й д ж а з:

Ва-ди-да Герри Роя,
Маракас Амброзе,
Свит-Су Варламова,
Фокс-Сильва Утесова.

Вспоминали — давний, по радио — джаз-гол[1] Канделаки. Старались п р о ч у в с т в о в а т ь сакс, брек и джазовое фортепьяно. Мыслями витали далеко — по заграницам.

Средний русский до ВОСРа мечтал о Париже, Вене, Венеции, о Баден-Бадене, Карлсбаде и Ницце. М и р о в а я р е в о л ю ц и я была приглашением на простор. *Вдруг стало видимо далеко во все концы света*, даже до Сандвичевых островов, которые оказались Гавайскими. Уцелевший после гражданской войны бывший телеграфист слушал *пролетарии всех стран соединяйтесь* под аккомпанемент гавайской гитары. Он лишился надежды, но не отдавал мечту и весь НЭП неудержимо пел:

В Гаване,
Где под сводом лазурных небес
Всюду рай и покой...

Вернулся Джон из северной Канады, —
А ну-ка, парень, налей бокал вина!..

Этой экзотики я набирался у мамы, Веры, Юрки Тихонова и — больше всего — у Шурки:

---

[1] Недавно мне объяснили, что джаз-гол — голосовой джаз, в отличие от инструментального.

Раньше это делали верблюды,
Раньше так плясали ботокуды,
А теперь танцует шимми целый мир...

Шумит ночной Марсель
В притоне *Трех Бродяг*...

В кейптаунском порту,
С какао на борту
Жанетта оправляла такелаж...

Есть в Батавии маленький дом,
Он стоит на утесе крутом,
И ровно в двенадцать часов
Открывается двери засов,
И за тенью является тень,
И скрипит под ногами ступень,
И дрожит перепуганный мрак
От прошедших и будущих драк.

Очень рано к экзотике стала примешиваться и мешать ей блатная струя. Добил экзотику *Гоп-со-смыком*. Пластинку эту — заигранную до седины — я видал только раз, а песню мы знали и пели все — как и ее бесчисленные продолжения:

Гоп со смыком петь не интересно, да-да,
Сто двадцать два куплета вам известно, да-да,
Лучше я спою такую
Ленинградскую блатную,
Как поют филоны в лагерях, да-да.

В первую пятилетку да-даизм оказался насущней экзотики. Во вторую — атмосферу разрядили возвратившиеся фокстроты и танго, джаз. После войны джаз — как западный — запретили.

Запретный, дикий, опьянял, будоражил. С дикими рожами, самозабвенно, в четыре руки мы отбивали такт по столу — благо, тяжелая мембрана на семидесяти восьми оборотах не соскакивала с бороздки.

От Шурки, ни от кого больше:

Роди́лся я, друзья, в Одессе-маме, да-да,
Но пусть все это будет между нами, да-да,
Овладела мною сразу
Музыкальная экстаза,
И теперь зовусь я Гоп-со-джаза, да-да!

В двадцатые заграница была мечтой, в тридцатые — смутным фактом, в войну — войной, после войны — ...

Услышав по радио *Муки любви* Крейслера, я затосковал — как к весне. Прочувствовав в тысячный раз *Брызги шампанского*, я вдруг понял, что есть красивый мир, заграница, юг Франции, кавалеры во фраках, дамы в вечерних платьях — и этого мира мне никогда не видать.

Удельная — это двух-трехмесячный отдых от школьного напряжения, почти приволье. Никто от меня ничего не требует. Утром лениво встал, если хочется — поковырялся на грядках. Если жарко — пошел купаться; каждый раз мама:

— Смотри, только не утони...

Примерно раз в лето — упоительное путешествие по Македонке с Шуркой в чужой одолженной лодке.

Под вечер можно съездить/сходить в Малаховку в летний кинотеатр на шестичасовой — позже страшно.

И главное — ежедневное сидение в гамаке. Сквозь яблоню светит солнце, рядом на траве в миске — клубника, малина, вишня, яблоки, сливы. Можно почитать, посочинять, пособраться с мыслями, вникнуть в новые ощущения.

В детстве мы подглядывали в купальню. Однажды при мне подмывалась сумасшедшая тетка Вера. В первом классе я увидал, что девочки сикают не так — и все равно до отрочества не верил, что женщины и мужчины устроены как-то по-разному.

Я рассматривал себя так и в зеркало. Лез за объяснениями в Малую советскую энциклопедию:

АА — ВАНИЛЬ, ВАНИНИ — ГЕРМАНИЗМ, ГЕРМАНИЯ — ДРОТИК, ДРОФЫ — ИСЛАМ, ИСЛАНДИЯ — КОВАЛИК, КОВАЛЬСКАЯ — МАССИВ, МАССИКОТ — ОГНЕВ, ОГНЕВКИ — ПРЯЖА, ПРЯМАЯ — СКУЛЫ, СКУЛЬПТУРА — ТУГАРИН, ТУГЕНБУНД — ШВЕРНИК, ШВЕЦИЯ — ЯЯ.

На развороте с Гарри Поллитом были: *Половая зрелость, Половое бессилие, Половое поколение, Половое размножение, Половой акт, Половой диморфизм, По-*

ловой отбор, Половой член, Половые болезни, Половые железы, Половые извращения, а на следующем — *Половые клетки, Половые органы, Половые преступления* и *Половые признаки*. По одним названиям ясно, что это для тех, кто уже з н а е т.

Бедный Шурка целую зиму обрабатывал Павленковский словарь:

Бетховен — величайший из композиторов.

Маркс — нем. экономист. Писал об отношениях труда и капитала.

Энгельс — последователь Маркса. Из своего громадного состояния ни копейки не оставил в поддержку проповеданного им учения. (Это по памяти, уверен, что точно).

Шурка выискивал *что позаёбистей* — в словаре не было статей *Малафья́, Спи́рма, Спирмоёд* (по аналогии с сукоедом).

На наши вопросы книги не отвечали, и мы оказывались во власти фольклора.

Двадцать первый палец.

Хуй бывает — показывается на руке от полумизинчика до плеча:

детский, кадетский,
штатский, солдатский,
пленный, военный,
самый здоровенный.

— Ебена мать, — сказала королева,
Увидя хуй персидского царя.

— Девушка опоздала на последнюю электричку в Нью-Йорк. На шоссе ни машины. Вдруг едет негр на велосипеде. Она говорит: — Подвезите меня. — Садитесь, — и посадил на велосипед перед собой. Довез до дому. Она слезла, повернулась, чтобы сказать спасибо, и увидела, что велосипед дамский.

— Состязались, кто первым донесет на хую ведро с водой на верхний этаж небоскреба. Погиб самый сильный — перед финишем ведро сорвалось, и хуй стукнул его по черепу.

— Мальчик ходил в баню с папой, а тут пошел с мамой. Увидел, спрашивает: — Что это у тебя? — Щет-

ка. — Ну, у папы щетка получше — с ручкой, с шишечкой и на колесиках!

Барсук
Повесил яйца на сук,
А девки думали — малина
И откусили половину.

У кого красные веки, в школе скажут:
— В пизду смотрел.

Пизда бывает — складываются концами большие и указательные пальцы:

птичья,

расставляются на фалангу:

овечья,

не размыкая пальцев, во всю длину:

человечья.

Небывальщина:

Гермафродит —
Сам ебет, сам родит.

Резюме:

Хуй — пизда
Из одного гнезда,
Где сойдутся,
Там поебутся.

Генерализация:

Ебется мышь, ебется крыса,
Ебется тетка Василиса,
Ебется северный олень,
Ебутся все, кому не лень.

Семинарская *Песнь песней:*

Взойдем на горы алтайские,
Зазво́ним в колокола китайские,
Вынем шпагу Наполеона
И засунем ее в пещеру Соломона.

Гимназическое склонение:

День был Именительный,
Я ей Предложный,
Она мне Дательный,

Мы с ней Творительный,
Она Родительный —
Чем же я Винительный?

Классика — *Лука Мудищев* и *Евгений Онегин* — сочинения то ли Баркова, то ли Есенина:

Я вас прошу, придите в сад
На место то, где кошки ссат...

Оркестра звуки ввысь неслись,
Онегин с Ольгою еблись...

Народный театр:

— Где ты был, Савушка?
— В Ленинграде, бабушка.
— Что там делал, Савушка?
— Девок еб, бабушка.
— Сколько раз, Савушка?
— Сорок восемь, бабушка.
— Что так мало, Савушка?
— Хуй сломался, бабушка.
— Ты бы склеил, Савушка.
— Клею нету, бабушка.
— Ты б купил, Савушка!
— Денег нету, бабушка.
— Ты б занял, Савушка!
— Не дают, бабушка.
— Ты б украл, Савушка!
— Иди на хуй, бабушка!

Почти баллада:

Двадцать пятого числа
Маша с улицы пришла.
Только стала спать ложиться —
Что-то в брюхе шевелится,
Не то мышь, не то лягушка,
Не то маленький Ванюшка.
Стала мать ее ругать:
— Ах ты, сука, ах ты, блядь,
Кто тебе велел давать?
— Не твое, мамаша, дело,
Не твоя пизда терпела,
Не твой старый чемодан —
Кому хочу, тому и дам.

Новый Гоп-со-смыком (Гоп-со-смыков набежит с том):

По бульвару Лялечка гуляла, да-да,
Атаманов много Ляля знала, да-да,
Своей талией пушистой,
Своей юбкой золотистой
Ляля атаманов привлекала, да-да.

Сексуальный фольклор обстоял нас с рождения. С каждым годом он делался громче, грубей, неотвязней. При этом матерная сексуальность была не руководством к действию, а скорее — сказкой, ловкой выдумкой, ирреальностью:

— Мальчик, чего ты больше всего хочешь?

— Рогатку.

— А если нет рогатки?

— Тогда девочку.

— Что ты с ней сделаешь?

— Заведу ее в лес, сниму с нее трусы, вытащу резинку и сделаю рогатку!

И вот фольклор оказался самой жизнью. Он обращался прямо к той темной, густой и тягучей жизни, которая всколыхнула нашу телесность, разбередила душу и раздражила ум каждым прикосновением к действительности. От действительности хотелось зарыться в себе, от разбухания и брожения внутри хотелось бежать сразу во все стороны.

Шурка был уличный, я домашний. И все-таки — оба —

Сидели мы на крыше,
А может быть, и выше,
А может быть, на самой на трубе.

В который раз потрясенный Шурка пересказывал мне, как его одноклассник буднично сказал однокласснице: — Варька, пойдем поебемся. — И одноклассница буднично ответила: — Не, назавтра столько уроков задали... — Это была земля, это было естество. С нашей крыши мы не могли ни опуститься до земли, ни возвыситься до естества. Не хватало воли и воображения. Подавляющее большинство наших сверстников находилось в том же параличе.

Про нас презрительно: — Еб глазами, носом спускал.

Сами мы острили: полоумные мы ребята, половой у нас ум.

Но сознание/подсознание, равно как и эстетическое чувство, препятствовали подчинению телесной тяге. Каждый спасался как мог. Днем занятий хватало. Мы с Шуркой, распространившись на ближних соседей, вовсю менялись марками и монетами.

Шурка вгрызался в схемы, рассчитывал и паял/перепаивал свое и чужое.

Я корпел над стихами — брал выше, а получалось ниже, чем в школе:

Светляки озарили росу,
Ухнул филин в далеком лесу,
И от дальних и ближних озер
Слышу я удивительный хор —
Пенье эльфов, русалок, сильфид
Гимном чудным над миром летит...

Читал запоем. Гимназическая хрестоматия по истории литературы и *История дипломатии* успокаивали. *Виконт де Бражелон* и *Бегущая по волнам* относили в прохладные дали. *Прощай, оружие* и *Дикая собака динго* тревожили. *Хулио Хуренито* и *Заложники* Гейма распаляли, но я не захлопывал их и не откладывал в сторону.

Каждой ночью мы оказывались наедине с самими собой.

Солнце, воздух, онанизм
Укрепляют организм,
Уменьшают вес мудей
И охоту на блядей.

Откуда-то было известно, что дрочит девяносто девять процентов старшеклассников. Девочек тоже смутно подозревали.

Девяносто девять или не девяносто девять, к дрочбе, суходрочке, с у х о м у с п о р т у — равно как и к д р о ч у н а м, то есть к самим себе, общество сверстников относилось с иронией:

— За что в эсэсэр карается онанизм? — За связь с кулачеством и расточение семенного фонда.

С недоумением или залихватскостью — из Пушкина:

— Жена не рукавица.

Или, ссутулясь и глядя мудро, как Гоголь:

— Зачем жена, когда есть правая рука?

Или — грудь колесом и руку вперед, как Маяковский:

Вперед, онанисты,
кричите ура!
Ваши дела налажены:
К вашим услугам
любая дыра,
Вплоть до замочной скважины!

Обозначение полной нелепицы: диссертация о значении онанизма в лунных затмениях.

Я тяжелел, пух, не спал — и однажды под утро проснулся в лужице. Перепугался: болезнь? Ничего не болело, на душе было бодро.

Шурка растолковал:

— Это так и должно быть. Явно, поллюция. Норма! Представляешь, если бы следы оставались? Оранжевые!

Не наш, взрослый фольклор давал нам понять, что любую трудность на свете легко обратить в с м е х.

— Генерал милиции приводит к себе дешевку: Говорит: — Ты подожди, я сейчас. — И ушел в соседнюю комнату. Долго нет. Ей интересно, она заглянула в замочную скважину, а он там приставил наган и шипит: — Стой, стрелять буду!

— В Германии офицер говорит ординарцу: — Увидишь немок, так ты их игнорируй. — Вечером спрашивает: — Ну как, игнорировал? — Так точно, игнорировал в задницу.

Игнорировать в задницу стало ходячим выражением.

После войны Москва покрылась белыми жестяными табличками с черными и красными текстами: ТРИППЕР, СИФИЛИС, ПОЛОВОЕ БЕССИЛИЕ плюс врач и адрес. Чемпионская висела на Неглинной рядом с Музгизом: ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ В ЭТОМ ДОМЕ.

Если красавица
на хуй бросается,
Будь осторожен —
Триппер возможен.

И еще — был на грани действительности и химер фасцинирующий, не дающийся в руки артефакт, который...

Зимой сорок первого—сорок второго, на Капельском, во дворе, мальчишка напяливал на палец нечто, что не напомнило с детства знакомый напальчник. Он надул — и оно не показалось воздушным шариком. Я обмирая спросил, что это.

— Это от женщины, — и он убежал.

...Юлькибернаров пасынок поведал, что когда не хотят, чтобы были дети:

— Надевают, не помню точно, как называется, кажется, имитатор.

Школа — удельнинская, московская — уточнила:

Пошел козел в кооператив,
Купил козел презерватив...

Гибрид гимназии и борделя — пародия на арию Ленского:

В вашем доме,
В вашем доме
Я впервые без гондона...

Пародия на маяковское *Нигде, кроме*:

Если хочешь быть сухим
В самом мокром месте,
Покупай презерватив
В Главрезинотресте!

Пародия на *Гоп-со-смыком*:

Мама, я пекаря люблю, да-да,
Замуж за пекаря пойду, да-да,
Пекарь делает батоны
И меняет на гондоны —
Вот за что я пекаря люблю! да-да!

Пародия на стереофильм *Машина 22—12*:

Эх машина ты моя, машина,
Дорогой презерватив!

— Один наш поехал в Америку. Ему говорят: ты поосторожней, там сплошная зараза. Приходит он в амери-

канскую аптеку и просит гондон. Ему говорят: какого размера? А он не знает. Тогда ему говорят: — Пройдите в соседнюю комнату. — В общем, приезжает он из Америки без носа. Ему говорят: мы же тебя предупреждали! — Да я на примерке засыпался.

— Армянин жалуется: — Доктор, у меня столько детей, совсем замучился. Нет ли средства? — Тот прописал ему презервативы. Через неделю армянин прибегает: — Спасибо, друг, спас! — Доктор удивляется: — Как, так быстро? — Да я три раза принял и стал срать пузырями. Все дети со смеху подохли!

И из рук в руки газетная вырезка — *кандидатами в депутаты*:

Раису Сыроежкину — от Баковского завода резиновых изделий санитарии и гигиены.

Не прямое и пошлое — к тому же недоступное — назначение, не санитария и гигиена влекли нас, — но миф, запретность, неуловимость и — превыше всего — чарующая эфемерность, бархатистое прикосновение талька к губам, всасывание нежного пузырька, осторожный прику́с зубами и одновременное закручивание пальцами до границы, за которой он лопнет. О музыкальное шуршание готового пузырька по зубам на уроке — неожиданно хлоп! — и училка делает вид, что ничего не было.

Обладание презервативом — ступень блаженства и степень взрослости.

Мы толклись в аптеках, слушая евфемизмы:

— Два пакетика.

— Две резиночки.

Раз даже: — Два петушка.

Передавали друг друга разведанные или только что сочиненные народные способы приобретения: ни одна провизорша нам, зеленым, неположенный и дефицитный товар бы не продала.

Мы продумали операцию. Высмотрели у удельнинской аптеки подходящую кандидатуру,

Дед был, как из Некрасова — борода лопатой, грязная светлая рубаха, на голове шляпа грибом, какие когда-то любили пахари. Шурка извлек пачку гвозди-

ков (*тройка — пара, рубль — штука*) и направился к жертве:

— Дед, купи нам гондон!

— Стыдно мне, стар я...

— А ты скажи — сыну.

Дед колебался. Шурка помахал папиросами:

— Мы тебе закурить дадим!

Дед взял монеты и вздыхая пошел на крыльцо. Минут через десять спустился, обескураженный, и протянул сорок три наши копейки:

— Говорят, нету.

Шурка широким жестом дал ему за старание папиросу.

Неудача не огорчила. Больше того, мы ликовали — может быть, подсознательно понимая, что наконец-таки проявили волю. Судьба дала нам случай проявить волю и воображение, когда настало

лето сорок седьмого года.

Ни до, ни после в Удельной не было таких ближних и подходящих дачниц. Мы подбросили пятиалтынный: Шурке выпала Лялька, мне ее двоюродная сестра Леночка.

Поначалу Шурка имел успех и звание генерал Морозов, но вскоре возник Авдотьин дачник, рыжий Женька:

— Я еврей, а фамилия Баранов, — и захихикал.

Лялька предпочла социально близкого, и оскорбленный Шурка влез в линялую тельняшку и явился, помахивая армейским ремнем с бляхой. Они ушли толковать в Сосенки, а мы на скамейке ждали — вернее, жаждали крови. Крови не пролилось.

По три раза на дню Леночка с судками ходила в детский сад, где Лялькина мать была за врача, и каждый раз сворачивала в наш переулок. Я ее поджидал, и мы говорили, не могли наговориться о всяком — от Розы Каганович до прочитанного. Однажды приложились сухими губами.

В августе ее увезли в Винницу, и я от нечего делать приударил за Лялькой — удачно. Тут ход конем сделал давно приглядывавшийся к нам дачник Фелька, сын

чекиста-дзержинца. Дзержинец хвастал, что по профессиональной необходимости выкуривает сто штук в день и что белополяки у него на спине вырезали БОЛЬШЕВИК. Хоть бы сообразил, что мы каждый день на речке видим его гладкую жирную спину.

Фелька подбил отвергнутых Шурку и Женьку дать мне ума, чтобы опозорить фаворита и самому занять его место. Шурка условным посвистом вызвал меня и, прячась за елочками, раскрыл заговор. К вечеру за мной зашел подтянутый Фелька. Меня привели на свалку над речкой — там летом сорок первого валялись измазанные говном красивые царские облигации.

— Ты что, Женино место занять хочешь? — прошепелявил Фелька.

Я покобенился и, как было условлено, стукнул Женьку в рожу. Женька ушел из-под рук и словно сквозь землю провалился. А Фелька, размазывая красные сопли, орал с безопасного расстояния Шурке любимое отцово:

— Предатель!

При Ляльке остались мы с Шуркой. Глазевшие на нас садолазы теперь возбужденно орали:

— Андрей, держи хуй бодрей!

Взбешенный Шурка въехал на велосипеде в калитку и обрушил на нас с Лялькой не последний небоскреб. Я дал ему по физиономии. Пока он слезал с велосипеда, я наставил ему фонарей. Когда мама стала хватать меня за руки, фонарей наставил мне он.

Вражда прошла с синяками.

Таково было третье и последнее, я бы сказал, сюжетное событие за годы моей семилетки.

1981—91

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Весной сорок седьмого утром я вышел из дому и по Первой Мещанской двинул пешком к центру: школа была во вторую смену.

Еще с войны, из старого *Пионера* о всемирной выставке тридцать девятого года, я знал, что за время, пока в Нью-Йорке возводили один небоскреб, в Москве

отстроили целую улицу, и какую — улицу Горького. Может быть, в Нью-Йорке возвели всего один небоскреб, у нас — все это видели — благоустроилось и изукрасилось несколько главных улиц. Первая Мещанская считалась (кем? чем?) второй по великолепию после Горького. За десять лет от Колхозной площади до Ржевского вокзала построили заново и перестроили под пять-семь этажей ровно шестнадцать домов: перестроенных — пять, скромных первой половины тридцатых годов — три, престижных сталинских, то есть, современных небоскребу и улице Горького — восемь. Между ними стояли особняки и множество деревянных домов — все обшарпанные.

Я шел к центру по правому тротуару, и вот что проходило мимо:

Левая сторона

На углу ветхие домики.

Дореволюционный дом с барельефами, надстроены два барачные этажа.

Особняки.

Дворец восемнадцатого века с классическим портиком, правое крыло откушено махиной года сорокового. В махине — *Когиз*, там папа купил мне предвоенный альбом для иностранных марок. Рядом с *Когизом* позднее — магазин *Казахстан* с алмаатинским апортом. Говорят, в этом доме живет Ботвинник.

Мясо. Булочная. Здесь мама покупала мне микояновские котлеты.

СЕРЕДИНКА. ТРАМВАЙ ПОПЕРЕК УЛИЦЫ.

Восьмиэтажное армяно-венецианское палаццо с лоджиями — стиль ВСХВ.

Правая сторона

На углу ветхие домики.

Дом, как наш на Капельском, с барельефами. Сюда мама водила меня к зубной врачихе. После войны пристроено в тон правое крыло.

Большой серый дом — начат, похоже, в двадцатых, закончен в середине тридцатых.

Очень высокий узкий четырехэтажный дом с верандой и готической крышей. Ветхие домики.

Особняк с кариатидами.

Аптека с часами на углу — районное место свиданий.

СПРАВА ВИДЕН ФИЛИПП-МИТРОПОЛИТ

Ветхие домики.

Телефон-автомат — дюжина будок в тепле. Отсю-

Ветхие домики. Попозже здесь будет высокий дом с метро *Ботанический сад*.
Ветхие домики, палатки.
Готический особняк; красивая мемориальная доска — многие останавливаются:

В ЭТОМ ДОМЕ
ТВОРЧЕСКИ
РАБОТАЛ И УМЕР
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
ПОЭТ ИСТОРИК УЧЕНЫЙ
ЧЛЕН ВКП/б/
1873—1924

Ветхие домики, за ними — мой любимый ботанический сад.

ГРОХОЛЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК (в нем кинотеатр *Перекоп* и живет Дима Жданов).
Старый трехэтажный дом.
Огромным стеклом на улицу, с меандрами и грифонами — греческое посольство.
Перед ним часто стоят несчастные черные люди.
Особняки — рюс, неоклассический, какой-то еще.
Баженовский монументальный этаж на пьедестале низкого первого этажа. Декор конца прошлого века.
Очаровательный ампирный особнячок с нимфой.

Просыревшие номера, коридорная система. Здесь живет монетчик Володька.
Ателье мод, парикмахерская — необычно высокая крыша и фасад во двор, то да мы шухарили. Большой бесформенный старый дом. Здесь живет моя учительница английского Ирина Антоновна и в одной квартире с ней — Танька.
Отступя от улицы, за решеткой особняк модерн: тубдиспансер.
Ветхие домики.
УЛИЦА ДУРОВА (если пойти по ней, направо на Второй Мещанской живет Вадя Черепов, налево на Третьей Мещанской — 254-я школа, напротив Четвертой Мещанской — мечеть, я к ней ни разу не приближался).
Пять этажей с эклектикой — бывшая мамина гимназия Самгиной.
Нестарая церковь, превращенная в трансформаторную будку, смахивает на что-то мусульманское.
Высокая тяжелая коробка с маленькими окнами.
Школа для слепых.
Ветхие домики.
Три дома разного времени, соединенные и надстроенные с жолтовским украшениями: MCMXXXIX и размалеванная лоджия на несколько этажей с тростинками безордерных колонн.
Особняк Перлова — главный до тех пор, пока он — или другой Перлов — не отгрохал себе пагоду на Мяс-

есть лицом к снесенной Сухаревой башне, — испакощенный дворец фельдмаршала и чернокнижника Якова Вилимовича Брюса. Старые дома, магазины.

На углу — книжный, в нем всегда советские марки: челюскинцы, спартакиада, первые три номера воздушной консульской почты; одна монгольская серия и надоевшая нескончаемая тувинка.

ницкой. На втором этаже — люксембургская миссия.

Столовая. Это в ее дверях *меню* я принял за *меняю комнату*.

Кариатиды — Коненков студентом изваял их за сто рублей.

Угловой дом с продмагом. В семнадцатом здесь заседал совет и ревком. Годами пятьюдесятью раньше в квартире окнами на грязный двор Нечаев подговорил убить студента Иванова.

САДОВОЕ КОЛЬЦО. КОЛХОЗНАЯ ПЛОЩАДЬ. СУХАРЕВОЙ БАШНИ И СУХАРЕВКИ Я НЕ ЗАСТАЛ. Направо — кинотеатр *Форум*.

СРЕТЕНКА — бывший московский чайнатаун. До тридцатых в сретенских переулках были китайские прачечные и трущобы. Отсюда ходил в семилетку последний китаец Булеков, сын циркача. Сретенка — продолжение Первой Мещанской к центру.

Двухэтажный *Миляев-Карташев, Дзержинский универмаг*. За Миляевым-Карташевым — Панкратьевский переулок. Говорят, в старой Москве — главное место торговли монетами.

Почти все дома на Сретенке старые, большие и небольшие, почти во всех магазины, даже двухэтажные. Для меня единственный актуальный — *Культтовары*, в нем бой обменивали на пластиночки.

Дом начала века в квартал, с двумя куполами. *Обувь*.

В бывшем торгсине — комиссионка. За пропыленными мехами и тряпками — комнатка с живописью. Видел хорошую большую пастель Жуковского и крепкий пейзаж Бурлюка — помню, по двести пятьдесят.

За забором — треснувший до основания кирпичный куб: остатки Троицы-в-Листах.

Кинотеатр *Уран* — дореволюционный, прекрасный,

Двухэтажный Всесоюзный дом моделей. В моем детстве на фасаде Фаворский красно-коричневой линией на видном месте изобразил красноармейку в буденовке и с осиной талией у боевого коня.

Новый дом: типовая четырехэтажная школа, как 254-я, как 235-я.

Художественное училище имени 1905 года.

не такой дворцовый, как *Форум*, но куда респектабельнее *Перекопа* или *Экрана жизни*.

Букинист. Тут я купил пятитомного Хлебникова.

Осквернённая церковь Успения-в-Печатниках.

СРЕТЕНСКИЕ ВОРОТА. ТРАМВАЙ ПОПЕРЕК СРЕТЕНКИ, т. е. вдоль бульвара. Над бульваром налево — *роскошные* дома страхового общества *Россия*.

УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, БОЛЬШАЯ ЛУБЯНКА — продолжение Сретенки к центру.

Как на Сретенке, все дома тут старые, кроме клуба НКВД и самой ЛУБЯНКИ.

Магазинов мало и все они ближе к Сретенскому бульвару.

Учрежденские домишки без вывесок и с решетками на окнах.

Испорченный в конце прошлого века и в двадцатые годы дворец Ростопчина.

Конструктивистский клуб НКВД с гастрономом *Стрела*.

Лубянка, *Большой дом*.

Сретенский монастырь — осталась одна церковь в мерзости запустения.

Дом с Гермесами и кадуцеями — в нем днем и ночью работал Дзержинский, въезд во двор с переулка, страшного, Варсонофьевского.

Огромный — эклектика — обнимает площадь Воровского дом Л. Н. Бенуа, Мининдел. Из проема между крыльями, как из уборной, враскаряку выходит:

ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РСФСР И УССР В ИТАЛИИ ТОВАРИЩУ ВАЦЛАВУ ВАЦЛАВОВИЧУ ВОРОВСКОМУ УБИТОМУ БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ НА ПОСТУ В ЛОЗАННЕ 10 МАЯ 1923 Г.

Направо и вниз был КУЗНЕЦКИЙ МОСТ.

На Кузнецком в подъезде у марочного я робко купил рублей на пять марок и пешком, той же дорогой, вернулся домой.

Это был мой первый самостоятельный выход в город.

Я не люблю свое отрочество — и тогда не любил. Клаустрофобическое существование втроем на тринадцати метрах. Всегда на глазах. Мама, папа; постоянно бабушка, Вера. Хочу побыть дома один — не удается. Мама тащит за собой на Большую Екатерининскую. Я стараюсь изблевать из себя Большую Екатерининскую. Стараюсь мысленно отстраниться — и чтобы родные поменьше обо мне знали. Сам хожу только в школу. В школе томление и одиночество — не то, о котором я тщетно мечтаю дома. Спрятаться от чужих и родительских глаз и собраться с мыслями удается только в Удельной. Смутно брезжит, что скверно мне еще и потому, что рядом нет таких, как я, с р е д ы. Леня Летник и Шурка Морозов, и дачники сорок седьмого — не такие, с ними нельзя о главном.

Я осознал, что живу не так, и решил начать жизнь сначала. Может быть, с этого и зародился мой всегдашний психологический пэттерн: я с т а р а ю с ь. Может, это наследственное: отец мой тоже с т а р а л с я. У него выходило лучше.

На переломе от семилетки к десятилетке направление намечалось скорей эстетическое: быть посвободней, жить покрасивей, брать повыше.

По утрам регулярно, как на разведку, я ходил — а освоив трамвай и троллейбус, и ездил — в центр. Упорно бродил в негустых серых толпах по серым улицам, рассматривал серые и посеревшие здания. Обжил несколько главных музеев — больше других привлекал Исторический. Простаивал в Академкниге у прилавка с историей.

В достаточно дружественную среду я без особых усилий вошел на Кузнецком мосту. Искренний интерес и основанные на *Ивере* познания объединяли меня с людьми той же направленности. Некоторый опыт у меня

имелся: папа нередко водил меня на Кузнецкий. Наличествовал и фундамент: в послевоеннный год мы приобрели юношеский *Шаубек-Европа* 1936 года — шесть тысяч марок за пять дореформенных сотен. И теперь иногда мой червонец мог быть равен червонцу серьезного коллекционера.

Сколько себя помню, я собирал монеты и марки. В моей новой жизни, при лучших филателистических предпосылках, выбор пал — окончательно — на нумизматику. В самом слове слышалось что-то изумительное.

Демобилизованные толкали *трофейные* марки кучами, коллекциями. *Трофейных* монет было сравнительно мало.

Сначала я собирал *весь мир и окрестности*. Потом, логично, только Россию — по Гилю. Вот моя тогдашняя дезидерата — что и почем я имел в виду достать и достал:

До 1 января 1950 г.

Рубли:

1. Самозванца	200[1]		
2. Алексея Михайловича	200		
3. АЩД-АЩЕ	150	(зачеркнуто)	70
4. Московский рубль	100	(зачеркнуто)	100
5. 1723-ОК с орденом	50		
6. Траурный рубль	75		
7. Ек. I бюст направо	40	(зачеркнуто)	40
8. Петр II 1729 с чешуйч. лат.	50		
9. Анна Гедлингера	25		
10. Иоанн	150	(зачеркнуто)	150
11. Ел. ММД	25	(зачеркнуто)	30
12. Дасье	200		
13. Петр III ММД	40		
14. Альб. талер	200		
15. Ек.II с фрезой	30	(зачеркнуто)	35
16. Без фрезы	20	(зачеркнуто)	15
17. Пав. БМ	100		
18. Ал.I 1802—1810	35	(зачеркнуто)	40
19. Свадебный рубль	100	(зачеркнуто)	100
20. Памятник Ник.I	30	(зачеркнуто)	35
21. Ал.II тип. Ник.I	10	(зачеркнуто)	10
22. Ал.III тип. Ал.II	15	(зачеркнуто)	10

[1] Цены после реформы 1947 года не изменились.

23. Ал.III обыкн. руб.	10	(зачеркнуто)	15
24. Пам. Ал.II	40	(зачеркнуто)	50
25. Пам. Ал.III	150		
26. Гангут	100		
27. Ал. колонна	30	(зачеркнуто)	35
28. $1^1/_2$ руб. семейн.	300		
29. " Бородино	100		
30. Полуполт. Алекс. Мих.	75—100	(зачеркнуто)	35
31. Чек. для Пруссии	20	(зачеркнуто)	5
32. " Грузии	10	(зачеркнуто)	15
33. Польский мятеж	15—20	(зачеркнуто)	7.50
34. 10 или 5 злот	75 или 50 руб.	(зачеркнуто)	20

Откуда у меня брались деньги? Во-первых, папа верил в мою рассудительность/целесообразность приобретений и постоянно что-то подкидывал. Во-вторых, я никогда не тратился по пустякам — на мороженое, пирожки и т. д. — так что все наличные шли в дело. В-третьих, я относил к букинисту не необходимые книги, вплоть до сытинской детской энциклопедии. В-четвертых, загонял марки и неактуальные монеты.

В одно прекрасное воскресенье я пришел на Кузнецкий раньше обычного. Никого из считаных московских нумизматов еще не было, и ко мне направили мрачного мужчину в кожаном заграничном пальто. Мы удалились в привычный подъезд, и он из кисета высыпал в мои подставленные ладони несколько десятков тетрадрахм и другой крупной антики:

— Это афина, это Лисимах, это варварская царица[1].

То ли он сказал, то ли я придумал и сам поверил, — он, вроде бы получил в Восточной Пруссии особняк и выкопал на огороде коллекцию. В кисете был только обмен.

Говорил он с непонятным акцентом, нес явную ахинею:

— Когда нужна монета, платишь рубель в год, до две тысячи пятьсот.

За деньги он не отдавал, меняться с ним было нечем. Он торопился, никто из серьезных нумизматов не подо-

[1] Точно помню: сасанидская драхма.

спел. Мрачный человек ушел и как в воду канул. Наверно, с ним что-то случилось, может быть, загремел и монеты ухнули. Иначе в коллекционерской среде рано или поздно заговорили бы о таком чрезвычайном богатстве антики[1].

Монополистом на Кузнецком, моим ментором и поставщиком был Володька Соколов. По его словам, он кончил не то ГИТИС и пол-литинститута, не то литинститут и пол-ГИТИСа, до войны выпустил где-то в Поволжье книжку стихов. С войны вернулся хромая, с палкой. Какое-то время инвалидам позволяли бузить, и они, качая права, костылями били стекла битком набитых не впускавших трамваев:

Я Бе́рлин брал,
Я мух ебал,
Я кровь мешками проливал!

Володька был этого сорта. Как-то я встретил его на Первой Мещанской — хромая, он несся во главе небольшой орды, помахивая оцинкованным ведром.

— Володя, куда?

— За пивом!

На Кузнецком Володька поднимал палку на разгонявших мильтонов.

— Я инвалид войны!

После энного привода недели на три сменил пластинку:

— Я теперь милиционэр. Меня пригласили режиссэром в клуб милиции.

Володька принципиально нигде не работал. Каждое воскресенье он толкался на Кузнецком, по будням дежурил в Историческом музее. Музейщики ни в чем не были заинтересованы и гнали его лениво. Володька перехватывал все, что приносили с улицы. Одна скупенькая старушка пригласила его к себе; покойный муж боялся попреков и божился, что больше полтинника за монету не платит. Володьке за бесценок достался бесценный материал.

---

[1] Дочь Розанова Татьяна пишет, что ее сестра Надя в 1947 году привезла из Ленинграда и продала *в частные руки одному армянину большую часть коллекции монет отца*. Вдруг...

Когда у него появлялось что-нибудь для меня, он звонил и в изысканных выражениях предлагал заглянуть.

Жил он неподалеку, на Первой Мещанской, в бывших меблированных комнатах — на восьми метрах с женой, сыном, тещей и тестем. Осатанев, он самовольно вселился в уборную — тоже метров восемь (в другом конце коридора была еще одна), — отключил воду, покрыл унитаз столиком, к стене приставил кровать. Под ней коллекция — деревянный ящик с пакетиками, даже из-под презервативов.

Когда к Володьке в уборную собирались немногочисленные тогдашние нумизматы, он выставлял жену:

— Пуса, ты — блядь, и товарищи это знают. — И объяснял: — Раз в жизни мечтал культурно побыть дома, говорю: Пуса, сходи за портвейном, хочу посидеть с сыном — так она — никогда в жизни!

Сыну было три года.

К дому, Большой Екатерининской и школе я прибавил центр, Кузнецкий и Володьку, то есть стал посвободнее. Жить покрасивее было проблематично. *Забрать повыше* я попытался на музыке.

Ибо с лета сорок седьмого года я неожиданно полюбил музыку. Перед войной и в войну мама возила меня к Любовь Николаевне Басовой — то есть я достаточно долго учился — совершенно бесчувственно. И вдруг — трофейные фильмы с Джильи:

Ты мое счастье,
Не забывай меня,
Где моя дочь?

С экрана пели Джильи, Ян Кипура, Тито Гобби. Каждое Божие воскресение в обед, в два пятнадцать по московскому времени я включал *Телефункен*: *Box at the Opera*.

Би-би-си посвящало в тайны, обыкновения и чудеса великих от Карузо до Хри́стова.

Итальянское пение вдруг обнаружилось рядом. В сороковом году вместе с латвийской Ригой к эсэсэр отошел

Александрович. Всю войну он выводил по трансляции литовскую *Ай-ду-дý-ду дудалé* — и вот он поет, как итальянец, и по-итальянски, самые волшебные арии и неаполитанские песни.

Я пошел в Большой зал консерватории. Кругленький, с закрытыми глазами и книжечкой в руках, Александрович маслянистым голосом связывал и развязывал самые прихотливые бантики — сапожникам Лемешеву/Козловскому такое во сне не снилось.

На бис итальянский певец вдруг закричал и заплакал:

Біда биду,
Нема ништу,
А як я без овци
Домой пи-ду?

Я не понял, зачем это.

Большой театр обходился без Александровича, на мой слух — так вообще без певцов. Оплотов — разных Лемешевых, Козловских, Михайловых — я не выносил, вычислял кого поприличнее:

— *Севильского* бы с Хромченко, Норцовым и Белоусовой-Шевченко!

Глядел в афишу: *Севильский цырюльник* — Хромченко, Норцов, Белоусова-Шевченко. Купить билет тогда было проще простого.

Ходил я предпочтительно в филиал, где было поиностраннее: Россини, Верди, Гуно.

В самом Большом хорош был *Борис* с Рейзеном.

У Немировича шел Оффенбах, Милёккер, Лекок и советское: Энке, Хренников, Кабалевский.

Пуччини и Моцарт — только в студии Чайковского (студенты консерватории). Дон-Жуана пел приглашенный Иван Шмелев (*Мне бесконечно жаль.*).

Вагнера не было нигде.

По трансляции изо дня в день музыкально-образовательные:

программность *Времен года* Вивальди,

венские классики, особенно *Детская симфония* Гайдна,

народность Моцарта,

революционность Бетховена, симфонии — Маркс, сонаты — Ленин,
русская опера XVIII века: *Мельник, колдун, обманщик и сват*, *Санкт-Петербургский гостиный двор*,
скрипичная музыка Хандошкина,
Двадцать первая симфония Овсянико-Куликовского *На открытие оперного театра в Одессе*,
оперы и *Камаринская* Глинки,
восточные мотивы в *Шехерезаде* Римского-Корсакова,
украинские мотивы в Первом концерте Чайковского,
Первая симфония Калинникова,
Концерт для голоса с оркестром Глиэра,
скрипичный концерт Хачатуряна,
творческое содружество Власов-Молдыбаев-Фере,
опера Мейтуса *Молодая гвардия*,
новинки Хренникова и Будашкина,
симфоническая поэма Штогаренко *Щорс*, удостоенная сталинской премии.

Изо дня в день бранились словами: *эстет, формалист, безродный космополит*. На консерваторской афише *ИГОРЬ БЕЗРОДНЫЙ* кто-то естественно приписал: *космополит*.

Изо дня в день склоняли: *народный, народного, народному*. Это было понятнее, чем *эстет, формалист* — и проникало глубже. Я перевел — слово в слово — американскую песенку с пластинки:

Пой, скрипка, пой
Эту песню народную —

и Шурка Морозов обрадовался:

— И у них — народную?

Дядька Игорь, бывший лейтенант, ныне студент Востоковедения, прослушал мои пластиночки с итальянцами, сощурился и отдалился:

— Мне те две понравились, народные.

А я — несмотря ни на что, я мечтал стать итальянским певцом. Сейчас у меня голос ломается — установится, и я поеду в Италию учиться. Другие не могут — я смогу. И вернусь знаменитостью.

Пока же я с патефона затверживал арии и неаполитанские песни. Наслушавшись и не слыша себя, думаешь, что поешь, как великие. Я бессовестно выл в уборной — ванна с акустикой бездействовала во всем доме. Как терпели соседи...

Я захотел учиться на пианино — понятно, с какой целью. Я показал Любови Николаевне список:

серенада Альмавивы,
романс Неморино,
песенка герцога,
песнь Манрико,
ариозо Канио,
ария Рудольфа,
ария Каварадосси,
монолог Лоэнгрина.

Любовь Николаевна не спорила. Дала Азучену и Вольфрама — переписать (с нотами было плохо) — и засадила за Черни, Клементи, Кулау.

Внешне Любовь Николаевна походила на колоратуру Барсову. До революции она кончила в Лейпциге у Шарвенки вместе с Леночкой Бекман-Щербина и получила диплом свободного художника — висел в рамке. Небольшую ее комнату наполняли пианино и концертный рояль; над роялем огромная, во всю стену, картина в тяжелой раме, вероятно, шумановский *Wilder Reiter*.

Семилетняя ученица про Баха:

— Что он маленький не умер!

Я, четырнадцатилетний:

— Венские классики скучные. Слушаешь — знаешь, что будет дальше.

— Чайковский — мещанство. Балеты его — карамельная музыка.

— Терпеть не могу романсы русских композиторов!

— Не люблю Грига, он холодный.

Любовь Николаевна не выдержала, отшатнулась от пианино и на рояле с бравурой выдала *Huldigungsmarsch*. Раз, выйдя из себя, крикнула:

— Штраус был гений!

Я укреплял себя чтением. Из тимирязевской библиотеки папа приносил мне девственные номера *Советской*

музыки со статьями о малерианских ошибках дирижера Зандерлинга и стишками о консерватории:

Который год из этих славных стен
Идет чреда бесславных смен.
Идут, идут — хоть караул кричи —
Все маленькие Шостаковичи!

Тоже из Тимирязевки мне попала завалявшаяся с тридцатых годов книжечка Соллертинского о Берлиозе, о красках в музыке. В книжечке назывались новые, неслыханные имена: Брукнер, Малер, Рихард Штраус. Там же или где-то рядом я прочел о других венских классиках.

Недавно с Шуркой я старался п р о ч у в с т в о в а т ь джаз. Теперь я приникал к *Телефункену*, вслушивался в оркестр, в оркестровку. Меня возносили вагнеровские скрипки и нежили пуччиниевские арфы.

Ради особых звуков я сочинил фортепьянную пьесу на полторы страницы. Играл ее себе несколько дней и вдруг обнаружил, что в правой и левой руках — разные тональности, и все равно складно.

Любовь Николаевна отказалась судить и направила меня в музыкальную школу на Самотеке к знакомому. Молодой чахоточный еврей в пенсне просмотрел и спросил, слыхал ли я Хиндемита. Я не слышал. И он бесстрашно, в казенном помещении, проиграл мне куски Хиндемита, Стравинского, Прокофьева — все криминал — и заключил:

— Вы не имеет права бросать композицию.

Я стал брать уроки у композитора Карпова. Он жил напротив Селезневских бань в комнате, меньше нашей, с молодой женой, детской кроваткой и пианино. Ко мне Карпов отнесся трезвее:

— Ничего, кроме творческой инициативы.

Как бы там ни было — какое блаженство идти по весеннему солнышку, отгородясь от толпы папкой с нотами, и мечтать!

В области сугубой реальности новой жизни способствовало окончание семилетки. Всех, кто думал учиться

дальше или не попал в техникум — техникум был в цене — отправили в Марьину Рощу. Вряд ли это было бы безобразнее семилетки, но и благообразнее быть не могло.

На мое счастье, директор 254-й, старый Иван Винокуров выговорил себе в районо отличников из семилетки. Я попал в стабильную школу почти с традициями: с довоенных лет было известно, что Иван провинившихся долбит ключом по темечку.

В 254-й я уже учился — в холоде/в тесноте сорок третьего—сорок четвертого, больше болел, чем учился. Здесь мама пыталась меня свести с Вадей Череповым — *из хорошей семьи* — он был в параллельном классе.

И теперь в параллельном классе был Вадя Черепов. Мы сошлись с ним, не помню как — без посторонней помощи.

Вадин отец, без пяти минут граф, окончил Пажеский корпус и очутился в Конной Буденного. Иронически, в начале тридцатых, Буденный попал под его опеку: из командарма хотели сделать свадебного дип-генерала. Бывший дворянин тщетно обучал бывшего рубаку манерам. Надо думать, Черепов отличался от Буденного еще тем, что был военным-профессионалом: всю войну, не ночуя дома, он провел не то в ставке, не то в генеральном штабе.

Меня встретил добродушный корректный полковник в отставке, с широкими лычками поперек двух просветов. Говорил он, посмеиваясь, очень ровным тоном:

— В ЦДКА разносили роман Гроссмана. Один оратор не мог пережить, что героиня наклеивает фотографии на паспарту: где это видано, чтобы так обращались с нашим советским паспортом?

— *Двенадцать стульев* — это зубоскальство, глумление над несчастными.

— Мейерхольд погиб под трапецией с голыми боярами.

— Интеллигенция — прослойка между рабочим классом и крестьянством. Разница между рабочим классом и крестьянством стирается, стирается и прослойка.

— В тридцатом году в немецком журнале была карикатура: голый мужик прикрывается капустным листом: *Kohlhose*.

— Дзержинский не умер от туберкулеза, он застрелился из-за растраты.

— Столыпин — последний, кто мог бы предотвратить...

— У Николая Первого были задатки Петра...

Непонятно, как это не пресекала Вадина мать. Она нигде не работала, зато так активничала в родительском комитете, что получила медаль *За трудовые заслуги* — чего, вообще говоря, не бывает[1]. В идеал она возводила военное:

— Вчера заходили мальчики Ивановские, суворовцы — вежливые, подтянутые — смотреть приятно!

Вадя жил в готическом особняке, в квартире предков. Череповы занимали анфиладу из трех маленьких проходных комнат, в четвертую, изолированную, им подселили пролетария-стукача. Квартира на удивление сохранилась: дубовые панели на стенах и потолках, над дверью в коридор — витраж, метерлинковские девы[2].

У Череповых были дореволюционные пластинки, две туго заставленных полки под граммофонным столиком: Шаляпин, солист императорских театров Виттинг, Варя Панина, протодиакон Розов.

В книжном шкафу готическим золотом догорали немецкие собрания сочинений: Шиллер, Гете, Кернер, Вагнер. Глухими заборами отпугивали сталинские подписные: Горький, Алексей Толстой, Новиков-Прибой. Из нижнего угла я извлек огромную, без переплета антологию Ежова-Шамурина — такую в тридцать седьмые сожгла сумасшедшая тетка Вера. Вадин Ежов-Шамурин жил у меня месяцами, благодаря ему я со временем перестал путать Мандельштама с Мариенгофом и Цветаеву с Крандиевской.

У Вади я брал лейпцигский однотомник Достоевского. Мама предупредила:

— Хадось! Ужасы такие — прям' читать жутко. Патология.

---

[1] Ни Димины, ни мои родители в десятилетке не появлялись.

[2] Теперь здесь чередуются африканские посольства. Интерьер — видно в окна — погиб.

Патологией меня только что — нешуточно оскорбил Толстой: *Крейцерова соната. Дьявол. Фальшивый купон.* Достоевский после него показался оазисом. Самое здоровое целебное чтение — роман *Преступление и наказание.*

Лет десяти, услыхав о пошлости Чарской, я прочитал *Княжну Джаваху* — и ничего, вроде *Школы в лесу.* Классе в восьмом-девятом, узнав о гнусности Арцыбашева, я прочитал *Санина* — Вадя прочитал, Дима прочитал — из-за чего шум? Чем Лев Толстой возмущался? Сам-то хорош!

С почтением, переживая, я усвоил *На западном фронте без перемен.* Когда мне в руки попало *Прощай, оружие,* я счел его не достойным упоминания.

Естественно, мы с Вадей терпеть не могли того, что проходят в школе и за что дают сталинские премии — от *Слова о полку* и *Онегина* до *Поднятой целины* и *Белой березы.* Это была бессознательная защитная реакция. Стоило нам пуститься в высокоумные рассуждения, как мы впадали в то самое, от чего убегали:

— Все великие современные поэты — Арагон, Элюар, Хикмет, Неруда — за коммунистов. Что бы это могло значить?

Арагона, Элюара, Хикмета, Неруду хвалили, но не печатали. Других зарубежных — тем более. Для нас западная поэзия кончалась на киевском Чтеце-декламаторе, то есть году на двенадцатом, Отечественная — на Ежове-Шамурине, то есть на двадцать пятом.

Вадиной высокой словесностью были *Фауст, Жером Куаньяр, Словарь прописных истин*; моей — все те же *Мертвые души, Облако в штанах, Хулио Хуренито* и новооткрытый *«Громокипящий кубок».* Мы с радостью сходились на *Бегущей по волнам,* с восторгом — на Оскаре Уайльде.

Образ нашей взаимонайденности: мой любимый ботанический сад, мы пришли на затаявший снег дегустировать *Ночную фиалку,* в которой ценили начало, — и славить Верлена, которого почти не читали. Дурея от тлетворного духа, мы обговаривали лорда Горинга, бенберирование и предисловие к Дориану Грею:

Ненависть девятнадцатого века к реализму — ярость Калибана, видящего в зеркале свое отражение.

Ненависть девятнадцатого века к символизму — ярость Калибана, не видящего в зеркале свое отражение.

Кино было для нас буквальным окном в Европу. В прокате мизер советских фильмов выгодно дополнялся массой *трофейных* и купленных. Мы регулярно ходили в *Форум*, *Уран*, *Перекоп*, открытой душой принимая

— яркие краски —
немецкая *Индийская гробница*[1],
французский *Скандал в Клошмерле*,

— сильные чувства —
американский *Побег с каторги*,
американский *Мост Ватерлоо*,

— добрые чувства —
американский *Во власти доллара*,
французский *Адрес неизвестен*,

— упоительную музыку — я уже говорил о немецких с Джильи и Яном Кипурой. В новом финском *Песни скитальца* была мелодия шире арий Пуччини, шире *Жатвы* Чайковского, шире Второго концерта Рахманинова — о песне такой широты я мечтал всю жизнь.

Геббельсовская антиамерикана или *Девушка моей мечты*[2] нас с Вадей не трогали — равно как американский *Тарзан*.

Дима присоединился к нам, когда на экранах возник неореализм:

Рим — открытый город (мне просто не понравился),

У стен Малапаги (все были в восторге, я не оценил),

Похитители велосипедов (я тоже пришел в восторг: замечательно, а непонятно, как сделано).

Самое сильное впечатление произвел на меня немой фильм: в прокате неожиданно выплыл *Потомок Чингис-*

[1] Божились, что в роли Зиты — мужчина. Трофейные шли без вступительных титров и как правило — с переиначенными названиями.

[2] Якобы в главной роли — Ева Браун.

хана. Я понял, что немое было больше кино, нежели звуковое, и стал говорить: *кинематографично*.

Из нашего класса я довольно быстро выделил Диму Жданова, сына литературного критика. Аккуратный, в костюме и белой рубашке, он отвечал у доски, сложив руки — сейчас запоет. Дима, казалось, не обращал внимания ни на отметки, ни на учителей, ни на сотоварищей, держался особняком, говорил мало и еле слышно — и все время был погружен в свои, далекие мысли.

Я подбирался к нему много месяцев. Решающий разговор произошел у распахнутого весеннего окна, стало быть, уже в сорок девятом году. Для установления отношений хватило маленькой переменки.

Покочевав с парты на парту, я утвердился соседом Димы. Все уроки мы занимались своим делом.

Я придумывал, Дима рисовал:

— Пушкинский уголок — Пушкин орлом на унитазе,

— Толстовский уголок — Толстой с бумажкой на горшке,

— Проект памятника Маяковскому — пьедестал кучей, фасад паровоза, под колесами голый мужчина, подпись:

Лягу, светлый, в одеждах из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза
и тихим, целующим шпал колени
обнимет мне шею колесо паровоза.

— Посаженный на кол — голый мужчина, вид снизу, множество вариантов.

Учителей мы слушали выборочно.

Как биологичка каждую дробную фразочку для связности начинала с *э*, сто двадцать *э* за академический час.

Как историк, чертова перечница Рабинович, парит над учебником:

— И било пвинято истовическое вещение — бвосить певвую конную на панскую Польщу. Как сейчас помню, я ваботал на оговоде, а мимо едет квáсная конница, и бойци пвосят меня пвинести напиться.

Как математик, классный руководитель Николай Николаевич, интеллигентно покашляв, с нежностью рас-

крывал классный журнал и деликатно ставил себя в тупик:

— Кого бы сегодня вызвать? — и подыскивал: — Аля... — Аляутдинов вздрагивал, а Николай Николаевич передвигал карандаш и, словно отважившись, бросал жребий: — Аля-Афонюшкин!

Из математики ценили классическую задачу: $\left[(g+y)^2-(g-y)^2\right]\frac{P}{4}ak$ — упростить. В пандан ей мы изобретали ребусы: $3\pi R$, πdR, Aq^n [1].

Как-то в пароксизме вдохновения я потребовал, чтобы Дима немедленно вырвал мне лист из тетради. Тетрадь оказалась чужой, щепетильный Дима отказал наотрез — я возмутился:

Ах ты, скверный Пиздождан,
Кровожадный Пиздождан и т. д.

И более размеренно — перевертень:

ВОН АД ЖАДНОСТИ СТОН ДА ЖДАНОВ

Возмущение само собой испарилось, обращение *Ах ты, скверный!* — взаимно — осталось.

За два года у нас возникло густое семейное употребление:

— вместо *хорошо* — *отрадно.*

— вместо *плохо* — *трагично.*

— про аналогии с *Хули ты матом?* — *Хули ты ганишь?*

— осуждение: *Ты низко пал, ты пал смертью героя* — сокращенно — *Ты низко пал.*

— по романсу Рахманинова: *Здесь нехорошо, здесь много людей,* сокращенно — *Здесь нехорошо.*

Из *Матери* Горького: *Душа досками заколочена, ослепла, не слышит* — сокращенно: *Ослепла, не слышит.*

---

[1] Непременные школьные ребусы:

— $Q\pi$, обычная схема домика, ЗАСТРА, мужской половой орган в прозрачной банке (т. е. КУ ПИ ДОМ ЗАСТРА ХУЙ В БАНКЕ),

— К зачеркнуто, ЗА — зачеркнуто, ПО — не зачеркнуто, ряд цифр 123467890, дробь — в числителе БЕД, в знаменателе Я, К — зачеркнуто (т. е. КА — БЫЛО ЗА — БЫЛО ПО — ЕСТЬ А ПЯТИ ТО НЕТ БЕД НА Я КА — БЫЛО).

В зависимости от обстоятельств, Дима был для меня Скверножданом, Угожданом/Неугожданом, Обсужданом и, главное, Сопровожданом. На переменке я говорил: — Сопроводи меня! — и мы без слов направлялись в уборную. И после уроков я мог сказать: — Сопроводи меня! — хотя сопровождать, собственно, было некуда. С полчаса мы с Димой толклись на Первой Мещанской между нашими разнонаправленными переулками, и я поглядывал в сторону Серединки, безумно надеясь хоть мельком увидеть Таньку.

Главным сопровождательством были концерты, преимущественно Колонный зал. Радиокомитетский оркестр в форме поддерживал Гаук, но любить мы любили часто гастролировавшего ленинградского Зандерлинга. Солисты — Нейгауз, Юдина, Рихтер, Фейнберг были делом обыкновенным, и мы никого особенно не выделяли. Считали: Нейгауз очаровательней всех, Григорий Гинзбург — блестящий, Юдина — страшилище. На Софроницкого не ходили, не любили его — как вообще камерные концерты.

Вот что и где я слушал в последние школьные годы, главным образом, с Димой:

КЗ 12/XI—49 Зандерлинг/Юдина — Бетховен: Эгмонт, 5 с, 5 фпк.

КЗ 19/XI—49 Зандерлинг — Гайдн: с. с ударом литавр, Шостакович: 5 с.[1].

БЗК 26/XI—49 Мравинский/Коган — Б. Александров: *Великому Сталину слава!* Арутюнян: *Торжественная ув.* Бабаджанян: скр. к. Шостакович: Песнь о лесах[2].

КЗ 10/XII—49 Димитриади — Дворжак: 5 с. Лист: Прелюды, 2 рапс.

БЗК 6/I—50 Аносов[3] Оборин — Глазунов: *Шопениана.* Шопен: I фпк.

[1] Кажется, тут и были малерианские ошибки дирижера Зандерлинга. Вообще же, в те годы с Шостаковича публика уходила.

[2] Пленум союза композиторов, премьеры.

[3] Дубину Аносова ненавидели, на афишах из Н. П. АНОСОВ часто выдирали первое Н.

КЗ	5/II—50	Глиэр/Казанцева — *Медный всадник*, к. для голоса с орк.
КЗ	25/III—50	Зандерлинг/М. Гринберг — Моцарт: *Маленькая ночная серенада*, фпк, с. *Юпитер*.
БЗК	26/III—50	К. Иванов[1] — Бетховен: 6 с. 7 с.
КЗ	8/IV—50	Димитриади/Гр. Гинзбург — Чайковский: 4 с.[2], Лист: 1 фпк., Берлиоз: из *Осуждения Фауста*.
КЗ	22/IV—50	Гаук/Г. Нейгауз — Мясковский: Симфониетта 2, Бетховен: 5 фпк., Чайковский: 5 с.
КЗ	3/VI—50	Л. Гинзбург/Коган — Бетховен: 3 с., Хачатурян: скр. к., Глазунов: *Раймонда*.
КЗ	I/X—50	Рахлин — Шостакович: 5 с., Чайковский: 5 с.
БЗК	21/X—50	Элиасберг — Бах: месса.
КЗ	28/X—50	Глиэр/Казанцева — *Красный мак*, к. для голоса с орк.
БЗК	2/XI—50	Ниязи (Азерб. декада) — Ниязи, Ф. Амиров, Кара Караев.
БЗК	?	Мужской хор Эрнесакса.
БЗК	6/I—51	Абендрот — Бах: Бранд. к. № 3. Бетховен: 1 с. Чайковский: 5 с.
БЗК	26/I—51	Абендрот/Рихтер — Вебер: *Оберон*. Лист: 1 фпк. Р. Штраус: *Дон-Жуан*. Бетховен: 7 с.
КЗ	3/III—51	Элиасберг/Гилельс — Франк: симф. вариации. Шопен: анданте и полонез. Сен-Санс: 2 фпк.[3]
БЗК	9/III—51	Небольсин/С. Фейнберг — Лядов: *Кикимора*, Рахманинов: 3 фпк. Скрябин: 3 с.
БЗК	17/III—51	Зандерлинг/Вайман — Бах: Бранд. к. № 4, скр. к. кантата № 53. сюита № 2.
МЗК	20/V—51	Квартет Бетховена — Шостакович: квинтет, квартет, трио.

[1] Про Константина Иванова говорили:
— Беспризорник был, беспризорник остался.

[2] Репетировал Рахлин — и заболел, на концерте вел Димитриади, от сочетания получилось волшебно.

[3] Знатоки рассуждали, что в тот вечер Гилельс вдруг з а и г р а л.

На лучших концертах мы неизменно встречали высокого, хромого — опирался на трость — джентльмена лет пятидесяти с благородно очерченным профилем европейца. Одет он был не как иностранец, хотя из публики выделялся элегантностью.

Публика была полосатая. На симфонические забредали командировочные офицеры с дамами в летних платьях. Москвичи, завсегдатаи, кадровые меломаны рядились во что попало. Речь даже не о Москвошвее — половина Москвы еще ходила в трофейном. Даже у меня водилось немецкое пальто из комиссионки. Трофейное было слишком с чужого плеча и никого не красило. Тем более что по привычке и Москвошвей, и заграничное донашивали до распада.

Элегантный джентльмен с концертов так нас заинтересовал, что мы стали расспрашивать, кто это. Нам сказали: — Хромой? Анатолий Доливо! — Я пошел на концерт Доливо: камерный певец (песенки Беранже), кумир довоенной интеллигенции, был неэлегантен, как все и, как все, не имел профиля.

Досоветский/эмигрантский кумир Вертинский пел по театрам — в понедельник, когда нет спектакля. Сарказмом, пластикой, игрой алмазного перстня он отвлекал внимание от старческого тремолирования — и успешно — публика была в восторге: Вертинский демонстрировал то, чего нам никогда не увидеть.

Бабушка принесла мне от сослуживицы ноты Вертинского — *Бал Господень* и *Попугай Флобер*. Дима проиграл, с удивлением согласился, что это профессионально, но сопроводить меня на Вертинского — под мою ответственность — все-таки отказался.

Как дают почитать книги, мы давали друг другу ноты. Он мне — *Хованщину*, рахманиновского *Полишинеля*, романс Глиэра *О если б грусть моя*. Я ему — *Гранаду* Альбениса и прочие переписанные от руки раритеты.

Дима говорил, что́ надо купить из нового. Так у меня появились прелюдии Шопена и Скрябина, я их играл по складам, для себя, лет двадцать.

Упоительны были наши предвечерние выходы на Неглинную-14, порыться в букинистическом. В стопах макулатуры встречались никому, кроме нас, не нужные Сибелиус, Синдинг, Де-Фалья, фортепианные переложения Вагнера.

Шли мы неспешно, Цветным бульваром — деревья на нем с той поры как будто не выросли.

— *Фантастические танцы* из опуса пятого превратились в опус первый. Шостакович что сделал? Переопусовал! Слово какое: переопусовка! — начинал я.

— Но что война для соловья,

У соловья ведь жизнь своя, — списано с прелюдии Рахманинова: та та́-та та́м, та та́м, та та́м, — отвечал Дима.

— Начало вальса из *Щелкунчика* взято из *Прекрасной Елены*, — не отставал я.

Со слов отца Дима передавал союзписательские новости: — что Кирсанову сталинскую премию дали потому, что вспомнили: он еще ни разу не получал,

— Что в Куйбышеве в ресторане Григорий Новак вычистил зубы антисемиту Сурову.

Я говорил о том, какое счастье быть дирижером, какое счастье стоять в Большом зале консерватории лицом к публике и читать собственные стихи. (Мечты о дирижерстве и активное стихописание вытеснили недавние грезы об итальянском пении).

Дима отвечал, что в бальзаковской *Истории тринадцати* тринадцать друзей занимают разносущественные посты и выручают друг друга. Так и надо. Что на Алтае есть такие глухие места, где нет советской власти. Кто-то туда уже переселился.

Мы забредали чем дальше, тем глубже — и до расставанья на углу улицы Дурова мы, утопая в себе, говорили о главном, подробно, словами, из такой сути тогдашних себя, что сейчас этих слов не вспомнить — и пытаться не должно.

Дима был тем редкостным сверстником, кому я мог показать свои музыкальные сочинения. Он просматривал их дома и возвращал без комментариев. Только про танго на слова *Невыразимой поэзы* и балладу *Семеро* сказал:

— Что-то есть. — И тут же усумнился, что можно любить и Северянина, и Хлебникова.

Семеро происходили из восхитительной *Дохлой луны* — ее Шурка Морозов раскопал на удельнинском чердаке и обменял на марки. Безапеляционно-синие иллюстрации, роскошно разбросанные по толстым страницам стихи Шершеневича, Бурлюков, Хлебникова, Маяковского, Большакова разжигали мою страстную любовь к футуризму. Всю школу футуризм был синонимом вольного поступка, яркости, бодрости. И вот — первозданный футуризм у меня в руках, — и радость моя омрачена лишь тем, что из *Дохлой луны* в тридцать седьмые вырвали тетрадку с *Госпожой Ленин*. Однако, по логичному пэттерну, наступив на горло нумизматике, я взял за сотню пятитомного Хлебникова. Томясь, одолел всего — чтобы потом читать/перечитывать один первый:

Где Волга прянула стрелою
На хохот моря молодого.

Неожиданно судьбоносным оказался второй.

На одной парте с Димой до седьмого класса сидел Евтушенко — из седьмого его вышибли. Через Диму Евтушенко попросил у меня почитать Хлебникова. Первый том я пожалел, за второй Евтушенко прислал избранного Пастернака. Я раскрыл под партой на первом уроке:

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд.
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Я давно бредил черной февральской весною — но в лучшем сне не вообразил бы, что она уже в книге, и что книга лежит у меня на коленях.

Меня затрясло. Математик Николай Николаевич пропел *Э-э-э* и удалил с урока. До звонка я читал в уборной.

Жизнь моя поделилась на до прочтения Пастернака и после.

Собственное восхищало меня, пока я писал. Дима и Вадя похваливали и поругивали. Сам я потом, трезвым

оком, видел в себе Архангельского, *Дохлую луну*, Пастернака:

Нежное; недужное
Слабое и жалкое
Облачко жемчужное
Над землечерпалкою.

Весенний запах в зимних лапах
Сквозь непогоду, снег и лед
Показывает, что на крапах
Замерзших крыш, земель и вод
Весны готовится приход.

Как всегда, смеркаясь, с похоронным звоном,
Бронзовит огней желтоглазый мятеж —
Это город пляшет игуанодоном
На пепелищах погибших надежд.

А мрак разграфили огни этажей...
Любовь проклятая эта!
И сыпал фонарь по асфальту драже...
О где ты?

И наряду с чистым художеством, время от времени почти через не хочу я выдавал что-то газетное в духе позднего Маяковского. Вадя и Дима не комментировали.

Самый позорный случай произошел летом в Удельной, когда я на досуге даже не без вдохновения сочинил поэмку о сорок первом годе — по образцу *Высокой болезни*. Был предельно собой доволен, и в голове шевельнулась безумная мысль:

— А что, если бы это прочитал сам Сталин?

Я не допускал, что Исаковский-Твардовский-Долматовский-Матусовский и Маршак с Симоновым могут кому-нибудь нравиться. И ничто не соединялось с тем, что обожаемейшего Пастернака не печатают.

Ждановские речи и постановления витали в воздухе, но проходили мимо сознания. Я их прочитывал — серые газеты на серых заборах. Композитор, который пишет муру и курит *Дели*, равно как *Приключения обезьяны* были для меня той же серостью, от которой я бегал с детства. И вообще, это как бы не тот Зощенко, который сочинил восхитительную *Аристократку*. И Эренбург, автор *Бури* — не Эренбург, автор *Хулио Хуренито*. Писатели раздваивались; любимые, лучшие почему-то делались

никакими, казенными. Притом мне в голову не приходило, что речи и постановления как-то влияют на литературу и людей в литературе.

Несколько раз Дима заходил со мной на Четвертую Мещанскую к Евтушенке. Евтушенко устраивал для меня представление:

— У меня первый разряд по пинг-понгу!

(Он был расхлябанный, движения приблизительные, рука жидкая, влажная.)

— Мне дали визу в *Советском спорте*!

(Это значило, что отныне он благословляет в печать редкие стихи в спортивной газетке. Там же он впервые напечатался сам — о безработном американском боксере-негре.)

— Я провел ночь с поэтессой Т.!

(Были поэтессы Гиппиус, Ахматова, Цветаева; по моему разумению, Т. быть не могло.)

— *Герои едут в колхоз* — гениальные стихи!

(Я знал, что есть такой казенный поэт Гусев — не более. Евтушенко доставал книжку и, подвывая, читал.)

— *Герострат* — гениальная поэма!

(Глазкова я знать не мог — его *самсебяиздат* ходил только в кругах писательских.)

— Ты — бухгалтер Берлага!

(Я не принадлежал к цивилизации Ильфа и Петрова и понятия не имел, кто такой бухгалтер Берлага.)[1]

Восторжествовав, Евтушенко брал мои заношенные, мараные (сталинские шариковые ручки текли) листочки и медленно, сквозь зубы читал:

Хитро смеются полуторатонки,
Тупо трамваи набычились в гонке,
Рыбой таращатся фарами форды,
ГАЗы мигают скелетовой мордой...

— *Фарами форды* — это хорошо, — он ставил на полях плюс.

Потом проглядывал снова и словно изумлялся, как я дошел до жизни такой:

[1] *Двенадцать стульев* и *Золотой теленок* ко мне попали поздно и уникальными не показались: я уже прочел их прототипы — катаевских *Растратчиков* и берзинского *Форда*.

— Но ты — формалист!

(Я не поправлял, что я футурист).

С высоты положения Евтушенко читал свое. Заключал:

— Если бы эти стихи были подписаны: Евгений Евтушенко, верхолаз, город Красноярск — их бы напечатали в *Правде*. Тебе понравилось?

Я с удовольствием говорил, что нет.

Евтушенко злился:

— Ты бомбист!

Вышибленного Евтушенку в школе не только не забывали, им было принято восхищаться: мы тут зря сидим, а он дела делает. Какие именно — не слишком интересовались. Говорили только, что с ним невозможно идти по улице — подбегает к каждой газете и прочитывает стихи:

— Надо знать конкурентов.

Даже вроде бы срамное про Евтушенку рассказывали к его выгоде:

— Когда он совсем пацан был — понял? — матери было слабо его выпороть. Она соседку просила, платила ей. А соседка, чтобы он не сбегал, не вырывался, давала ему контрамарки — она билетерша была, в театре оперетты! Он почти каждый день ходил: мирово!

Здоровенный как танк, Сашка Ганичев, почему-то считавший себя поэтическим соперником Евтушенки, перед уроками восторженно доложил классу:

— Просыпаюсь. По радио дрянь какая-то и голос гнусный. Прислушался — Бекóн. Он!

(В войну Евтушенко по созвучию превратился в Тушенку, из Тушенки — уважительней и насовсем — в редкий консерв Бекон).

Литературу у нас вела орденоносная тетя-жаба, прозвище Китоврас.

В начале урока она устанавливала тишину: долго колошматила по столу огрызком карандаша. Зыркала над бельмами пыльных очков, выискивала вредителей. Выискав:

— Цырлин, что сказал Пушкин о рабстве диком? — Цырлин был должен залпом выпалить цитату.

— Усачев, что сказал Белинский...

Если Усачев мешкал:

— Кто знает?

Тянулись руки: за пять цитат наизусть в журнал выставлялась четверка, за десять — пятерка. Цитаты регистрировались в замусленной общей тетради, отдельно от журнала. Цитата — плюс, нет цитаты — минус, пять минусов — двойка.

Система *Белинский о Маяковском* вела известно к чему.

Невзирая на Китовраса, класс кишел стихотворцами.

Моим соперником себя почему-то счел — лошадиное лицо, девический румянец, огромные серые глаза и нос кнопочкой — Эдуард Афонюшкин. Он вызвал меня на поединок: кто к завтраму насочиняет больше стихов на *-ес*.

Я начал:

В самолет пыхтя полез
Обергруппенфюрер Гесс.
Испуская аш-два-эс,
В высоту рванулся срез.

Афоня зарифмовал *херес, шартрез* и всех Геркулесов, Ахиллесов и Гермесов — и разгромил меня в пух и прах.

Приятель Афони Цырлин, Цыга, тоже включился в поэзию. Рожал он туго и родил всего одну строчку, зато апокалиптическую:

В Китае жил китайский пленник.

Повальное стихописательство, несомненно, принадлежало к возрастным занятиям и входило в *брачные игры*.

На большой перемене на углу Дурова мы брали на двугривенный соленых огурцов и по Фрейду забрасывали их в окна женской 235-й у Филиппа-Митрополита.

После уроков — с т ы к а л и с ь. Почти по-джентльменски, клали к ограде портфели, если кто в очках — срывал их шикарным жестом и бросался в бой: п о б е ж д а е т, к т о б ь е т п е р в ы й.

Зрители стояли кольцом и соблюдали нейтралитет: д в о е д е р у т с я — т р е т и й м е ш а е т с я[1].

[1] В школе попроще мордобой был бы пооткровеннее. Но и 254-я ни от чего далеко не ушла: на выпускном вечере, когда сводили счеты, команда подвыпивших добровольцев бескорыстно избивала, кого попросят.

Мы знали, что мы ничего не знали. Экспириенсоватые от нас отхихикивались. Нам оставалось прислушиваться к рассказам и россказням бабника Усачева. Мы:

— верили и не верили, что у потерявшей невинность у переносицы поперек лба появляется тоненькая морщинка;

— верили и не верили, что в одиночку изнасиловать невозможно;

— верили и не верили, что от изнасилования не беременеют;

— содрогались от самого слова *изнасилование*;

— вожделели провиденциального соития и боялись его как чего-то родственного изнасилованию, противоестественного, отвратительного;

— болезненно гадали друг о друге, кто уже *да*, кто *нет*;

— болезненно острили: — Онанизм — это самообладание.

Мы с Вадей тайно именовали себя поллюционерами:

— Узок круг этих поллюционеров...

Главное поле для брачных игр — танцы, что еще? Дежурная острота прищуривалась: — Танцы — трение двух полов о третий.

Это звучало почти кощунственно. Только на танцах нас встречали с девочками из женской школы, чаще всего — 235-й. Только на танцах жертвы раздельного обучения на час-другой оказывались в менее противоестественных отношениях друг к другу[1].

Танцы имели две ипостаси. Во-первых, б а л ь н ы е т а н ц ы. Вертлявый человечек из Большого театра распинался:

— Ну зачем нам западные танцы, когда у нас есть свои, хорошие, русские — полька, венгерка, па-де-грас, па-д'эспань... [2]

[1] Никоим образом не нормальных. В одной женской школе для нас отвели особую уборную. Наклеили на двери М и внутри расписали и разрисовали так узорно, что ничего подобного я не видел в курортных и станционных.

[2] Похожий на дедушку Крылова физик, объясняя, оговорился:

— Великий русский ученый Михаил Фарадей...

Он снял очки, оглядел нас дикими глазами, расстелил на коленях большой носовой платок и громко плюнул.

Бальные танцы имели для нас мало смысла: за ними не разговоришься, не познакомишься. Необходимость в танго и фокстроте была так очевидна, что где-то на командных высотах их оставили, переименовав: *медленный танец, быстрый танец.*

Урок заканчивался, девочки из 235-й разбегались, ветеран балета удалялся, мы двумя параллельными классами окружали аккордеониста: он не спешил. Безработный джазист с косыми глазами западненца тоскливо говорил:

— Все знают, — и называл никому не известную украинскую песню. — Попробуйте узнайте ее в такой импровизации.

Мы восхищенно слушали. Стремясь к прямой правде, я спросил, какой самый лучший джаз в мире, и он с готовностью произнес:

— Глен Миллер.

Во-вторых, в е ч е р а. Их предвкушали заранее, старались не пропустить, строили планы. Не ходил на них один Дима.

Зато появлялся Евтушенко. Стоял в толпе, всматриваясь, как будто оценивал положение. Изредка ронял:

— Пастернак — гениальный поэт...

— Шефнер — гениальный поэт...

Вечера начинались с официальной части:

— доклад о международном положении, или

— с а м о н а д е я н н о с т ь — старшеклассники с удовольствием развязничали, изображая эсэсовцев, или американцев, или

— Вадим Синявский. Он жил рядом со школой, охотно приходил, трепался почти интересно, но очень длинно, отнимая время у танцев. Его радением к нам заявлялись звезды:

Бобров,
Федотов,
Хомич,
Бесков,
Чудина,
Григорий Новак.

Полковник-тренер из ЦДКА показал поединок неравных партнеров.

Под конец слабейший был цвета своей клубной майки.

Школьное — или районное — начальство добредало до таких чертиков, что раза два танцы было велено открывать полонезом. За ним тягомотно тащились бальные. Мы выжидали, когда надзирающие умотают домой или обалдеют от бдительности. Тогда на школьном радиоузле ставили давние, довоенные, ныне запретные, з а п а д н ы е:

Брызги шампанского,
Куст сирени,
Дождь идет,
Риорита,
За чашкой чая,
Охота на тигра братьев Миллс,
утробная *Инес*,
варламовская *Свит-Су*,
цфасмановское *Неудачное свидание*,

более поздние:

утесовская *Лунная рапсодия*,
Если любишь приди,
кручининское *Южное небо*[1],
Танго соловья — Таисия Савва, художественный свист,
Мне бесконечно жаль — Иван Шмелев,
Вдыхая розы аромат,
Утомленное солнце,
тяжеловесный *Цветущий май*,
рижский *Лос-Анжелос*,
шахновская *Карусель*.

Переименованное танго, переименованный фокстрот — это и был тот максимум *жизни покрасивей*, который позволяла незаграница.

Хороший тон — танцевать с т и л е м, то есть с отсутствующим выражением лица, вихляясь, прищелкивая каблуками и ставя носки ботинок вовнутрь.

Мало-помалу в углу пара-другая парней начинали л и н д а ч и т ь. От криминальной линды с завуча Феди мгно-

[1] Тот самый Кручинин, что сочинил *Кирпичики*.

венно слетала дремота, и он разнимал танцующих, как дерущихся.

Если ослушники заводили обожаемого и больше, чем джаз, запретного Петра Лещенко — шестидесятилетний Федя летел по коридору и скользкой затертой лестнице на другой этаж.

Радиоузел — преувеличенно громкое название подсобки с техникой... Это был конец эпохи, вращавшейся на семьдесят восемь оборотов. Предел мечтаний — немецкий электропроигрыватель-автомат, который сам меняет местами и сторонами заряженную в него стопку шеллачных пластинок.

В радиоузле заправлял Володька Юдович, уроженец Сретенки и одессит по замашкам. Он ходил, как фрей, не сгибая ноги в коленях и широко раскидывая ботинки.

— Э-э, приэ-эт! — как необходимую новость он сообщал, что еще одного шмока скинули с крыши ресторана *Спорт* на Ленинградском шоссе. Сообщая, он извлекал из носу козявку и элегантно приклеивал ее на лацкан или рукав собеседника. Из-за элегантности никто не протестовал, и полкласса гуляло в его соплях. Из О.Генри я выудил и подарил ему кличку Сопи.

Володька учился в музыкальной школе на флейте, но поразговаривать предпочитал о ф о р т е п л я с а х — каково концертмейстеру, что такое поймать и выжать синкопу.

Он таскал в узел редкую заграничную джазовщину — те же фокстроты и танго — и иногда на переменке запускал на всю школу — д л я о п р о б о в а н и я а п п а р а т у р ы. Получив нагоняй за упадочную музыку, оскорблялся:

— Скоро Моцарта запретят — у него половина вещей в миноре.

Даже после поверхностных, ни к чему не располагающих б а л ь н ы х т а н ц е в, я буквально валился с ног от напряжения. Много хуже мне приходилось на в е ч е р а х, где было настоящее испытание себя. За вечер мне обычно удавалось протанцевать с кем поприличнее два-три танго/фокстрота — потом несколько дней я избывал мерзкий мутный остаток.

Счастливое исключение произошло на вечере в 235-й. Я пригласил совсем незнакомую, еврейского вида, в веснушках. Вдруг оказалось, что ноги танцуют, точно я великий маэстро, а говорим мы не об околошкольной ерунде, а о главном, будто сто лет знакомы. На беду срочной влюбленностью меня не пронзило, и я упустил ее — больше никогда не встречал.

В школе был немецкий. Уроки английского я брал в доме на Серединке у Ирины Антоновны. Она только что кончила ИН-ЯЗ, учила толково, разговаривала со мной разговоры, относилась с сочувствием и почти пониманием.

Она и познакомила меня со своей соседкой Танькой — скорее всего, из любопытства. Танька была тоненькая, миловидная и такая бесцветная, что без подсказки — скажем, на вечерах — я ее мог бы и не заметить.

Подсказка была, и я тут же влюбился.

В момент знакомства у меня было два билета в студию Чайковского на редкостную *Богему*.

С рождения готовя меня к худшему, мама прожужжала мне уши:

— Я всегда сама за себя платила. Эт' только прости-Господи позволяют. Ты не вздумай...

Как я ни изживал из себя Большую Екатерининскую, нет-нет, да всплывало — в самых неподходящих случаях. И сейчас я был готов спросить:

— Вам кресло или откидной?

Бог не довел до срама. Услышав слово *опера*, Танька замотала головой.

Встречались мы редко, — на вечерах или случайно. Идя по Первой Мещанской, я неизменно ее высматривал.

Конечно, ей со мной было скучно.

На прямой вопрос об интересах она ответила: спорт.

Спокойно сказала, что книг не любит.

Про что-то отнеслась: — *Это хужее*.

И все же она меня не избегала и не отталкивала: то ли на всякий случай, то ли подстраховывала Ирина Антоновна.

Танька всегда обещала позвонить, и я недели, месяцы, годы умоляюще глядел на телефон в коридоре. Ожидание — вот образ моих отношений с Танькой.

Что Таньке буквально все милее меня, можно было понять — сознать, объяснить, даже утешиться.

Оскорбительна и непоправима была сама Танькина природа.

Оскорбительность/оскорбленность не убивала чувств, она растравляла их. Чувства были наивные, но нешуточные. Лет через двадцать пять забывший, невспоминавший, женатый-переженатый я увидел во сне Таньку — она поманила, и я пошел без оглядки.

От растравленных чувств я содрогался, завидев вдали на улице похожую походку. От растравленных чувств я содрогался при звуках имени, когда Лещенко пел *Татьяну*. Растравленность порождала отчаяние, противление, бессонницу, злобу, мечты о возмездии — и стихи.

И в один прекрасный вечер я понял, что сочинил свое главное тогдашнее стихотворение:

Разрешите на минуту оставить лоск,
Позабыть уважение и еще чины.
Благодарю за разрешение и скажу не зло:
Вы достойны хорошей пощечины.
Почему? Не удивляйтесь, ведь не золото, а медь
В вашей, столь досадно милой, головке.
Вы могли себе позволить, как вы смели сметь
Против меня кознить уловки?
Переехать меня смехом, скрипучим трамваем,
Растить мне надежду, как ногти покойнику...
Вы, превналичная личность, давайте разузнаем,
Кто из нас кого достоин и как.
Я знаю, у вас голубые груди
И пальцы прозрачными хрупкими льдинками.
Опупею от эпопеи. Будет!
Хватит вздыхать перед самодельными сфинксами!
Хотите я сыграю на нервах буги-вуги?
Не бойтесь, не на ваших, всего лишь на своих!
Замечется под музыку в заколдованном круге
Мой, от неудач обезумевший стих.
Я стихну́ и сти́хну — ведь каким-то хулиганам
Разбрасывается чистоган ваших души и тела.
Это так оскорбительно, это такая рана,

Впрочем, мне до этого нет никакого дела.
Мир и так бежит коломенскими верстами, а то мной
Он бы попрекался ежедневно, ежечасно —
Ведь в моих стихах энергии атомной
Больше, чем в Америке и столь же напрасно.
Счастлив никогда я не был; девочка,
Вы меня очень обидели, подите прочь!
Вот закончу стихотворение и, надев очки,
Буду фортепьянствовать напролет всю ночь.

Перед Филиппом-Митрополитом прочел Ваде. Тот оценил:

— Это у тебя не хуже некоторых мест *Облака в штанах*.

(В скобках: Таньке своих стихов я не показывал).

...Откуда-то я вернулся домой, мне сказали: звонила какая-то Таня, просит позвонить. Позвонил — нет дома. Выскочил на улицу и впервые увидел Таньку почти у наших ворот. У каких-то ее друзей собирается компания, не хватает двух парней — Вадя уже приглашен и будет.

Нас привели на второй этаж просыревшего деревянного дома на Переяславке. На протертой клеенке стола стоял казенный салат и много водки. Хозяйка и ее подруги... такие ходили на каток в неприличных трехклинках, мы таких избегали. При них были соответствующие молодые люди — шпана или что похуже. Самым старшим и страшным казался белобрысый детина в галифе, пупырчатый, как огурец. Танька, удивительным образом, не отходила от него ни на шаг, подкладывала ему на тарелку, подливала в рюмку — только что не сидела у него на коленях.

С нами никто не заговаривал, на нас не обращали внимания, разве что белобрысый детина время от времени взглядом удостоверялся, что мы на месте. Мы с Вадей сидели рядом, спиной к стене, брезгали винегретом, дотрагивались до водки и ждали, когда нас начнут бить.

Так мы досидели до достаточно позднего часа и достаточного распада в комнате. Мы выбрались в коридор, осторожно спустились по покосившейся обледенелой лестнице, единым духом промахнули Безбожный — и облегченно вздохнули в ярких огнях Первой Мещанской.

Через день-два Ирина Антоновна открыла мне, что детина в галифе — оперативник, и Танька мечтает за него замуж.

Итак, по Танькиной милости, мы с Вадей, сами того не ведая, участвовали в какой-то му́ровской акции.

Я вырос в одиночестве. Вадя вырос в одиночестве. Дима вырос в одиночестве. С рождения мы были лишены естественной органичной среды. Не знаю, была ли в тогдашней Москве н а ш а среда. Даже своей компании у нас не было, и мы не могли ее образовать: Вадю и Диму связывал только я. Встречались мы, как правило, по двое на улице. У Вади я довольно часто бывал. Ходить к Диме было не принято. Что говорить о нашей капельской тесноте!

Школа кончалась. Впереди маячило студенчество. Может, оно окажется той самой необходимой средой... Рисовалась мизансцена вроде смирдинского новоселья: все сидят за большим столом, а один стоит и вроде читает стихи.

Дима собирался в архитектурный. У нас с Вадей никаких планов не было. Скорее всего, я пошел бы в университет на филологический. Но опять, по пэттерну, вмешалась случайная книга.

Аляутдинов принес на урок и дал до завтра домой *Как я стал кинорежиссером*. От Александрова до Ярматова все восхищались своей особенной великолепной жизнью. Душевней всех был Кулешов — такого имени я до того не встречал. Он без обиняков сообщал, что больше всего на свете любит умные машины, нашу русскую природу, охоту и зверюшек.

Я был зачарован, куплен с потрохами. Если вдуматься, я уже получил от кино бесконечно много такого, чего иначе бы не получил. Как делается кино, я видел в александровской *Весне* — ее мы с Вадей восторженно смотрели несколько раз. Я не мог и не хотел понять, что все — от Александрова до Ярматова — те же Исаковский-Твардовский-Долматовский-Матусовский и Маршак с Симоновым. Я не мог и не хотел понять, что казенное кино убивает так складно начавшуюся новую жизнь. Ибо

здесь предлагалось именно то, чего недоставало известной мне действительности — *красивая жизнь*.

Я решил поступать в киноинститут.

Мои родители не знали, что сказать.

Вадина мама узнала, что во ВГИК поступить невозможно.

Сосед Алексей Семенович покачал головой:

— Это значит, что ты всю жизнь будешь делать то, что тебе прикажут.

1981—85.

ВГИК

Сосед Алексей Семенович напрасно качал головой:

— ...ты всю жизнь будешь делать то, что тебе прикажут.

Приказывать было не нужно: меня оглушила и съела химера особенной великолепной жизни кинорежиссеров. Погнавшись за *покрасивее*, я думать забыл о *повыше и посвободнее*.

Не столько готовился к экзаменам на аттестат зрелости, сколько ломал себя:

— всегда сторонился политики и науки, теперь же самодовольно раздумывал, мог бы Черчилль или Трумэн написать о языкознании;

— всегда презирал Горького, теперь же, зная, что надо, давясь, глотал *Фому Гордеева*, *Дело Артамоновых*, *Клима Самгина*;

— никогда не любил драматический театр, теперь же в майской-июньской духоте высиживал основные спектакли основных театров. Самое отвратительное мгновение во МХАТе, когда на сцену выплыла старая бесформенная Тарасова, и зал закряхтел: — Кра-са-ви-ца... — Единственное потрясающее — *в Ленинского комсомола*, когда Берсенев—Федя Протасов в последнем действии выкликнул: — Как вам не стыдно?

На дне открытых дверей нас приветствовал Лев Кулешов — тот самый, который *больше всего на свете любит умные машины, нашу русскую природу, охоту и зверюшек*.

Он был невысок ростом, но грандиозен: львиная голова, львиная седина, красиво подстриженные усы; галстук дорогого красного цвета — в тон ярким губам; темно-серый крупной выработки заграничный пиджак; светло-серый, необыкновенной вязки жилет.

Он добродушно шутил, щедро приглашал поступать и ничего не бояться. От него струилось величие и великодушие, он сиял посвященностью: я влюбился. По пэттерну в пятьдесят первом мастерскую набирал именно Кулешов.

На первом туре показали герасимовский *Освобожденный Китай* (намек: набирают документалистов). В темноте просмотрового зала я записал в блокнот кадр за кадром. При свете дня на проштемпелеванных листочках — обнаружил феноменальную память и выдал комментарии, а ля газетный Эренбург: *хлеборобы Кубани и шахтеры Астурии, безработные Сан-Франциско и кули Гонконга...*

На втором туре сочинение *Мой родной город* — я заявил, что описать Москву невозможно, поэтому — про одного москвича. Вспомнив: если бы эти стихи были подписаны: *Евгений Евтушенко, верхолаз, город Красноярск — их бы напечатали в Правде*, я соцреалистически вывел в верхолазы удельнинского Юрку Тихонова, загнал его в строители высотных зданий и в финале дал ему в руки *Поднятую целину*.

Собеседование. В коридоре абитуриенты сокольской пирамидой лепятся к стеклам под потолком: увидеть, услышать.

Меня вызвали. Из предбанника я узнал голос Кулешова:

— Сейчас я вам покажу замечательного парня — из него можно сделать что угодно.

В первый вгиковский день Кулешов обратился к нам как старший к равным:

— Не думайте о красивой особенной жизни. Есть такое понятие — киношник: светофильтры на пол-лица, клетчатая куртка с начесом, краги — так все это вздор, ложь. Настоящий работник кино одет, как все, и живет, как все, только работает много больше других... А теперь посмотрите венгерский фильм Германа Костерлица *Маленькая мама...*

Кулешов не зря заклинал нас быть/жить как все, ибо, выдержав конкурс двадцать человек на место, одобренный высокой комиссией (Кулешов, Головня, Копалин, Ованесова), студент творческого факультета уверенно считал себя избранным и дарованием.

Я задрал нос перед школьными друзьями.

Не пошел на торжественный вечер получать золотую медаль: занят, репетиции.

Даже не хоронил милую бабушку Ирину: тоже некогда.

Каждый день с девяти лекции, семинары, просмотры, потом до пяти, семи, даже до девяти — репетиции. Дома — сплю; в воскресенье отсыпаюсь и увязываю хвосты домашних заданий.

При такой жизни меня озадачил призыв Кулешова по-станиславски наблюдать жизнь. Где я мог ее наблюдать? Дома? В институте? Оставалась дорога туда-обратно.

И я строчил в запкнижку виденное/слышанное в трамвае:

Ремесленники: — Десять билетов!

— Вас нешто десять? Все двадцать, наверно.

— Не двадцать, а двадцать три.

— Кондукторша-то симпатичная! — Я у вас третий раз еду. Два раза билет брал. Как вас зовут? А что, если я в ваш звонок позвоню?

— Ребя, у нее нос картошкой!

— Сейчас высажу!

— А мы приехали! Бери билеты назад. Москва — Воронеж!

С передней площадки врываются двое без ног на тележках:

— Мы три моряка Черноморского флота, один потерял руки, другой — ноги, третий — глаза. Подайте на воспитание наших детей. Полный вперед!

Табличка: *Лучший кондуктор г. Москвы.* Пожилая, бодрая, тип — монашенка.

— Заходите, граждане, не торопитесь, всех увезем. Бабоньки, бабоньки, не толкайтесь. Бабуся, держи руку!

Кого обслужить? А вы, ребятки, ай-яй-яй — без билета! Следующий Студ! городок... приготовьтесь, кому сходить. Смейтесь, граждане — у меня вагон всегда веселый.

Перед мухинской рабочий/колхозницей люди спрашивают:

— Вы у чучелóв сходите?

Ирония и пэттерн; на первой лекции с переходом в студенчество нас поздравил Сергей Митрофанович Петров. Известно, что литературовед Сергей Митрофанович Петров поставлял министру культуры Александрову кадры для элитного дома терпимости. Не могу сказать, тот или не тот, не похоже: наш был коржавый мордвин с красноречием директора пробирной палатки. Я как раскрыл на нем, так и не закрывал заведенную в школе запкнижку:

— Язык Тургенева как бы надушен одеколоном... У Тургенева человек не припаян к природе... Тургенев подначал поддаваться вправо — читайте в работе Эльсберга *Герцен*... В *Обрыве* Волохов надругался над Верой, и она оборвалась... С древнейших времен, с конца девятнадцатого века.

С древнейших времен, с конца девятнадцатого века, от Союза русских художников до ЛЕФА и вгиковской гибернации тянулся маэстро-фотограф, лауреат международных гран-при Бохонов. Перед смертью он несколько месяцев повозился с нами.

Сначала для знакомства раздал пожелтевшие картонные карточки двадцатых годов — отвергнутые/запретные тесты. Нами как нами он был всегда недоволен, укорял унизительным словом:

— Эх вы, приблизительники...

Западную литературу преподносил стракулист Верцман. Закатывая глаза:

— У Данте была Беатриче, брюнетка с голубыми глазами — роскошь! — он показывал пальцами, какая роскошь, и тут же, сияя простодушием: объявлял:

— К поэзии я глух!

Историю искусств — ИЗО — читал Цырлин. Воспитанный голос:

— Принцип хиазма... Валерные отношения... Какая-то такая мысль... Тициан прожил сто лет и до конца... Какие-то такие искания... В Ленинграде я еще раз посмотрел *Бурлаков* — все-таки красиво написано... Какая-то такая сила.

На вступительной лекции по советскому искусству он рассказал, что́ на Западе считают современным русским искусством, т. е. назвал Шагала, Кандинского и пр. Однокурсники из народных артистов тыкали в меня пальцем:

— Он импрессионистов любит. Формалист!

Часть занятий шла в Третьяковке. Я раболепно и тщетно пытался полюбить обязательных передвижников.

По дороге Цырлин спрашивал:

— Какая из новых станций метро вам нравится больше всех?

Народные артисты:

— Комсомольская!

— Но это какое-то такое пирожное...

Я наслушался об ордерах, Египте и Ренессансе и, вычислив, робко, тайно спросил:

— Метро — это эклектика? — и в ответ тихо:

— Разумеется.

Марксизм тенором в нос выводил Козьяков:

— Агностики! Они заблуждали народы, что все это только кажется, что вот этот стол передо мной я выдумал, как будто не всякому видно!

Не всякому: сам Козьяков был слепой в синих очках.

— Товарищ Сталин организовал негодование, облачив его в партийную форму.

Форма речей Козьякова: синтаксис изумлял, лексикон требовал перевода:

Агностики — мракобесы,
Сикофанты — изуверы,
Оппортунисты — те, кто мешает,
Беркли, Мах, Авенариус — бранные междометия.

В большой 201-й аудитории было много народу: кроме мастерской Кулешова — первый операторский, первый

художественный, не помню, были ли сценарный и киноведческий. Никто не слушал. Все занимались своими делами. Если вдруг становилось шумно, Козьяков грозил резким козлиным фальцетом:

— Я вас! С целью коллективщину вытравить — выгонить!

В середине и сбоку тихонько, много лекций подряд, подрыгивая ногой, фронтовик Николаевский кропотливо вырисовывал стенгазету. Полвойны он провел в лабухах, полвойны — в смершевцах.

Витька Фокин — как и Сергей Митрофанович Петров—коржавый мордвин, всю войну прослужил механиком в морской авиации, то есть на фронтовых аэродромах под бомбами. Чуб вверх, он ходил в тельняшке, широко размахивая руками и ногами: из-под бляхи торчал поликон — клеенчатая общая тетрадь, поликонспект.

На Козьякове поликон, естественно, не раскрывался. Два года марксизма мы пробуримали:

Я: Весна, пернатых перезвоны,
Машин сквозь форточку басы.
Он: Ап-чхи! Пора снимать кальсоны, — перезвоны
Ап-чхи! Пора надеть трусы. — басы
Мы просыпаемся до срока —
Член вырастает поутру.
Я: Без этого зачах Полока, — до срока
Стоит, согнувшись на ветру. — поутру
Свои причуды и законы
У всех людей, но только жаль,
Он: Что он всегда свои кальсоны — закон
Снимает в ветреный февраль. — жаль

Более любых лекций во ВГИКе справедливо ценились просмотры.

Перед началом Колодяжная извлекала жаждущих из-под столов, из-за портьер, сладострастно срамила люто намалеванным ртом. Ей принадлежала валюта: *Под крышами Парижа*, *Последний миллиардер*, *Огни большого города*, *Новые времена*, *Джордж из Динки-джаза*, *Серенада Солнечной долины*, иностранные детективы — на вгиковском сленге, *Пробитый вагон*.

Долинский пускал всех, но у него была малоценная история советского кино. Он изумлял прононсом:

— Джержинский поехал в Тибилиси... Пянная бариня в семьё бёт приомную доч...

Актерское мастерство начал у нас Белокуров. Он задал придумать и изобразить этюд: сам блистательно показал, как пьяного за шиворот выводят из ресторана — вышел в дверь, дверь закрылась — и больше мы Белокурова не видали.

Его заменили: а) ниоткуда — прохиндей Бендер, всегда восторженно щерится; б) из закрытого Камерного — тонная дама Сухоцкая (есть портрет Сарры Лебедевой). Предполагалось, что курирует их Хохлова, ассистент и жена Кулешова, ныне лицо без речей и Баба-Яга без грима, в отдаленном прошлом — одна из прелестных серовских девочек Боткиных, во вгиковских легендах — великая эксцентрическая актриса (якобы приглашали в Голливуд).

Нас пичкали *Работой актера над собой*. Не помогало. Даже с помощью Станиславского такие, как я, с л у ч а й н ы е, то есть сразу после десятилетки, не умели придумать этюд, говорили на площадке заводным голосом, дико сучили руками и припечатывали подошвы.

Снять актерский зажим — дело очень возможное. Для этого есть много простых приемов и мелких уловок. Но никто из троицы педагогов не спешил нам помочь.

Весь первый курс я был в альянсе со случайным Лысенко — вчерашний школьник из того самого Красноярска, без особых способностей и, не будучи верхолазом, сходу влетел на режиссерский.

Вместе мы ходили в трущобный район за Яузой — агитаторами, плюс — наблюдать жизнь.

Переулок из заборов, старая еврейка:

— Так вы ж скажите им, чтобы они лампочку в фонарь вкручивали — а то я так боюсь, так боюсь — Розочка ж поздно из техникума...

Длинный темный бревенчатый коридор, корова. В комнате под иконой большой фикус. Статный мрачный старик:

— Опять судей выбирать? Придем, придем. Только нам не судей, нам защитников нужно.

В день выборов ко ВГИКу приходили к шести утра целыми семьями, чтобы первыми, чтобы сфотографировали — может, поместят в газете, может, чего дадут...

Впервые я встречал новый год не дома. В полночь хозяйка, третьекурсница, торжественно пригорюнилась:

— Давайте выпьем за того, кому труднее всех, кто сейчас не спит и думает, чтобы нам было еще лучше.

Во втором семестре Кулешов задал сочинить и разыграть сценку. Условие: чтобы раскрывались черты нового в человеке.

Что такое черты нового, не объяснялось: каждый должен знать сам.

Я задумался. *Лучший кондуктор г. Москвы*, конечно, не в счет. Избиратели, спешившие голосовать первыми, выглядели как нищие. Тост за Сталина прозвучал неловко.

Ни на Капельском, ни на Большой Екатерининской, ни в Удельной, ни в школе, ни в институте, ни в трамвае, ни за Яузой я не видел черт нового. Я не обнаруживал их ни в ком из окружающих, даже в самом Кулешове.

На вступительном экзамене я рассудил, что от меня ждут верхолаза. Чего от меня ждут теперь? Мы с Лысенко долго сидели над пустотой и, в конце концов, высидели сюжет —

В колхозном инкубаторе градом побило стекла. Застеклить временно нечем. Два комсомольца на время крадут стекла из отчих окон.

Сочинить было все же проще, чем изобразить. Мы целый семестр вдвоем репетировали нашу муру, приходя в отчаяние от своей неспособности.

К нам заходили на полчаса-час старшие однокурсники, фронтовики, показывали, как держать в руках воображаемые стекла, как эффектней кормить цыплят.

Троица педагогов заглядывала на минуту. Хохлова безмолвствовала, Бендер щерился, Сухоцкая, мило улыбаясь, втыкала шпильку.

Хохлова спешила к Кулешову, Бендер — покурить, Сухоцкая — к народным артистам.

Мои сотоварищи по мастерской были явственно четырех категорий:

народные артисты — Полока, Вехотко, примкнувший к ним Махнач и втершийся Родичев;

фронтовики — Фокин, Николаевский, Черный;

националы и демократы — Шахмалиева, Турусбекова, Абалов, Микалаускас, Дабашинскас, эстонец Ельцов, венгр Кашкете, поляк Зярник, какое-то время кореец Ли Ген Дин;

случайные — после десятилетки: Ильинский, Лысенко и я.

В глаза народным артистом Кулешов (а за ним с готовностью Хохлова и Сухоцкая) звал Гену Полоку. Я так любил Кулешова, что меня это не коробило. Про Полоку же я сочинил весьма портретный стишок:

Познакомьтесь, братие, с Полокою,
У Полоки глазки с поволокою,
Движется Полока с сутолокою,
Говорит Полока с бестолокою.

Вслух не сказал: у Полоки действительно было полока — опущение век — шпионские глаза.

Полока перешел из Щепкинского училища. Высокий, розовый, чисто одетый, он заторможенно вихлялся, вышагивал на полусогнутых. Говорил замедленно, с паузами:

— Понимаете... Когда я изучал... драматургию Чехова... — затрудненный округлый жест от плеча, голова запрокинута, по лбу идут морщины, в муках формируется мысль: — Отец... рассказывал... Он был на приеме... у Тито... Понимаете... Тито... Он сидел на троне... а справа и слева... лежали... немецкие овчарки...

Толя Вехотко вышел в народные артисты явочным порядком. Такой же длинный, как Полока, тоже чей-то сын, он перекантовался из ленинградской мореходки. От нее, очевидно, Вехоткины маньеризмы — хождение по струнке, резкие движения, отрывистость речи, подчеркнутые альвеолярные и идеальный пробор на мочальной головке.

Примкнувший к ним Махнач — после десятилетки, но весьма на колесиках — не то, что случайные. Он был бы смазлив, если бы — рытвинами по щекам — не искажала лицо улыбка. По иронии, он был мохнат, даже глазами.

Махнач истово служил народным артистам, и они свысока считали его своим.

Блудливая улыбка из-под дорогих очков, оправдания наперед, затаенная злобность, вежливая недоверчивость — это Родичев. В миг опасности, как черепаха, втягивает голову в корсет. Годы он пролежал в гипсе, обжираясь Шекспирами/Рафаэлями. Во всем современном видел *полив*, но первый из встреченных мной восхищался Хемингуэем.

Кулешов неустанно твердил, что после профессии летчика-истребителя самая вредная — кинорежиссер. Не знаю, что заставило его взять корсетного Родичева, которого он к тому же явно терпеть не мог.

И народные артисты с радостью отженили бы не своего эрудита, но что-то мешало, что-то доказывало его принадлежность к касте, хотя сам он народных артистов не жаловал, якшался больше со старшекурсниками и неистово прогуливал, в совершенстве владея искусством проникать на просмотры.

Иногда я по старой памяти сочинял стихи. Забавно, что в привольной возвышенной новой жизни я, бывало, сбивался на газетное. Зато в творческом, то есть идеологическом вузе, откровенно продаваясь на занятиях, стихи — хорошо ли, худо ли — я писал только чистые, только высокие, только ради Искусства с большой буквы. Но кому я мог показать? Наименее неподходящим в мастерской был Родичев. Я показал — он растерялся, не знал, как быть со стихами, которые не лезут в государством поставленные ворота.

Оценил он мои экзерсисы.

Похвастался мной перед блядью с экономического факультета:

— Это такой-то, он сочинил палиндромон:

ЮН ОСЛАБЕЛ ЕБАЛ СОНЮ.

Я смутился. Блядь же назавтра протиснулась ко мне в трамвае:

— Ваш Родичев такой эрудированный, что просто противно.

Первое задание по режиссуре — очерки о переломных моментах в жизни — почти призыв к самооговору.

Я во ВГИКе не раскрывал себя, инстинктивно таился. Умолчал про футуризм, *Хулио Хуренито*, новую жизнь, про чтение Пастернака. Отделался вновь верхолазно — газетным. Сошло. На обсуждении похвалили.

Поляк Зярник написал, как он с девочкой Крысей бегал смотреть варшавское восстание. Крысю тогда же убило.

Все молчали. Кулешов, отчаявшись, ткнул в меня. Я не мог угадать, чего от меня ждут, и испуганно понес:

— Непонятно, как матери отпускали детей, матерям должно было быть понятно, что восстание — антинародное...

Мне было совестно перед собой, не перед Зярником.

Простолюдин с гонором, он расхаживал гоголем, громко топая бутсами:

— Эц! Эц! Эц! А пáчему в Варшаве муку прáдают, а в Москве — нец?

— Хорошо еще, Ежи не знает, что в Будапеште двести пятьдесят зимних бассейнов, а в Москве — два, — шепнул Родичев.

У случайного Ильинского в очерке была фраза: *грузовик, груженный мужчинами*. На нее скопом набросились народные артисты.

— Это талантливо, — неожиданно пресек Кулешов. — У Ильинского получилось оригинально потому, что он так увидел. Не старайтесь оригинальничать! В Школе живописи-ваяния-зодчества Келин дал нам писать женский портрет с натуры. Я сместил голову вправо — на холсте осталось пол-лица. Келин меня пробрал при всех — до сих пор помню. У Келина учился Маяковский — мы с ним еще тогда познакомились[1]. Ищите — и не стыдитесь, если вас назовут формалистом. Формализм — не сифилис, а однобокость — половина лица, как на моем портрете. От этого надо избавляться на людях, не таясь. Пойдете к реализму — придете в кинематограф. Если есть реализм, есть и монтаж. Монтаж не я выдумал — на нем стоит вся классическая литература.

[1] Кулешов родился в 1899 г.

И мы раскадровывали охоту из *Анны Карениной*, где молодая травинка прободает прошлогодний лист, и даже

Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.

Второе задание по режиссуре — документальный очерк. Тема по собственному усмотрению.

Я выбрал что почище — консерваторию. Там мне официально дали от ворот поворот, но в коридоре я встретил парня, с которым летом сдавал на режиссерский, — и проник в запретную зону.

Общая аудитория. Посреди марксизма вдруг вопль и рывок к окну — раскрылась форточка: вокалисты боятся простуды.

Инструменталисты боятся физкультуры — затесаться на физкультуру мне, конечно, не удалось.

Фортепьяно было знакомее других инструментов, и я пошел на урок к самому Нейгаузу. Если бы не представился, Генрих Густавович счел бы меня за очередного ученика. А так — он правой потряс мне руку, а левой вынул у меня из кармана книжку:

— Бела Балаш. *Искусство кино*. Хорошее лицо — как у музыканта. — И забыл о моем присутствии.

— Что вы делаете? — ужасался он на студентку. — Здесь лес и река! Ах, это чу́дно! Почему вы качаетесь? Сидите, как за столом! На рояле играть так просто! Это скрипач должен стоять и еще держать инструмент и еще играть! Педагог Артоболевская привела вундеркинда Наседкина. Сын шофера в шесть-семь лет имел собрание сочинений, в том числе оперу по сказке Пушкина. Нейгауз работал с ним, как со взрослым.

Я написал много меньше, чем видел/ слышал. Все же осталось достаточно много, и меня похвалили. Явно лучшие очерки были у народного артиста Вехотко — о сортировочной горке — и у фронтовика Черного — про таксомоторный парк.

На грозном экзамене после первого семестра комиссия должна была учесть наши очерки и просмотреть вымученные этюды. На площадке из общего неумения выделялись Полока и Вехотко. Заведомо лучше всех были Черный и венгр Кашкете.

Сильно вечером, уставшие до потери бдительности, мы не подслушивали у деканата.

Николаевский рвал на гитаре довоенное. Зярник, как позывные, выстукивал на пианино свою единственную джазовую фразу. Фокин сорил *хофмами*. Черный разделся до трусов, залез на стол и, прикрывшись шубой из реквизита, изобразил рубенсовскую *Шубку*.

Кулешов возвратился один — объявлять:

— Верхотко — отлично, Ельцов — отлично, Ильинский — отлично, Кашкете — отлично, Лысенко — отлично, Микалаускас — отлично, Полока — отлично, Родичев — хорошо, Сергеев — отлично, Турусбекова — хорошо, Фокин — отлично, Черный — два...

Черный машинально поднялся, не ослышался ли:

— Простите, профессор...

— Не перебивайте меня!

Двойка — профнепригодность, автоматическое отчисление. Одного из самых способных. Фронтовика.

Назавтра Кулешов — для таких, как я — с нажимом:

— Причина отчисления Черного очень серьезная. Вспомните его очерк о встрече на Эльбе. Вы не почувствовали скрытую симпатию к американцам?

Год был пятьдесят второй, Черный был Марк.

Случай с Черным — сквозняк средней силы; можно надеяться, он обошелся без крови. Вообще сквозняки гуляли по ВГИКу все время.

Сквознячок на уровне быта. Общее комсомольское собрание. Главная блядь из дома терпимости министра Александрова (до разоблачения осталось год-два) клеймит с трибуны жалкую плачущую однокурсницу — кого-то к себе привела в общежитие на Зачатьевском.

Сквознячок позлокачественнее. Чиаурели привез тепленький *Незабываемый 1919*. На другой день народный артист и комсорг Вехотко отвел меня в угол и настоятельно:

— Это ты допускал высказывания во время просмотра? Михаил Эдишерович сидел в заднем ряду и слышал. Ты ведь сидел сзади. Кто допускал высказывания?

Я не помнил, допускал я или не допускал, но на всякий случай начисто отказался.

Куда более опасный сквозняк. Венгр Кашкете всегда погружен в невеселые мысли. Говорил мало. Держался возле народных артистов — похоже, потому что они были одеты почище и такие же рослые. В юности он что-то национализировал — за заслуги его и прислали в лучший и единственный в мире киноинститут.

Через семестр одаренный и работящий Кашкете, получив пятерку, запросился домой. Сам перестал ходить на занятия. Такой оплеухи лучший/единственный сроду не получал.

Наш объяснитель Кулешов отмалчивался. Венгры с других курсов послушно открыли грязьфронт:

— Там нехорошая женщина.

Ли Ген Дин, наоборот, отказался вернуться домой.

В середине учебного года в институте появились двое корейцев — на одно лицо и разят рыбой. За несколько недель рыба выветрилась, лица сделались разные. Ли Ген Дин — откровенный — признался, что поначалу все мы тоже выглядели на одно лицо.

Старшие братья, народные артисты, пытали желтого гостя:

— Ли, Чехова ты читал?

— Ётолько! — он руками показывал метр.

— А Есенина?

— Ётолько! — обхват толстой книги.

По сравнению с Кореей в эсэсэр было раздолье. Ли Ген Дину нравились мы, и он с удовольствием говорил — тихо, но правду:

— У Северной Кореи нет авиации. Только советские летчики.

— Китайцы — плохие солдаты. Мы их звали ленивые животные. Мы бежим в атаку — всех уже убили — или мы захватили — а они еще идут из окопов. В Восьмой армии Чжу Дэ были одни корейцы.

По счастью, Ли Ген Дина сквозняки обошли.

Из народной Кореи Ли Ген Дин сбежал в свободный эсэсэр; из эсэсэра эстонец Ельцов сбежал в свободную Англию.

Он был rara avis, эстонизированный русский, сын шахтера из Киви-Ыли; от остальных эстонцев отличался только фамилией и безукоризненным двуязычием.

Обидчиво-принципиальный, он, казалось, всюду искал выход своей раздраженной энергии.

От профкома надумал взвесить шницели, которые подавали в соседней столовой — своей в институте не было. Гомерический недовес позволил ему возмущаться открыто и громко.

Он участвовал в ликвидации смертоубийственного сквозняка.

Мастер третьего режиссерского Александров доконал щуплую невзрачную эстонку. Она грохнулась на пол в истерике:

— Нэннавийсу! Нэннавийсу! Нэ хассу пыть здэсс! Хассу Калливутт! Калливутт!

Вгиковские эстонцы вовлеклись в тайную деятельность. Надо полагать, Александрову всем миром втолковали, что при огласке ему самому несдобровать. Дело замяли.

Сквозняк на уровне высшей меры наказания.

В большом просмотровом Родичев подвел меня к изящному третьекурснику:

— Это Миша Калик. Андрей, напой Мише *Всадники в небе*.

Через несколько дней Кулешов уселся в свое режиссерское кресло, положил очки на низенький столик, вынул большой красивый платок, вытер слезы, высморкался:

— Товарищи, произошло несчастье. В институте раскрыта банда американских шпионов во главе с Каликом и Черенцовым.

По Ельцову и Микала́ускасу я заключил, что с прибалтами мне легче, чем со старосоветскими.

Микалаускасу было крепко за тридцать, он имел актерский стаж — играл даже в оккупацию. Мне выдал редкостный предвоенный анекдот:

— Из Германии в Литву прибежал еврей. Его спрашивают, как зовут. Он говорит: И. М. — Как И. М.? — Да

так. Я был Изак Майер, но Гитлер отрезал мне зак мит айер.

В Литве у Микалаускаса были прозвища Йоку́тис — смехунчик — за легкий характер и Моксли́нинкас — ученый — за привычку читать на улице, на ходу. В Москве он был настоящий Рашитоя́лис — писательчик, — ибо на лекциях, на переменках, в любые свободные десять минут он переводил на литовский текущую детскую литературу. На стипендию — двести двадцать — прожить было немыслимо, родители подкидывать не могли.

Старики его жили под Каунасом, но в Каунас ни разу не ездили: не было дела. Они не поверили, что в Москве есть метро: если столько вырыли под землей, куда подевали вырытую землю?

Жемайтийские истории про родителей Витас не выдумывал: по природе не фантазер, из другой области — словотворец. С русским языком был в прелестнейших отношениях:

похлопывая себя по животику: — А у меня пуз есть!

растирая ноги после физкультуры: — Мытищи болят.

как-то *морг* обозвал *трупарней* (есть у Игоря Северянина).

Я спрашивал, он радостно отвечал:

самое страшное литовское ругательство — ру́пуже (жаба); но есть и фольклорные три этажа — *бибис тау и а́ки* (в глаза). По моему наущению, Витас сочинил *бибис тау и шикна* (в жопу) и великолепное по звучанию *бибис тау и бурна* (в рот).

Когда в мастерскую пришел Дабаши́нскас — отстал, год болел, — кто-то из народных артистов сразу ему в глаза: Бибиши́кнас. Он заморгал и вдруг с высоты своих двух метров восторженно грохнул, оскалясь, как тигр.

Наши лингвистические упражнения увенчало царское слово. На лагерном сборе Махнач в остервенении завопил *бибижиндис!* — и тотчас к нему, белобрысому, бросился белобрысый солдатик.

Лагерным сбором с первых дней нас запугивала военная кафедра в лице полковника Овчинникова.

Сроду не воевавший, неловко штатский, заземленно-хозяйственный, от бессилия злобы — почти добродуш-

ный, он то оправдывался перед нами, то, что-то вспомнив, усмехался и изрекал непонятное.

Опоздает на лекцию, объяснит:

— Крышу я крыл. Надо же крышу до заморозков покрыть?

На лекции после атомного удара на Мстибово, вдруг покряхтывая, облюбовывал кого-то из нас и почти ласково, ностальгически:

— Сирьге-ев, бу-удьте лошадью! —

и не дожидаясь ответа, переходил на Липони-Дяки.

Разговорщику укоризненно:

— Лысенк', а вы — демокра-ат!

От укоризны к угрозам:

— Что я с вами гуманничать буду?

Распаляясь:

— Будете сами себе копать, дондеже не опупеешь!

Мы катили по улице Текстильщиков станковый пулемет, справа барачники комментировали:

— Пулемет Максим Горький.

Лучшие наши часы с полковником Овчинниковым — на загаженном берегу Яузы.

Полковник Овчинников тянет себя за длинную верхнюю губу, исподлобья ищет взглядом. Нашел:

— Что вам, Фокин, закурить мне дать жалко?

— Вы какие предпочитаете, товарищ полковник?

Усмехаясь ноздрями:

— Чужие.

С особым чувством брал *Беломор* — затянувшись, разглядывал, читал надпись, витал мыслями. Мы расспрашивали про кабанчика, или сколько нашинковал капусты, или где доставал толь на сарай.

Неожиданно полковник спохватывался:

— Что вы меня в идиотство вводите? Мне, конечно, на вас наплевать — хоть вы кверху задницей, — но я вас воспитывать должен. Я, конечно, себя недисциплинированно веду, но вы-то должны.

После весенней сессии мы были должны. У института нас погрузили в автобусы, на Москве-Товарной — в телячьи вагоны, — и целые сутки тащили за двести километров.

Вялотекущее время, скученность и невеселые ожидания вызывали необычные для вгиковцев крамольные разговоры: своих фильмов шесть в год, дублируем покупные, снимаем одни фильмы-спектакли.

— Искусство в массы — все спектакли заснять, все театры закрыть.

— История советского кино делится на три периода: немой, звуковой и дубляжный.

Возникали общестуденческие песни — в институте их петь не подумали бы, я слышал почти впервые:

— Я был батальонный разведчик,
А он писаришка штабной.
Я был за отчизну ответчик,
А ён спал с моёю женой...

— Мой Никитушка служил в одном тресте
На ответственном дворника месте... и т. д.[1]

Лагерь стоял на болоте, солома в матрацах — выдали мокрую — не просыхала все двадцать дней. Комары заедали сплошь и в кровь, от мошки ценные лица народных артистов к утру становились подушками. Чтобы не нажить воспаления легких, мы с Микалаускасом спали, сцепившись локтями, спина к спине. Сменив поношенный ладный костюм на х/б б/у, он из сияющего европейца превратился в затруханного з/к, даже ссутулился и засеменил. Должно быть, глаза мои были красноречивы — Витас вскидывал брови и отвечал обольстительной жалкой улыбкой:

— Лучще, как в тюрьме, — скоро выпустят.

Природа воздавала закатами — таких красивых, как от ровика на опушке, я не видел ни до, ни после — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, — и все разлинованы тонкими серыми тучками.

Иногда курсант с газеткой или в газетке тихо опускал взрывпакет, и в божественные небеса на фекалиях взлетали зазевавшиеся орлы.

[1] См. Приложение.

В учебном поле курсанты изощрялись:

— Взво-од, бегом — ложись!

Полковники учили:

— И вошли мы в село, мать его, Сидорово.

— Мать твою етит-разъетит, сам, пиздюк, подорвесси! Поэты хуевы, пушкинские!

После изнурительной обороны, наступления или — хуже того — марш-броска с нас требовали строевую, да еще весело:

Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Угрюмый танк — угрюмый танк
Не проползет — не проползет,
Там пролетит стальная птица.

Пропеллер, громче песню пой,
Неся распластанные крылья:
За вечный мир — за вечный мир,
В последний бой (за упокой!)
Летит стальная эскадрилья.

Горчичный газ, шипя, ползет,
Снаряды рвутся с диким воем —
Гляди внима-а-а-а-тельно, пилот,
На землю, вспаханную боем!

Мы выли вполголоса, пересобачивали или громко заводили свое, и нас — в час обеда — гоняли строем вокруг столовой, гремевшей ложками/мисками. Жрать хотелось ужасно, но не ячневую кашу с *ружейным маслом*, не кески — *от хуя обрезки*, — и мы не сдавались:

Шагать осталось нам немного — немного —
Вдали виднеется она — вот она —
Желе-е-езная дорога
Федулово — Москва!

И самое центровое и недопустимое — Киплинг!

День-ночь, день-ночь
Мы идем по Африке,
День-ночь, день-ночь
Все по той же Африке.
Только пыль, пыль, пыль
От шагающих сапог —
Отдыха нет на войне.

С непривычки к говноядению Микалаускас исходил поносом. Маленький оператор-азербайджанец в столовой ел только хлеб и, тощáя, держался на сгущенном какао из ларька — больше там ничего не было.

Картошку я видел один раз — когда за провинность получил наряд на кухню — чистить гнилую — для офицеров. За один присест я услышал, запомнил, записал — ровно сто анекдотов. Для примера годится любой из школьных. Вот позабористее:

В семье подрос сын. Отец дал ему пятерку на блядей. В коридоре сестра говорит ему: — Тебе не все равно, с кем? Мне пятерка нужна. — После она говорит: — А ты лучше ебешь, чем папа. — Мама мне то же самое говорила.

Время отдыха у нас заматывали.

В воскресный день мы благоустраивали стадион или маршировали в честь заезжего генерала.

В послеобеденный час нам показывали заржавленный танк пенсионного возраста или заставляли украшать территорию лозунгами:

ОРУДУЙ ЛОПАТКОЙ, КАК ЛОЖКОЙ ЗА СТОЛОМ!

Приходилось с а ч к о в а т ь. Предъявил сбитые ноги — полдня с сопровождающим курсантом на складе менял сапоги. То есть меняли их мы часа два, а потом на лоне природы сидели и молча курили. И на химии — оттянул на щеке маску, глотнул хлорацетофенона — после этого снова полдня, по велению санчасти, лежал на солнышке.

К природе я равнодушен. Надо было попасть в лагерь, чтобы в огромное мгновение покоя как событие переживать дерево, куст, поляну — не говоря уже о грандиозных закатах над ровиком. Это несмотря на то, что все протяжение сбора я жаждал одеревянеть: боялся снов — снились книги, не желал писем из дому — бередили.

В палатке фронтовик Николаевский на ночь делал зарубки: сколько прошло — сколько осталось.

Начали пропадать ружприборы: кто-то терял, а в конце надо сдавать.

Накануне откуда-то появилось спиртное.

Утром надсадно:
— Ха́-тя, в па́следний раз — па́д-ъём!

Поезд нам позабыли подать. Предложили пождать на довольствии день-два.

На платформе Федулово мы с боем взяли тамбуры пассажирского. Ждали во Владимире оцепления, но нас только выгнали из дверей. Между двумя вагонами может висеть шесть человек, седьмой, самый пьяный, сидит на корточках в середине. Кто-то на ходу швырнул взрывпакет в станционный базарчик. Железная дорога Федулово — Москва с приличной стоянкой во Владимире — всего шесть с небольшим часов.

На втором курсе нас понемногу приобщали.

Хохлова свозила нас на Мосфильм. В высоком грязном сарае — запах сырого бетона и соллюкса — Ромм[1] снимал костюмный *Корабли штурмуют бастионы*. Для постановки света перед камерой часа два загорали ряженые статисты. Потом на двадцать рабочих минут появилась леди Гамильтон (старая Кузьмина) и адмирал Нельсон (кажется, Ливанов). Ромм сидел в кресле и негромко дирижировал.

Хохлова сообщила, что Ромм — единственный, кто не матерится на съемках. Вообще, это нужно. Снимали *Кубанских казаков* — Сталин потребовал фотографию группы. Конец дня, все измочаленные. Пырьев построил, фотограф навел; Пырьев сказал: — Хуй! — группа просияла, фотограф щелкнул.

Нас пригласили на защиту дипломов.
Янушкевич — *Лесорубы Прикарпатья*.
Абуладзе — *Композитор Палиашвили*.
Чхеидзе — *Центр-форвард Пайчадзе*.

Председатель — вальяжный, как оперный ксендз, живой классик Довженко — прямая длинная спина, прямые длинные жесты. Медлительно встал за стол комиссии перед экраном и попросил всех встать:

[1] Произносилось: Ромэмэ́, в отличие от Ро́ма.

— Есть какой-то шарм в том, что когда преподаватели вошли, то студенты встали и сели.

На *Лесорубах*, своем ридном, он взыграл:

— У вас черно-белая лента, а не думали вы, что небо над плотогонами — гоголевских тонов? Не хотелось вам перенестись в две тысячи тридцатый год? Не хотелось вам плакать и волосы на себе рвать? Не хотелось на берегу поставить жилища и мать с дитем или девушку? Оператор вас не угнетал?

Композитор Палиашвили — гладенький, интеллигентный прошел без сучка, без задоринки. Не то *Центр-форвард Пайчадзе*:

— Лента у вас чересчур темпераментная, не по теме. Это же западная реклама. Футбольный начальник — как столп отечества. Мысль простая, а узлов навязал...

Янушкевичу и Абуладзе по пятерке, Чхеиде — за темперамент — четверку.

На режиссуре Кулешов предложил каждому сочинить и поставить одноактную пьесу — опять черты нового.

Я сочинил про нефтяников — понятия о них не имел.

По сравнению с другими семестрами, я был на недосягаемой для себя высоте. Хороших актеров мне, как случайному, не полагалось, я вывел на площадку фронтовика Николаевского, второгодника Абалова и националку Турусбекову. Посвятил их в либретто и начал импровизировать, дирижируя карандашом. Я только задавал направление, а все трое актеров, сами того не ведая, превращали мои наброски в такой органичный текст, какого никто из нас на бумаге не высидел бы. Конечно, мура пребывала мурой, но, по крайности, было ловко и складно.

Три парты, одна на другой — буровая. За ними Ежи Зярник ритмично постукивает ложкой по батарее — буровая заработала. Из-за кулисы, бережно отирая руки грязной ветошкой, выходит Абалов — армянин чем не нефтяник? Лунообразная, по-азиатски акающая Турусбекова создает некий кулер локаль.

Пуант: из неназываемого производственного романа я почерпнул, что проходку ведут непременно с глинистым раствором. Эрго, черта нового — без глинистого раствора.

Через месяц эстонец Ельцов показал в газете: нефтяники Башкирии впервые в мире бурили без глинистого раствора.

На уровне мастеров ВГИК был юденфрай. И вдруг к осени пятьдесят второго Райзману дали набрать актерскую мастерскую. В одну из его студенток я и влюбился.

Познакомился без труда в трамвае: мордочка свеженькая, хорошенькая, такая хитренькая, будто всегда улыбается. Ей было лестно: режиссер, второкурсник и т. д.

Началась цепь истребления.

Меня перешиб режиссер-четверокурсник, румын Наги (трансильванский Надь).

Румына достаточно быстро затмил Копалин, сын Копалина, — свитер с оленями, деньги, квартира, машина, дача.

Выждал момент и взял свое райзмановский ассистент, старикашка Шишков из МХАТа. В зимнюю сессию за неспособность грозила двойка и отчисление. Накануне экзамена она съездила на дом к Шишкову и получила четверку.

Все происходило чересчур на виду. И я страдал на виду. Эстонец Ельцов признался, что на репетиции объяснил:

— На любимую девушку надо смотреть, как Сергеев на...

И я смел вздыхать и на кого-то смотреть, когда рядом — с первых вгиковских дней — была верная милая Галька. Я в любую минуту мог набрать ее номер — она жила рядом, — и через четверть часа мы встречались у сто десятого отделения — даже если она стирала, мыла голову, помогала матери по хозяйству. Галька была с экономического, но понятий самых строгих, хороша собой до врубелевской изысканности и полупрозрачна от недоедания.

Мы шастали с ней по городу и глазели — скажем, на офицерские амуры перед ЦДКА. Сами целовались в любимом ботаническом саду. Когда родители были в Удельной, заходили ко мне. Посещали *Форум*, *Уран*, *Перекоп*. Напивались в коктейль-холле.

С ней было спасительно. Беда ее/моя/наша — она чересчур хорошо, не скрывая, относилась ко мне.

В мастерской Кулешова имелись две девушки — на республиканских местах.

Дочь киргизского Маяковского (погиб на войне) Лиля Турусбекова, на русский взгляд некрасивая, была самого славного нрава. Получала от матери письма на институт *киномотографии* — показывала, смеялась. Рассказывала, что у них во Фрунзе дом в два этажа и большой сад. Приходило в голову: женись на ней — и всю жизнь живи в богатстве/почете и ничего не делай.

Красивенькую азербайджанку Шахмалиеву портила походка.

На вечере в доме кино мне передали, что меня зовет Кулешов. Я полетел на крыльях. Кулешов сидел, уставясь в фужер. Хохлова меня огорошила:

— Шахмалиева много пьет. Скажите ей, чтобы она танцевала.

Я подошел к столику с народными артистами и сухо, как мог, передал:

— Лев Владимирович желает, чтобы Шахмалиева танцевала.

Шахмалиева не танцевала, и через какой-то срок Вехотко на ней женился. Кулешов, Хохлова, Сухоцкая теперь опекали жену народного артиста.

Ниоткуда — для пэттерна — выплыло слово ИН-ЯЗ: фронтовик Николаевский женился на Диане Митрофановне Петуховой с французского.

На Козьякове мы с Фокиным обуримали народную свадьбу и преподнесли Николаевскому. Бывший лабух и смершевец, чуть не плача, протянул Кулешову наш несчастный листок:

— Сергеев и Фокин про меня гадости сочиняют.

Мастерская хихикала. Кулешов воздвиг очки, прочел, еще раз просмотрел, постановил:

— Сергеев и Фокин, вы должны извиниться перед Николаевским.

Мы были готовы извиниться, но Кулешов уже сел на конька:

— В наше время любовь Ромео и Джульетты не актуальна. Она не состоялась потому, что не имела базиса, в ней не было производственных отношений. Кроме производственных, в любви должны быть товарищеские отношения. Любовь это тенденциозное соединение человеческих жизней, а не просто физиологическое становление человека. Не осознавая этого, человек может из-за любви пойти на преступление. Возьмите *Тараса Бульбу*. Андрий стал предателем потому, что утратил тенденцию. Разве мы можем сказать, что Андрей л ю б и л изменять родине?

Родичев прекрасно понимал разницу между конспектом и запкнижкой. Поэтому по-мефистофельски мне на ухо:

— Ты до сих пор в восторге от Льва Владимировича? Все благородство его — полив. Старый лис уже показал себя и еще покажет. Отец советского кино!

Я уже не был в восторге от Кулешова, но его *По закону* ставил не ниже всего, чем в истории советского кино восхищались.

Рассказывали, что его, формалиста, били смертным боем, а в тридцатых предложили совсем отказаться от съемок. Взамен — спокойная жизнь: доктор, профессор, кафедра. Больше всего ужасало, что он, по рассказам, подумал и согласился.

Периодически возникали слухи, что ему дают постановку. Слухи оставались слухами. Уборщица выносила из его кабинета пустые бутылки.

Сам он о себе все чаще:

— Когда мы зачинали советское кино... Мой ученик Эйзенштейн... мой ученик Пудовкин... мой ученик...

Или:

— Товарищи, я пишу историю мирового кино. Я хочу прочесть вам вступление:

> *Задолго до изобретения черно-белого кино Ломоносовым были разработаны принципы цветного...*

В день смерти Сталина Кулешов явился с крепом на рукаве. Сел в свое режиссерское кресло, положил очки на низенький столик, вынул большой красивый носовой платок, вытер слезы, высморкался:

— Я — коммунист. Товарищи, все вы — коммунисты и беспартийные большевики. Мы должны жить, как Сталин. Поклянемся, что будем жить, как Сталин...

Мы встали. Кулешов предложил проект клятвы. В деканате, под надзором Хохловой, двумя пальцами, я отпечатал его на машинке — больше никто не умел. Мы все подписались.

Семестр мы муслили тексты — инсценировка прозы, отрывок из пьесы.

Я захотел поставить горьковского *Озорника* — за яркость поступка. Должно быть, за это самое, Кулешов не дозволил. Тогда я предложил фрагмент *Парня из нашего города* — выигрышно на площадке и ясно, кому играть. Кулешов счел, что я запрашиваю не по чину хороших актеров и опять не позволил.

Кончилось тем, что для спасения Шахмалиевой Кулешов разделил на три части некрасовскую *Осеннюю скуку*. Первая часть — Ильинскому, вторая — мне, третья, понакатанному — жене народного артиста.

Чужая скучная выгородка, чужой скучный ритм. Скучная пьеса скучно тянулась по внешним значениям слов. Я попробовал оживить, зайти за слова, найти парадокс. Кулешов не позволил коверкать классику.

На приемном, первом моем экзамене по режиссуре, мы подслушивали комиссию. По пэттерну подслушивали и на моем последнем.

Назвали мою фамилию. Кто-то без энтузиазма:

— Отлично.

Голос Кулешова:

— Сергеевской работы там нет, все это сделал я.

В мастерской Кулешов читал отметки:

— Сергеев — четверка. Комиссия требовала тройку, я вас отстоял.

— Лев Владимирович, я ухожу из ВГИКа — вот заявление, — я протянул еле просохший лист.

Я собирался уходить из ВГИКа после первого курса.

Эйфория первых недель прошла, и я обнаружил, что я здесь чужой и своим не стану — не того теста, не тем живу, не того хочу. Переломить себя не в состоянии. Во ВГИКе было не с кем поговорить о главном — напрямик и без опасений. В творческом вузе я старался не раскрывать себя, наоборот — скрывать. Я чувствовал, что второй раз взялся не за свое дело (первый была музыка).

Кулешов ошибся во мне — из меня не удалось *сделать что угодно.* Я ошибся в Кулешове. Ошибся во ВГИКе.

Ставил ли я свое, играл ли ролишки в чужих постановках, смотрел ли работы сотоварищей или старшекурсников, во мне нарастал финальный выклик Феди Протасова:

— Как вам не стыдно?

После первого курса Кулешов с Хохловой усадили меня в экзотический открытый лимузин с блямбой румынского королевского автоклуба и прочувствованно отговорили:

— Такой талантливый.

После второго курса меня не отговаривали.

Кулешов выписал выспреннюю подорожную:

ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента 2-го курса постановочного факультета (режиссерского отделения) Всесоюзного Государственного Института кинематографии

А. Сергеева

Дана в Институт иностранных языков.

Тов. А. Сергеев в течение двухлетнего обучения во ВГИКе, в руководимой мною творческой мастерской — показал себя как культурный, дисциплинированный и усердный студент.

Тов. Сергеев по всем предметам получал отличные оценки, а по специальным (кинорежиссура и актерское мастерство) хорошие.

Тем не менее тов. Сергеев еще не проявил ярких творческих данных, как будущий кинорежиссер, и поэтому его

желание перейти в Ваш Институт является вполне закономерным и с государственной точки зрения правильным.

Тов. Сергеев, хорошо и дисциплинированно занимаясь, вел и активную общественную работу в стенгазете режиссерского отделения. В политчасах тов. Сергеев принимал также активное участие, выступая с докладами и в обсуждениях.

Заслуженный Деятель
Искусств, доктор искусствоведения
профессор
Л. Кулешов.

27 июня 1953 г.

Из ВГИКа выгоняли, сами оттуда не уходили. Изменить ВГИКу — было почти то же, что изменить родине/партии.

Когда осенью я пришел за справками, комсомольский босс сыронизировал: — Ну, ты — мужественный человек!

Гаденыш курсом младше в глаза прошипел: — Предатель.

Мои бывшие однокурсники поглядывали выжидательно: не иначе Кулешов подвел серьезную базу. Заулыбались только Микалаускас и эстонец Ельцов. А Дабашинскас поднялся во весь двухметровый рост, оскалил тигровые зубы и обнял.

Ни тогда, ни потом — я не жалел, что ушел из ВГИКа.

P. S. Лет через десять в Коктебеле у Габричевских я увидал Кулешова с Хохловой. Когда я ушел, Кулешов спросил:

— Это Сергеев? Мы его так любили...

1982—85

Историко-литературная:

В имении Ясной Поляне
Жил Лев Николаич Толстой.
Не ел он ни рыбы, ни мяса,
Ходил по аллеям босой.

Жена его Софья Андревна
Обратно любила поесть.
Она босиком не ходила,
Хранила семейную честь.

С врагами он храбро сражался,
Медали он с фронта привез.
И ро́ман его *Воскресенье*
Читать невозможно без слез.

Узрев мою бедную маму,
Он свел ее на сеновал.
И тут приключилася драма,
Он маму из на́силова́л.

Вот так разлагалось дворянство,
Вот так разлагалась семья.
От этого вот разложенья
Остался последышем я...

Модернизация двадцатых годов:

Колеса счетчик кру!тит
Москва-а бежит кругом.
Мару-уся в ин!ституте
Сикли-и-фа-со-ов-ско-Го.

Марусю на́ стол ло́жат
Шестна-адцать штук! врачей,
И ка-ажный врач! ей ножик
Вына-ает и-из грудей.

Марусю в крематорий
И по-осле в гроб! кладут.
И ту-ут в нещасье—в горе
Голубчик наш ту-ут как тут:

Я сам ей жизь испортил
И ви-иноват! я сам —
Отсыпьте, пожалуйста, в по́ртфель
Мне пеплу четырьста пьсят грамм.

Обериутство:

На полочке лежал чемода-а-анчик,
На полочке лежал чемода-а-анчик,
На полочке лежал,
На полочке лежал,
На полочке лежал чемода-а-анчик.
— А ну-ка убери чемода-а-анчик,
А ну-ка убери чемода-а-анчик,
А ну-ка убери,
А ну-ка убери,
А ну-ка убери чемода-а-анчик.
— А я не уберу чемода-а-анчик,
А я не уберу чемода-а-анчик,
А я не уберу,
А я не уберу,
А я не уберу чемода-а-анчик.
— А я его выброшу в око-о-ошко,
А я его выброшу в око-о-ошко,
А я его вы-
А я его бро-
А я его выброшу в око-о-ошко.
— А ты его не выбросишь в око-о-ошко,
А ты его не выбросишь в око-о-ошко,
А ты его не вы-
А ты его не бро-
А ты его не выбросишь в око-о-ошко.
— А я его выбросил в око-о-ошко!
А я его выбросил в око-о-ошко!
А я его вы-
А я его бро-
А я его выбросил в око-о-ошко!
— А это был не мой чемода-а-анчик,
А это был чужой чемода-а-анчик,
А это был не мой,
А это был чужой,
А это твоей тещи чемода-а-анчик!

Абсурдизм: помноженный на обернутство:

С деревьев листья опадали
(прямо в лужи),
Пришла осенняя пора.
Парней всех в армию забрали
(хулиганов),
Настала очередь моя.
Пришла повестка на бумаге
(шесть на девять) —

Явиться в райвоенкомат
(для прохожденья),
Мамаша в обморок упала
(с печки на пол),
Сестра сметану пролила
(обратно, на пол).
Мамаша, живо подымайся
(взад на печку),
Сестра, сметану подлижи
(языком).
А я, молоденький мальчишка
(лет шестнадцать, двадцать, тридцать)
На фронт германский подался.
И вот мы только окопались
(в землю рылом),
Подходит ротный командир
(ать-два);
Здорово, братцы-новобранцы
(матерь вашу!),
Давай, в атаку побегли!
Летят по небу самолеты
(бомбовозы),
Хотят засыпать нас землей.
А я, молоденький мальчишка,
(лет шестнадцать, двадцать,
сорок, сам не знаю, сколько),
Лежу с оторванной ногой
(притворяюсь).
Ко мне подходит санитарка
(звать Тамарка):
Давай тебе я первяжу,
И в санитарную машину
(студебекер)
С собою рядом положу...

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ

Режиссерский возник из случайной книги. Переводческий — из объявления на заборе. Инязовский плакат на Второй Мещанской сулил стипендию вдвое больше вгиковской. Я подумал, что переводить стихи — занятие чистое, подходящее, я точно сумею.

На собеседовании декан Валентей увидал: отец в Тимирязевке, спросил, что происходит в академии и вывел, что ИН-ЯЗу я подхожу.

ИН-ЯЗ мне тоже подошел. На фанерной перегородке было вырезано: VITA NOSTRA HOHMA EST, над писсуаром нацарапано: QUI SCIT, PERDIT.

После социолога Валентея деканом стал испанец-республиканец, летчик-бипланист Браво. В институте изображали, как он вспоминает:

— У меня коншились боеприпашы. Я подлетел к фашишту и штукнул его кулаком по шерепу.

Я подал ему долгий бюллетень, диагноз: ГИПЕРТОНИЯ, и попросил свободного посещения. Браво любил орать, но укрощался, когда орали в ответ.

ИН-ЯЗ стал раздольем.

На грамматике вдохновенный Клаз убедил, что в языке — даже русском — необходим артикль, перфект, континьюос.

Майор Квасюк купался в военно-лингвистической непогрешимости:

— Инженерные войска?

— Корпс ов энджиниерз.

— Это трупы инженеров. Кор ов энджиниерз!

Квасюк возвышался до допроса военнопленного:

— Близко не подпускать. Оружия на виду не класть. Американские военнослужащие атлетически развиты!

Запкнижку обогащал глава советской психологии профессор Артемьев:

— Западные ученые клянутся, что видят под микроскопом гены. И они действительно их видят. Такова сила самовнушения.

Весной пятьдесят шестого нам зачитали закрытый доклад Хрущева.

Минимальные отклики на минимальный съезд. На политэкономии доцент Тарковский:

— Я эту кухню хорошо знаю! Я был в Ленинграде заместителем Вознесенского. Если б я полгода не провалялся в инфаркте, меня расстреляли бы вместе с ним.

На семинаре кандидат Кочетков:

— Любимый лозунг Маркса: подвергай все сомнению! Ребята, сомневайтесь во всем, ничему не верьте!

Из престижного ВГИКа я спустился в обыкновенный ИН-ЯЗ. Из трудового Бауманского школьный друг Вадя скакнул в государственно-элитарное Востоковедение. Попасть туда— все равно что второй раз родиться, объяснили ему — он поверил. Со мной он был прежний хороший Вадя, но я замечал в нем знакомое, вгиковское. Он дорожил принадлежностью к касте, лелеял ее обычаи — даже побоища после лекций. Мечтал об истории религии и в охотку, с гадмильцами ловил педерастов в Сокольниках.

На Чапаевском у нас с мамой-папой по-прежнему была одна комната — попросторнее, чем на Капельском. В своем углу за ширмой я принимал гостей.

Вадя принес весть, что рядом, на Ново-Песчаной, живет интересный р е з ч и к - э в е н о к. Это был — испорченный телефон — нищий обманутый Эрьзя.

Вадя привел замечательного парня: студент Суриковского Эрик Булатов. Врубель — гениальный художник, как Микельанджело. Сам Бенуа признал, что недооценил его в первом издании. Из современных — Фаворский и Фальк.

Булатов сводил к Фальку. У Эрьзи я впервые был в мастерской скульптора. У Фалька — в мастерской живописца. Приветливый, деликатный, он менял на мольберте холсты. Ранние — в русле течений. Поздние — мальчик, словно после ареста отца, апокалиптическая морковь или картошка — та самая жизнь, какой жили мы с детства.

В углу мастерской дамы щебетали о прекрасном пастернаковце Шаламове — сидел двадцать три года, теперь — подпольный поэт. Когда вышли, я сказал Ваде и Эрику, что по природе поэт не может быть подпольным — даже если его не печатают.

С Вадей я попал в дом на углу Алексея Толстого. Моложавая хозяйка, критик комсомольского пошиба — вот бы вспомнить фамилию! — перебирала книжечки:

— Вам чего погнилее? Мандельштам, Гумилев. Пастернака любите? Это пройдет. В ваши годы я сама увлекалась. Он же весь манерный, искусственный, деланный. Сейчас он написал роман — там героиня, гимназистка, принимает ванну после мужчины и беременеет.

По дружбе Вадя ввел меня в избранный круг востоковедов. Довольно терпимые, с курьезными фамилиями и курьезными идеями: гениальность мальтийских романтиков, мировое значение профессора Крымского...

У меня за ширмой и в ванной за сигаретой мы с Вадей сочинили роман — глав двадцать, страниц на шесть. Гражданская война на Украине. Герои — мы с Вадей — посрамляем двух курьезных востоковедов. Нас били долго и нежно, стараясь не сделать больно.

Вадя докладывал:

— Видел девицу. Нестандартная. Прелесть. Тебе понравится. Взял телефон. Для тебя. — И стал заматывать номер. Я с барского плеча отвалил ему нетрудовую инязовскую сотню. Он по-востоковедчески принял и открыл телефон.

ВГИК не в счет, всю школу я разбивался о частокол дур. Каждая неквадратная фраза — не дай Бог, неказенные стихи — воспринимались как личное оскорбление.

Катька ловила все на лету. Ценила и мой ВГИК и уход из ВГИКа. Я писал ей стихи и спешил прочесть.

Она кончала десятилетку — кроме этого я ничего не знал о ней наверняка. Мечтала о студии МХАТа, но собиралась ли поступать? Разговоры о дяде Дуне Дунаевском и тете графине Любовь Орловой не имели отношения к действительности.

Слово за слово мы меряли километры улиц. Встретиться нам было негде.

На день рожденья она пригласила меня к себе в Перерву. За столом — МИМО, ВИИЯКА, Внешторг — кок, носик пуговкой, широкий галстук с тонким узлом, брючки дудочкой, толстые резные подошвы. Я изнывал от своей неуместности.

Чем-то я все же взял, и в награду Катька очень скоро призвала меня, когда родителей основательно не было дома. Я был так влюблен, что не набросился на нее.

Через какое-то время, получая отставку, я выслушал, что ей со мной было скучно.

Самый ранний приятель в ИН-ЯЗе — Игорь Можейко. Легкий человек, кое-какие стихи и остроумная проза.

За первый-второй семестр я наслышался об институтской про́клятой поэтессе Галке Андреевой. Говорили о ней гадости, знакомиться категорически не советовали. Строка *Объясненье в любви это несколько слов о дожде* решила вопрос. Я попросил Можейку, знавшего всех, свести меня с Галкой Андреевой.

Она не скрывала радости и тут же на переменке прочла одно из себя и одно из нового для меня Коли Шатрова. Пригласила к себе на Большую Бронную — в любой вечер.

Ни у кого не было своей комнаты, у Галки была, в коридорной системе, угловая, на последнем этаже:

На шестом мансарда с окнами на запад.

Когда я к ней зачастил, два-три десятка завсегдатаев из месяца в месяц уже сходились на огонек.

Первый тост со значением:

— За тех, кто в море! — (*Чтоб они сдохли!* еще не возникло).

Пили:

— За Россию в границах Ивана Третьего — тогда ей хоть управлять было можно.

— За культурную оккупацию — чтобы отучили лаяться и толкаться.

Мансарда не зря смотрела на Запад. Именно там виделось н о р м а л ь н о е о б щ е с т в о, противоположность нашему. Наше мы даже не обсуждали: предполагалось, что все ясно само собой.

Чем злей пропаганда кляла Запад, тем безоблачней и идеальней он представлялся. Подтверждение — книги, как довоенные, так и послесталинские — Ремарк, Хаксли, Дос Пассос, Хемингуэй, Стейнбек, Колдуэлл, недопереведенные Пруст и Джойс: в легендах маячили Кафка и Фолкнер.

Непонятно было, к а к прекрасный Запад уживается с ужасными н а м и. В постыдных грезах не одному мне хотелось спросить кого-то из тамошних главных — Далеса бы! — как они собираются освободить, вернуть к н о р м е Россию.

Заводилой на мансарде был Леня Чертков, из Библиотечного. Всегда оживленный, в избытке сил, фаллически устремленный.

— Такой плотный, такой веселый, я его боюсь, — изрекла одна из мансардских девиц.

Во времена, когда никто ничего не знал, Чертков перепахивал Ленинку, приносил бисерно исписанные обороты библиотечных требований и упоенно делился открытиями.

Благодаря ему мансарда оперировала такими редкостями, как Нарбут, Ходасевич, Вагинов, Оцуп, Нельдихен, Леонид Лавров, Заболоцкий, протообериут Аким Нахимов, ботаник Х (Чертков быстро раскрыл псевдоним: Чаянов).

Из классики и из любимого двадцатого века, сам изумляясь, подавал крупным планом:

— Что на Парнасе ты цыган. — Осолобительно!

— Все Аристотель врет — табак есть божество. — Табак есть божество!

— Колокольчик не пьет *костоломных* росинок. — А?

— Когда бы грек увидел наши игры! — !!!

Дома у Лени в тумбочке была база, своя фундаментальная библиотека, плод ежедневных хождений по букам. Всегда три десятка книг:

Тихие песни и *Кипарисовый ларец*,
Огненный столп и *Посмертные стихи*,
бежевый Мандельштам 1928 года,
Аллилуия, *Плоть* и *Александра Павловна*,
Дикая порфира и *Четырнадцать стихотворений*,
Органное многоголосие, *Золотое веретено*,
Самовар, *Тротуар*, *Версты*,
Путем зерна и *Тяжелая лира*,
первый том Хлебникова, первый том Маяковского,
Зудесник,

фисташковый Пастернак 1935 года (он под моим влиянием вытеснил коричневый однотомник Тихонова),
Песнослов, В гостях у журавлей,
Форель разбивает лед, Опыты соединения слов посредством ритма,
Уплотнение жизни, Золотое сечение,
От романтиков до сюрреалистов,
Антология новой английской поэзии,
Поэты Америки, XX век.
Столбцы не попадались.

На мансарде читали свое — новое и, по просьбе, старое: обсуждали, в глаза разносили или превозносили.

Слушали гостей, главным образом ленинградцев. За глаза обсуждали, осуждали их всех: рифмованные анекдотики.

Не обсуждали как несуществующих — с и с и п я т н и к о в (ССП), от Светлова и Твардовского до Евтушенки.

Раздражались на вездесущих к и р з я т н и к о в (военное поколение):

— Слуцкий — сука, — Андреева.

— Винокуров, стервец, надо же, зарифмовал: шубка кунья — лгунья. Тьфу, лажук! — Чертков.

Мы сплетали узоры, выдавали резкие суждения, редкие сведения, новые слухи.

— Нравственно или ненравственно поступил врач в Смоленске — определил, что Исаковский — не слепорожденный, а минус тридцать? Нравственно: стихи Исаковский все равно бы писал. А славы слепому бы только прибавилось.

— *Повесть о Рыжем Мотеле* написал явно не Уткин. Откуда он взял еврейский кулер? У него есть стихи *Мальчишку шлепнули в Иркутске*. Это не иначе про настоящего автора...

— Ленин — жулик — с самого начала ни во что не верил.

— В него не Каплан стреляла, она ни черта не видела.

— Под Красной площадью институт, там его каждую ночь препарируют.

— Сталин служил в охранке.

— Сталин был шестопал. В фотоальбоме к шестидесятилетию — тюремная анкета. Особые приметы: на такой-то ноге — шесть пальцев.

— На Западе лежат дневники Горького — опубликовать через пятьдесят лет после смерти.

— Воспоминания Молотова там тоже лежат.

— В войну Молотов ездил через линию фронта на переговоры к Гитлеру.

— Олег Кошевой не погиб, а сейчас в Западной Германии, выступал по *Освобождению*.

— *Пти флер* — французы в сорок четвертом нашли ноты на стене камеры смертников.

— Берия хотел отдать ГДР Западу и под это устроить террор хуже сталинского.

— В Москве раскрыли секту самоубийц, молодежь. Каждый уговаривал двоих покончить с собой и сам кончал третьим.

— Китайское политбюро. Враг народа Жао Шу-ши — вылитый Каганович. Рекомендую — Дэн Сяо-пин, совсем без лба.

Леня доставал большую клеенчатую запкнижку. Мы с ним любили в клеточку за два пятнадцать:

— Из газет: депутаты Государственной думы Пуришкевич и Марков-второй незамеченными пробрались на крышу нового германского посольства и для поддержания общественной благопристойности одели стоящие там обнаженные статуи в старые солдатские шинели, купленные на Мальцевском рынке. — В подтверждение снимок: ничего не разобрать. Назавтра: Поздравляем с первым апреля!

— Тоже из газет: Керенский — не Керенский, а Арон Кирбис, сын Геси Гельфман.

— На приеме в советском посольстве в сорок пятом Ремизов сидел рядом с Молотовым и рассказывал ему про чертиков. И капнул ему сметаной на брюки.

Из своей запкнижки я вычитывал мелочи:

Деревня Подстрочники,
сельцо Удосол,
совхоз Шуйский,
город Чирьев,
царица Хавская,

дирижер Сологуб,
артезианская уборная,
завод Красный Позвоночник,
трест Несветайантрацит,
публичный дом Порт-Артур,
дело вкуса и выкуса,
на вкус на цвет товаров нет.

Тамарку упрашивали: сексуальный дневник:

— Сегодня Эдик в подъезде засунул мне в рот язык и прощупал левую грудь.

Читала в трамвае медицинскую книгу. Читать было трудно, потому что везде любопытные людишки...

Изредка пели —
все:
на мотив *Журавлей*:

В этом городе сонном, на краю этой ночи
Третьи сутки не спит молодой диверсант...

Мы с Чертковым:
на мотив *Двух сольди*:

И опять полна контора коммунистов...

на мотив *Индонезии*:

Москва играет в демократию.

Мы замечательно проводили время. Заведясь, хохотали до упаду, до икоты: *брать — я — кало — мазо — вы!*

Но ни Черткова, ни кого другого из нас и отдаленно не назовешь веселым.

По дороге к метро Чертков, бывало, гулял. Раз на Галкиной лестнице, подняв ладони, ладно вбежал в окно и выставил раму. Через долгую минуту донесся грохот и звон стекла об асфальт. Не раз в ночных переулках движением сверху вниз, как кошка лапой, обламывал открытые форточки.

Время от времени Чертков ошарашивал мансарду резкими до людоедства балладами.

Но настоящий триумф его был летом 1955 года, когда он продемонстрировал поэму *Итоги:*

Нас всегда не хватает на эпилоги, —
В самой скучной точке земного шара
Уж который год мы подводим итоги
За бетонною стойкой последнего бара.
.....
Ты сумел бы, в тебе бы достало сноровки,
Повернувшись, уйти через поле и в лес.
Ты сумел бы ножом перерезать веревки
И сумел бы патроны проверить на вес.
Но ты сам виноват и не следует злиться.
Пусть просохнет от липкого флиппа нутро,
Ты шагаешь пустыми шагами убийцы
В полутемные арки пустого метро.

Последний бар — коктейль-холл на Горького, оазис Запада в серой пустыне Востока. И Чертков на короткий срок стал знаменитым поэтом коктейль-холла — достаточно громко и широко, и достаточно герметично: как мы имели возможность потом убедиться, текст поэмы не дошел до властей.

После разгона Востоковедения респектабельного друга Вадю отправили на погибель в МИМО, а незаможнего Хромова — на спасение и даже славу в ИН-ЯЗ. Сын железнодорожного генерала Валентин Константинович (умолял, чтобы: Ксенофонтович) Хромов бочком и не без успеха протырился в поэзию. По дороге от люмпенпролетарского (Маяковский, Назым Хикмет) к корнесловному (Кирша Данилов, Хлебников) он явился на мансарду с прелестными примитивчиками:

Дети в кино пришли заранее:
Золотые яблоки на экране.
И у входа семечки по рублю стакан
Продавал сопливый мальчуган.

Пройдя Маяковское ученичество и только-только дописавшись до самого себя, к нам присоединился Станислав Красовицкий.

Действительность он переживал еще острей, чем Чертков. Снежинки у него были парашютный десант; вол-

ны — радиоволны, по которым слушали сквозь глушилку; пыль мукомола — радиоактивные осадки.

Как поэт он встречал вызов лицом к лицу; как человек старался уйти, уклониться. Казалось, он даже не человек, а дух в мучительной человеческой оболочке.

Лето пятьдесят пятого — время чертковских *Итогов*. Зима пятьдесят пятого—пятьдесят шестого — осознание, что Стась — самый талантливый не только из нас, но и из всех, выдвинувшихся в пятидесятые. Его полюбили и деспотичный Чертков, и капризная Галка Андреева, и завистливый Хромов.

Из лучших воспоминаний: в институте на перемене, не касаясь паркета, подойдет ясный, подтянутый, улыбающийся Красовицкий и смущенно протянет листок с неровными крупными буквами:

Самый страшный секрет
так бывает разжеван,
что почти понимаешь —
все про нас, про одних.
Рельсы были в пустые бутылки боржоми,
и проталкивал в тамбур
темноту проводник.

Я испытывал к Стасю сердечную привязанность, как ни к кому из мансардских. Он отвечал, как умел, ибо мимо даже ближайших друзей проходил по касательной. Казалось, он с радостью прошел бы мимо себя самого. Он видел себя невесело, улавливал внешнее, внутреннее и роковое сходство с Гоголем.

За Красовицким на мансарду пришел его школьный товарищ Олег Гриценко, здоровенный детина, студент Рыбного:

...когда народный заседатель
трясет на лошади верхом...

— Вот у нас уже свой эпигон, — заключил Чертков.

Изначальный завсегдатай Коля Шатров — не собрат, скорее, конкурирующая инстанция. Наши стихи он неизменно ругал — искренне. Мы его — в отбрех, по обязанности: не могли не признать одаренность:

Березка, русская березка,
Ты, если выразить цветистей,
Не девушка, а папироска,
Окутанная дымом листьев.

Шатров как будто был сыном арбатского гомеопата Михина, очевидно, сосланного. Рассказывали, из Нижнего Тагила Коля прислал стихи Пастернаку. Тот вроде бы вытащил его в Москву, в Литинститут. Так или иначе, Шатров в стихах и речах ненавидел Пастернака лютейше:

— Жид, жид, жид! Он вещи любит. Он каждую дверную филенку, как называется, знает.

Сам Шатров обожал туманы, охи и ахи, Фофанова и Блока. Мы называли Колю Кикой, а проявления его — кикушеством. Чертков отнесся резче:

— Кика не Фофанов и не Блок, он Тиняков.

Хорошенький, женственный, видавший виды Кика обольщал арбатских дам, а однажды, к вящему загустению нашей слюны, приворожил популярного пианиста и его молодую жену.

Я пунктирно имел взрослый роман с замужней. Стась пользовался взаимностью. Хром воздыхал. Лене хронически не везло. Раз в месяц блестящий, словно огурчик, он победоносно докладывал:

— А я сегодня польнул!

Вокруг дразнящей Галки Андреевой толклись, как комары. Ничего от нее не добивались. Один измученный разбежался получать у Тамарки. Она отказала, и он извергся ей на паркет:

— Грех падет на тебя!

Мы были предельно прозрачны. Надо думать, не только друг для друга. Очень уж на виду была наша мансарда. Невозможно представить, чтобы ею не интересовались. В своей среде мы за кого-то не поручились бы, кого-то подозревали вслух и — имели возможность потом убедиться — совсем не напрасно. Как мы ни развлекались, как ни веселились, нас не покидало разъедающее чувство опасности.

Чертков учил из чувства опасности делать стихи. По Черткову, чувство опасности открывает глаза на совре-

менность и дает меру вещей, четкое смысловое задание. Современность — sine qua non каждого порядочного стихотворения. Мера вещей, с одной стороны, приводит к *эпичности* (похвала), с другой — к *изгилу* (отдание должного).

Соответствующее этим критериям стихописание Чертков иногда называл *динамизмом* — то ли динамичности как свойства или синонима современности, то ли от желания скрутить динамо в обществе, по отношению к которому он не чувствовал никаких обязательств.

На практике нашим девизом был Верлен/Пастернак:

Не церемонься с языком,
Но выбирай слова с оплошкой —
Всех лучше песни, где немножко
И точность точно под хмельком.

НАША АНТОЛОГИЯ

Леонид Чертков

Бродяга

Среди ночи выползу за овин
И солому стряхну с бороды —
И тупо осклабится лунный блин
С небесной сковороды.

Под ногами, привыкшими к жесткости нар,
Шар земной повернется вспять,
Мне небес не откроет лунный швейцар
И пиджак не поможет снять.

Мне условную каторгу даст Страшный суд,
Я забуду свои чердаки.
Мою душу бреднями растрясут
Звездные рыбаки.

По дорогам уснувшей смешной страны,
Где собор, как ночной колпак,
Я уйду поискать иной тишины,
И с горы просвистит мне рак.

Маяки метеоров на лунном стекле
И полночное уханье сов
Проведут меня темным путем по земле
И откроют лазейки миров.

Там не будет ни стен, ни дверей, ни окóн,
А поля, канавы, кусты —
И меня никогда не отыщет закон
За пределами лунной черты.

* * *

Вот и все. Последняя ночь уходит,
Я еще на свободе, хоть пуст кошелек.
Я могу говорить о кино, о погоде,—
А бумаги свои я вчера еще сжег.

Я уверен в себе. У меня хватит наглости
Прокурору смеяться в глаза,
Я не стану просить заседательской жалости
И найду, что в последнем слове сказать.

Наплевать. Я давно в летаргической зоне,
Мне на что-то надеяться было бы зря:
У меня цыганка прочла на ладони
Концентрационные лагеря.

А другие? Один в потемках читает,
Этот ходит и курит, и так же она,
Да и что там гадать, откуда я знаю,
Может, каждый вот так же стоит у окна.

И никто, наверное, не ждет перемены,
И опять синяком затекает восток,
И я вижу, как незаметный военный
Подшивает мне в папку последний листок.

1955

Андрей Сергеев

Летние строфы

Под луной столбенели дó неба голые сосны,
Птицы не уставали монетки в воде толочь.
Отшатываясь от заборов, пьяные пели косно,
Спешили со станции люди и пропадали в ночь.

До ближней звезды тянулась белого лая тропинка,
Свет на соседних дачах падал, желтел и чах.
А я играл втихомолку кукольным словом Нинка,
И руки спокойно спали на ее умытых плечах.

Учила верить в удачу замкнутая дорога,
Учила верить в мечту непроходимая темь —

В добрых горбатых деревьях скрыта фигура Бога,
Который пасет ночами своих влюбленных детей.

Гонит на запад тучи непостоянное лето,
Последние тучные нивы, плывущие через тьму.
Милые, дорогие, не вечно же лезть в поэты,
Когда ты с хорошей девчонкой, поэзия ни к чему.

Я снял очки и тут же споткнулся о чью-то руку.
В небе Большой Медведицей лег пешеходный мост,
И мимо деревьев, слившихся в одну сплошную разруху,
Невыразимо расейская фигура брела на пост.

Взывающий к вечной дружбе звал друга Борей и Витей,
Кто-то от нас в полметре калитку не мог никак
Осилить, и в этом мире, предельно лишенном событий,
Терпкая тривиальность перерастала в факт.

Дальние звуки радио из лагерей доносило,
Парочки шли за нами и падали под обрыв,
— Не видели тут гусенка? — неожиданно вопросила
Дымчатая старуха, выскочив, как нарыв.

В каждый атом поэзии лезла житейская проза.
С засученными рукавами, по пыльным путям земли
Луна не спеша месила зеленые сдобы навоза,
И в них ступали влюбленные, воры и патрули.

Где-то там, за горами день еще теплит хвою,
И холод чуть подымается из грустной сырой травы.
Речная зеркальная нечисть овладевает ольхою,
И тянется над водою воинство без головы.

Теперь мы были у речки. Плыла по воде копейка,
Луна своим круглым глазом мешала из-за угла.
А мы сидели на нашей, на чьей-то старой скамейке,
И грелись остатками за день растраченного тепла.

Мы узнавали ночь, где тени шагают по две...
.....
.....
.....

12—17/VII—55 г.

В. Хромов

* *

Сперва всего пою отчизну:
О слава, слава, слава, Петя...
Как много слав в моей стране!

А наши радостные дети —
За них мы гибли на войне.
Эх-эх! Махорка, табачок—
Станцуем — и в окопчики!
Война, ребята, пустячок —
И танцевали хлопчики.
Пускай пижоны ходят в брючках —
А мы по-русски, как-нибудь..
О родина, возьми на ючки,
Чтоб под лицом к тебе прильнуть
И обнимать поля и рощи,
Твои дубовые леса,
Где вышел из народной толщи
Изобретатель колеса.

1956

Станислав Красовицкий

* *

На пороге, где пляшет змея и земля —
кровавое дерево следа.
Я вижу, уходит через поля
немая фигура соседа.

А волны стоят в допотопном ряду,
и сеется пыль мукомола.
Старуха копается в желтом саду,
отвернутая от пола.

Что надо сей там?
Но приемник молчит,
и тихо,
по самому краю
уходит за море соседский бандит,
закутавшись тенью сарая.

Еще одна абстрактная картина.
Мне нравится картины половина,
где мечется, не зная смерти цель,
по ветру Гельсингфорс, как журавель,
где короли живут, пока не каплет,
где, лишь родившись, некрасивый Гамлет
играет в кинга, не найдет, чем крыть,

и ходит в парк Офелию топить.
А вы? А я лицо здесь вижу босса,
оно по-русски холодно и косо,
на отражение и тень его дробя,
я узнаю в нем будущих себя.
Пусть в изменение души никто не верит,
но котелок мои черты изменит,
к нему в придачу тросточку возьму, —
так старый дед мой хаживал в Крыму.
Он приезжал домой на трех лошадках,
он был по-русски праведный и шаткий;
на первой трость, на третьей котелок,
а на второй и сам седой седок.
Вот путь, который для меня заказан.
Но почему не дед, а внук наказан?
Я жить хочу, ведь изо всех восьмью
я выбрал дом и частную семью.
А вы? А я? Что вы не увидали —
что здесь есть третья сторона медали.
И, зная эту третью, Николя,
землею покрывается земля.
И нечего грустить и вспоминать
умершей дочери себя, отца и мать.
Ведь каждая любовь глядит назад,
и бука — бука дети говорят.

1956

Олег Гриценко

* * *

Кто тронется в путь,
А кто остается.
Не каждый себе при рожденье дается,
Следы же стираются день ото дня,
Потом пропадают, в пыли затерявшись...
Одни умирают, себя не дождавшись,
А мы погибаем,
Себя не найдя.

Николай Шатров

Баллада улицы

Вечереет. Загудело радио
Во дворе, — вернее, радиола.

Ветром танца — спереди и сзади он
Раздувает девичьи подолы.
А при них, одетые по-летнему
Пареньки с развинченной походкой.
Пахнет потом, семечками, сплетнями,
Табаком, селедкою и водкой...
То плывут шульженковской голубкою,
То летят молдаванеску резким...
Лишь луна недвижна — льдинка хрупкая,
Танцевать ей незачем и не с кем.
С девственным презрением глядит она
В ломких целомудрия оковах,
Как сопят блаженно-невоспитанно
Нянюшки в объятьях участковых...
Из окошка женский крик доносится.
Сыплются тарелки, чашки, блюдца...
Там кому-то дали в переносицу,
Там поют — там плачут — там смеются...
Вы с сестрой попреками напичканы,
А куда прикажете деваться?
Молодость уходит с электричками —
18, 19, 20...
Говорят, «дороги вам открытые».
«Все дано», «учитесь не ленитесь».
Но одна тоскует Аэлитою,
А другая спит и видит Гитис.
Но до Марса дальше, чем до полюса,
В институте ж столько заявлений...
А когда-то ты бродила по лесу
До зари в каком-то ослепленьи.
Все казалось счастьем — и глаза его,
Упоенные ее любовью,
И рассвета огненное зарево,
И оранжевые пятна крови...
А теперь укладываешь локоны
И с сестрой хихикаешь про встречи...
Хорошо, что не читали Блока вы,
Девушки, сгоревшие, как свечи.
О, поверьте! Это все отплатится.
Каждая слезинка отольется;
И тайком застиранное платьице,
И ребеночек на дне колодца...
Будет день и вы пред Богом станете —
Те, кто мучился, и те, кто мучил.
И он скажет: «Всех держу я в памяти,
Берегу для доли неминучей...

Душно мне от ваших скудных повестей,
Давшему земное изобилье.
Отвечайте, души, мне по совести,
Для чего вы жили и любили?!»

11/VI—54

Г. Андреева

* *

Вот и прожили мы свои вечера,
К песням старым возврата нет.
На свиданье в девятом часу утра
Так невесело ехать мне.
И так скучно на улицах в ранний час,
Здесь никто ни с кем не знаком.
И никто не подымет усталых глаз,
Каждый думает о своем.
Здесь у всех озабоченный грустный вид
И у всех невеселый взгляд.
И куда-то каждый привычно спешит
И никто ничему не рад.
Всюду скука и этому нет границ,
Пусто все, за что ни возьмись,
Вереницу больных равнодушных лиц
Эскалатор уносит вниз.
А внизу там только шум поездов
И безвкусно нарядный зал.
И не видно улыбок, не слышно слов —
Обреченно-тихий вокзал.
Почему так безрадостно по утрам,
Почему здесь нет красоты.
Этот город подсказывает нам
Обреченность нашей мечты.

21/I—55

Галка Андреева была про́клятой поэтессой на фоне сросшихся с многотиражкой и самодеятельностью. Главный из них Павел Грушко работал под веселого комсомольского простака и писал под Гусева с непринужденными чертами нового:

...был спущен один
совсем молодой завмаг...

...он нудную кильку отправил назад
и трудную семгу завез...

...он требовал нежные туши свиней
взамен залежалых консерв...

В литобъединении подхалтуривал всклокоченный, с эполетами перхоти, в почерневшей украинской рубашке, неистовый Гришка Левин, Дантон из Конотопа (определение Светлова). Душу Гришка вкладывал в ЦДКЖ, где почитался само́й просвещенностью и бла́городством. Мы всей мансардой раз ходили в ЦДКЖ: все там — от Челнокова и Бялосинской до Окуджавы с назревающей комсомольской богиней и комиссарами в пыльных шлемах были для нас неприкрытой казенщиной.

Документ.

Обсуждаются стихи студента переводческого ф-та А. Сергеева и студентки ф-та франц. языка Г. Андреевой. После чтения стихов авторами, первым выступил С. Красовицкий.

— В стихах Сергеева, — сказал он, — чувствуется дух времени... Некоторые упрекают Сергеева в несовременности. Чем дальше то, о чем пишет поэт, тем больше современности в его произведениях... Сергеев создает образ в кульминационном моменте... Сергеев наследует мировые традиции!

Ерасов: — У Сергеева много недоработок. Надо отдать должное — культура стиха Сергеева высока, но в его творчестве присутствует излишняя эстетичность... Сергеев должен развивать свои тенденции...

Выступает гость — член литобъединения ЦДКЖ Юрий Лучанский:

— Нужно ли писать и читать для камерного круга слушателей? В стихах Сергеева не чувствуется взволнованности, хотя присутствует большая культура письма... Мало поэтической мысли. Стихи Андреевой пока случайны, она не любила того героя, который присутствует в ее стихах. Значит — стихи не состоялись. Это стихи о получувствах.

Лазарева: — Стихи Гали я знаю пять лет. Я считаю, что это не случайно, что она пишет. Стихи глубоко лиричны. Верно то, что они дают печальное настроение... Все одно и то же, одинаковые люди, одинаковые глаза... Это — интимный уголок. Надо связывать стихи с жизнью... Большим достижением Гали Андреевой я считаю хорошую форму ее стихов.

Грушко: — Сергеев заумно отражает действительность, умышленно заумно. Он стремится к отвлеченным образам, в лексике стиха заметно постоянное стремление автора выбрать «непростое» слово. В стихах Сергеева мало современности. Чувствуется недостаточная работа над стихами, часто встречается слабая и плохая рифмы... Мне нравятся стихи Андреевой. В них много чувства. Но Андреева должна стремиться к тому, чтобы разнообразить тематику, и пользоваться не только темными красками.

Хромов: — Стихи Андреевой мне понравились за их интонацию, связанную с содержанием. Она хорошо передает оттенки словом.

Михельсон: — У Андреевой не темные краски, а тоска по светлому! У Сергеева большая жизненная драма!

Сергеев: — Я не хочу упрощаться. С моей рифмой я согласен.

В конце занятия выступил руков. литобъединения Г. М. Левин:

— Самую суть сказал, пожалуй, Лучанский. Главное — это культура мысли, а культура слова — производное. Сергеев делает наоборот. Он должен расшифровывать свои мысли. В стихах Сергеева многое от позы. Трудно бывает иногда позу отделить от себя самого, но сделать это необходимо. Гале Андреевой, на мой взгляд, нужно избавляться от мнимой простоты...

Записал П. Грушко.

Нам требовалась вентиляция. Мансарда — это прекрасно, но мансарды нам не хватало. Даже на таком полицейском литобъединении мы проветривались энергичнее. Нести наши стихи в редакции было бы беспредметно и неосмотрительно.

Оставалось показать себя тем, кого мы любили и ценили — или хотя бы тем, кто хоть как-то связывал с прекрасными временами поэтических направлений.

Пастернака я постарался увидеть еще до мансарды. Свести меня с ним было некому. Осенью пятьдесят третьего я ему позвонил.

— Вы понимаете, я же для вас ничего не могу сделать...

Делать для меня ничего не требовалось.

— Извините меня, Бога ради, я безумно, безумно занят. Позвоните, пожалуйста, через два месяца.

Голос в трубке подтвердил, что в Пастернаке я не ошибся. Я был по горло сыт фразами о его манерности, искусственности, деланности. Гудение сразу убеждало в неподдельности.

Я не принял его слова за деликатный отказ и через два месяца позвонил. И снова мольба позвонить через два месяца. Весной он сдался:

— Приходите, пожалуйста, только у меня ужасно мало времени. На полчасика — хорошо?

Дверь открыл сам, оглядел с головы до ног, уважительно поощрил:

— А вы молодец — добились все-таки.

В крохотном кабинетике мы уселись колени в колени. Я прочел несколько стихотворений. В ответ — гениальная защитная формула:

— Ну вот, теперь я с вами знаком лучше, чем если бы я вас много лет знал.

И затем часа на полтора самоперебивающийся восторженный монолог:

— Мир огромен, а жизнь человеческая коротка. Из этого рождается метафора.

— Рильке — это удивительно. Рильке — пассивный урбанист, у него старые девы, кошки. И проза. Поэт должен писать прозу. Нельзя есть в рифму, спать в рифму. Говорят, Верлен не писал. А проза Блока это дважды Блок — и какой Блок!

— Блок умер от психастении, от невозможности жить.

— Хлебниковым я никогда не интересовался. По-моему, Есенин и то интереснее.

— Маяковский был обворожительный — знаете, как бывают женщины обворожительные. У него в ранних стихах вещи сами себя называют. Потом это пропало. В двадцатые годы, знаете, Андрей Белый там, ЛЕФ решили, что литература это только приемы. И многие поверили. Вот и получился Леонид Леонов: читаешь — прекрасно, а чего-то главного нет. Как, знаете, бывает модернизм худшей воды — Хикмет, Элюар — сплошная пустота.

— Когда настоящий художник накладывает руку, остается отпечаток краски, а когда Ромен Роллан или Андре Жид — там еще и грязь.

— Илья Григорьевич — мой друг, но *Оттепель* я не читал. Я знаю, многие о ней говорят.

— Какой-нибудь забор, окрашенный в приятный, ласкающий глаз колер — это гораздо важнее, чем даже то, что меня напечатали.

— Поэт не обязан плыть против теченья. Это выходит само. Но это не должно превращаться в трагедию...

Я был у Пастернака на Лаврушинском, Чертков года через два — в Переделкине — и оказался на бóльшей высоте:

— Такой хороший! Такой хороший! Говорит: почитайте стихи, а я говорю: как-нибудь в другой раз. Что впечатление портить?

Что-то мешало нам позвонить Заболоцкому. По очереди мы послали ему стихи почтой. Через несколько дней каждый читал ответ мелким отчетливым почерком:

> 18 января 1956 г. т. Хромов
>
> Я получил и прочитал Ваши стихи. Они производят впечатление очень молодых и несовершенных опытов человека, которого не устраивают средние более или менее общепринятые стихотворные нормы, который ищет своих способов выражения, но поиски эти пока еще ни к чему существенному не приводят, а иногда граничат со старыми чудачествами молодых футуристов, так что и новизна их вызывает сомнение...

> 16 февраля 1956
>
> т. Сергеев, если я не ошибаюсь, Вы — поэт одаренный и интересный; об этом говорят тут и там

прорывающиеся куски истинной поэзии. Но Вы еще едва ли мастер, так как сильно грешите и в части языка, и в образе и композиции...

По временам чувствуется стремление к нарочитости. Советую Вам сравнить старые книги Пастернака с его военными стихами и послевоенными: «На ранних поездах», «Земной простор». Последние стихи — это, конечно, лучшее из всего, что он написал; пропала нарочитость, а ведь Пастернак остался — подумайте об этом, это пример поучительный...

25 февр. 1956

т. Красовицкий, я прочитал Ваши стихи, и они мне, по правде говоря, не очень понравились. Они невнятны, малосодержательны и композиция их представляется мне сомнительной, если вообще есть у них композиция. Кажется, у них нет ни начала, ни середины, ни конца; их можно почти в любом месте начать и в любом кончить. Благодаря такой аморфности, элементы образа приобретают самоценность и иногда они не лишены своеобразной выразительности. Но образ, который не служит ни мысли, ни более широкому образу, но является лишь образом «вообще» — что же это такое?..

16 апреля 1956. т. Чертков

из трех присланных Вами стихотворений до меня дошло только второе — «О рубке дров», но и в нем много неясностей и неточностей смысла. Два других стихотворения настолько невнятны, что до сознания не доходят. Оригинальность не в том заключается, чтобы писать невнятно, а в том, чтобы явления и предметы изображать по-своему, со своей точки зрения, но в доступной до человеческого восприятия форме...

Мы, конечно же, ожидали похвал, но не огорчились: если Заболоцкому поздний Пастернак милее раннего...

Близкое к похвале получил я. И я тотчас же позвонил.

Заболоцкий выслушал благодарность и сказал:

— Приезжайте.

Лицо с застывшим изумлением, вытянутая верхняя губа. Прозрачность аквариума в стерильно блещущей комнате. Видно, что хозяин никуда не ходит, и никто у него не бывает. И от этого ощущение основополагающего неблагополучия. Как и от сознания, что несравненный, особый поэт пытается опроститься, писать, как люди, по правилам. И заклинательно открещивается от молодого ослепительного себя и подгоняет обериутские[1] стихи под обязательную обыкновенность.

Я бывал у него редко, но регулярно. Он не задавал вопросов и не сообщал новостей. Мы садились за круглый стол в архаической мизансцене учителя — ученика. Я доставал свое. Николай Алексеевич хмыкал, указывал карандашом, изредка произносил степенную фразу во славу разума. Его раздражала нецеремонность с языком и слова с оплошкой. На благо ли, во вред ли, он убедил меня рифмовать точно, *опрятно,* и призвал соблюдать грамматику.

Под конец он читал вслух свое новое и — раза два, неожиданно — старое, молодое. От него я впервые услышал *Цирк* — и хохотал, а он смущенно и радостно улыбался.

Асеев — вылитый репинский Иван Грозный, только прилизанный. Пытался мэтрствовать, хорохорился передо мной и Чертковым:

— Вы, молодые люди, наелись острых блюд. Учитесь ценить Баратынского!

— Диккенсовские образы — это же Гоголь!

— Кирсанов не может, у него ножки коротенькие.

— Перед войной. Я только получил сталинскую премию. Приходит Ксюша Некрасова и говорит: — Николай Николаевич, вы же знаете, что Сталин — палач. Почему вы об этом не скажете? Если скажете вы — все услышат. — Я ей говорю: — Бог с тобой, что ты несешь, на тебе трешку, уходи скорее.

— Ко мне и шпион немецкий приходил, мог убить.

— Володя не писал поэму *Плохо.* Сами судите:

---

[1] ОБЕРИУ Заболоцкий расшифровывал так: Объединение Единственно Реального Искусства, а У — украшательство, которое мы себе позволяли.

Жезлом правит, чтоб направо шел.
Пойду направо, очень хорошо.

Володя же всегда говорил:

Кто там шагает правой?
Левой, левой, левой!

Хорошо это и есть *Плохо*. Надо уметь прочитать.

— Хорошие мы были ребята: Велимир, Володя, я, Вася Каменский, Алеша Крученых...

Бывший хороший парень Крученых явился при нас и объявил, что сегодня ему семьдесят.

— Буррлюк — отэц рросыйского футуррызма, йа — ммать.

Он опрокинул солонку в свой стакан и обосновал:

— У ммэня йэсть кныга экатеррынинских вррэмён. В ней сказзанно: саххар йэсть солль.

Асеев потребовал к чаю селедку. Потом попросил:

— Алеша, почитай молодым людям, они же не слышали.

— Пад твайу отвэтствэнность!

Покобенившись, Круч вдруг взлетел к потолку:

— Люббаххарры, блюддаххарры,

Губбайтэ вын сочлыввоэ соччэньйэ!.. —

Асеев едва поспевал за ним:

— Алеша, осторожно — там люстра... там зеркало!

Впечатление было острейшее. Впервые я понял, что Крученых — поэт непридуманный.

Он жил во дворе *Живописи-Ваяния-Зодчества* в коммуналке, в маленькой захламленной комнате. Тупой свет дня сквозь сроду не мытые окна. Посреди комнаты — посыпанная ДДТ плюшкинская куча. Для подходящего клиента из кучи, с полок, из-под кровати извлекалась нужная книга или автограф. Неподходящему отказывал:

— Йа нэ знайу, что гдэ. Надо ыскать, а у мэня час вррэмэни стойит пять долларроу. Мнэ нэввыгодно ымэть с вамы дэло.

Нас слушать не стал:

— Йа знайу, как тэпэрь пышут маладдыйэ пайэты.

Наметанным взглядом выделил Красовицкого — предложил сочинить в альбом стихи в честь его, Крученыха.

Гриценко захотел его послушать. Круч парировал:

— Нэт ныйчэго прощче! Слэдытэ за аффышшамы. Буду выступать в Полытэхничэском — прыходытэ и слушайтэ!

У Асеева в дверном проеме вдруг вырос провинциальный кабинет-портрет начала века: дородный усатый дядя в костюме, во весь рост. Это был Слуцкий, самый настырный из всех кирзятников. Встречался в каждом буке, обсматривал подпольных художников, обслушивал непечатных поэтов. Заинтересовался нами. Мы не скрывали враждебности — за комиссарство, за материализм, за работу на понижение. Все же, он единственный из военных—послевоенных официальных поэтов, с кем у нас были регулярные отношения.

На моей памяти он сменил несколько амплуа. Тогдашнее — добрый человек из Харькова.

— Вы сегодня ели? Деньги у вас есть — хоть рубль?

Разговор со Слуцким — вопросы/ответы:

— Это правда, что вы называете нас кирзятниками?

— Правда.

— Как вы относитесь к двадцатому съезду?

— Никак.

— Вы не считаете, что Евтушенко отнял у вас часть славы?

— В голову не приходило.

— Вы хоть раз, хоть когда носили стихи в издательство?

— Зачем?

Иногда Слуцкий цитировал прекрасности из Винокурова, Гудзенко, Наровчатова; хвалил Колю Глазкова, Левитанского, Володю Львова, Корнилова; кажется, Самойлова.

— Счастливый человек Слуцкий, — сказал Чертков, — живет среди стольких талантливых поэтов.

Изрекал Слуцкий удивительное:

— Я причисляю себя к революционным поэтам. Для меня безграмотное большинство дороже, чем просвещенное меньшинство.

— Мартынов — поэт класса Ахматовой и Цветаевой. У Мартынова я понимаю все, а Пастернака́ — не все.

— Красовицкого вы выдумали. Он открыл дверь, которая никуда не ведет. У вас у всех жульничество, у Красовицкого — искренне. Добротное безумие — его единственное достоинство.

Иногда Слуцкий попадал в цель:

— Паустовский — хороший плохой писатель.

— *Некрасивую девочку* можно придумать.

— Реабилитированные способны изменить климат общества.

Реабилитированных мы видели мало. Как-то не было повода. Интересовал нас разве Шаламов — тот самый пастернаковец, о котором говорили у Фалька. К Шаламову на Гоголевский меня отвела старая поэтесса Вера Николаевна Клюева, преподаватель ИН-ЯЗа.

Мы попили чаю, поговорили о поэзии — другого не трогали, — почитали стихи. Шаламов ужасно понравился, стихи его — нет.

У него была поразительная встречаемость. В городе, в буках издалека — широченная сияющая улыбка, всплеск рук и медвежье пожатие, остаток той силищи, что вытащила на Колыме.

Постоянный эпитет вновь обретенного Леонида Мартынова — своеобразный.

Чертков перефразировал: лучший, своеобразнейший поэт нашей эпохи.

Мы ценили два-три его стихотворения из довоенного и послевоенного сборников.

Мартынов жил на Десятой или Одиннадцатой Сокольнической в трущобе, ход через кухню со стиркой. В сырой распаренной комнате стопки книг на полу плашмя, на столе в сталинской стеклянной салатнице — гора нарезанного зеленого лука и на ней апельсин: оборона от вирусов. Хозяин улыбался лицом — варежкой, не глазами.

Он радуется поэтическому оживлению: старые поэты стали писать по-новому. Как хороши новый Пастернак, новый Асеев, новый Луговской, новый Заболоцкий!

Заболоцкий мог бы сказать подобное от неблагополучия, в Мартынове угадывалось недоброжелательство.

Из нас он выделил Хромова, пара сочувственных слов Черткову, обошел Красовицкого, мне сказал:

— Может быть, вы станете мемуаристом...

Сквозь толпу и милицию Слуцкий провел нас в музей Маяковского на заезжего Бурлюка. Паучище-атлет, стар-

ческие заклепки на лысине, отец российского футуризма выкрикивал:

— Римляне говорили: если у тебя нет друга — купи его! И я стал давать Володе пятьдесят копеек в день...

— Я поставил Володю продавать и автографировать книги. Без автографа том — пять долла́ров, с автографом — двадцать! Я делал на Володе долла́ры...

Еще были Кирсанов, Коля Глазков, репатриант Ладинский...

По-студенчески мы путешествовали.

Летом пятьдесят четвертого с Можейкой ездили в Ленинград—Нарву—Таллин. Смотреть и видеть еще не умели. Что говорить, если нам не понравилась Эстония!

Летом пятьдесят пятого с Чертковым махнули в Крым. В вагоне — по Черткову, *дом принудительной вентиляции* — готовились к грядущим впечатлениям:

Мелкою мошью в глазу мельтеша,
Я те положу: Не колупь палаша!
Синие гусары, палаш не имбирь.
Крымские татары идут в Сибирь.
Крымские татары — бровь до ушей, —
Синие гусары их бьют взашей.

В Феодосии Леня уверенно привел меня в новенький, с патио, дом колхозника.

Мы пили на рынке молдавский сухой мускат, валялись на пляже. Я вошел в море впервые — оно выталкивало.

Над пляжем, за ногорезной железной дорогой стоял дом-музей Айвазовского. Я раскрыл книгу отзывов и вынул запкнижку.

— Великий русский марионист. Зеркало русского флота. Подводники.

— Просмотрел картины Айвазовского. Считаю что-то сверх естественное. Смотришь на картину море забывается где находится, хочется бросить в воду камешек. Панфилов.

— Уходя на трудную и опасную работу, я вдохновляюсь картинами Айвазовского. Думаю, это мне поможет. Майор Семенов.

— Пират, — определил Чертков.

Экскурсионным автобусом без приключений прокатились: Южный берег—Ай-Петри—Бахчисарай. В Старом Крыму нашли домик Грина.

Я знал, что Чертков нацелен на Коктебель, но удивился, что он договаривается на две недели.

Хозяйки-болгарки самовольно вернулись домой из ссылки. Жили как придется, курортников не было. Наши рубли — доход, да купить на них нечего. Кормили нас помидорами, молоком, хлебом — сказочный хлеб сами пекли в кирпичной печи перед домом.

Основная часть жителей — белорусы-переселенцы. В каменной коктебельской глине сажали картошку, нарадоваться не могли на вечные лапти из виноградной лозы.

Как в старину, кино в сарайчике показывали одним проектором. Каково смотреть с перекурами *Плату за страх* с нагнетанием и взрывающимися грузовиками!

Грузовики летели с обрывов и в Коктебеле. Их гоняли заключенные, б е н д е р ы. На бешеной скорости они проносились из зоны в зону через поселок. Выбоины на дороге были точно воронки от взрывов.

Первым делом требовалось найти дом Волошина. Болгарки по-соседски знали Марию Степановну, советовали прямо идти — единственный дом у моря.

У ворот мы заколебались: *Будинок творчости.*

Мария Степановна лечит зубы в Феодосии. По дому и мастерской — голова царицы Таиах, акварели, стеллажи, раковины — нас интеллигентно и литературно провела Елизавета Ауэрбах (устные рассказы). С вышки сориентировала на местности.

Перед отъездом я, как на грех, слег — коктебельская желудочная лихорадка. К Марии Степановне Леня ходил один. Вернулся в восторге:

— Мировая старуха! Усадила за чай, обо всем рассказывала открытым текстом. Потом говорит: вам, наверно, интересно библиотеку посмотреть — вы пойдите. Я хожу — один, могу что хошь отчудить — уда ли! — но нельзя: мировая старуха!

Под влиянием Коктебеля, как все, я начал писать стихи. Вольные вариации на эллинско-евангельские темы. В мае я впервые прочел Евангелие.

Здесь на горах над морем я пытался проповедовать Евангелие Черткову. Семена падали при дороге.

Я изобрел перспективное китайское имя Ху Эр. Герой с таким именем должен быть пикарескным. Что-то вроде бендеры, подневольный с грузовиком. Водитель Ху Эр.

Но главной темой самых увлекательных за всю нашу дружбу разговоров стали *Необычайные похождения генерала Морозова во время одной мировой войны, или Новый Онан Дойль*. Генерал — удельнинский Шурка Морозов. В немыслимых перипетиях обширного — на три тома — романа участвовали:

сам Морозов и его семья,
его враг и завистник нищий Петр Подадут,
вечный жид Исидор Сидорович Чистяков,
поэты-динамисты А и Б,
декан Валентей,
руководящий товарищ Х,
полковник Быгин,
мобилизованный Аугустус Конопляускас,
военно-обожженный рядовой Куприян,
санитарка Тамарка Лазарева,
Карп Ворошилов,
незабвенный Фомич и его дочь Олимпиада Фоминична,
несправедливо осужденный Африкан Ерасов,
его сын — предатель Павлик Ерасов,
послы Верхней и Нижней Белоруссии тт. Ворвашеня и Вовкулака,
первый среди равных Яков Волкопялов,
раввин Циолковский,
китайские товарищи,
степные эстонцы-кочевники,
трудолюбивые квасюки,
командир Вуд,
сисипятник Лубянский,
гениальный художник д-р Фальк,

Иудушка Калинкин и множество прочих реальных и вымышленных персонажей.

Действие развивалось в Свободной Эстляндской губернии и на оккупированной Аляске, в столице нашей родины городе Куйбышеве и в нищей разбомбленной Москве, в нелепом Израиле и в рабовладельческом государстве квасюков.

Мы опустошали запкнижки, истощали накопленные наблюдения и остроты. Писали главами порознь, читали друг другу — бешено веселились. Прочли Красовицкому — он сказал, что ничего лучше не слышал.

Пятьдесят пятый — не только время чертковских *Итогов*.

Я отчудил у Можейки и нервно-политизованно переводил Фредерика Прокоша. Имел на мансарде мгновенный успех. Чертков раскрыл передо мной *Поэты Америки, XX век* и пальцем ткнул в Роберта Фроста. Я внял и сделал первый свой перевод из Фроста.

Засочинялись рассказики. Образец:

> Отовсюду
>
> Учащиеся третьего ремесленного училища города Соликамска готовят к шестому всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве интересный подарок — настольные часы из пластилина.

Рассказики тоже дружно понравились.

Летом в Удельной я довершил коктебельские *Апокрифы* и написал *Летние строфы*. К 31 декабря у меня были готовы *Зимние строфы*.

Вечером у метро Арбатская я прочел их Черткову. Чертков не реагировал. Мы шли на Сивцев Вражек к Можейке встречать Новый год. Там Леня тяжко избил непонравившегося гостя.

Ночевали мы у Черткова на Собачьей площадке. Когда улеглись, Леня сказал, что его сегодня таскали в Большой дом. Предупреждали. Угроза материализовалась. Я долго ворочался и слышал, как Леня сквозь сон проговорил:

— Мы еще вернемся за подснежничками...

Предупрежденный Чертков жил как непредупрежденный. Не замер, говорил и писал что хотел. По-прежнему просветительствовал. Он переписал в Ленинке, я перепечатал и переплел ненаходимые *Столбцы* и журнальное *Торжество земледелия*. К нему я прибавил неопубликованные варианты и неизданные стихи из альбомчика Веры Нико-

лаевны Клюевой. Мы выпустили бы и по Хармсу и Олейникову, но не хватало на книжку. Зато такого же, как Заболоцкий, я сделал Ходасевича. — Слуцкий дал *Европейскую ночь*. В голову не приходило, что это и есть изготовление, хранение и распространение плюс группа.

По-прежнему мы ходили в Скрябинку слушать живьем Софроницкого и в записи — новую музыку. Были в консерватории на камерном оркестре Штросса и на единственном выступлении оркестра Большого театра (Мелик-Пашаев, *Четвертая* Брамса).

Пошли на премьеру квинтета Волконского. В Малом зале присутствовал весь бомонд от Козловского до Фалька. После квинтета, ошарашенные, мы бродили по улицам и спрашивали друг друга:

— А мы чем можем ответить? Есть у нас хоть что-то такого же класса?

Летом пятьдесят шестого мы втроем с Красовицким поехали на Кижи.

В Петрозаводске в ресторане *Похьола* пьяный поэт Николай Щербаков проклинал судьбу:

— Коля Заболоцкий был рыжий и злой. Он взял у меня трубку — английская трубка, — а его посадили. Трубка пропала. В сорок первом я попал в плен, и Твардовский украл у меня идею: Василий Теркин. Это же я придумал. Если бы я не попал в плен...

На Кижах при закате каждая травинка стояла отдельно. Трое с ружьями проводили нас неодобрительным взглядом. Прекрасные двухэтажные избы почти все заколочены.

Хозяйки рассказывали:

— Трое с ружьями, куторы на вас глаза вывалили — председатель, бригадир и милиционер. Что не так — по укнам стреляют. У войну финны усех у город вывезли. Вси там и остались. Народ зади́кался. Домов много пустых. Покупают их и увозят на ма́ндеры. Дом — вусемьсот рублей. Погост рабочие пять ли лет поновляют. Главы крыть — лемехи нужно, а их резать умеет удин старичок досюльный. На лодучке приезжает. Посла американского привозили. Рабочих заперли, сказали не выходить. А сюда пустили песню и пляску с города. Трактор

завели — палатку свалили, чтоб посол чего не увидел. Нунько за всем в магазин на мандеры. У кого теличка, хто рыбку на крючок подмолит. А суп йисть — с войны забыли. Раньше мы были богатые...

За бутылку, с нами же и распитую, сторож пустил нас в двадцативуглавую Преображенскую церковь. Пили мы натощак, и фигуры в иконостасе зашевелились.

— Может, так и надо, — предположил Чертков.

Трое это два и один. Один был я — и поделом.

Весной на литобъединении обсуждали Красовицкого. Я готовил аргументированную хвалебную речь. В коридоре за час-два сказал Стасю:

— Не подведем!

Подвел — я, да еще как. Не знаю, что на меня нашло. Вдруг подумалось: а стихи у него корявые. Чужие слова — торчат. Рифмы хромают. Целые строки — строкозаполнители. Много Мандельштама и обериутов. Образы разношерстные, плохо увязаны между собой и т.д. К обсуждению я был уверен — стихи никуда не годятся. И сказал это не в доверительном разговоре, а вслух перед врагами. Осчастливленный Гришка Левин воспарил до доноса:

— Я всегда говорил, что мы должны ненавидеть этот город, который заговорил петуха. Такие стихи мог писать Володя Сафонов из *Дня второго*!

К ночи или наутро туман рассеялся. Как теперь смотреть в глаза Стасю, как будет он смотреть на меня? Но он, человек формы, сделал вид, что ничего не случилось. Стихи он писал свои самые лучшие.

Я ушел в себя, сидел дома. Вяло складывалось беззвучное, блеклое — читать никому не хотелось.

Попереводил для печати. Не шикарную Америку/Англию ве́ка — в издательствах были сплошь народы эсэсэр и народная демократия. Слуцкий выделил мне что почище — демократические подстрочники. Чертков узнал — взбеленился. Он был прав: весной я предал Стася, сейчас — нашу общую заповедь, бескорыстие.

Венгерские события мы не могли пережить порознь:

— В Будапеште горит музей. Там Брейгель!

После Венгрии мы с Леней полдня бродили по задворкам Ново-Песчаной. Он был на пределе, говорил то ли мне, то ли себе, то ли на ветер:

— Поплясать на портрете! Может, за это и жизнь отдать стоит?

— Там, где поезд поближе к финской границе — спрыгнуть и напролом...

В Суэцкий кризис у себя, в Библиотечном, он на собрании крикнул:

— Студенты должны сдавать сессию, а не спасать царя египетского!

На даче Шкловского он разгулялся. Шкловский ринулся его перегуливать и замитинговал на крик. Серафима Густавовна ушла от греха. Может быть, дача прослушивалась.

Ни с чего мне начал названивать один из курьезных востоковедов. Зазывал в компанию, в ресторан, в театр, на девочек.

Эрик Булатов, участник голодного бунта в Суриковском, сказал мне, что его таскают. Расспрашивали про меня. Под ударом — Чертков.

Я вызвонил Леню, мы встретились. Изложил, не ссылаясь на источник. В сумерки, в снегопад мы долго ходили по центру. Я не мог отделаться от ощущения, что за нами все время следует заснеженная фигура, то женская, то мужская.

Поздно вечером одиннадцатого января мне позвонила одна из мансардских девиц:

— Леня не у тебя? Такой ужас! Такой ужас! Меня вызывали на Лубянку, спрашивали про Леню. Я не знаю, что говорила. Надо предупредить. Если он позвонит...

Черткова арестовали 12 января 1957 года.

1983—92

ПОРТРЕТЫ / О Бродском

Дать человеку выговориться,
зафиксировать текст,
привести в порядок,
давая себе воли не более,
чем гиперреалист,
работающий с фотографией.
Есть и другие способы.

А. С.

НУМИЗМАТ
(Разговоры 1969—79)

Я был дома один день! И в этот день утром приходят трое. Я подумал, товарищи с периферии. Показывают удостоверение: МУР! Майор и два капитана. — За что мне такая честь?

Майор и капитан к шкафчику, другой капитан смотрит письменный стол:

— Советские награды вы тоже собираете?

У меня наград порядком. Боевых! Я говорю:

— Посмотрите поглубже, там удостоверения.

— А откуда у вас столько денег?

Это сберкнижки. Двадцать шесть с половиною тысяч тугриков в монгольской валюте.

— Посмотрите, там рядом квитанции.

Я пьятнадцать лет сдавал Косте Голенко в музей все, что не идет — средневековые денарии, брактеаты, медали. Квитанций на двадцать пьять тысяч.

Майор смотрит коллекцию, видит, что это не Рио-де-Жанейро, спрашивает:

— Что это у вас столько медяков?

Ему наверно рассказали, что у меня сплошь царские десятки. Я объяснил. Он, вроде, неплохой дядька, звонит в МУР. Я слышу:

— Да нет. Совсем не то. Никакой валюты. Что значит страшный человек? Ничего подобного. Привезти не могу, он постельный больной. Вчера выписался из одной больницы, завтра ложится в другую. Направление есть...

Страшный человек — это я. А он понял, что не тот Юрий Милославский. Но что от него зависит? Вот по-

смотрите, копия протокола: изъято монет желтого металла, белого металла. Если бы не направление, меня самого бы изъяли. Шкафчик опломбировали. Когда ушли, я пломбу снял, вынул все самое ценное, что не взяли — потемневшее серебро они не заметили, боспорские электры приняли за бронзу, — и на всякий случай переложил в книжный шкаф. Пломбу поставил на место.

В больнице МПС мне удалили правое легкое. Не запущенная пневмония, а канцер. Осталось одно левое, маленькое. Курить категорически запрещено. Я вам передать не могу, как это трудно. После контузии я совсем не сплю — так, два-три часа; сутками могу не есть — забываю. А курить все время хочу. Психиатр говорит, если я совсем брошу, мне станет резко хуже.

Ко мне сейчас никто не ходит, кроме вас и Виктора. Боятся. И Виктор боится. Вы знаете — он вообще трусливый товарищ. Поэтому я особо ценю, что он ходит.

Вот ваш покорный слуга — кустарь-одиночка без мотора. Это не эмоции. Вы подумайте: другие в театр ходят, любовниц имеют, а я всю жизнь после работы дома медяшку чищу. Стыдно людям в глаза посмотреть: я «Доктора Живаго» не читал.

Я вам не рассказывал? Я после техникума на первое пособие по безработице купил ольвийский асс. Великоле-е-епнейший экземпляр. Стоил пьятнадцать рублей. Мой учитель Михаил Александрович Зи́льберман говорил, что у нумизмата не может быть такого положения, чтобы не нашлось на монеты.

Первую контузию я получил в оцеплении. Ночью в степи остановили поезд, кого-то искали. Я ничего не помню. Мне потом объяснили, меня в темноте ударили рукояткой револьвера по голове.

В Донском политехникуме я был партсекретарь факультета. Послали на коллективизацию на Кубань: белогвардейцы поднимают голову, вмешательство Англии-Франции и так далее. Огромное село. В нем стоит воинская часть. Власть — это красноармейский командир, уполномоченный ОГПУ и ваш покорный слуга. Ну, стреляли в нас, в окно. Но — никаких белогвардейцев, никакой Англии-Франции. Люди с голоду умирают. Уполномочен-

ный — он жил в одной хате со мной — говорит мне: — Исаак, мы люди в форме. Из нас троих ты один — свободный. Езжай в Ростов, доложи секретарю крайкома обстановку как есть, что не контрреволюция, а голод. — Я не знал, как к этому отнестись, вдруг провокация? Но он был хороший дядька, уговорил. Знаете, Андрэй Яковлевич, сколько тогда на Дону-Кубани от голода погибло? Один миллион. И на Украине пьять.

В Ростове я пришел к секретарю крайкома, доложил. Он как закричит на меня. Я ничего не помню. Контузия сказалась. Меня отвезли в психиатрическую больницу. Это меня и спасло. Я был бы уничтожен как контрреволюционер.

После Донского политехникума меня направили в систему Волголага. Там было двести тысяч заключенных. По тем масштабам это считался небольшой лагерь. Мой отец — он бывший красный партизан — в тридцать седьмом году работал в аптекоуправлении НКПС. НКВД у них занмообразно брало иод. Цистерны! Он по этим цистернам подсчитал, что в лагерях постоянно содержалось четырнадцать миллионов.

Начальником у нас был Яков Давыдович Раппопорт. Великоле-е-епнейший математик! Глазомер — я вам не могу передать. Солженицын зря на него так. Он и начальник был сравнительно мьягкий. Под праздники принимал от нас списки ударников — для облегчения участи — человек по десять-двенадцать. Только не политических. Политические — это лагерь в лагере, за колючей проволокой. Там был мой любимый профессор Белявский из Донского политехникума. Я ничем не мог ему помочь. Рэдко передавал через уголовников какую-нибудь еду — и не дай Бог, чтоб он узнал, от кого!

Вы себе не можете представить, какая была обстановка! Среди ночи звонит мне жена Шапиро — он тоже энергетик, мой товарищ, — чтобы немедленно пришел. Я бегу — тьма, ничего не видно, еле нашел их барак. В комнате он лежит ничком, рядом она, вся голая, уже ни на что не реагирует, только показывает глазами на подушку. Я понял, осторожно вынул из-под подушки браунинг. Он — в абсолютной прострации, это шок — вы меня слушаете?

Назавтра партсобрание, вопрос о его исключении. Из Москвы возвращается Яков Давыдович Раппопорт. Объявляет, что у него важное сообщение. Разоблачена вредительская деятельность начальника особого отдела Морозова. У него тут же отбирают оружие. И снимается обвинение с тех, кого он оклеветал.

Меня самого чуть не оклеветал начальник третьего отдела немец Лей. Я от скуки обратил внимание на советские монеты — это же множество штемпелей, разновидностей. Стал собирать мелочь. Лей обвинил меня в том, что я скупаю советские монеты на металл и передаю в Рыбинск для поддержки кустарей. Я говорю, подсчитайте, во сколько обходится килограмм такого металла. Он — ноль внимания. Это не довод. Меня уже сторониться стали, на улице обходили. А какие там улицы, знаете? Мостки, а вокруг — грязь невозможная.

Это не первый раз, когда я мог пострадать за нумизматику. В Новочеркасске я получил из Швейцарии два аукционных каталога. Меня обвинили в переписке с заграницей. И в записной книжке у меня нашли запись, что у такой-то в брошке — маленькая монетка Александра Македонского, аурум. Из-за этого аурума кто-то решил, что я — внук известного капиталиста. А дед мой был такой бьедный, что не запирал на ночь дверь. Один раз проснулся, слышит — в доме вор. Дед ему говорит: — Не ищи, добрый человек, у меня ничего нет. — Повернулся на другой бок и заснул. Вот бабка это другое дело. Она из рода Баал Шем Това. Ее родители так и не приняли деда, считали, что мезальянс.

В трыдцать восьмом году по партийному набору на строительство большого флота направили сто специалистов. В балтийский флотский экипаж. Нас так встрэтили — мы тры месяца гальюны чистили. Товарищи меня, самого задиристого, послали в Смольный, к Жданову. Он молодой был — как вы, нет, моложе. Весь какой-то зеленый, мне не понравился. Выслушал, говорит: — Не волнуйтесь, товарищ, все будет сделано. — В отместку начальство экипажа погнало нас в Кронштадт пешком — мороз сильнейший, мы шагаем в бескозырках и легких бушлатах, а мимо ходят электрички.

В Кронштадте меня назначили флагманским электриком Балтфлота. Подземные кабели там дореволюционные, все разные — разные иностранные фирмы прокладывали. Неразбериха. Я приказал испытать их на перегрузку. Мне говорят: — Что вы, мы и без перегрузки боимся, что полетят. — Я говорю: — А как же в случае войны?

У меня по должности — кабинет огромный, а звание — рядовой краснофлотец. Заходит капитан Беляев — одет с иголочки, белые перчатки — командир линкора «Октябрьская революция». Мы этот линкор звали «Октябриной». Видит — за столом рядовой: — Встать! — Я ему говорю, что если он не по делу, то я его не задерживаю. Адмирал Трибуц — неплохой был дядька — разобрался, объяснил ему. Говорит мне: — А у вас есть претензии? — Линкор «Октябрьская революция» в южном фарватере повредил подводные кабели — и это в мирное время. Что будет в северном фарватере в случае войны?

Всю финскую кампанию балтийский флот не мог уничтожить — у финнов было всего два крейсера, «Вейнемейнен» и «Ильмаринен», постройки восьмидесятых годов. Я отпросился на фронт — огромный морской десант на два острова. На них какие-то жалкие тры рыбака жили. В газетах расписали: героическая высадка. Представили к наградам. Сталин перечеркнул список. А ваш покорный слуга перестал быть романтиком.

Двадцать третьего июня сорок первого года я побежал сдавать коллекцию. В Историческом музее барон Сиверс — от него много нумизматов пострадало, — так он мне сразу: — Уходите, мы со своими не знаем, что делать. — Я роздал по частям родственникам, знакомым. Сохранилось штук двадцать самых незначительных медяков у случайного человека. А у родных, близких — ноль-ноль, и спрашивать неудобно: война, эвакуация. И все, как сквозь землю: ни одной моей монеты мне не встречалось ни разу.

У меня была броня, но я пошел на фронт: как это я в такое время в тылу? И знаете, кем я был всю войну? Начальник электробатальона. Это когда людей где-нибудь на фланге не хватает, по земле растягивают проволочную сетку и пускают из укрытия ток высокого напря-

жения. Сетку уничтожить огнем невозможно, все время бомбят движок, то есть вашего покорного слугу. Если атакующий натыкается на такую сетку — человек мгновенно превращается в уголь. По законам ведения войны это категорически запрещено. Но и мы, и немцы пользовались этим и не предавали огласке. Так что перед вами — военный преступник.

Воевал я на Кавказе. В сорок втором году нас отвели на переформирование в Тбилиси. Мы шли по главной улице оборванные, запыленные, а над нами издевались сытые, шикарно одетые грузины.

В сорок четвертом, когда мы уже упустили всю немецкую армию на Северном Кавказе, объявили — опьять переформирование. А мне сказали, что нашу часть отправляют выселять кабардино-балкарцев. У меня было несколько ранений — я всегда уклонялся от госпиталя, — а тут пошел в медсанбат к знакомому врачу и сам лег в госпиталь.

По-настоящему меня контузило в сорок четвертом году, в Карпатах — подняло взрывной волной на шесть метров и шлепнуло о камень. В Москве, наверно, нет психиатрической больницы, где бы я не побывал. Сначала весь трясся — руки, ноги, голова. Мне делали продувание, чтобы разорвать спайки в мозгу. Я вам не могу передать, что это такое — как будто в голове атомный взрыв. Варварский метод.

Я был как порох. Невыдержанный товарищ. Одессит плюс контузия. В пьятьдесят первом году я себе сказал: — Исаак, посмотри на других, ты здоровее, ты можешь взять себья в руки. — Главврач говорит: — Если вы сами дошли до мысли, что можете взять себья в руки, я вас могу со спокойной совестью выписать. — Я себе каждый день по каждому поводу повторял: — А что ты будешь думать об этом через пьять лет? Забудешь. Или посмеешься. — И вот вы скажите — есть у меня выдержка?

Вы Абрама Львовича у меня видели? Россию по штемпелям знает, как мало кто. И вообще — он неплохой. А коллекционеры его терпеть не могут. И все из-за характера. Сплошные эмоции, экспансивность. Счет ведет исключительно на миллионы, грубый, крикливый. Я сам

его переношу с трудом. Это у него национальное — и, знаете, он всю войну провел в плену. Тры раза бегал и тры раза попадался у самой линии фронта. Прошел всю Украину. Везде его прятали и кормили. Скажите при нем, что украинцы — антисемиты, он вас убьот. Один раз он попал к каким-то сектантам. Они узнали, что он художник, и сами взяли его в плен — чтобы он им иконы писал. И в Бухенвальде его не выдавали. Под самый конец кто-то донес. Его вызывают на медосмотр. Это гарантированная газовая камера. Тут американский налет. Медосмотр переносится на другой день. Он всю ночь тянул себья за член, так что наутро нельзя было понять, что у него там.

Вы меня простите, что я с вами так, но выдержки и вам, сэр, не хватает. Мне Исангурин рассказывал, что вы хорошую Екатерину за денарий отдали. Варварский, говорите? Мьяу! Тогда это меняет дело. В этом я не копенгаген. Вы еще будете меня благодарить, что я вас нацелил на варваров. И все равно, нельзя показывать заинтересованность — это же гол в собственные ворота! Без ажиотажа, спокойно... Я ведь выдержал спокойно всё следствие. Пусть они там говорили, что я — страшный человек. Прямо слышу голос Яковлевой: — Он — страшный человек. — Я ее зову Гюрза Александровна. Не знаю, что она против меня имеет. Никогда никаких столкновений. Ну, это традиция того музея.

Мне все равно, что они говорят, доказать они ничего не могут. Я писал в министерство культуры, что коллекция завещана пушкинскому музею, в прокуратуру, в МВД, в ЦК. Наконец, дело нумизматов кончилось. Я могу получить всё назад. Монеты в том музее, Яковлева любезная, улыбается. Сберкнижки — на Петровке-38. Я приехал туда, комната такая-то. Подхожу к окошку, девушка мне говорит: — Обождите. — Тем временем в комнату набивается народ, все на меня смотрят. Я спрашиваю девушку, что происходит. Она говорит: — Как же не посмотреть? Сколько мы существуем, возвращаем первый раз...

Разложил я свою коллекцию и задумался. Вы мне советуете не отдавать в музей. Может быть, вы правы — там она целиком ляжет мертвым грузом, а если распадется после моей смерти — будет людей радовать. Вашу

точку зрения можно понять. Приходит ко мне Костя Голенко — мы с ним запросто. Он любитель выпить — я его угощаю, спрашиваю: — А как наш уговор? — Я вам говорил, я хотел, чтобы музей издал полный каталог моей коллекции при моей жизни — ну, чтобы в музее не растащили. Костя захмелел и говорит: — Исаак Осипович, неужели вы думаете, что музею позволят пропагандировать еврейскую коллекцию? — У меня это, знаете, вызвало внутренний протест. Я ему ничего не сказал, но завещание я порвал, отменил.

После войны монеты я стал собирать в пьятьдесят втором году. На Кузнецком Володька Соколов ко мне хорошо относился — он ко всем фронтовикам хорошо относился: — Фронтовик, есть антика. Берешь не глядя? — Я знал, что он не обманет. Античников, кроме меня, не было. Обманывать нумизмату невыгодно, тоже гол в собственные ворота. Когда я беру монету и оказывается, что это фальшак, я всегда списываю на издержки производства. Но если про мою монету скажут, что я дал фальшак, я без разговоров беру назад — репутация дороже всего.

Я обошел всех коллекционеров — старых почти никого не осталось, стал писать наследникам в другие города. Писал по тысяча двести писем в год — как правильно, по тысяча двести или по тысяче двести? Если на пьять процентов писем был отклик, считал, что затраты оправданы. Первым делом искал литературу. Вы мне раньше не верили, что монеты — дело наживное, а литература — это вещь. Узнал, что во Львове осталась часть коллекции Барчака. Это был директор банка, член художественного совета варшавского монетного двора, его уже не было в живых. С трудом нашел наследников. Ничего не знают. Только перед репатриацией в Польшу его слуга сообщил мне, что отдаст монеты Барчака за двадцать пьять тысяч. Старыми. Я занял у кого мог, вылетел во Львов. Взял. До чего там хорошие были вещи — я вам передать не могу. И как мне дешево их пришлось отдавать! Долги платить надо. Но что осталось — основа основ. И вам, синьор, мой совет — ищите коллекции. Иначе никаких денег не хватит. Коллекция должна сама себя финансировать. И вообще, собирают не в обществе. В общество ходят поговорить. Собирать надо активно.

Сколько я бегал по Москве — не могу вам сказать. В городском адресном столе на Пушечной на меня уже стали косо смотреть. А мне интересен был сам процесс поисков. Собирать надо у нас, а не на Западе. Там пришел в магазин и купил, а у нас — на такое можно выйти, чего ни в одной книге нет. Знаете, коллекционеры делятся на две категории: первая — это те, кому главное удовольствие доставать вещь, и вторая — это те, кто часами любуется тем, что у него есть. Не знаю, как вы, я принадлежу к первой категории.

Одного деятеля я долго не мог найти. Знал, не то Макаров, не то Майоров, живет где-то у Рижского вокзала. Я там почти все старые дома обошел — и, представьте себе — этот товарищ работает в одном министерстве со мной и сидит в такой же комнате этажом выше. Принес он перед началом рабочего дня, высыпал из мешочка — у меня даже в глазах потемнело: Керкинитида, Феодосия, Горгиппия. Говорит: — Мне девяносто рублей за них предлагают. — Я не выдержал, понимаете, просто сорвалось: — Я вам дам двести! — Смотрю, он собирает монеты в мешочек. — Я подумаю. — Больше я этих монет не видал. Это элементарное правило: если человек назначил цену — торгуйтесь, не говорите, что это стоит дороже. Иначе человек подумает, что у него космос, и вы этих монет не получите. Это уже не этика, а человеческая психология. В нумизматике приходится дипломатничать. И суеверия. Вы замечали — вы ведете переговоры о монете, она уже почти ваша, — стоит только в мыслях примерить, где она будет лежать в коллекции, — и монета от вас уйдет. Это все старые коллекционеры знают. И закон парности. Редкость, вы полжизни за ней гонялись, достали, и тут же приходит точно такая же. И еще нужно иметь паблисити. Вы, сэр, мало об этом заботитесь, поэтому и поступление у вас скудное. Надо, чтобы вас все знали. А вы дуете на холодное!

В четверг, в два часа дня![1] Варвара с внучками на даче, молодые в Прибалтике. Я сижу один, вдруг шаги в коридоре. Входят двое. Я:

— Вы как сюда попали!

[1] 21 июля 1977 г.

Старший, лет сорока:

— Сейчас поймешь. — Младшему: — Забери его! — и сам прямо с чемоданом к шкафчику.

Младший ведет меня в уборную и начинает привьязывать к сидению. Вьяжет профессионально, ласточкой — освободиться невозможно. Тот, старший, видно — жестокий человек, а этот, лет под тридцать, скорее — даже приятный. Говорит:

— Что у тебя, батя, руки не дрожат? На фронте был?

— Был.

— Ты, папаша, не огорчайся. Ты всю жизнь советскую власть грабил, а теперь — тебя. Ты думай о чем-нибудь хорошем. Было у тебя в жизни что-нибудь хорошее. Руки вместе!

— Не могу. Рука сломана. Я здесь погибну — жена приедет не раньше, чем через неделю.

— Не волнуйся, батя, о тебе позаботятся. Открой рот!

И запихивает мне в рот полотенце. Я завожу язык вбок под протез, чтобы образовался рычаг. Слышу, как старший пересыпает монеты с планшеток прямо в чемодан. Кричит:

— Поторапливайся! Он ждать не будет.

Он — это поезд. Я понял. Старшего я узнал. Его ко мне приводил Саша Петренко из Киева. Он целый вечер сидел, молчал.

Ушли. Я начинаю отхаркивать изо рта кляп — горло в кровь сорвал. И вставной челюстью помогаю. Минут сорок я так проработал — наконец выплюнул. Вздохнул — а то уже начал задыхаться: легкое у меня одно. Теперь надо развьязываться. Руки я не дал плотно свьязать — небольшой простор есть. Развьязывался я часа три, не меньше. Вышел в комнату и — представьте себе — чувствую счастье: в окне свет, и я жив. И все равно, что шкафчик открытый, пустой. Телефоны оба оборваны — вьязали меня телефонным шнуром. Пошел звонить к соседям. Через полчаса у меня в квартире было человек пьятьдесят милиции. Вдруг звонок в дверь. Я открываю: Миша Опенченко. У которого я камею купил. Я всегда считал, что он из КГБ. Думал: пускай смотрит. А тут я подумал: может, это обо мне позаботились? Знаете, всякое приходит в голову. Смотрю, он с

милицией запанибрата. Мне говорит: — Можно я к вам попозже зайду с товарищем? Он — генерал КГБ. — Пришли часов в двенадцать ночи. Разговор был неофициальный. Может быть, им надо было узнать, что я думаю. Этот дядька — не знаю, генерал он или не генерал — говорит: — Мы свяжемся с Интерполом. За пределы Советского Союза коллекция не выйдет, за это я ручаюсь. — Не знаю, как можно ручаться. Я узнавал — коллекцию можно провезти, по сути дела, в открытую — в реквизите любого театра. Ни один работник таможни не заглянет.

Вот, Андрэй Яковлевич. Я учил вас, как собирать коллекцию, теперь я учу вас, как ее терять. Смотрите — я выхожу из себя? У меня дрожат руки? А я нисколько не обольщаюсь. Шансы на возврат коллекции — пьять процентов.

Новости? Ноль-ноль. Они не хотят искать. Трех следователей сменили. Сашу Петренко убрали из Киева — чтобы нельзя было допросить. У вас отпечатки пальцев снимали? И у моего соавтора не снимали. Я месяц добивался, чтобы сняли у меня. Сняли и говорят, что не получилось. Ни на планшетках, ни на телефонах отпечатков не обнаружено. Я же сам видел, что они работали без перчаток. И были прекрасно информированы, что я один. Великолепная наводка! Выполняли заказ. И ничего не боялись, пришли без масок. И я себе задаю вопрос: почему они меня не уничтожили? Я их видел, могу опознать. В МУРе мне показывали картотеку — всё не то. Фоторобот — они меня измучили, пока я не сказал: — Что вы мне все время шесть-семь комбинаций показываете?

Я писал во все инстанции, ходил на прием. В МВД со мной разговаривали так любезно, что мне не понравилось. Товарищ из КГБ предупредил, чтобы я не выходил на улицу и чтобы дверь открывали только своим. Что меня могут уничтожить. Наверно, не надо было поднимать шум, это бесцельно — но это же не в моем характере. Я бы себя загрыз, что ничего не предпринял.

Я давно задумывался — еще до дела нумизматов, как говорил Остап Бендер, до исторического материализма — совместимо ли коллекционирование с социализмом, и

пришел к выводу, что нет. Пока вы собираете современные фишки или ярлычки — пожалуйста. Но как только ваша коллекция приобретает серьезный характер — она уже вызов. Я имею в виду вообще, не нас — у нас коллекционирование на чрезвычайно низком уровне. Вы знаете, что коллекционирование — показатель культуры? Вы не задумывались, что у нас все коллекционеры в РСФСР и на Украине? На всё Закавказье — несколько нумизматов. В Средней Азии — тоже два-три. По статистике на земном шаре десять миллионов нумизматов. В США — пьять миллионов. В Японии — два с половиной. У нас — от силы несколько сот. Это я беру вместе с собирателями. Надо различать: собиратель — это хобби, коллекционер — это исследование.

Варвара была права. Она давно говорила: у тебя проходной двор, ты всё всем показываешь, убери хотя бы самое ценное. Мой учитель Михаил Александрович Зи́льберман тоже меня ругал. Он никогда не показывал — выносил одну-две монеты. Я, любимый ученик, никогда не видел его коллекции! Надо было мне, старому дураку, головку коллекции положить — ну хоть в письменный стол. Хотя бы Юдею.

Я Юдеей заинтересовался во время дела врачей. Из чувства внутреннего протеста — я же не националист, избави Боже! Пи́ка вы знаете — по Причерноморью? Беренд Пик. Я не предполагал, что он еврэй. Перед уничтожением, в гитлеровском концлагере, он задумался над проблемами юдейской нумизматики — он никогда ей не занимался, а тут дал ответ на несколько важных вопросов. Записи сохранились.

Ваш покорный слуга — не Пик. Но кое-что мог бы сказать и я. Считается, что чеканка меди Второго восстания — Бар-Кохбы — имела хаотический, бессистемный характер. Перечеканивалось всё, что попадалось под руку. Медной денежной единицы нет. А я предположил, что не было. Что мельчайший медный номинал — две единицы. И знаете — все совпадает. Все веса меди.

Или еще вопрос: почему на монетах Бар-Кохбы так много виноградной символики? Юдея была для Рыма беспокойной провинцией. Рымляне в каждом ничтожном се-

лении держали гарнизон. Передвижение строжайше контролировалось. Когда могли юдеи сорганизоваться? Только в праздник кущей — это время созревания винограда, когда по религиозной традиции юдеям полагалось переселяться в поле — тогда они могли переходить с места на место. Значит, начало восстания — сентябрь 132 года.

Не могу читать газеты. Уже даже не стараются, чтобы выглядело правдоподобно. Меня это возмущает до глубины души. Знаете, что мы перегнали Америку по преступности? И ни в какой другой области больше! Только хвалим себя, а если задуматься — когда продавщица обвешивает вас, грубит — это норма. А как может быть иначе? В чьих руках реальная власть? Интеллигенцию истребили — вы знаете, какая была русская интеллигенция? Чтобы вырастить новую интеллигенцию, нужно двести лет — это минимум! Вы когда-нибудь слышали, что Ленин — жестокий человек? Очень жестокий. Любая власть — какая бы после революции ни установилась — разве было бы столько жертв? Я, дурак, всю жизнь всему верил — был идеалистом, не в религиозном смысле, конечно. Теперь я по своим убеждениям еврокоммунист. Парфентьев Николай Платонович — кристальнейший человек, старый член партии — заходит, посидим мы с ним, потолкуем, говорит: — Что, Исаак, пора билет на стол класть?

А вы, сэр, не сердитесь, — но вы не хотите додумывать до конца. Вот скажите, есть в Советском Союзе антисемитизм? Да? А я об этом даже слушать не хочу. Вы подумайте о крымских татарах!

Новости? Мои монеты в феврале продавались на аукционе Сотби, в июне — у Кристи. Более ста пьятидесяти штук. Один каталог мне Анохин прислал, другой — фотокопия из того музея. Яковлева не хотела давать — только по требованию прокуратуры. Второй — без цен. В первом двадцать монет — не лучших — прошли за полторы тысячи фунтов. Я думаю, можно экстраполировать — за тры тысячи моих монет получается в долларах солидная сумма. Я написал в ЦК о значительной материальной ценности коллекции — зашевелились. Говорят: — Во время дела нумизматов надо было все изъять, тогда не было бы никаких ограблений. Культура, история — это им

непонятно. В Интерпол мы не входим. Связались с Сотби через посольство в Лондоне. Те требуют доказательств, что это моя собственность. Я послал им таблицы Боспора — что Исангурин снимал — с описаниями. Но это же безнадежно.

Что вы слышали о Турынской Плащанице?

1980

ДИМА РОЩИН

Дима Рощин похож на ласкового сома. В курилке он слушает, напрягая ухо поздоровее, и ждет своей очереди.

На краю скамьи за пятой подряд папиросой мучается Сокол, полковник авиации:

— Я столько знаю. Столько хочу рассказать. Слова́ забыл...

Интеллигент-интендант, тоже полковник, помнит слова, но забыл все, что знал.

Волокнистый Коля Ниткин в который раз переживает развод, происходящий теперь, в его отсутствие.

— Это же ужасно! — всхлипывает он и опять вдается в подробности. Он не понимает, что жена его — лесбиянка, и тут же сбивается на колбасу, которую против технологии делают из мороженого мяса, и кончает мечтой об ондатровой шапке.

Завмаг Харкотин, или Квадрат, пересиживает ревизию. Он спускает соплю на кафель и объясняет, какую импортную обувь надо хватать.

— Видал во сне, будто Германия сама себя уничтожила. Не знаю, верно ли? — это курчавый старик-шизофреник. Когда меня положили, он кричал, что еда отравлена, а стул под ним поджигают. В сороковых он сидел за опоздание, по указу. В Казахстане у него вылезли волосы. Поляки научили его втирать в голову отвар медуницы. — Выпишусь — куплю портвейна, есть он? А церкви сейчас открыты? Внука надо сводить. А Новодевичий?

Приземистый Фантомас — социолог тридцатых годов. Отбыл семнадцать, после реабилитации сошелся с молоденькой. Через год она его бросила.

— Жаль, я ее не убил. Я бы осуществил свое право на самооборону. По нашим законам мне дали бы не больше семи. Это пустяк по сравнению с инфарктом и инсультом. Сидеть я умею. Жаль, что не убил.

По воскресеньям к Фантомасу приходит жена-еврейка, старая большевичка.

Диму ежедневно навещают дети. Старшая дочь, живая, очаровательная — актриса у Вахтангова и играет на ксилофоне. Под Новый год она организовала нам эстрадный концерт. Программа вышла вся в лист. Даже из Островского пьяный лакей оправдывался:

— Да что я, сумасшедший, чтобы напиваться?

Средняя дочь — белесая, в мать. Младшая — студентка, самая красивая, но безжизненная. Дима помогает ей решать технические задачи. Четырнадцатилетний сын от рождения не вставал. Жена к Диме сама не придет: слепая.

В будни дочери забегают по дороге и после передачи кричат в окно. Кто-нибудь слушает и транслирует Диме в ухо.

Окна забиты гвоздями. В двадцать пятом отсюда сбежал в Ленинград кончать с собою Есенин. После войны здесь лечили сына Мао. Он ел собственный кал. Основатель клиники пользовал Софью Андреевну.

На тумбочке у Димы — букетик и яркая открыточка.

— Надо жить, где сидишь, — говорит он. Он дождался своей очереди. — Прожил всю жизнь, как Тартарен из Тараскона, ебена мать, ни хуя не видал, ебена мать. На Магнитке поселили в бараках. Кушать надо. Я продал бостоновый костюм. Прихожу с работы — друг, который купил, мочит костюм в керосине, от вшей. Для этого шайку украл. И прав. Если все воры, то и ловить незачем. Три дня мочил. Надел, воняет. Говорит: — Казнь. — Я ему говорю: — Физическая казнь только укрепляет нервы. — А если я заболею? — Если б не было болезней, не было бы и здоровья.

Мой сосед по палате, шахтер, ухмыляется. Брат-аппаратчик перевел его сюда из Новой Александрии. Три дня он лежал лицом к стенке. Потом разговорились.

— Почему, когда американский фильм посмотришь, чувствуешь себя человеком, а когда наш — говном? — Он угощает меня *честными* сигаретами «Кэмел» —

брат принес из буфета. Для шахтера хорошая справка при выписке — вопрос жизни. Под землей платят двести пятьдесят, на земле — сотню. А на нем больная мать, жена и детишки. В первый день он выслушал врачиху и вслух решил:

— Вы ниже меня по развитию и ничего не поймете. Я с вами говорить не буду.

— Не хотите говорить — пишите! — ниже его по развитию сунула ему лист бумаги.

— Да вы что? В КГБ, что ли?— прикончил ее шахтер. Пришлось дать ему настоящего доктора. Он ожил и учинил со мной товари́щеский суд над Ваней-Мегатонной за аморалку к персоналу.

Мегатонна — здоровенный номенклатурщик с Алтая — выискивает у себя рак. Рентгеном ему доказали, что в легких чисто. Он переключился на рак желудка. На обходе профессор Банщиков стучит ему кулаком по лбу:

— Тут у тебя болит.

Светоч — тоже номенклатурщик, но пожилой. Перед седьмым ноября исчез из дому. Приехал через неделю в такси, голый, без денег. Где был — не помнит, имя свое путает.

— Дайте закурить, — Светоч лучится. Курить ему категорически запрещено.

— А ты где?

— Как где? В доме.

— В каком доме?

— В хорошем.

— А мы кто?

— Вы — мои друзья. — С каждым ответом Светоч лучится все ярче. Курить ему не дают, и он роется в урне с окурками.

Разговор с ним — варварское подражание подслушанной беседе с Каты́ковым. Для показа студентам такого искали по всей стране. Кавказский еврей, инженер Катыков упал на стройке с плотины. Ему пятьдесят семь лет, в Москве у него два взрослых сына.

Врач спросил:

— Сколько вам лет?

— Сорок семь.

— А не пятьдесят семь?

— Нет, сорок семь.
— В каком году вы родились?
— В сорок седьмом.
— А какой год сейчас?
— Тоже сорок седьмой.
— Вы женаты?
— Да.
— Дети у вас есть?
— Да.
— Сколько?
— Четыре дочери.
— Они замужем?
— Да.
— За кем?
— За мной.
— А как жена к этому относится?
— Я не знаю.
— Где вы сейчас находитесь?
— Мингечаургэсстрой!
— Вы тут работаете?
— Да.
— А мы кто?
— Вы рабочие.
— Почему же на нас белые халаты?
— На мне тоже белый халат.

Катыков не может найти уборную и делает прямо в пижаму. Его доводят до курилки, и он трясет из штанов в раковину, над которой бухгалтер — по общему мнению, ка́щенский — часами моет яблоки мылом. Бухгалтер божится, что работал сержантом в военкомате. Он часто теряет вставные челюсти и пытается бить сестер.

Бывший десантник Куликов рассказывает про демобилизацию. В Вильнюсе на вокзале разведрота впервые за войну увидела милиционера в форме. Милиционера затыкали пальцами в спину, в грудь, в бока. — Ребята, за что? — Да ты нам четыре года не попадался!

27 декабря 1969 года Александр Кириллович Цацков, алкоголик, насмотрелся по телевизору на американские зверства во Вьетнаме и вывел:

— А хули? Они же солдаты. Я в Восточной Пруссии танком целую колонну беженцев проутюжил.

Все умолкают. Я срываюсь:

— Сволочь!

— Они же фашисты...

— Сам ты фашист. Иди отсюда!

Меня успокаивают. Цацков уходит. Дима объясняет:

— Жисть, Андрюша, это сплошная унылая пьянка. Заметь, пьяники говорят не жизнь, а жисть. В этом слове жестокость. С точки зрения высшей философии деньги надо пропить, а не оставлять детям — от денег им одно зло будет. Домой я ношу получку — и ни-ни.

Дима — король прессформы. К нему ездят с Урала, с Дальнего Востока. Все наши пластмассовые стаканы, миски, банки отштампованы не без его участия. Стекло в клинике запрещено.

— Четыре сотни с премии положил на книжку у «Метрополя». С сотней — в главк, подписывать. Взятка — двигатель прогресса. Поехали в шашлычную у «Повторного», само собой, запаслись адеквантно. Он покушал и с бутылкой в туалет. Потом я. Выпил, думаю: куда он, сукин сын, бутылку спрятал? Поднимаю крышку бачка — его уже там. Тогда при царе Хрущеве эпидемия дружинников была. Перебазировались в шашлычную на Пушкинской. Добавили. Потом поехали на Арбат. Людей встретили, такси на весь день. Таксист — тоже человек. Он в туалете водку в жопу клизмой вливал, чтобы изо рта не пахло. Алкхимик — Раппопортом не возьмешь! Так вот я к этому самому «Метрополю» четыре раза гонял. Снимаю по сотне, а они удивляются. Допивали во дворе на строительстве каком-то ночью. Вот он и подписал. Я — гипнозитор, мужиков, как рентген, вижу. Баб — нет, врать не буду. На фешенебельном курорте одна такая культурная: — Дима, купи то, Дима, купи это, а до дела дошло — скрутила динамо.

— Богатый про муку́ да про землю, а бедный все про еблю. — Вологодский конвой бросил курить и совсем озлел. Днем и ночью лежит — не спит.

Меня доканывают кошмары. Я просыпаюсь в четыре-пять. Дальше спать тем же образом я не согласен. Окна в доме напротив еще черные. Днем из них могут смотреть, как мы за кирпичной стеной, в пальто и пижамах, считаем круги психодрома. Круг — пятьдесят шагов. Дима старается за день пройти кругов сто.

Я направляюсь в курилку. В спину с дивана смотрит дежурная сестра. Вскоре приходит Дима. Ему не дает спать свист в ушах.

— Не спишь, Андрюша? Это ничего, в темноте размышлять легче... Есть ум высшей философии, который знает, что Бога нет, а есть космос. Космос он живой. Было бы уродство, если бы жили на одной земле и такие вши, как мы. Поэтому надо в рай не метить, всё пропивать и помирать спокойно. Всё продезинфицировано: десять лет в земле жить будешь. Помри сам — дай жить массáм, пусть мучаются. А пьяники — они разные. Скажем, алкоголик пьет по философской причине. Пьяница — ни то ни сё. Пропойца последнюю рубашку пропивает. Блядуны тоже разные. Ты — блядун за собственный счет. Я тебе не надоел? С точки зрения высшей философии, лучше всего встать в пять утра, улизнуть из дому, чтобы никто не заметил, дождаться первого метро и доехать до Юго-Западной. Как в песне «Выхожу один я на дорогу». Углубиться в лес, предаться размышлениям, дойти до Внукова. Посмотреть с высшей точки зрения на взлетающие самолеты, выпить — и опять в лес, подальше от цивилизации...

P. S. В Пятом, сосудистом, от свиста в ушах Диму не вылечили и перевели в хирургию. Там обнаружили злокачественную опухоль.

1970

ПРОЦЕДУРНАЯ СЕСТРА

Скорее высокая, почти представительная. Держится в стороне. Ко мне привыкла. Часто мы разговариваем.

— Если б я знала, что «Восхождение» про партизан, я бы обязательно пошла. Хорошая картина?

— Всем нравится. Там партизана показали Христосиком. Мне не понравилось.

— Конечно. Какой Христосик? Как звери, в лесу жили. Два года ни помыться, ни переодеться. Ляжешь спать и не знаешь, встанешь или нет. Пойдешь и не знаешь, придешь или нет...

Она останавливается. Я изо всех сил стараюсь сделать так, чтобы она продолжала. Как всегда, тихо:

— Сколько народу поубивали... Всё свои своих. Немцы-то нас долго не трогали. Мы их, считайте, что и не видели... В лесу, знаете как? Незнакомый человек — значит, враг. А для ками́нцев — каждый в лесу — партизан. И партизаны тоже: — Не дашь еду — убьем. — А у того, может, последнее — и детишки мал-мала́ меньше...

— Вроде гражданской войны.

— Да... Я, знаете, как к ним попала? Я в медучилище была, когда немцы пришли. Мне так нехорошо стало, что, понимаете, всё наше было и вдруг нет. Не знала, что делать. Подумала, что учительница литературы у нас была — она должна знать и, наверно, у нее связь с лесом. Я к ней пришла, говорю: хочу в лес. Только сначала хочу посмотреть, какие там люди. Она меня знала, поверила. Сказала, куда прийти. Я им там на стол подам и посмотрю. Я вошла, а она говорит: это свой человек. А они в полушубках за столом...

— Кто были командиры? Подпольщиков оставляли?

— Что вы... Тогда так бежали...

— Из Москвы присылали?

— Может, под самый конец...

— Значит, местные?

— И местные. У меня командир был капитан, окруженец. Окруженцев много было. И бежавших из плена.

— Я слышал, в Белоруссии и в ваших краях евреев не выдавали, прятали.

— Как же! Был у нас доктор. Такой красивый, тихий. Он не мог эвакуироваться. Он был... в интимной связи... с женщиной. А она рожала. Моя приятельница его прятала. Я ему автомат передала. Кто-то донес. Пришли искать. Он во дворе в стог сена залез, стали сено штыками протыкать — он испугался, что ли — дал по кругу из автомата. Его так издалека и расстреляли. Ками́нцы.

— А самого Каминского вы видели?

— Как вас.

— Какой он был?

— Невысокого роста. Худощавый. Нос орлиный. Волосы светлые, гладко зачесаны.

— Вежливый или кричал?

— Культурный. Но прикрикнуть — мог.

— В немецкой форме?

— Нет, ни нашей, ни немецкой никогда не носил. Кожаное пальто.

— Откуда он?

— До войны был директор водочного завода в Локте. Локоть — городок такой под Брянском. Красивый-красивый, зеленый весь.

— Значит, партийный был?

— Член партии.

— А что с ним стало?

— Немцы убили. При отступлении. Сначала сделали бургомистром, потом бригадным генералом — так и называлось: бригада Каминского.

— Вы не помните, какие нарукавные повязки были у полицаев? Нужно было для киносъемок, а никто не знал.

— Каминцы в немецкой форме ходили. И нашивки: РОНА. А были еще РОА.

— Нет, деревенские полицаи, в гражданском?

— Не помню, не обращала внимания.

— Понимаете, должна быть повязка на пиджак. Пиджак мог быть какого угодно цвета. Значит, надо, чтобы она выделялась. Яркая.

— Желтоватая...

— И никто не знает, что на ней было нарисовано или написано?

— Не помню...

— А если написано, то по-русски или по-немецки? Простым шрифтом или готическим?

— Готическим! Вспомнила: ПОЛИЦАЙ. Что повязки — людей забыли. Я вот думаю: Зоя Космодемьянская. А моя подруга пошла на задание, и её в прорубь спустили. Чем она хуже Зои? А Тося Дубровская секретаршей у Каминского работала, только и слышала: немецкая овчарка. Немецкие овчарки тоже разные были. Мы через Тосю всё наперед знали. Она и листовки печатала — я от нее корзинами носила. Вот так дверь Каминского, так ее стол. Мимо ходят все время, а она печатает. Это страшней, чем на фронте — там все свои, а тут все чужие. Так когда

наши пришли — ей не поверили. Она с ума сошла. Ну, скажите, разве она хуже Зои? А ее в заключение...

— Знаете, какая медаль самая редкая? Партизан Отечественной войны. Сколько партизан было и сколько осталось?

— Да, это точно... Меня как медсестру — еще война шла — послали в Бурят-Монголию на сифилис, на эпидемию. Удостоверение у меня есть, а саму медаль я не получила.

— Как же! Получи́те! Напишите в военкомат — может, еще не поздно.

— Нет, никуда я писать не стану. И зачем мне она?

— Сыну вашему будет приятно.

— Сыну я ничего не рассказывала. Не посвящала.

— Все равно он узнает. Прочтет о партизанах, заговорит — вы ему и расскажете — как мне.

Качает головой.

— Прочитала я, что вы мне давали...[1]

Скажите, ну как это пишут? Один человек всё сделал! Да у нас только расстреляли сто человек, а сколько арестовали, а сколько не тронули — никто на них не показал... Под пытками, знаете, как было — даже осуждать нельзя, если кто скажет. Следователю был Процюк — от него, кроме как замертво, не выносили. Я всех следователей знала. Андриевского не было. Был Баранов — плотный, вроде вас, а голова — как у девушки. Молодой, черты тонкие, красивые. И манеры — так за неделю не научишься. Я к нему все присматривалась, дурака он валяет или немцам прислуживает. Если это он — как он мог не знать, что в Локте такое подполье? Зачем ему вербовать пленных, когда рядом Тося? И мы, считайте, все в открытую делали. Я сейчас своей дурной головой и то понимаю, что никакой конспирации не соблюдали. А когда наши стали подходить, мы совсем голову потеряли. Вот и провал. А это уже немцы были. Сколько народу поубивали!

У меня тетка была. Ее замуж выдали — знаете, прежде не выходили замуж и не женились, а родители выда-

[1] Сборник «Чекисты». Анонимный рассказ о том, что в Локте (у чекистов — в ЛокОте) была школа абвера и в нее проник герой-разведчик.

вали и женили. Так ее выдали за сына земского врача. Этот земский врач был — невысокий такой и борода — Карл Маркс! А добрый! Он в тридцать втором от голода умер. И он, и его жена. Дети у него высшее образование имели, а этот сын был немой. Мастер на все руки! И надо же, немцы его повесили. Схватили, решили, что партизан. Допрашивали, а он ни слова сказать не может. Они думали, что нарочно молчит — и мучили! Нос ему отрезали, уши... Чуть не забыла предупредить — завтра утром меня не будет. Вызывают.

Конверт на машинке. Обратный адрес: Лубянка 12-а. Повестка: в качестве свидетеля.

Я: — Мало приятного.

— Я уж привыкла... Опознание. Тогда в войну на месте стреляли — и ничего. А прошлый раз — я и не сразу узнала. Тридцать лет прошло. Он все прятался. В Сибири. Наверно, не рад, что тогда не убили. Был нашим следователем, потом следователем у немцев. Что может быть гаже? А я смотрю: старый, отечный. Мне — поверите — его жалко стало...

1978—82

СОСЕД ПО ОЧЕРЕДИ

Лук я в шанхае брал. Красивый лук, посмотрите, приятный. Шанхай — это ж та палаточка на кругу, сельпо. Как на селе, ничего нет. А мне на село и ехать. Хоть самогоночки там попью: водка невкусная стала. Нам отпуск летом дают через два года на третий. Я на Петровке-38 работаю. Плохая работа. Раньше лучше работал. В охране. У Лаврентия Павловича. И у Лазаря Моисеевича и Вячеслава Михайловича. И Иосифа Виссарионовича. А когда Маленков расстрелял Лаврентия Павловича на Дзержинского-1, у нас оружие отобрали и — убирайтесь. Конечно, так не сказали, а на Огарева-6 на перекомиссию. Не годен. Был годен, теперь не годен. Я не спорю, три раза контужен — заметьте, когда? В сорок седьмом. А война когда кончилась? А? И ранило-то меня аж дома. На Черниговщине. С бандерами воевали. Знаете, как в своих стрелять неприятно. А что делать? При-

каз. Прямо рядом со мной мина жахнула. Вот и дошел до Петровки. Я не вру — вот смотрите. Удостоверение. И шесть лет продвижение мне задерживают.

И какая работа? Знаете будочку ГАИ у развилки Волоколамского шоссе? Ее еще на двадцать семь метров назад передвинули. Летом у жены Насера «Волгу» угнали. Правое переднее крыло помято, заднее сидение залито красной краской. Задерживали при выезде все машины, смотрели номер мотора, номер ша́сси — не нашли. А на Ленинградском проспекте-22 у болгарского посольства две «Волги» угнали. Эти сразу в Химках нашли в лесочке — колеса посняты. В курортный сезон колеса — ох дорогие! И главное — сняты дипломатические номера. С ними ж — проезд! Плохая работа.

И старший сын у меня пропал. Был в Венгрии — и полгода ни звука. В армию брали четыре раза. Как Симонян посмотрит, так говорит: оставить до следующего мчта. Я хохол, я считаю, что человека надо ломать один раз, а не четыре. А взяли — и на три месяца под Тамбов на картошку. А он мастер спорта. Потом получаю письмо: папочка, я уже в Венгрии и ни в какой воинской части, играю в футбол. Карточки присылал — поглядите — везде в гражданском. А после в Тирасполе была товарищеская встреча с венграми. У их вратаря травма. Ну, моего и поставили. Пишет: папочка, стою я в воротах и играю против своих. А играть надо честно. Венгры и выиграли 2:1. Ребята на моего косо смотрят, а венгры ему за честность майку подарили и вымпел. А сейчас пропал. Может, в Чехословакии.

И младший сын мой пропал. Мы в том кирпичном доме живем. Так позавчера ребятишки от четвертого до шестого класса огонь на чердаке развели. Голуби у них там, хлеб накрошен, пшено. А сотрудница забирает вчера моего на мосту. Он же в восьмом классе, а там были от четвертого до шестого. Ничего не докажешь. Она говорит:

— Как же это, вы работаете на Петровке-38, а сын у вас вон что делает?

Я ей сказал:

— Так это ж я работаю там, тут-то я отдыхаю!

1969

ВОРКУТЯНКА

— Фу, пробежалась я за этим троллейбусом — как нормы сдавала. Зарядочка получилась. Утром-то я сама йогами, а сейчас после обеда — дело другое. Ну, ничего, пусть организм поработает. Зато уж как села — до самой гостиницы, — я там полтора месяца живу.

— Вы приезжие?

— Как же, гражданочка, я с Воркуты.

— Холодно у вас там.

— А то как же! Не так, как тут. Сейчас приеду, а там — тридцать градусов мороза.

— Это в апреле?

— А то как же!

— А летом жарко?

— Жарко. Как теперь у вас, градуса три.

— Я вот никогда из Москвы не выезжала.

— Ну, и сиди в своей Москве. Чего я тут не видала? Толкотня одна.

— Да у меня сын. Лучше, чем в Москве, нигде образование не получит.

— Что оно, твое образование? Муж у меня всю жизнь землю копал. А сейчас ему сорок два года, а он тысячу рублей получает. Депутат. Везде ему почет. Вся Воркута на него не нарадуется. А то как же! Был бы человек, образование твое — тьфу! Важно, кто как с людьми касается. Нам образованных с Ленинграда присылают, так они ни туда ни сюда, на черной работе сидят. Я сама геолог, в Ленинграде кончила, а восемьсот получаю, меньше мужа, а все равно не то, что вы тут. У меня брат в Ленинграде. Приеду — так то секретер ему купи, то еще что. Я уж стала в гостиницах жить, ему не докладываюсь. А муж — как в гору пошел, заставили его в Воркуте техникум кончить: неудобно, начальник партии.

— Эт что, на партийной работе?

— Ну, нет. Он у меня чалдон, старовер.

— Старовер?

— Да не так старовер, а так — ничего нового не признает. У него тяжелый ревмокардит, а он с врачами — ни-ни. Говорит, лучше так помру. А вообще, хороший человек — и образование ни при чем. Образование для

чего нужно? Для работы. Ну, и в смысле этики тоже дает. Только все дело в человеке. Пусть твой образованный сын человеком будет.

— Это точно.

— А то как же! У вас тут все образованные, а посмотреть — как одеты? Да у нас каждая воркутянка в собольей шапке ходит. Без хорошей шубы на улицу выйти стыдно. Я уж сюда золота не везла — еще забуду где, — а так у меня браслеты по пятьсот рублей. А вещи здесь я беру только в доме моделей. Туфли по семьдесят рублей. У них кожа хорошая, шевро, а как шьют! Пять лет не износишь. Я свои одни четыре года ношу, не знаю, когда сносятся, надоели уже. Сейчас еще шесть пар забрала, на несколько лет хватит. Вернусь домой, приоденусь — так буду выглядеть! Я до пятидесяти лет молодая была, а вот уже три года как рак желудка. За лекарствами я в Молдавию ездила и на Кавказ. На Кавказе травы́ на пятьсот рублей купила — пять рублей грамм. Сейчас еду из герценовского института. Там рентгенолог один хороший, Соломон Яковлевич, армянин, что ли...

— Может, грузин?

— Так я ему прямо говорю: ты мне скажи, надо операцию делать или не надо, а то после ваших операций люди больше полгода не живут.

— Это точно.

— А то как же! Так он мне говорит: не надо. Пей, что пила. Я и пью и еще йогами по утрам.

— Для дыхания?

— Какой для дыхания! Я с шестнадцати лет этим занимаюсь, только теперь узнала, что это йоги. Питаюсь медом и творогом с базара. Сейчас на Кирова в диетической столовой кушала, там всё протертое. За три года ни грамма не потеряла. Как было сорок семь кило, так и есть сорок семь. Чего ты на меня вылупилась? Ну да, видно, если смотреть. Мне с лицом пластическую операцию сделали. На что же еще Москва? Конечно, и магазины. Дочке на тысяча пятьсот рублей одежды купила.

— Большая уже?

— Восемнадцать лет. Мы ее в три с половиной года взяли. Оказалась больная. Что вот этот столб, то и она. Мне женщины говорят: что ты ее наряжаешь, все бе́з

толку. У нее замашки, как у мужика — сидит, ноги расставит. А мы все стараемся, против врачей — может, в ней что человеческое появится. Я из-за нее с шести лет по милициям таскаюсь. Особо опасный случай. Что хочешь, может. Диагноз у нее — пять страниц! Поражение головного мозга во чреве матери. Она в заключении родилась. Ей пожизненно пенсия и инвалидный дом закрытого типа. Мне врачи говорят: если вы погибнете, мы ее от вашего мужа сразу отберем, должны.

1973

АРХЕОЛОГ

I

Ленинград 29 дек. 67 г.

Уважаемая Евгения Ивановна!

Вы можете мне не отвечать, если почему-либо не захотите.

В 1966 г. под Ленинградом умерла моя двоюродная тетя Анна Томашевич 91 г. При разборе имущества были обнаружены разные вещи, книги, письма, записки... Среди них — Павперова Анатолия Петровича. Как попали они к покойной и когда, я пока не смогла установить.

Писала по нескольким адресам в Москву, Харьков, Курск, Мирополье, Одессу, Борисоглебск, село Козловку и др. Откуда отвечали, откуда нет.

Осенью в сент. я попросила ленинградскую знакомую, у которой сестра в Москве, сходить по адресу: Большая Екатерининская ул. 5/а, кв. 5 — Ирина Никитична, Женя и Вера Михайловы. Там ей дали Ваш адрес. Так по ниточке я дошла до Вас.

Есть ценности и нужно их отдать владельцу, если он жив, а также архив. Во-вторых, я заинтересовалась этим человеком такой характерной судьбы. Может, Вы что знаете о нем?

Время с 1915—1935 прослеживается, а дальше неизвестность. Нет ни одной фотографии. Похоже, кое-что изъято или утрачено. Письма... открытки, простые и художественные, вырезки из газет и журналов с его стихотворения-

ми под псевдонимами Перов, Пов, Кауров, Миропольский, Дегун, Б-ский. Корреспондентские билеты редакции военной газеты «Красная звезда» 1925—1926 гг., статьи под полной фамилией, пропуска, деловые документы... Ваших писем больше 10: с 1915—1922 гг. из Москвы, Саратова, Ахтубы.

Волей-неволей *для поисков* при изучении, сопоставлении мне пришлось все письма вообще читать. В частности, вот это письмо мне много дало. Оно начинается с благодарности Вам за предложение перейти на «ты» и дальше идет объяснение, почему он бы не хотел этого... Когда это было?

В одном из блокнотов в пакете на личные темы есть слова, относящиеся, видимо, к началу 1919 г.: «Недавно я сделал предложение Жене Михайловой. Ответа нет, а если и будет, то отрицательный...» Когда я прочитала телеграмму за подписью «Женя» и определенного содержания 1922 г., то решила, что вы все-таки поженились. Но в россыпи я нашла данные, из которых узнала, что это медсестра клиники Женя Янсон, эстонка, его жена. Я ходила по адресу, где они жили, близко от клиники, но безрезультатно. Война стерла все следы.

Хорошо, что все стихотворения имеют даты и место написания. Читаю: «Екатеринбург, VI—1929 г.». Заглавие: «Пармская обитель». А в упомянутом письме к Вам он пишет намеками о двух годах с 1919 февраля, когда он уехал из Москвы на Восточный фронт, и до 1921 г., как о кошмарных... Он ссылается на «Les Misérables». Но у Гюго Жан Вальжан спасается от погони в женском монастыре! Опять загадка...

Может, Вам что скажут фамилии адресатов или имена. Тоня Ковтуненко, Ксения Колосова, Надежда Дегун. Эти три писали на фронт из Мирополья в 459-й Миропольский полк. Надя Дегун — на русском, украинском, немецком и французском языках. Она в 1917 г. была невестой А. П. Видимо, Октябрь разрушил планы... Она стремилась в Москву, и они хотели встретиться в Одессе. И опять «белое пятно»! Но какой интересный духовный мир открывается в письмах «барышень», что я прочитала.

Из Б-ка получила ответ: «А. П. в Б-ке нет с 1933 г. Сведений нет». Из села Козловки не ответили, хотя он там родился. Никого, значит, не осталось... Тридцатые

годы были смутным временем. Всё, кажется, могло случиться...

В блокноте есть мысль, что письма и проч. жаль *выкидывать*, а он бы изорвал и развеял в лесу... Так я и сделаю, когда удостоверюсь в его смерти. Прошу, если можно, черкнуть хотя несколько слов.

С приветом

В. З.

II

Ленинград 18—19/I—68 г.

Сердечная, уважаемая Евгения Ивановна!

Благодарю, благодарю за письмо!.. Но как я виновата перед Вами... ведь я просила коротко сообщить... Видно, я неясно написала и затруднила Вас большим воспоминанием... простите, пожалуйста!

Вы пишете, что мне следовало бы начать с Юзи Томашевич. Но откуда мне было знать?.. Тетю звали Анна Владиславовна Томаш. Никогда я от нее про Юзефину Цезаревну не слышала. Томашевич не столь редкая фамилия. Однако, прочитав после Вашего письма все три небольших за подписью «Юзя», я вижу, что, несомненно, она — родня А. П. Конечно, уезжая, А. П. мог отдать ей на сохранение вещи и архив, которые после ее смерти по наследству что ли перешли к А. Вл. Гипотеза заманчивая. Стала спрашивать уцелевших после ленинградской блокады родных (а уцелели-то молодые) о Ю. Цезар. — не знают, не слышали.

Тетя умерла внезапно, а была еще бодрая. За полгода примерно до смерти она уединялась, что-то разбирала, рвала... Большая заветная шкатулка у нее была, так она доверху оказалась полна изорванными и изрезанными письмами и проч. бумагой. Кроме вещей и архива, у тети чужого не обнаружено. Возможно, она о вещах и не знала ценных (они были в старых валенках в ветхом чемодане).

После похорон родные мне сказали: «Ты историк-археолог — тебе и карты в руки!.. Копайся тут!» Но продолжим гипотезу. А. П. — Юзе, Юзя — А. Вл. Юз. Цез. умерла. А. П. явился в ее переулок и квартиру. Что ему

могли сказать? Всякое. Была родня... разобрали... А. П. мог, значит, и не знать о своем кладе под Ленинградом. Наконец, А. П. ли ценности?.. Да, они в окружении *его* всяческой всячины, но это еще не доказательство... Голова кругом идет!

В документах А. П. есть такой: «...уволен 25/2—1919 г. из числа студентов МГУ в связи с закрытием юридического факультета»... Действительно: сов. власть закрыла юридические факультеты везде и вновь они возродились лишь в 1925 г. Студенческий билет 1921 г. Петроградской с-хоз. академии. Она закрывается и с 1922 г. А. П. — студент с-х. института... Выписка из клиники... Сколько неудач!.. Документ об освобождении по чистой от военной службы в возрасте всего 28 лет и в звании штабс-капитана старой армии.

«Кошмар» периода 1919—1921 гг. и вызвал болезнь. В одном из писем профессора Воячека к А. П. говорится о фиброме основания черепа, что от него скрывали и что осталось позади. В блокноте записано: «Меня ругает вся Большая Екатерининская — Женя, Вера, Ирина Никитична... Если бы знали *всё*, так не ругали бы... Я совершенно надорван. Содержать, как в 1915 г., меня некому. Учиться и работать у меня нет сил... От прежнего А. П. и половины не осталось. Разве я виноват, что так случилось?..»

За время с 29 декабря, когда я Вам написала, прибавилось 2 новости. Еще раньше я нашла сберкнижку на имя А. П. от 1922 г. Оказывается, уцелели данные. С той поры много денежных перемен было. Объявись А. П., ему бы высчитали. Так и сказали в Горфинотделе.

Другая гораздо важнее из Б-ска. Семен Васильевич Болховитин написал, что нет сведений об А. П. с 1933 г. Старик, остался в живых один из 6 братьев. В 1933 г. они купили домик, и А. П. как раз угодил на новоселье. А. П. в беседе рассказывал, что времена строгие, и ему не раз приходилось страдать от своего социального происхождения (он ведь сын священника, в архиве сохранился аттестат зрелости, где это тоже написано) и оттого, что он — б. офицер. О семейной жизни А. П. в тот последний приезд не рассказывал. Но надеялся: он, может быть, при женитьбе возьмет фамилию жены, что сов. власть

разрешает. С. В. одобрил это, раз плохие дела... По его мнению, в это время у А. П. была уже и другая фамилия... Ищи теперь «конец» А. П.!

С почтением и приветом,

Вера Федоровна.

III

г. Борисоглебск 8 авг. 68 г.

Уважаемая Евгения Ивановна!

Приехав из-за границы, получила отпуск за 2 года. Самолетом в Волгоград к сестре, оттуда решила заехать в Б-к.

На кладбище, которое исходила вдоль и поперек, нашла могилу с обычной в те времена эпитафией: «Под сим камнем покоится прах раба Божия Петра Хрисанфовича Павперова. Род. 5 мая 1858 г. скончался 11 сентября 1917 г. Жития его было 64 года. Господи, прими дух его с миром».

Живы и живут в своем доме 2 сестры Ю. Ц. — Александра и Нина. Ал-дра очень плоха, в параличе. У Нины Ц. дочь с мужем в Риге. А. Ц. — б. учительница музыки. Странно: ни Анатолия, ни других, кроме мужа Ю. Ц., сёстры не видели... не знают... Ю. Ц. умерла в Москве в военные годы.

У Девятовых отобрали 2 дома. «Барышня Лида» — дочь кладбищенского священника отца Михаила Алтухова. Ал. Ц. Лиду тоже учила. Помнится ей, что она в 1918 г. поступала в Московскую Консерваторию. А дальше встреч не было. Не идет у меня из головы одна догадка теперь. Перед поездкой в Б-к я перечитала некоторые письма, стихи А. П. с пометкой «Б-к»... И хотя под одним вместо «Б-к» стоит «Кладбище» и дата не года, а только месяца — «сентябрь 30» (Вера, Надежда, Любовь и Софья!), но буквы «Л. А.» наводят на Лиду Алт.

Я наизусть запомнила четыре строчки:

«Помолись обо мне... небесам помолись!..
Для меня ясный свет их померк без возврата.
Помолись, чтоб опять в них те звезды зажглись,
Что светили с тобой нам когда-то!»...

Беда в том, что много лет прошло...

С пожеланием всего лучшего Вам и здоровья

В. З.

IV

Уважаемая Евгения Ивановна!

Видимо, весною мы ликвидируем тетино хозяйство.

А пока я кое-что делаю с архивом А. П. Я посоветовалась относительно Ваших писем. Можно сказать, общее мнение, что Вашу просьбу следует уважить, учитывая обстоятельства.

Отправляясь в очередную вылазку на лыжах, я взяла с собой много мелко изорванных клочков материалов из архива, в т. ч. всех Ваших 9 писем и 1 открытки, и бросала их в лесные овраги по пути. Надеюсь, Вы не посетуете, что я не сожгла, а выполнила «завещание» А. П.

С уважением,

В. З.

1978

ДВОЙНИК

Мы договорились встретиться в девять у выхода, и я сбежал со среды, с Левика. Пошли вниз по Герцена и налево к Пушкину. На бульваре за Тимирязевым я ощутил что-то неладное. Слева шагах в десяти и отстав на полшага шел другой я. Тоже делал вид, что ничего не заметил. За тягучую минуту я, косясь, рассмотрел, что он — точно я, может быть, чуть постарше, подряблее — и в том же плаще и берете, какие я утром сменил на пальто и шляпу. На душе было чувство фальши, подделки, ирреальности. Красовицкий в тон произнес:

— Какой призрачный мир...

Неожиданно другой я нагнал нас:

— Здравствуй, Стасик.

— Добрый вечер, — формально ответил Красовицкий.

— Когда мы увидимся?

— Как договаривались, — сказал Красовицкий.

Другой я впервые в открытую взглянул на меня и ткнул пальцем:

— Человек земной, —

и в Красовицкого:

— Человек небесный, —

и резко повернул назад в сторону Герцена.

— Кто это?

— Не знаю, — сказал Красовицкий. — Мы встретились в котлетной на Арбате. Он спросил, Вы художник? Я никогда не говорю «нет». Он попросил посмотреть. Я сказал, не сейчас. Мы договорились встретиться через месяц у дома журналистов. Он показал у входа удостоверение. Мы пили пиво. Он говорил, что я должен написать улицу, и по улице уходит девушка в платочке. Он сказал: я, понимаете, коллекционирую девушек — нет, ничего такого, мне только надо увидать, но обязательно, чтобы в платочке. И когда можно в мою мастерскую. Я опять сказал, через месяц.

— А кто он?

— Я не знаю.

(Знакомые передали: Красовицкий рассказывал, что я и другой я смотрели друг на друга с ненавистью.)

...Назавтра утром позвонил Левик:

— Просцице, пожалуйсца, вы когда вчера ушли со среды?

— В девять.

— Цело в том, что я всцрецил вас у ЦДЛ около цесяци, на всякий случай сказал «цобрый вечер», а вы мне не отвецили. Я очень уцивился.

Я объяснил, что мог.

Цитирую из себя: «Среди дежурства (бабушка, в сороковые) примчалась к нам — убедиться — привезли мальчишку из-под троллейбуса: вылитый я».

1979

ХИТРИН

— Берег крутой, высокий. Мы, мальчишки, гоняли наперегонки прямо вверх. Ноги до сих пор крепкие. У нас в Пирятине...

Я издавна знал слово Пирятин. Для меня это ветхая книжка:

Вяч. Васильев, «Аглая», поэма. Пирятин 1918. На последней странице обложки: Того же автора (готовятся к печати) поэмы: «Горемыки», «Мародеры».

«Аглая» случайно попала мне в какой-то послевоенный год, не исключено, единственный уцелевший экземпляр. Нередкий для России рассказ лакейским четырехстопником с онегинской интонацией. По памяти:

И вот взволнованный гусар,
Не в силах перенесть удар,
Дуло́ в Миха́ила направил,
И тут героя дух оставил.

Но действие не пушкинское, современное:

Полезли ядовиты газы...

Самое трогательное, что несомненно патриотическая поэма вышла в Пирятине, который согласно истории (чьей? России? Украины?) в 1918 году был под немцами.

Я, естественно, спросил про Вяч. Васильева. Владимир Алексеевич пожевал губами:

— Был такой. Преподавал в гимназии французский. За барышнями ухаживал.

Надо же: возможно, единственная книжка, возможно, единственный читатель и, возможно, единственный человек, который помнит бедного автора...

В двадцатые годы пирятинский Хитрин оказался в столице, в Харькове. Послушные Москве украинские коммунисты по-детсадовски думали, что построят себе щирые Соединенные Штаты, а Москва ничего не заметит. Они даже взялись за дело — на хмарочо́с не хватило пороху, но на самой большой площади отгрохали самое большое здание. Может, чудище обло, озорно, а может — шедевр конструктивизма.

В пирятинской гимназии обучение было, конечно, на русском. И Владимир Алексеевич говорил по-русски без киевски-днепровского распева, но произносил «невИрИятно» и в словах вроде «позиция» смягчал «ц». Украинский был его родным языком — не то вторым, не то первым. На украинском он и начал писать стихи, носил в редакции. Старался быть в курсе. От харьковских времен:

П. Тичина, Поезії, Харків, 1929;

Декламатор «Сяйво», уложив Микола Зеров, Київ, 1929.

На Тычине посвящение жене:

...Подоланих скрут,
затамованих звад,
Тяготів, що піднéсли,
шляхов, що пройшли ми...

В. Хитр. —

3 червня 1930 р.
м. Ст. Костянтинів.

Это уже в какие годы он, посмеиваясь, прочитал мне «Заповит Хрущева». Как запомнилось:

Як умру, то поховайте,
Не тянить резину.
З ямы в яму не кидайте,
Як того грузина.
И на мене положите
Уси мои видзнаки,
Щобы можно видризнити
Голову от сраки.

Думаю, это он сочинил сам. Жил он в Лианозове, в двух шагах от лианозовского авангарда, но о молодых поэтах и художниках по соседству не знал и знать не интересовался. Ни литературных, ни украинских знакомств у него, насколько могу судить, не было.

А в двадцатые годы на Украине со стихами дело не сладилось, да вряд ли могло. Насчет таланта — хватило бы и небольшого, но Хитрин не стал бы делать что-нибудь из-под палки.

Его научно-технический ценз мне неизвестен, но только в самый неподходящий год он оказался в землемерах.

— Я спрашиваю у крестьян, что это они камни на поля сносят. Кучами лежат. А они говорят: — Это мы таких, как ты, встречать.

То ли что-то, связанное с коллективизацией, то ли активный доброжелатель, то ли что-то еще из набора тех лет, только Хитрину пришлось надолго сняться с места. Он поступил в НКПС и бóльшую часть тридцатых годов провел в служебных вагонах от Минска до Влади-

востока — с женой и маленькой дочкой. Жена — видел на фотографиях — обычная европейская интеллигентная дама, но по чувству — явно украинка. На стареньких книгах меленько, аккуратно: ВІРА ЕЛЬСНЕР. Сам Хитрин на вопрос о национальности, не задумываясь, ответил бы: русский. В лирическом настроении он назвал бы себя украинцем. Дочь выросла в России и русская-русская.

К войне Хитрины осели под Москвой, в Лианозове, поселок Севводстроя, до тоже великого сооружения — канал Москва—Волга — рукой подать.

На Кузнецком он появлялся в железнодорожном — после войны было множество форм. Отсюда и стабильная кличка Железнодорожник. Имена на Кузнецком употреблялись как-то мало. Я, школьник, начал ходить туда весной 1947 года. Хитрина впервые увидел до декабрьской реформы. День был теплый, стало быть, осенью или вроде. Король московской нумизматики Володька Соколов знал, почем мусор и колеса последних ста-двухсот лет, разбирался в России, имел нюх на талеры и ни уха ни рыла не смыслил в антике. Был уверен в подлинности, только когда брал у ребят-археологов, и тогда ломил несуразное. За банальный пантикапейский медяк с сатиром и головой льва — двадцать пять рублей!

И вот он показывал Железнодорожнику тетрадрахму Тиграна. Вещь редкая, эффектная, популярная — но Володька не был уверен. Запросил шестьдесят. Подрагивая челюстью, похожий на доброго Щелкунчика, Железнодорожник придирчиво изучил Тиграна в лупу — причем, к моему изумлению, главным образом не лицевую или оборотную сторону, а гурт. Убедился. Предложил пятьдесят. Володька согласился: античников в тогдашней Москве вроде бы не было. (Для сравнения: простой рубль Петра двадцатого года в очень хорошей сохранности стоил те же пятьдесят — дореформенных.)

По-настоящему я познакомился с Хитриным в 1962 году, когда возобновил занятия нумизматикой. Ездил к нему в Лианозово от Выставки на автобусе, от Окружной на электричке. Жена умерла, дочь с внуком жила в Марьиной Роще. Владимир Алексеевич остался в двенадцатиметровой комнате, в коммуналке. Никогда ни на что не

жаловался, ничем не возмущался, восторгов тоже не выражал. Скуки ради завел безголосого кота Тихона:

— Боец! Три для пропадал, вернулся весь в клочьях. А тут минтай, видите ли, не ест!

Заметно оживал при появлении гостей. Был рад не всякому:

— Знаете, у меня от такого-то неприятный осадок остается.

Я приходил только по уговору, заранее созвонившись. Справа от обычно не закрытой двери стояла безукоризненно застеленная никелированная кровать и над ней — увеличенный портрет жены. Слева — шкафы с книгами. На том, что пониже, бронзовые статуэточки: Август, Наполеон, Шиллер...

За стеклом справочная литература всех жанров — от энциклопедии Гранат и книг по истории (много античных авторов) до искусствоведения, литературоведения, химии и минералогии. Полка книг по нумизматике, в большинстве — отечественные издания и аукционные каталоги. Скромненький четырехтомный Пушкин, непременный «Кобзарь», порядочная подборка малой серии Библиотеки поэта, три-четыре десятка случайных стихотворных сборников. (Владимир Алексеевич всегда удивлялся, какую чушь пишут советские поэты).

Внизу, за закрытой частью дверец — объемистые альбомы: довоенная коллекция портретов Пушкина и его знакомых. Про них Владимир Алексеевич знал решительно всё. В другом низу — собственной работы, клеенные из тонкого картона во много слоев, крепкие, как железо, и щеголеватые коробки с делениями: коллекция минералов. И про них тоже всё. В противоположном углу — письменный стол с плохоньким приемником «Рекорд». В правой тумбе — такие же элегантные самоклееные коробки — каждая два этажа, две планшетки. Главная коллекция. Каждая монета, каждая медаль в собственной кюветке из ватмана. Коробки выносились для рассмотрения на круглый стол против окна.

Всякий истинный коллекционер — мечтатель. Хитрин обожал нумизматику всех времен и народов. Средства же были всегда ограничены. Вот и получился мечтатель — расчетливый. Весь мир в немногих лучших или характерных образцах.

Из медалей любил что позаковыристее:

Ампир: — Это Талейран, только не тот самый, а брат. Тоже фрукт.

Барокко: — Иезуит Рангони — помните в «Борисе Годунове»?

— Иннокентий Двенадцатый. Работа Гамерана.

Ренессанс: — Аретино. Веселый писатель.

Из интересности в медалях жетон: «Великій русскій мумизманъ Х. Х. Гиль».

— Во как переврали! Наверно, по телефону заказывали...

Монеты:

Никелевый рубль — двадцатилетие победы.

Крупный немецкий медяк 50 миллионов марок 1923 года, инфляция.

Юбилейные колеса разных стран.

Серебряный рубль 1924 года.

Трехсотлетие Дома Романовых.

Портретные рубли — все в отличном состоянии и отменного стиля.

Немецкие талеры XVI—XVIII веков — простые: Саксония, Зальцбург, Мансфельд — но сохранность!

Арабские дирхемы с шедеврами каллиграфии.

Монеты крестоносцев.

Отличные византийские медячки — как иконки.

Несколько средневековых денариев.

И главное — две коробки — антика:

Поздняя римская бронза в идеале.

Отборные императорские денарии.

Ранняя римская бронза с великолепными портретами.

Девственные республиканские денарии.

Несуразно огромный птолемеевский медяк.

Коринфский статер — какой рельеф, какой стиль!

Неаккуратно чеканенная, плохо центрированная афинка — долго не залежалась.

Тот самый Тигран.

Тетрадрахма Александра Македонского с розой под рукой Зевса — ее приписывали Родосу, Александрии, потом Мемфису — знаменито красивейший из александров; сохранность — штемпельглянц!

И по мою душу варварская дакийская тетрадрахма типа Аниноаса-Добрешть (конь с утиным клювом), тоже

хрестоматийный экземпляр. Единственная монета, которую Хитрин атрибуировал неверно, считал, что бойи.

Коллекция содержалась в немыслимой чистоте. Прежде чем лечь в кюветку, каждая монета протиралась одэколоном. Медь регулярно чистилась зубной щеткой. Не патинированное серебро мылось нашатырным спиртом раз в два года:

— Пора купать, темнеют...

Меняться с Хитриным было легко — если соглашался, то сразу, не тянул душу; если не соглашался, то насовсем.

Главное было — посидеть рядышком, поглядеть, послушать, показать. Иногда он поднимал всю монету и стремительно опускал ее в биксик на подоконнике, подливал из разных пузырьков, помешивал стеклянной палочкой, проверял, одобрял и направлялся на кухню под кран. Лучше него никто в Москве не чистил монеты химией, он умел реставрировать, хорошо наводил пáтину (по-старинному произносил: патúна).

Он никогда ничего не продавал. Только ближе к семидесяти, когда коллекционеры обычно теряют интерес, он порывисто, в два-три приема спустил всё. Часть его богатств пошла мне. Достались мне — подарил — и две самоклееные дивные коробки из-под антики. Кончилась коллекция — кончились посещения коллекционеров.

На семидесятилетие он остался совсем один. За столом собрались дочь с внуком, мы с Галей и помоложе — по русским медалям — Володя Зайцев.

1994

ВНУК

(Грассирует, каждое «р» — тройное).

— Товарищи, вы нарочно отсрачиваете урок!

— Что вы, что вы, мы не отсрачиваем. Вы всем рассказываете — третьей группе вчера рассказывали, — а нам не хотите!

— Ну, хорошо. Я расскажу...

В первый раз я видел моего гениального деда в имении моих родителей. Он вошел, держа в руках какую-то грязную тряпочку. У меня был любимый заяц Макарий Иванович, и я очень боялся, что мой гениальный дед вытрет его грязной тряпочкой. Однако он сразу прошел на кухню к кухарке и был там недолго — как приехал, так и уехал на паровичке.

Во второй раз я видел моего гениального деда при следующих обстоятельствах. Отец подарил мне детский велосипед, я катался и захотел в уборную. Когда я вышел из уборной, я вдруг увидел, что мой гениальный дед держит мой велосипед за руль и намеревается на него сесть. Я испугался и закричал:

— Дедушка, нельзя, ты его сломаешь!

— Нельзя так нельзя, — сказал мой гениальный дед и ушел.

В восемьдесят лет он был прекрасным ездоком верхом. Репин верхом ездил плохо. Лев Николаевич предлагал ему брать небольшие барьеры. Репин всегда отказывался.

Однажды утром я увидал, что мой гениальный дед собирается на прогулку. Я попросил:

— Дедушка, можно я пойду с тобой?

— Если хочешь идти со мной, то молчи, — сказал он. Я струсил и не пошел.

На прогулке Лев Николаевич любил обязательно заблудиться.

— Если не заблужусь, то прогулка не в прогулку, — говорил он. Понимаете, ему надо было немножко дезориентироваться.

Спал он иногда после завтрака, иногда перед обедом. Тут допускались варианты.

Мой гениальный дед часто ездил в Тулу. Он любил хлопотать за политических заключенных через тульского адвоката Гольденблата. Он помогал им в трудоустройстве, а деньгами не мог, потому что отдал имение жене и сам жил в Ясной Поляне гостем.

— Я кругом виноват, — говорил он, — мне всю жизнь другие люди служат.

Был такой случай, как раз когда меня не было. Перед домом стоял вяз, дерево для бедных. На нем висел коло-

кол — кто хотел, мог звонить. Один посторонний человек позвонил, а когда мой гениальный дед вышел, тот принял его за слугу, дал две копейки и попросил позвать его высокоблагородие. Мой гениальный дед взял две копейки и сказал, что он и есть Лев Николаевич. Человек очень смутился, он стал извиняться и попросил две копейки назад.

— Ну нет, я их честным трудом заработал, — сказал мой гениальный дед и не отдал.

Самые частые посетители Ясной Поляны были погорельцы. Одному Лев Николаевич сказал:

— У тебя небось и кальсон-то нет, — и отдал ему собственные кальсоны.

Мой гениальный дед был исключительно проницателен. Так однажды с первого взгляда он сказал мне:

— А ты ночью не спал.

Меня это потрясло.

Глаза моего гениального деда были чрезвычайно зоркие и разнообразные. Один знакомый подсчитал по пальцам, что у него за полтора часа сменилось десять выражений лица.

Лев Николаевич довольно хорошо относился к художникам, позволял изображать себя. Во время сеансов мой отец играл ему общепринятые вещи или читал вслух. Вообще в доме запрещалось читать вслух. Только раз мой гениальный дед прочитал мне про Жилина и Костылина и спросил, кто больше понравился.

До недавнего времени мой гениальный дед очень любил Софью Андреевну. Она пять раз переписала «Войну и мир» и четыре раза «Анну Каренину». В дальнейшем он любил последовательно всех своих секретарей — Абрикосова, Гусева и Булгакова.

Чертков был злой гений моего гениального деда. Будучи вегетарианцем, Лев Николаевич даже яичницу считал некоторой роскошью. Он притворялся, что любит овсяную кашу, а на самом деле любил вареники в сметане. Чертков этим пользовался и всегда угощал моего гениального деда варениками в сметане.

Если бы не Чертков, Лев Николаевич мог бы пойти на компромисс — дачка на кавказском побережье...

Убийца Толстого — киевский студент Манжос. Он прислал письмо о барской обстановке, окружающей великого писателя, и призвал:

— Уйдите!

— Он прав, — сказал Лев Николаевич и ушел.

Другой убийца Толстого — вагонный кондуктор, человек крайне правых взглядов. В вагоне было сильно накурено, а он не пожелал слушать. Мой гениальный дед вышел на площадку и простудился.

Сначала была надежда. Домашний доктор Льва Николаевича Душан Петрович Маковицкий, словак, послал сестре Льва Николаевича телеграмму:

— Много чаю.

Он хотел сказать, что он очень надеется.

Когда Лев Николаевич умер, один старичок сказал:

— Великий Лев умер, поклонимся праху великого Льва!

Все желающие могли попрощаться со Львом Николаевичем — в одни двери входили, в другие выходили.

1956—1981

ИЗДАТЕЛЬ

Из петербургской баптистской семьи.

— Вот эта рука позымала руку Аверценко. Я процел объявление: по слуцаю прекрасения зурнала годовые комплекты со скидкой. Я посол, поднялся в редаксыю — там пусто. Выходит плотный муссина. — Тебе цего, мальсик? — я сказал. Он говорит: — Давай я тебе заверну. — Дома я посмотрел, а он деньги мои назад завернул.

Издатель был капитаном пятилеток, чем-то похуже, в издательство спланировал из московской таможни.

— Вам какие книги не досли? Напишыте мне списоцек. И не думайте о них плохо. Там оцень эрудированные мальсики. Сам набирал. Растле-ен-ные... Ну, представьте себе, приходит пластинка. Лéсенко. А у меня такой нет. Составляется акт об уництозении. Пластинку в портфель. Конесно, при выходе обыскивают. Но нельзя зе найти в портфеле, цто уництозено!

Он таращил на меня толстые мутные очки.

— Хрусталики у меня из глаз вынули и в корзину бросили!

Говорили, при инсульте у него были поражены все центры речи, кроме испанского. Он говорил — жена и врачи не понимали. Поняли сослуживцы, когда пришли навестить.

После инсульта он круглый год сидел при распахнутом окне. Любил поморозить редакторш и, особенно, переводчиков.

— Боитесь, а? Боитесь. Ну, бойтесь, сидите в сапке, у меня дело. Послусайте, переведите, а? Дрянь узасная. Звонили мальцики со Старой плосяди, просили. Сроку две недели. Надо ублазыть лидера английской компартии. Выруците. Там и делать-то нецего, а я по рубль сорок поставлю! Выруците.

Через две недели и долго потом:

— А, халтурсик присол! Любую дрянь за рубль сорок готов перевести. Халту-урсик!

После дела Синявского-Даниэля пошли мелкие неприятности. Я на всякий случай решил сдать рукопись в срок. Издатель меня вызвал:

— Подписывали?

— Подписывал.

— Раскаиваетесь?

— Нет, как-то.

— А вы знаете, цто комитет по делам пецати распорядился не пецатать, кто подписывал?

— Откуда же я могу знать?

— А здали?

— Во всяком случае, думал, что такое может быть.

— Вот-вот. Мы поцитали-поцитали: Антокольский, Самойлов, Ахмадулина. Да мы только на них и дерзымся! Не возьметесь отредактировать книзецку?

В другой раз:

— Гинзбурга-Галанскова посадили. Вы думаете, я против? Я — за. Вон видите, за окном фонарь? Так вот, если Гинзбург с Галансковым придут к власти, я завтра буду висеть на этом фонаре. А мне не хо-оцется!

В реабилитацию он первым из московских издателей давал работу выпущенным.

У него была идея, что надо делать добрые дела. Например, что переводы хороших книг должны быть хорошие.

— Я даю работу зонам ответственных работников и хоросым переводсикам. А эти, Н. Г. — уу! И. А. — импотент, ее на версту к издательству подпускать нельзя! А этого О., зулика, — на сто верст!

Что надо издавать непроходные книги. Вопреки профилю издательства выпустил Кафку и Камю.

— У меня виза есть. Знаете, цто это такое? Я могу запретить любую переводную книгу на территории СССР.

Не знаю, мог ли он запретить все, но пробить мог не все. Очень хотел, но не сумел выпустить модную тогда Саган.

Раз специально вызвал меня из дома:

— Послусайте, цто я вам процту. Это от Винокурова и его подстроцникиста.

Заявка. Предлагают перевести всего Элиота — стихи, поэмы и драмы — к сентябрю сего года.

— Как, по-васему, цто это такое?

— Заявка.

— А по-моему, это наглость. Напишите мне сроцно заявку на Элиота задним цислом. Я приму. Слусайте, только не дурите. Вы завтра ее принóсите, а я принимаю. А Винокурову я найду, цто сказать.

Спустя время:

— Знаете, цто я ему сказал? Цто при разборе лицных бумаг Элиота насли призыв сбросить атомную бомбу на Ханой!

Элиот по-русски вышел уже после смерти издателя. Умер он тоже при обстоятельствах. Издавали Анну Зегерс. Издатель распорядился убрать сталинистские пассажи. Редакционный сталинист доложил в Берлин. Зегерс позвонила в Москву. Со Старой площади позвонили издателю. После этого разговора у него в течение шести часов рвались сосуды вдоль всего пищевого тракта.

1979

ЧУКОВСКИЙ

I. Зайчики в трамвайчике

— Корней Иваныч! Здрасьте, Корней Иваныч! Вот познакомьтесь — Тихонов, изобретатель плакатного метода борьбы с неграмотностью.

— Очень приятно, — медовое восхищение.

— Знаете, Корней Иваныч, о методе Тихонова в двадцать девятом году журналист Железников написал статью. Ее не напечатали — знаете, как бывает.

«Утро едва забрезжило над кружевецкими промыслами, а по деревне уже проскакал верховой. На каждый забор он наклеил плакат с буквой У».

— Представляю, что они там приписали спереди и сзади, — мечтательное пение.

«На другой день верховой приклеил рядом с У букву Н. Первые четыре буквы, которые узнали кружевницы, составляли слово ЛУНА. Для них это означало не небесное светило, а важнейший элемент кружевного узора. Но не это имелось в виду: через неделю все они умели написать слово КУЛАК».

— Прекрасно! — слезное умиление. — Еще не умеют читать, а уже могут писать доносы.

— Вы ведете такую борьбу за чистоту языка! Вот я и подумал, что метод Тихонова, наш плакатный метод может помочь.

— Непременно, дорогие мои. Это очень, очень интересно. Оставьте мне вашу статью. Всего вам хорошего!

— Корней Иваныч! А ведь мы были с вами знакомы. В тридцать девятом году в Болшеве вы отдыхали с моей сестрой — жена академика Жилинского.

— Помню, помню. Прелестная женщина.

Дверь закрылась. Чуковский распластался вдоль стояка и подпер головой притолоку. Перед аудиторией из меня со вкусом вознегодовал:

— Какой негодяй! Чем хвастает! Восемнадцатилетняя девчонка подцепила девяностолетнего академика...

II. Жаба на метле

Навосхищавшись мной (какой вы талантливый), обещал написать просимое ИЛом предисловие к Фросту и вызвался проводить меня до угла.

Из-за первого куста на него с распростертыми объятьями выбежал писательский ребенок. Из-за ребенка выступила разодетая мама:

— Корней Иванович, он вас с утра ждет. Он вас так любит!

— Дорогой мой! — сладкое умиление, а когда мы отошли на безопасное расстояние, шоколадно разгневался:

— Напялили на меня эту личину, будто я обязан любить всех! детей. А среди них есть такие негодяи — сам бы прибил. Вообще есть что-то нехорошее в том, чтобы любить всех! детей. У нас в Куоккале был ростовщик, он всем говорил: Деточка, пойди сюда, я тебе ка-ра-мель-ку дам.

Конечно, редкая удача быть аудиторией представления по поводу плакатного метода и писребенка. Но по дороге на станцию я думал, как Чуковский на плешке перед домом творчества говорит писателям что-то вроде:

— Запомните его хорошенько, это такой негодяй... — и далее фейерверк импровизаций.

III. Африка ужасна!

Назавтра Маркина из ИЛа попросила срочно зайти:

— Звонил Чуковский: Никто не может переводить моего любимого Фроста — ни Зенкевич, ни Кашкин, ни этот наглец Сергеев.

Завредакции подтвердил:

— Свонил, голубсик. Так и сказал. Хоросие у вас товариси! Терпеть не могу переводсиков — Самойлов, Слуцкий, этот проходимец Левик...

IV. Мой знакомый крокодил

Перед поликлиникой на Аэропорте я рассказал историю Липкину. Липкин внимательно выслушал и дал разъяснение:

— Принято считать, что Маршак и Чуковский — хорошие старики. На самом деле они — плохие старики. Я это говорю объективно. Они сделали мне много хорошего. В тридцать седьмом году, когда я был в опасности, Чуковский написал статью, в которой утверждал, что я и есть социалистический реализм в переводе. Маршак и Чуковский хуже, чем Софронов и Грибачев. Софронов и Грибачев имеют недостатки социализма, Маршак и Чуковский — недостатки и социализма и капитализма.

1973

ЗЕНКЕВИЧ

С первых вгиковских стипендий я пошел кругами по букинистам. Книг не искал — не знал, попадались сами. Антология «Поэты Америки XX век» Зенкевича и Кашкина. Совсем не та Америка, что в кино. Там, особенно Чаплин, — она унылая, усредненная, серая. От поколения бабушек, воспитанных на Купере, По, Бичер-Стоу, Марк Твене и Лондоне, я усвоил, что в Америке нет культуры.

В стихах были краски, свежесть, недюжинность, сила. Чужой ВГИКу, я поверил стихам и решил стать переводчиком. В ИН-ЯЗе на переводческом вечный студент, Диоген в коридоре, Огол вычислил, что один переводчик выходит из двадцати тысяч выпускников. Я не смутился и начал переводить Сэндберга, Фроста, потом Прокоша.

Фредерик Прокош учился у Элиота, даже у Одена, но было в нем что-то весьма и остро свое. Дилан Томас читал его на своих вечерах. Прокоша забыли дома — а тогда у нас, в середине пятидесятых, его предвоенная «Смерть в море» увлекла нас возможностью современности и негазетной политики в чистых стихах.

Кашкин славился злобной недоброжелательностью. Я позвонил Зенкевичу. Первую встречу он назначил мне в инокомиссии. На проходе, в коридоре, он прочитал моего Прокоша.

— Вы лучше всех, — вдруг вывел он. Он гудел, но не низко, как Пастернак, а выше и глуше. Замечания шли потоком, связь я улавливал не всегда. Мне говорили, что Зенкевич всех хвалит, сам тушуется, в работе ленив. За себя он, правда, постоять не умел, за других — не знаю, мне помогал не раз и решительно. Случайные заказы он выполнял абы как, но Америку слишком любил. В глубокой старости, когда стало возможно, туристом скатался в Англию, США. В Англии, по его, оказалось тесно и душно, зато на российских просторах Америки дышалось легко. Где-то его сняли рядом с бюстом Уитмена — одного из наименее близких ему. Он предпочитал Фроста и соблюл его достоинство, когда в шестьдесят втором он как редактор напрочь отверг халтурные ленинградские переводы и заставил меня переделать мои. Я считал их

безукоризненными, но все же сумел понять, что замечания верны.

Михаил Александрович Зенкевич жил всего несколько лет. Из Саратова он приехал в гумилевский Цех, со словарем прочел непременных французов, выучился, но не обольстился.

Выпустил «Дикую порфиру» и «Четырнадцать стихотворений», ждал конца войны, чтобы издать большую книгу. Война не кончилась, и он перестал жить и утратил самостоятельный голос. Он не бросил поэзию, «как Нарбут и Рембо», даже печатал новые сборники, но настоящая жизнь и настоящие стихи остались в прошлом.

Поэт стал тенью. Шляхетское благородство и выучка Цеха Поэтов спасли его от судьбы Олеши. В опасные годы он хранил автографы Гумилева и переписывал воронежского Мандельштама. После «Поэзии русского империализма» Волкова он понял, что обречен.

— Посадили Нарбута, надо и его приятеля Зенкевича посадить. Вот и посадили украинского — переводчика — Болеслава[1] Зенкевича вместо меня, до сих пор путают. Прислали из Симферополя: куда перевести за «Всадников» Яновского.

Тень не схватишь, даже когда она на виду. Зенкевич не прятался. В тридцать седьмых в антологии французской революционной поэзии он гордо перевел Шенье о доносах друзей и казнях. Но главная заслуга его в бытии тенью — он первым открыл для русских современные стихи Англии и США.

— Уилфрид Оуэн хороший — правда? Я посвятил его памяти брата. Он тоже погиб в империалистическую. Ну, книг у нас тогда не было, мы писали прямо авторам. Робинсон Джефферс сразу прислал. За Эдну Сент-Винсент Миллей прислал муж. Очаровательная женщина — да? В Госиздате в тридцать девятом был этот... армянин... Ну, он книжку и пропустил. А гутнеровская антология — не гутнеровская. Откуда ему было столько знать? Это Святополк-Мирский. Он с Элиотом дружил. Черный такой был, у него бабка грузинка. Его отец у этого... Сипягина... служил. А этого... убил студент, наш, сара-

[1] На самом деле — Болеславовича.

товский. Мы с ним из одной гимназии. Высокий такой. В мундире адъютанта. Его карета ждала. Он сидел в кафе на Невском, а потом пошел и говорит: вам пакет из Москвы от Сергея Александровича. Подал и выстрелил. Люди сбежались. Отец Мирского прибежал. Сам он рассказывал, как их гимназию на похороны водили. Он тогда приказал отдавать студентов в солдаты. Святополк-Мирский английскую литературу лучше Морозова знал. Он же там жил, со всеми был знаком. А когда его посадили, Гутнер и подписал, чтобы вышла...

— А Кашкину ничего нельзя было говорить. Скажешь, что у Вэчела Линдзи «Конго» — хорошее стихотворение, а он: «Я его перевел». — И дня через два перевод готов. Робинсона я ему, можно сказать, так и подарил...

Должно быть, тени нужно много тепла. Зенкевич восхищался тем, что в Америке в комнатах — двадцать пять градусов. У себя дома он утопал в толстой бязевой рубашке у письменного стола, задавленного роялем. Градусов было под тридцать, и форточка не открывалась. За шкафом стояла постель жены. Александра Николаевна меня не боялась и иногда выходила поговорить. Она сильно косила, а рядом, в парном кресле сидела крупная старая кукла, тоже сильно косившая.

— Семиренко мужики в окно застрелили. В Асканий-Нова. Вы не слышали — по радио вспомнили Бела Куна. Имени этого не переношу! Я симферопольская. После эвакуации он у нас с Землячкой и каким-то, вроде Седых, расстрелял всех белых офицеров. Им приказали собраться за городом. Только одного оставили — у него хороший баритон был. Моя сослуживица, родственница Троцкого, звонила в Москву — за брата. Троцкий сказал, что революция не прощает. Я работала в наркомпросе. Недавно на улице подходит Сельвинский. Раньше он меня не замечал, а тут говорит: «Помните, мы с вами работали в симферопольском наркомпросе?» Я всех, кто работал, помню — его не помню. Не было его.

Кто действительно любил поговорить, так это Михаил Александрович. Говорил длинно, повторялся, забывал имена, перескакивал с темы на тему. От него бегали, если слушали — невнимательно; а суть была в том, чтобы вслушиваться и выбирать перлы:

— По радио глушение — знаете, я в первую мировую выписывал английские газеты. Германские сводки о русском фронте цензура замазывала чем-то густым — как говно. Так теперь и по радио.

— Мандельштам — он античность лучше всех понимал. У него это в крови — евреи же прошли через Грецию, через Рим. А славян тогда не было.

— Мы Мандельштама дразнили: «Я палочку возьму су-хую!»

Почти с видом заговорщика:

— А «Литгазета»-то напечатала «Ленинград»! В тридцать втором году! «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» — а? — и подталкивание локтем.

— Гумилев дворянством гордился, а когда приехал Лев Гумилевский, он расстроился. Фамилия от «хумилис», поповская. Ну, монархистом он после революции стал. До революции это было неприлично. У раннего Николая Степановича африканские стихи какие-то тартареновские — а? Это потом, когда он туда съездил, пошло хорошо.

Тайком и с улыбкой, как сладкую сплетню:

— А знаете, он нашей Анне Андревне изменял. Она рожает, а он с этой... в театре. Да.

— Один раз мы Хлебникова позвали к себе, на Петербургскую сторону. Он говорит: — Мы, футуристы, пришли к заключению, что можно писать стихи из одних знаков препинания. Читаю: Точка, запятая, двоеточие, вопросительный знак. — Все стали спорить, а Мандельштам догадался: — Здесь нет стихотворения! — Хлебников обрадовался. Потом мы с ним шли — нам по пути — и я спросил, правда ли он считает, что могут быть стихи из одних знаков препинания. Он говорит: — Конечно, нет. Это была маленькая бомбочка. — У него на все были бомбочки. Ну, вот эта история с Председателями земного шара. Он сказал, что если я хочу, то чтобы расписался. Я расписался и стал Председателем земного шара. Ну, никаких привилегий за это я не получил... Потом меня профессор... приятель брата... водил в сумасшедший дом, посмотреть. Там один, вижу, сидит, задумался, пальцы на губах. Не могу понять, где я его видел. Ну, точно такой. Вспомнил: Хлебников...

— А Маяковский — он слежку еще с дореволюционных лет чуял. Михаил Голодный рассказывал: — Ночью вваливается ко мне Маяковский, говорит: Гаси свет! — Я погасил, а он к окну и глядит из-за шторы: — Стоят...

Тень ушла незамеченной. На панихиде в Союзе писателей присутствовало несколько случайных редакторов из Худлита. Я ничего не знал и не мог попрощаться с Михаилом Александровичем.

...Мне представляется, я проводил его однофамильца, а может быть, дальнего родственника. Любомир Михайлович Зенкявичюс был филателистом с 1904 года, его коллекция считалась одной из лучших в Литве. В сорок четвертом он с братом угощал у себя в имении советских офицеров. После обеда из комнаты он услышал выстрел: брат лежал перед домом. Любомир Михайлович бежал в беспаспортную Клайпеду и до амнистии жил под чужим именем. Когда я в последний раз уезжал из Паланги, я увидел его из автобуса — на серой клайпедской улице. Опустив голову, с авоськой в каждой руке, он входил под низкий свод подъезда, и этот свод показался мне сводом могильного склепа.

1970-е

АХМАТОВА

— Неуютно, когда не пишется...

— Маленькая поэзия существует тем, что отвоевывает у большой прозы все новые территории.

— Самый нужный мне поэт — Мандельштам.

— Гумилев — до сих пор не прочитан. В нем такие тайны... Он только начал писать, когда его убили.

— Клюев, по-моему, гораздо интересней Есенина.

— С Борисом нас поссорил дурной человек.

— В молодости им владела стихия. Это было чудо. Теперь он сам владеет стихией. Скажите, кому сейчас нужны передвижнические пейзажи?

— Я навестила его, и он рассказал, как случился инфаркт. Потом читаю «В больнице». Теми же словами, что рассказывал. Это чудо.

— Когда я в последний раз была у Бориса, он возмущался: в Америке реклама «Принимайте эти пилюли, их прописывал доктор Живаго!» Говорил: если останусь жив, посвящу себя борьбе с пошлостью. Как будто с пошлостью можно бороться...

Я как-то сказал, что думаю о Блоке. Ахматова оживилась:

— Еще один анти-Блок!

— А кто первый?

— Иосиф!

В тот же вечер об общеизвестном случае, но в каком повороте!

— Блок на железной дороге меня не узнал, подошел и спросил: — Барышня, вы свободны?

В другой раз:

— Не понимаю, как можно писать одно стихотворение до обеда, а другое — после обеда.

Я спросил:

— Вам нравится «Двенадцать»?

Поежилась:

— Похоже. Тогда было хуже, чем в тридцать седьмом году. Матросики ходили по квартирам и убивали.

О Маяковском — тоже общеизвестное, но разным слушателям — по-разному. Мне — точно:

— Жаль, его в семнадцатом году шальной пулей не убило.

К классикам не менее пристрастна, чем к современникам. Все знают, что Пушкин и Достоевский — во главе угла. Лев Толстой — «мусорный старик». Чехов не в почете:

— У Чехова нет тайны.

Бунин?

— Бунин не мог простить человечеству, что кончил четыре класса гимназии.

О Лермонтове с семейной досадой:

— Бабка проклятая, все юнкерские поэмы сохранила...

Однажды достала из сумочки вырезку и злорадно показала. Портрет пожилого господина — ничего плохого, ничего хорошего:

— Недавно нашли. Дантес в старости!

Болезненное. Об эмиграции:

— Георгий Иванов сидит в Париже, знает, что никто его за руку не схватит, и сочиняет, как господа развлекались. Взгляд из лакейской. А как мы читали «Столп и утверждение истины» — этого он не заметил.

— Придумал, что я ревновала Гумилева — как будто можно ревновать Дон-Жуана!

— У Набокова в «Пнине» пародия на меня:

Но есть роза еще нежней
Розовых губ моих. —

Антиахматовское направление. Я непристойностей никогда себе не позволяла.

Очень верится, что когда Вертинский при ней плакался на тяготы эмиграции, получил: «Идите в жопу!»

В руках тамиздатская книжечка:

— Они издали «Реквием» — ну, как вам это понравится? — с портретом Сорина![1] К «Реквиему» можно только это. — Она достала заношенный пропуск в Фонтанный дом.

В который раз тиснули там — «без ведома и согласия». Наполовину в сердцах, наполовину для микрофона в потолке (должен же быть!):

— Не желаю работать на босса!

Когда посадили Синявского и Даниэля, и пианистка Юдина сказала, что русская православная церковь не одобряет печатание за границей, Ахматова глянула тучей:

— Такого не было даже в тридцать седьмом году. Тогда говорили: наверное, он с заграницей переписывался...

Сюда же постоянная присказка из Лескова:

— На Руси христианство не было проповедано.

---

[1] В овале молоденькая, кокетливая.

Ахматова напечаталась не в либеральной «Литературке» (не предложили), а в реакционной эрэсэфэсэровской газетке (позвали). Общественность упрекнула:

— Как вы могли?

Ахматова:

— Для меня это одна фирма.

О прогрессивной «Литературной Москве» и ее редакторе Казакевиче:

— В наше время редактор не занял бы большую часть альманаха своим сочинением.

О передовых эстрадных поэтах:

— Я всех пускаю. Только Евтушенку не пустила. Сказала, чтобы позвонил через две недели.

— Мальчик Андрюша! Всегда у Бориса в углу, как мебель...

Из поэтов ценила — много раз слышал — шесть имен: Тарковский, Петровых, Липкин, Самойлов, Слуцкий, Корнилов.

На первом месте — Тарковский, и за стихи, и за красоту («Увидела впервые — ахнула»). Петровых — почти родня. Липкин — «великий визирь». Всех шестерых — под крыло:

— Я Слуцкому говорю, зачем он печатает плохие стихи. — А чтобы не забыли. — Но, по-моему, если печатать такое, как раз забудут.

В конце 1962 именинницей:

— Был Солженицын! Замечательный! И рассказывал замечательно. Я ему говорю: — Бойтесь поздней славы. Славу легко перенести в двадцать четыре года. В пятьдесят четыре — совсем не просто. — Он смеется, говорит: — Не боюсь. — А потом стал читать стихи... — (Пауза. Большие глаза.) — Ужасные!..

Поразительно рано — зимой 1961—62 как важнейшую новость — о Бродском. И в таком высоком регистре, как только о друзьях своих лучших лет. И потом при каждой встрече подробно о перипетиях судьбы Бродского. Но не жалуясь, а даже не без удовольствия:

— Рыжему делают биографию.

— Мои стихи никогда не ходили по рукам. А Иосифу я сказала: если отпускаете рукопись, подписывайте каждое стихотворение.

Я прочел Ахматовой несколько моих любимых стихотворений Красовицкого. Не понравилось.

— Нет звука.

Осенью 1961 я неожиданно сочинил стихи про Ахматову. Послал ей по почте.

Зимой оказался в Ленинграде. Позвонил и услышал:

— Сейчас же заходите! Я вам такое покажу...

Мои стихи некой частностью словесно совпали со стихами, которые она тогда же написала о себе: «Если б все, кто помощи душевной...»

Очень по-русски Ахматова сердечно любила Запад и огорчалась, что там не все, как хотелось бы. После поездок в Италию и Англию, соответственно в 1964 и 1965:

— В Риме так много всего, что человек этого построить не мог. А если не человек, то кто?[1]

— Меня возили к гробнице Рафаэля. Представьте себе, они его не похоронили! Наполовину гроб в стене, наполовину снаружи. И рядом служитель с книгами почетных посетителей. Посмотрел, точно определил и подает мне расписаться книгу — китайскую! На лучшем ахмОтовском уровне. Знаете, я написала в Литфонд — мне прислали ответ: товарищ АхмОтова... Со мной все на ахмОтовском уровне...

— В Лондоне по улицам разгуливают негритянские патриархи с внуками. Англичан почти не видно...

О западной литературе, помимо всегдашних Данте и Шекспира:

— Первая мировая война убила французскую поэзию.

— Я пять раз читала «Улисса».

— В тридцатые годы я зашла в один дом. На столе раскрытая книга. Я прочла несколько страниц: гениаль-

[1] Между прочим, почти параллельное:

— Не могу понять, как это в Афинах на десять тысяч человек была такая литература, искусство, философия...

но. Посмотрела на обложку: Хемингуэй, «Прощай, оружие!»

Не раз упоминала Элиота, даже цитировала из «Четырех квартетов».

В 1962 Ахматову и Фроста выдвинули на Нобелевскую.

Фрост приехал в Ленинград в первых числах сентября. Обласканный всеми почестями первый поэт Америки. Его возили к самым выдающимся. Для Ахматовой встретиться с ним — лишний раз упереться в свою загнанность и нищету. Ленинградское начальство сочло неудобным принимать гостя в дощатой ахматовской будке — Ахматову отвезли на комильфотную дачу академика Алексеева: всегдашний ахмОтовский уровень.

Элиота читать полагалось. Фрост в обязательном списке не значился, и Ахматова вряд ли его читала. Но невообразимо, чтобы перед встречей она — читательница каких мало — не заглянула в английского Фроста. Тем более что книга нашлась бы под рукой — хотя бы у Бродского. И Бродский видел Фроста в городе, кажется, фотографировал.

Суть, судьба, трагедия Ахматовой отличались от сути, судьбы и трагедии Фроста. Но если сопоставить — из главных вещей — ахматовское «Есть три эпохи у воспоминаний» и фростовское «Directive» («Указание»), — вряд ли найдутся два более родственных стихотворения.

Но при встрече — короткое замыкание. Слова Фроста:

— Какие великолепные у вас сосны! Мы, поэты, должны делать из них карандаши. — Ахматова истолковала как:

— Они все готовы перевести на доллары.

Потом в Москве, презрительно сощурившись:

— Дедушка, уже похожий на бабушку. Нехорошо так долго жить. И представьте, он даже не слыхал имени Пушкина![1] Это на них похоже. Вы его хва́лите — у вас есть оправдание, вы его хвалили и до приезда, я не дам соврать. Путь его наградят — он будет доволен: деньги.

[1] Всякий разговор о русской поэзии Фрост начинал с Пушкина — имел о нем некоторое понятие по переводам Бабетт Дейч.

А мне врач запретил ехать в Швецию! Надо было ему сказать: позвольте я вас переведу, я ведь переводчица. Это было бы красиво.

Романова из Инокомиссии:

— Фрост и Ахматова говорили по-английски и практически не понимали друг друга.

Убежден: будь это встреча поэтов в жизни, а не организованное мероприятие, не произошла бы эта прискорбная невстреча. И не дам соврать: Фросту Ахматова очень понравилась:

— Величественная, царственная особа!

Я впервые увидел Анну Андреевну в январе 1960. Давно хотел с ней познакомиться: естественное желание молодого стихотворца. Кто-то сказал, что она в Москве, у Ардовых. Позвонил, попросил ее. Объяснил, кто я и зачем звоню. В ответ:

— Приезжайте!

— Когда?

— Сейчас.

Добродушно-иронически на цветы:

— Дары природы благосклонной...

Так звонили и приходили толпы. Она правда «всех принимала». И никто не уходил в досаде и разочаровании: Ахматова оказывалась, как представлялось заранее, но много проще. «Дворянское чувство равенства со всем живущим» (Пастернак).

И не требовалось любить то-то, то-то и не делать того-то. Она читала стихи — я слушал, хвалил, что понравилось. Не молчал, что больше всех люблю Пастернака. Что также люблю — как поэта — враждебного ей Заболоцкого и — как человека — ненужного ей Волошина. И конечно — непроизносимого Фроста.

В 1961 вышла маленькая гослитская книжечка Ахматовой. Самым близким друзьям она дарила небольшое количество экземпляров в белом переплете. Людям подальше — бóльшее количество — в черном. Остальным — из тиража, в зеленом. Мне она предложила черную, но я уже купил у знакомой продавщицы зеленую, «лягушку». Надпись снял на неё.

1994

ВИНОКУРОВ

вариант 1994

Осенью семьдесят седьмого я сидел в лодке, а Винокуров стоял на мосту. Мизансцена Ромео—Джульетты. Мы полчаса перебрасывались цитатами из Северянина. Но лучше всего с Винокуровым гулять и слушать.

— Ух, красиво как! Я здесь ни разу не был. Надо будет еще прийти. Я всю жизнь ничего не делаю — хожу и стихи сочиняю. Разве это работа? Какая деревня красивая! Русская деревня. Украинская тех чувств не вызывает. По-украински все непонятные слова — немецкие: хата, шлях, ганок, мусить. Украинцы — это вообще немцы.

Федин — немец Поволжья. Настоящей его фамилии никто не знает. Он в чеке работал.

Эренбург мне рассказывал.

В восемнадцатом году Блюмкин говорит: — Поедешь в Париж, увидишь Савинкова — да, да, да! Спроси, с акта надо уходить или не надо. — Во, этика! Блюмкин уважал Савинкова как старейшину террористов. Ну, Эренбург с тех пор работал. Чин имел...

Эренбург говорил: — Оттуда мы думали — к власти пришли социал-демократы, Запад, культура — из Женевы, Парижа, Мюнхена. А приехал, как увидел мавзолей, понял: Египет...

Кто у нас первым провозгласил: эгалитарность, антимещанство, идейность, аморальность? Герцен. Сталин прямо от него пошел.

Добролюбов — этот хотел жениться на проститутке. Мол, это то же, что эквилибристика. Один продает одну часть тела, другой — другую. Позитивисты, они не понимали, что это таинство, мистическое таинство.

После хорошей женщины себя другим человеком чувствуешь. Легкость такая...

Розанов не дошел диалектически, что христианство это преодоление зоологичности пола. Одухотворение. Его дочь — моя поклонница — со мной согласилась. Так же, как Ницше не дошел, что христианство породило и рыцарство, и аристократию.

Есть данности пола. Нельзя жить с матерью, сестрой, дочерью, мужчиной. Нам, солдатам, недоступны половые

извращенья. Это данности пола! А теперь они одеваются, как мужчины. Мир гибнет!

Раньше — дама в черном платье, декольте, утонченная, выращена в оранжерейных условиях. А с другой стороны — гусар: шпоры, позументы, усы — гипертрофированная мужественность. Они друг на друга просто падали. Никаких разговоров об импотенции, фригидности. Сейчас, я читаю, восемьдесят процентов женщин фригидны. А мне все равно, я не обращаю внимания.

У меня всегда есть две-три милых женщины. Очарование нужно, очарование. Даже когда приходишь к старой любовнице — надо очароваться. Иначе не встанет. У Гете об этом есть поэма. Как он не мог служанку, а на венчанье с любимой его маэстро в церкви встал.

А у современных поэтов болезнь — импотенция. От нервозности. Чего их перечислять — и так все знают.

Еще новое слово: жизнелюб. Ландау жизнелюб. Так и пишут. Это если ты получаешь больше трехсот, то жизнелюб, а если меньше, то развратник.

Слуцкий и Балтер — карьеристы-неудачники, а прошлое — только повороши. Вообще, ифлийцы — Слуцкий, Наровчатов, Коган, Шелепин — это авгуры, маленькие великие инквизиторы. Я себе так говорю: Троцкий, Ганецкий, Урицкий, Слуцкий. Я вот подумал: от Троцкого хоть афоризмы остались: «Ни мира, ни войны», «Грызть гранит науки» — это он придумал. А от Сталина — ничего.

Павел Коган, — из него сейчас героя делают, — о тридцать седьмом годе написал:

Мы забирали жен себе
И к стенке ставили мужей. —

Садист!

Мандельштамиха гениально это время передала. Гениальная старуха. Большая моя поклонница.

Наровчатов в десятый раз повторяет:

— Я в ЦК заявил, что «Новый мир» — журнал интеллигенции, опирающейся на рабочий класс. — Я молчу, а надо бы спросить, как слуга-интеллигент может опираться на великого гегемона?

Ахматова мне говорила: — В Ленинграде — Бродский, в Москве — вы. Значит, я. Бродский *там* вырос. Парадоксальность у него появилась. Парадокса ему не хватало, парадокса.

А Пастернак — он тогда в кремлевке лежал — Бокову записку написал — прямо справку мне выдал: «"Синева" — хорошая книга». Я всегда с собой фотокопию ношу.

Коля Глазков написал:

Бывает, летают и рыбы,
И на солнце бывают пятна.
И поэты дружить могли бы,
Но мнительны невероятно.

«Мнительны невероятно» — это гениально. А его приятель, физик, что ли, написал про Колю:

Я знал писателя
Когда-то
С душой предателя,
С лицом дегенерата.

Олейников написал Заболоцкому:

Бойся, Заболоцкий,
Шума и похвал:
Уж на что был Троцкий,
А и то пропал.

А Маршак написал на Олейникова:

Берегись
Николая Олейникова,
Чей девиз:
Никогда не жалей никого!

Маршак был мудрый, как змий. Это только на вид манная каша. Он белым агитки писал. В тридцатых у Преображенского отсиживался, два месяца не спал. С тех пор он и напугался. Один раз Твардовский привозит ему домой Солженицына. Представляете, чудо привез! У Солженицына времени двадцать минут. Так Маршак ему двадцать минут читал какую-то сказку, перевод. Чтобы разговора не было. Мудрый, как змий!

Я сам человек трусливый. Не хочу помирать ни за то, ни за это. Я на войне был. Война это никакой не героизм.

Война это грязь, офицерский мордобой, это ужас! Эйдлин на войне не был, он до сих пор думает: «Выходила на́ берег Катюша». Ему еще официально не сообщили, что Исаковский не поэт. «Медаль за город Будапешт»! Так никто не говорит. Медаль за Будапешт!

Это я сейчас не боюсь, а так всю жизнь дрожал. Били не меня, убивали Евтушенку, Вознесенского — они шумные. В самолете из Тбилиси я был с одной милой женщиной. Вдруг Женька оборачивается и начинает на весь салон орать:

Танки идут по Праге,
танки идут по правде! —

Я ему говорю: — Провокатор! Замолчи! — я его в глаза Гапоном зову. Он любит, когда его в глаза ругают. Мазохист.

Я всю жизнь за евтушенками проходил. И дрожал, дрожал. Хорошо, что у нас критика запрещена, а то меня давно убили бы. Они бездарностей выдвигают, бандиты, какого-нибудь Тряпкина, Рубцова, Кузнецова — бездарностей.

Вон Бо́гат ходит с таким видом, как будто это он Винокуров, а не я Винокуров.

1979—1994

СЛУЦКИЙ В МАЛЕЕВКЕ

Слуцкий: — У вас сколько историй? У меня штук шестьсот. Эту мне рассказал Ардаматский. В сороковом году Алексей Толстой распорядился узнать в Латвии о Северянине. Его нашел в Эстонии Ардаматский. От имени Толстого пригласил в Москву. А Северянин только что женился на богатой немке, фермерше. Он отвел Ардаматского в подвал. Там по стенам банки с маслом. — Сейчас в Европе война. Представляете, сколько это будет стоить через год? Зачем я поеду? — Через год в его дом угодила бомба. Все погибло: Северянин, немка, масло... Если за обедом захотите ругать Долматовского, ругайте Матусовского: к Грушиным приезжает дочка Долматовского.

За столом Слуцкий с Татьяной Борисовной, социолог Грушин с женой, Кацева из «Вопросов литературы».

Слуцкий: — Островой со мной не кланяется. Когда его кандидатуру выдвинули в партбюро, я дал отвод на том основании, что на руководящем посту член правящей партии должен обладать хотя бы минимальными умственными способностями... Знаете, как Капитонов жаловался Сталину на писателей? Говорил, что плохие, что плохо себя ведут. Сталин сказал: — Послушай, Капитонов, я не могу дать тебе других писателей. У меня нет других писателей.

Грушин: — Юрий Маркович Нагибин рассказывал. Он шел в Болшеве с Буденным. Навстречу человек — усы длиннее, чем у Буденного. Юрий Маркович спросил, кто это. — Это Ока Городовиков. Ты не знаешь Оку Городовикова? Под Белой Церковью смотрю — все поле белыми завалено, в капусту изрублено. Чья работа? Ока Городовиков. На Двине — все поле в кусках, в реке — кровь и печень. Печень не тонет. Чья работа? Ока Городовиков. Под Варшавой поляки от шеи до седла развалены. Погоны целые. Ока Городовиков! Содержательный человек.

Слуцкий: — Советская власть наградила Городовикова самой высшей наградой, какая бывает.

Грушин: — Золотое оружие?

Слуцкий: — Когда всех калмыков выслали, не выслали три семьи, Городовикова и еще две.

Едва я приехал, особа из-за соседнего стола изловила меня у моей двери:

— В этой комнате жила моя лучшая подруга. Я загадала, если в эту комнату приедет хороший человек, у нее будет все хорошо.

Я спросил Кацеву, кто это. Кацева не знала.

Слуцкий: — Это Галя Башкирова, психологический научпоп.

Слуцкий ушел. Особа тотчас же оказалась на его месте. Кацевой:

— Познакомьте нас. (Мне.) Я давно за вами слежу. Так мало людей, за которыми стоит следить. Ваши переводы... Мне необходимо поговорить с вами об одном переводе. Когда вы пойдете гулять?

На улице:

— Вы меня не продадите? Только честно. Слуцкий был в меня влюблен! Был, был. А когда у него ничего не получилось, стал говорить мне пошлости. — Почему вы не вышли замуж за Солженицына? Его такая дура окрутила! — А один раз на полном серьезе: — Почему вы не вышли замуж за Трифонова? Он был такой одинокий. Надо было прийти и сказать, что вы пишете о нем статью. Он бы вас вполне обеспечил. — Деньги я и сама зарабатываю. — Сколько в месяц? — Шестьсот. — Не говорите этого мужчинам. — Да вам-то что, Борис Абрамович? — Если бы вы вышли замуж за Трифонова, у меня был бы дом, куда можно запросто зайти. — А перед вашим приездом один доктор наук предложил мне руку. Знаете, разговоры в фойе, встречи на лыжне — и бах! Слуцкий все хорошо видел и вечером за кефиром говорит: — Вам я могу сказать, что Галя Башкирова — лучшая женщина, какая у вас может быть. И лучше вас у нее тоже никого не было. Так что я о вас обоих самого высокого мнения. Поэтому я не советую вам вступать в брак. — Класс, а? Может все-таки быть человеком...

Ужин.

Слуцкий: — Двадцать лет назад я был экспертом по уличным знакомствам. Сейчас могу вести семинар.

Татьяна Борисовна (мне): — Андрей, он врет?

Над Слуцким — склеротическая диагональ, профессор Манфред:

— Татьяна Борисовна едет в Париж? (Далее — французская рулада.)

Слуцкий: — Таня понимает по-французски только слово «Юманите».

Манфред: — Вы по приглашению?

Татьяна Борисовна: — Да... Лечиться.

Манфред: — Любопытное совпадение: моя жена тоже едет в Париж. Знаете — хе-хе — кандидатская тянет за собой докторскую.

Слуцкий: — Кто ваша жена?

Манфред: — Вы будете смеяться. Завкафедрой марксизма-ленинизма. Если вдуматься, тема у нее очень интересная: ленинская политика мира и левая французская ин-

теллигенция. Это же Дюамель, Роллан, Барбюс! Очень интересно...

На кругу Винокуров:

— Гуляете? Слуцкий это на Самойлова поехал? Эклектики они, дурни. В голове путаница. Поэтому и стихи не получаются. Вы любите их стихи? Эклектика. Вот Мартынов за душой имеет несколько стихотворений. Все до тридцать четвертого года, до посадки. Он своеобразный. Даже сейчас. Сейчас он пишет чепуху, силлогизмы. В стихах мысль должна проступать из-под спуда. Он странный. Маньяк, маньяк. Он в Сокольниках жил в трущобе, ход через кухню, в комнате книги плашмя на полу и вонь, вонь. Лук нарезанный — заразы боялся, инфекции. Вы его не очень? Кто ваш любимый поэт? А мне Пастернак даром не нужен. Не тянет к нему. Лет десять — больше — двадцать не открывал. Мандельштама наизусть знаю, а все читаю. Ахматова так и говорила, что Мандельштам ей нужнее всех. Я ее хорошо знал. Мы дружили. Поздняя Ахматова была не та. Она сломалась, опустилась. Об этом Мандельштамиха написала. Перемудривала Ахматова, темнила. Писала как-то выспренне. Ну, опустилась. Вот ранняя — другое дело. Каждая строчка — жест, речевой жест. А у поздней и смысл-то не поймешь. Вам Бродский ее нравится? Ну, если бы он не умел стихи писать, не о чем было бы говорить. А так — пусто, крови нет, боли нет, биографии нет. Нет-нет, Бродский это не то. Назовите, что вам у него нравится?

— «Горчаков и Горбунов».

— Это же «Лодейников»! «По лугу шел прекрасный Соколов». А кто такой Соколов, откуда он взялся? Ничего неизвестно. И у Бродского тот же принцип. Вы мне докажите, что Бродский хороший поэт! Нет-нет. Вот вы его любите. Я всех, кого люблю, знаю по паре стихотворений наизусть. Прочтите!.. Да-да, что-то есть. Интересно. Надо будет почитать. У меня его обе книги есть. Собственные книги как-то не читаешь. А в общем, похоже на раннего Сельвинского...

Обед. Мимо проплывает Сапгир.

Слуцкий: — Сапгир — человек одаренный. Недоброжелателен, как все люди, не имевшие возможности реализоваться. С отчаянья бросился в детскую литературу. В случае чего в милицию не побежит. Ни в чем дурном не замечен. Вам нравятся его стихи?
Я: — За послевоенное время он из лучших.
Слуцкий: — Кто лучшие?
Я: — Красовицкий, Холин, Сапгир, Бродский, Лимонов...
Слуцкий: — Лимонов ко мне ходил. Я его хорошо знал. Он тоже из Харькова. Интеллигентный. Интеллигентнее, чем Алигер. Способный. Сейчас он в Нью-Йорке, бедняга. Его жена сманила. Она манекенщица. Там его бросит. Тут он как сыр в масле катался. Ничего не делал, а когда нужны деньги, продавал машинопись своих стихов по пятерке или шил дамские брюки — большой мастер. Тане шил. В Америке ему будет худо. Бродский здесь имел настоящее признание, но не имел официального. Там он имеет официальное, но не имеет настоящего...

За ужином продолжение.
Слуцкий: — Сейчас самый влиятельный писатель в мире — Солженицын. Но такого влиятельного, как Лев Толстой или Ромен Роллан, нет. Ромен Роллана Лига Наций слушалась. Я застал время, когда в провинции считалось предосудительным не читать «Жан-Кристофа» и «Очарованную душу».
Я: — Я помню такое в Москве.
Грушин: — Мы и сейчас читаем Ромен Роллана. У него прекрасно о музыке. (Мне.) Вы согласны?
Я — Нет.
Грушин: — Странно.
Я: — Чем читать о музыке, лучше слушать музыку.
Грушин: — Я постоянно слушаю музыку. Я не могу работать без музыкального фона. Я сюда для работы взял магнитофон...
Кацева: — По-моему, очень влиятельный писатель Бёлль. Правда, у нас он на все смотрит глазами Левы Копелева. Если бы он пришел ко мне, он встретил бы других людей, услыхал бы другие мнения. Я читала в «Шпигеле» отрывки из Левиных мемуаров. Представьте себе, он вы-

брал главу о том, как наши плохо вели себя в Восточной Пруссии в апреле. Как он спасал старушку от советских солдат. И это для Западной Германии, где не принято писать, что немцы творили у нас! Мы с Левой были большими друзьями, но этого я ему не прощу. Я не была там в апреле — в мае там был полный порядок.
Слуцкий: — Приказ Сталина.

После ужина в раздевалке.
Сапгир: — Завтра уеду. Здесь как-то не хочется. Слуцкий. Звать неприятно, не звать неудобно. А читать им всем противно. Самойлов вот даже сказал, что больше всего на свете ненавидит сапгировщину. Приходи ко мне в Москве. Почитаю и покажу. Тебе кто больше всех?
Я: — Бродский.
Сапгир: — Не люблю. Важничает. А еще?
Я: — Из недавних — Лимонов.
Сапгир: — Очень талантливый. Я его отучал от обериутства. Сейчас он в Нью-Йорке. Пишет письма, жалуется, что забывает речь и стих. Здесь житье у него было собачье — семь лет без прописки, каждого мильтона бойся. И все-таки я считаю, нам уезжать нельзя. Это сука Щапова его подбила уехать и там бросила.
Я: — Слуцкий только что предсказывал, что она его бросит.
Сапгир: — Я ему неделю назад сказал, что уже бросила.

На кругу на ночь.
Богачев: — Что точно по-английски значит «конвейер»?
Я: — Переносчик, передатчик.
Богачев: — У нас в двадцатые годы в книге Форда не было этого слова и переводили описательно.
Я: — А помните, в космополитизм называли «поток», «поточная линия»?
Богачев: — Верно, только подумать... Тьфу, в какой херовой стране живем! А сейчас на Камазе хвастают конвейером длиной в километр. Я там на многое насмотрелся. Пишу «Историю колеса». Говорят, НТР, НТР, а куда больше НТР было, когда изобрели колесо. В природе нет вращательного движения. Это правда, что в доколумбо-

вой Америке не было колеса? Не знаете, где об этом почитать? ...Я прошлым летом впервые после войны был в Германии. Деревня на Балтике — ничего не узнать, после пожара все заново отстроились. Дома новые, люди новые, бургомистр новый. Я особенно не расспрашивал — так можно и на собственную дочь напороться. Мы в сорок пятом удивлялись, какие там девки хорошие. А это были эвакуированные из Берлина, от бомбежек, дочки богатых, которые могли откупиться от трудфронта. Нас сначала призывали к мести — это потом спохватились и дали отбой. Мы жуть что творили. Бывало, встречаемся и спрашиваем: — Ты сегодня сколько раз отомстил? — Я разъезжал на красном мотоцикле... Теперь у них в деревне что-то вроде уголка боевой славы. Собрались там — вдруг заявляется старый бургомистр, девяносто три года, — сразу меня узнал: — Герр лойтнант! — и мотоцикл мой вспомнил: — Русские люди — хорошие люди. Сначала они убивали много немцев, потом передумали и стали делать совсем много немцев. — Бондарев ерунду написал про любовь советского офицера и немки. Таких чувств тогда и быть не могло. Надо бы описать, как на самом деле было, пока не забылось...

Полдник. Вдвоем за чаем.

Слуцкий: — Вы когда не работаете, что читаете?

Я: — Сейчас Аксенова.

Слуцкий: — Рассказы у него дивные.

Я: — Говорят, у него хороший неопубликованный роман.

Слуцкий: — Не читал. У него в столе большое количество рукописей. Последние годы его печатают худо.

Я: — Если по-вашему, по-марксистски, количество перейдет в качество, и рукописи взорвут столы — не у одного Аксенова. Что тогда будет?

Слуцкий: — К чести советской литературы, у нас почти все произведения пишутся для печатания.

Я: — А ведь печатать опасно? Во-первых, самоцензура. Во-вторых, сколько стихотворений вы пишете в год?

Слуцкий: — Последнее время много. Четыре тысячи строк.

Я: — А сколько печатают?

Слуцкий: — Предлагаю полторы тысячи, берут семьсот.

Я: — То-то и оно: ведь берут третий сорт.
Слуцкий: — Ну, второй.
Я: — Вряд ли. По вашим собственным меркам, у вас нет середины, только первый сорт и третий. Да и тот для печати — вы портите.
Слуцкий: — Я никогда не переделывал своих стихов!
Я: — А «Вы не были в районной бане»? «Там четвертак любой билет». Такой цены нет, было точно: «Там два рубля любой билет». А «Покуда над стихами плачут»? «Она, как Польша, не згинела»?
Слуцкий: — Это напечатано в издательстве «Правда» тиражом в сто тысяч.
Я: — Но в каком виде? А «Шел фильм и билетерши плакали... И парни девушек не лапали»? И название «Броненосец Потемкин»?

Месть последовала наутро.

Обычно я завтракаю поздно, один. Слуцкий меня дождался. Его развлекал Грушин:

— Из порядка 116 стран, дающих регулярную статистику в ООН, Советский Союз по уровню жизни не входит в первые пятьдесят. А известно вам, что у нас 58 процентов городского населения ни разу не было в театре?
Слуцкий: — А какой процент никогда не был в опере?
Грушин: — Такой статистики нет.
Слуцкий: — Я никогда не был в опере. В двадцать втором году Назым на митинге в Москве предложил превратить Большой театр в элеватор. (Мне.) По-вашему, это глупо?
Я: — Глупо.
Слуцкий: — Назым был очень умный человек.
Я: — Знаю. Разговаривал.
Слуцкий: — Сколько раз?
Я: — Мне хватило.
Слуцкий: — А вы не допускаете, что он мог не брать вас в расчет как собеседника?
Я: — Допускаю. Он был хам с манерами.
Грушин: — Вы высказываете весьма странные мысли.
Слуцкий: — Назым был долгое время негласным главой компартии Турции и всего Ближнего Востока.
Я: — Какое это имеет отношение к уму? Или таланту?

Слуцкий: — У сорокамиллионного народа обязательно должен быть свой великий поэт!
Я: — Не обязательно Хикмет. Пастернак говорил, что бывает модернизм худшей воды, вроде Хикмета или Элюара — сплошная пустота.
Слуцкий: — Пастернака́ за границей знают только за прозу, а стихи Хикмета и Элюара знает весь мир.
Я. — Элюара знают. Сейчас и Пастернака знают. А Хикмета — нет.
Слуцкий: — Это ваше личное суждение.
Я: — Личное суждение по журналам и антологиям.
Грушин: — Кто, по-вашему, может судить о стихах?
Я: — Тот, кто в них понимает.
Грушин: — Но это ничтожно малая группа, которой статистически можно пренебречь.
Слуцкий: — Если в этом зале о Назыме скажу я, мне поверят, а если скажете вы, вам не поверят.

1976—80

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЧЛЕНКОР

Ленин и Чернищевский — люди двух эпох. Если би Ленин жил в эпоху Чернищевского, он бил би Чернищевским. Если би Чернищевский жил в эпоху Ленина, он бил би Лениным. У них общая гражданственность, бесстрашие, нравственность.

Мой отец, человек огромных способностей, готовился в раввины. Он бил би видающийся раввин России. Но Чернищевский научил его атеизму. Он на Чернищевского Богу молился. На столе у него всегда стояла карточка Чернищевского.

Я бил щестилетний негодяй. Я игрался и уронил карточку. Рамка распалась, стекло тоже сломалось. Чернищевский, так сказать, повержен. И я даже не подумал поднять. И тут входит отец. Он мухи не мог обидеть — а тут он хотел меня побить. Но он не знал, как это делается. Меня всегда била мама. И он схватил щетку для пола и стал тикать ей стенку — он не знал, как бить детей.

Недаром Ленин так любил Чернищевского.

1979

АВСТРИЙСКИЙ КОММУНИСТ

— Почему вы узнали, что это австрийский значок? Совершенно верно, красное-белое-красное. Я почетный член австрийской компартии.

Австрия это обыкновенная европейская страна. Как Швейцария. Половина классической музыки происходит из Австрии? Никогда об этом не думал. Да, там в каждой деревне играют на цитре.

Но родился я на Украине. В Николаеве. Моя мать была настоящая русская интеллигентка. Это теперь сказали бы, что еврейка. А в Австрии меня выгнали из школы как русского. В первую войну.

Я все знаю про Гете, про его личную жизнь. Я четыре года слушал о нем в Венском университете. «Поэзия и правда» это неправильный перевод. Это «Вымысел и правда». Гете понимал, что не станет всегда писать правду.

Он не хотел писать про свою жену Кристиану Вульпиус. Она пришла к нему просить за брата — ее брат написал что-то не то — и так и осталась. Она жила с Гете много лет невенчанная. При французах один мародер ворвался в дом Гете, приставил к нему штык и потребовал деньги. Кристиане Вульпиус это не понравилось, и она выбросила этого француза из дома. Гете был ей так благодарен, что сразу пошел с ней в церковь и обвенчался.

Вы знаете, что Шиллер был страшным обывателем? Он не здоровался с Кристианой Вульпиус. Потому что она была низкого происхождения. Когда он со своей аристократической женой Каролиной фон Вольцоген приходил к Гете, Кристиана Вульпиус подавала на стол и уходила на кухню. А теперь Шиллер считается революционер, а Гете нет.

Гете написал много баллад, стихотворений — они много значили для своего времени. Теперь они никому не нужны. Для меня Гете это первая часть «Фауста».

Я был здоровенный малый. Прошел всю Европу пешком с рюкзаком и палаткой. И Северную Африку. Югославия это такая дикость, что хуже Африки. В Боснии в деревне одни женщины и ребятишки. Мужчины все уже поубивали друг друга. Кровная месть. И Словакия. Ну,

Чехия это уже культура. У меня был географический паспорт — во все страны, кроме Советского Союза.

Сын у меня живет в Ливерпуле. Он фабрикант, хорошо живет. Я его долго не видел. Мы его в двадцать пятом году сделали. В Италии. В Австрию он не хочет.

Австрийцы неприятные черствые буржуазные люди. Сейчас они такие, как были при Гитлере. На последних президентских выборах за фашиста Бургера голосовало сто сорок тысяч. Сто сорок тысяч взрослых дураков! В тридцать третьем году при фашисте Дольфусе за фашистов голосовало меньше.

Откуда вы знаете про Дольфуса? Спросите людей вокруг — они не знают. От Дольфуса я бежал в Москву. После восстания. Я не состоял в Шуцбунде. Я при Шуцбунде был делегатом компартии. А здесь, вы, наверно, догадываетесь, побывал в далеких местах.

Откуда вы обо мне слышали? Вы знаете Леночку Кривицкую? Да. В пятьдесят пятом я без реабилитации жил в Сибири. В ужасных условиях. Я не знал, куда послать и послал в министерство культуры. Поэма «Германия. Летняя сказка». Я сатирик. Там как будто про Западную Германию. Но это не про Германию. Ее никогда не напечатают. Рукопись переслали в литературную консультацию. Леночка Кривицкая показала ее Льву Гинзбургу.

В прошлую пятницу я был потрясен. Я спрашиваю, как поживает Лев Гинзбург, а мне отвечают, он уже не поживает, его похоронили. Мне горько, что я пережил его. Это был острый талант и щедрый человек. Такая редкость! У нас все готовы перегрызть друг друга.

Я обязан Гинзбургу всем. Он так горячо отнесся. Написал рецензию. Вытащил меня из Томска. Без него я так бы там и остался. Тогда ему было всего тридцать пять лет... За какую-то статью двадцать второго года и неопубликованную поэму меня приняли в Союз писателей.

Я печатаюсь под псевдонимом. У меня больше шести тысяч газетных публикаций. За этот месяц я перевел четыреста тридцать строк. Хотите знать, чего? Балы́-балы́. Национальная поэзия. Ее на свете нет.

Это в Томске я стал читать русскую литературу. Я удивился — такая великая литература! В Вене я читал «Евгений Онегин» по-немецки. Бросил — какая-то дрянь.

В тридцать восьмом мы были на покосе. Спали в шалашах. В пять часов утра я выполз по естественной необходимости. Смотрю, конвоир у костра вырывает лист из какой-то книги. Я страшно хотел читать — не читал несколько лет. Только газеты старые, мы из них папиросы делали. Я говорю: — Стрелок, что за книга? — Он посмотрел: — Какой-то «Евгений». — Я догадался, что это «Онегин». Я говорю: — Я тебе целую газету дам, отдай мне книгу. — Он говорит: — Я отойду, а ты положи газету у костра, а я тебе потом положу книгу. — Это он боялся, что я подойду и винтовку у него отниму. Я положил ему газету. Он положил мне книгу. Я прочитал: «Мой дядя самых честных правил» — и, знаете, я заболел. Я пошел к лекпому — мы так называли фельдшера — и попросил освобождение, это как бюллетень. Он мне дал — и я целый день лежал в шалаше и читал «Онегина». Это была моя самая первая русская книга. В Советском Союзе, в Энгельсе, я читал историю немецкого языка. Потом мне захотелось прочитать «Онегина» еще раз. И я еще раз попросил освобождение. Я решил перевести «Онегина». Я перевел первую главу — мне за нее дали премию в ГДР, — а потом перестал переводить. Нашел очень хороший перевод — значит, зря старался.

Сам я писать ничего не хочу — мне надоело ходить под конвоем.

Вы думаете, это только здесь так? Везде так. Я послал письмо старому товарищу по партии. В Америку. Наклеил красивых марок. Он ответил. В конверте — фотография моего письма. К маркам с портретом Ленина — стре́лки. Значит, я там что-то нарушил.

Представьте себе, я, старый дурак, впервые увидел Ленинград в шестьдесят пять лет. Слава Богу, свободный. Слава Богу, денег хватает. Я поселился в гостинице. Нанял в туристском бюро экскурсовода и платил, как за целую экскурсию — пять рублей в день и мое питание. Это было чудо!

В Вене я бывал три раза. Уже в семидесятые годы. Ни разу не мог выдержать до конца. Уезжал раньше. Неприятная атмосфера. Вена мало переменилась. Прибавились новые районы — двадцать второй, двадцать четвертый. Немного застроили мой любимый Венский лес. Но его

испортили автомобильные дороги! Сейчас там сплошной бензин. Я с трудом нашел тропинку, по которой мы с рюкзаками ходили на Леопольдсберг. Венский лес это горы! Это в кино показали парк, и все поверили. «Большой вальс» сняли в Америке!

И вы знаете, я, старый дурак, впервые увидел Вену. Смотрю на Национальную библиотеку — какая красота! Я в ней два с половиной года писал диссертацию, а не видел. Собрания, партийная работа — вы понимаете. Только теперь я увидел, какой это красивый город. Вы были в Вене? Ну, как же! Каждый человек должен увидеть три города: Ленинград, Вену и Париж. И есть три города-хама: Берлин, Лондон и, извините, Москва.

1980

P.S. Уже без значка

— У нас с женой квартира. Две комнаты. Двадцать восемь метров. Дом блочный. Ехать на электричке. Нам сказали: Авария на трассе, а ваш дом в стороне. Никто за него не отвечает. Будете всю зиму без отопления. — Это же ужас! Мне ничего, для меня здесь субтропики. Я спал у костра в тридцать градусов мороза. Но у меня больная жена. Я не знаю, куда ее поселить на зиму.

Я хотел купить квартиру. За свои деньги. Мне предложили Выхино, Чертаново. Потом Бескудниково. Я говорю им: — Это не Москва. — Они говорят: — Лианозово уже Москва. — Я отказался. Они говорят: — У вас несерьезные намерения. — И вычеркнули меня из списка.

У меня в гостях был секретарь австрийской компартии. Он написал в советское правительство: ветеран революции живет в ужасных условиях. — Ему ответили, что не могут предоставить мне квартиру. Они ему показали, сколько он стоит.

Вы хотите со мной говорить. А я не хочу с вами говорить. Зачем? Вы тоже знаете много, чего я не знаю. Мне это не интересно. Поймите меня, я устал. Для меня отдых это запереть за собой дверь. И голой бабы не надо. Мне восемьдесят лет. Я сижу и думаю про свою жизнь. Я всю жизнь делал не то, что надо. Подполье. Литературная работа. Золотой значок. Я всю жизнь делал плохо. Оскорблял людей. В двадцать лет я редакти-

ровал газету «Готтлозе Югенд», «Безбожная молодежь». Я был мальчишка, дурак и хотел учить людей, которые были умнее меня. Сейчас я завидую верующим — у них есть опора в жизни.

1984

P.P.S. Недавно мне сказали, что он потерял жену, долго болел, лишился ноги и все-таки уехал в нелюбимую Австрию.

1993

ЭРЬЗЯ

Старый оборванный Эрьзя со старой облезлой собакой — немой сторож при складе своих скульптур. Я жил рядом, он привык ко мне и моим, мы его разговорили.

— Степан Дмитриевич, это Христос?

— Нет, это я. Я в мордовской рубахе ходил — длинная, белая. Итальянские женщины набожные. Вечером пойдешь — кричат: — Исус Христос! Исус Христос! — и ручку целовали. В Италии. Я после пятого года сбежал. Чтобы не арестовали. К Трубецкому. Я по его классу в Живописи-ваяния числился. Он тогда Александра Третьего делал. Так что учился я у Волнухина. Хороший был человек. В Гражданскую войну я его до Геленджика довез. На моих руках умер...

— Вы до революции не совсем уезжали? И вернулись?

— В четырнадцатом году. В четырнадцатом все возвращались. Приехал — и под надзор. Революционер... Революция меня и освободила. Я был главный организатор общества художников. А когда Ленин приехал, нас из Кремля прогнали... Я уже тогда очень известный был. В музеях много работ, очень много. Все разбили.

— Кто разбил?

— Кубисты. Футуристы. В Баку остались «Нефтяники». Говорят, есть еще Ленин в Батуме. Я не видел.

— А в Москве что-нибудь ваше стояло?

— Больше в Екатеринбурге. Памятник Парижской коммуне. Памятник революции. Марксу. Уральским коммунистам... Разбили. Из одного потом бюсты дела-

ли. Из тела. Я до дерева в мраморе работал. Такого хорошего мрамора нигде не видал. Меня из-за него чуть не расстреляли. Пришла бумага: разведать мрамор. Им надо кусочки привезти, а я разработку затеял. Начальник мне говорит: — Ответишь!

Эти начальники — им только бы по ресторанам. А нам есть было нечего. Ну, мне повезло. Встретил мой в ресторане над озером начальника из Москвы. Говорит: — Есть у меня такой Перзя. Самовольничает. Из-за границы приехал, по-русски говорит плохо. Хочу его расстрелять. — А тот ему: — Какой Перзя? Может быть, Эрьзя? Если Эрьзя — это самый хороший человек.

Эрьзей меня еще товарищи по университету прозвали. У них было имение против нашего села. Вот тут на картине. Я по памяти нарисовал. Да... Они мне и кричали: — Эрьзя, принеси ногу! Эрьзя, принеси руку! — Там ступенечки маленькие. Темно. Освещение — не электричество. А внизу трупов масса. Они и боялись. А мне что?..

Начальник за мной мальчишку послал, чтобы сию же минуту. Я спешу, ноги подсекаются. Думаю, крышка. Он в дворянском клубе. Зал такой большой. Он в самом конце. Встал из-за стола, сам идет мне навстречу.

Мне разрешение дали над Златоустом сделать из горы две тысячи метров — Маркса. Потом говорят: нельзя. Не может один человек две тысячи метров сделать. А сейчас такая техника — двадцать километров сделать можно.

В Рио-де-Жанейро та же история. Я им говорю: — Давайте я вам из горы льва сделаю. — Они обиделись: — Лев — символ Англии, а Бразилия не английская колония. — Гору-то чуть-чуть подправить — и над городом лев лежит... Я и дерево не очень-то трогаю. Только лица. Во какая прическа получилась. Природа! Ни один парикмахер не придумает.

— А как вы все-таки там оказались?

— Мне Луначарский сказал. Я и уехал. Прислал в музей Ленина голову Ленина. Метр диаметром. Не знаю, где сейчас. Из Парижа прислал «Расстрел коммунаров». В Музей революции. Его на двор выкинули, а там больница, ремонт. Всех коммунаров щикатуры на щикатурку перевели. Много из них щикатурки вышло!..

За границей я жил хорошо. Если бы плохо, разве бы столько наработал? Тут не самое лучшее. Еще бы! Покупатель придет, посмотрит — разве он будет брать самое худшее! Триста вещей там. Сто пятьдесят в Германии. Сто во Франции, Англии и в Аргентине. Даже в Японии есть... Денег у меня много было. Очень много. Пользоваться ими не умел. Другие пользовались. Находились желающие. Дом у меня подходящий был, друзья подыскали. Народу всегда... И ездил я много. Лица смотрел. Это у меня не портреты. Революционерки! Да.

Столько я в Аргентине прожил, столько прожил, что теперь скажу: я очень хороший русский и я очень хороший аргентинец. А они мне говорят: — Освобождай дом! — Ну, на что это похоже? Куда мне со скульптурой деваться? И вот с ним. Леон со мной пятнадцать лет путешествует. Он никакой, беспородный. В свое время газеты писали: — Нельзя понять Эрьзи, не узнав его собаку. — Столько всего обо мне писали — о ком же писать? И пожалуйста: денег нет, и дома нет, и людей никого нет. Я говорю, что хочу вернуться. Гражданство-то у меня советское. Они мне тут же дают миллион за Моисея и три миллиона за все остальное. Долла́ров! Не хотели, чтобы я увез. А я уже ничего не продаю: всё народу.

Недешево мой переезд обошелся, миллиончика полтора. Пароход — специальный. Туда ведь сообщения нет. Деньги заплатили, а привезли — свалили в монастыре. Полтора года на свежем воздухе. Одни святые смотреть ходили. Оттого так и потрескалось. Хорошо, дерево такое — тыщи лет под водой, под землей лежало. Я его сам открыл, сам выкапывал. Привез с собой два вагона — где-то валяются. На дрова. А что тут во дворе — всё сделаю и баста!

— А правда, что как вы — никто не работает?

— Конечно, никто. Как я, один Микельанджело работал! Я смотрю — увижу, что надо делать, и сразу делаю. Начисто. Ничего не размечаю... Когда сюда ехал — боялся. Техника вперед шагнула, отстал я. Куда! Приехал — а они всё стучат молоточком: тук-тук! Я им свою фрезу показал — они удивились. А чего удивляться? Обыкновенная фреза. Как бормашина для слона. Молоточком

такое дерево не возьмешь. У него волокна — как если пальцы переплести. Старайся не старайся, все не по направлению, все не по древесине. Мою «Москвичку» молоточком полгода делать. А я часа за четыре, за пять...

Когда я сюда приехал, мне сразу дали десять тысяч. Фальшивых. Пиши, что пятнадцать, а получи десять. Пять тысяч фальшивых. И потом ни копейки. Сейчас ко мне ходить стали, разговоры пошли. Худфонд семьсот пятьдесят в месяц обещает — я их еще не видел. Маленков мне двести пятьдесят метров дал; говорят: много. А мне повернуться где? Не то что работать, расставить негде. Хорошо, вас четыре. А в воскресенье четыреста было. Куда мне их всех девать? Ходят, спрашивают. Про меня первый раз услыхали. У нас одни крайности — то кубизм, то фотография. Молодежь жалко.

— Кто вам нравится из теперешних?

— Не знаю. Про манизеров-вучетичей и говорить не хочу. Я умру — они сразу приедут, все скульптуры на свалку выкинут. Про советских я ничего не знаю. Они не сами работают. На выставке за городом, на сельскохозяйственной, — Мотовилов, мой ученик. Разве он сам? Мраморщики за него. А он, наверно, и не был, когда работали. Потом приехал и подписал. Ну, как я могу сказать: Мотовилов — очень хороший скульптор — или плохой?

— А Мухина?

— И Мухина не сама. Шадр — сам.

— Коненков?

— Коненков хороший, его весь мир знает. Коненков всегда большой был.

— Голубкина?

— Хорошая была. До Парижа. Из Парижа она машину привезла. Размечать стала.

— А Роден?

— Тоже не сам работал.

— Кто лучше всех?

— БурдЕль. Он всегда сам. Конечно, БурдЕль. БурдЕль!

1955—1981

СЛОВИСТ

Рукопись ушла — наконец я могу вздохнуть свободно. Дóма, знаете ли, пожар или что еще... При моей жизни этого не напечатают. Представляю себе, как обрушатся, когда напечатают, Лихачев и его школа... Они привыкли говорить, что Игорь был чуть ли не отщепенец, навлек беды на Русь.

Я весной делал доклад в Институте мировой литературы. Разумеется, я не мог привести всех археологических данных — это перегрузило бы мое сообщение. Я привел выборку из летописей — все ахнули.

Игорь был великий, великий государственный деятель. Это не просто поход — один из походов в степь. Нет — там же все написано — и как они только читают? Игорь искал выхода к морю. Он, как Петр, шел на Азов — там перекресток торговых путей на восток, на Кавказ. Мы с К. — он специалист по древнерусскому оружию из музея советской армии — мы доказали, что Игорь был не только великий государственный деятель, но и великий полководец-новатор. Он первым применил новую тактику боя, охват противника с флангов. У него учился Александр Невский. Если бы не тактика Игоря, Александр не мог бы победить в Ледовом побоище.

Они до сих пор превозносят этого, извините, поганца Святослава. Вот, дескать, пример истинного патриота. Говорят: Святослав — киевский князь. И не задумываются, что он киевский городской князь, а не князь всего Киевского княжества. Всем княжеством правил Рюрик. Этот Святослав по всей Руси раззвонил и половцам сообщил о походе Игоря — чтобы они могли собрать силы. И подумайте — как Игорь держался! Это неслыханно в истории войн — двое суток! Никакой Дарий, Кир не могли продержаться более суток, а Игорь мог!

Я удивляюсь, как они только читают — там же прямо написано, что после побега Игорь приехал в Киев — но не к Святославу в Софию, а к Рюрику, своему другу, на взвоз, в Пирогощу. Там так и написано. И в летописях говорится, что через три года после возвращения Игорь женил сына на дочери Рюрика.

1979

ХУДОЖНИК

Длинная улица пригорода. Где тут дом с журавлем и фигурками?

Горбылевые заборы расступаются, перед нами палисадничек в метр высотой. Он сплошь из одинаковых гипсовых пионеров. Белые, золоченые, раскрашенные под натуру, они отдают честь и нехорошо склабятся. Над крышей дома — аист в гнезде, тоже как настоящий. За коваными воротцами огромная зеленая лягушка, под разинутым ртом на брюхе: ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. За лягушкой черный крылатый дракон, из огнедышащей пасти — водопроводный кран.

В овалах между окнами четыре головы. Старушечья — в мелких морщинках теряются мельчайшие черты лица: ГОРЕ. Мужская с жесткими пучками волос, неприятно вытянутая: НЕДОУМЕНИЕ. Стариковская, тучная, запрокинутая, с раскрытым ртом, из которого вываливается толстый язык: ДОВОЛЬСТВО. Необыкновенно прекрасная, с правильнейшими чертами и залихватскими усиками: без подписи.

Из-за колонн портика с бьющейся на ветру скакалкой показалась девочка — чуть не спросили, дома ли хозяин, — гипсовую, раскрашенную. Такого же рода собака лежала на крыльце, неизвестно какого — в конуре. Из дверей нам навстречу вышел коротконогий человек с необыкновенно прекрасными чертами лица и залихватскими усиками.

Мы спустились на три ступеньки вниз, в мастерскую. В ней было так много работ, что в яркий день окон в стене и потолке не хватало. Полукругом на высоковатых каннелированных колоннах стояли бюсты: Гостовский Ленин. Хозяин, молодой, прекрасный, задумчивый, правая рука изящно уперлась в щеку, с левой на указательном пальце свисает настоящая палитра: МЫСЛЬ ПРЕРВАЛА РАБОТУ. Еще один такой же Ленин. Хозяин с перекошенным лицом и подвязанной челюстью: АХ, КАК БОЛЯТ ЗУБЫ! Опять Ленин. Снова хозяин, сияющий, с галстуком-бабочкой: ЗУБЫ ПРОШЛИ! Новый Ленин. Ощерившийся пионер с книгой: ЖАЖДА ЗНАНИЙ. Последний Ленин. В углу на железной офицерской раскладушке первой мировой войны под суконным походным

одеялом — белый хозяин, но волосы почему-то рыжие, хотя в натуре — как смоль. К одеялу английской булавкой бумажка: УСНУЛ ВЕЧНЫМ СНОМ.

— Смотрите, как натурально, это я ведь не сплю, это я мертвый. Говорят, смерть это плохо, а я знаю, смерть — хорошо. Я в горбольнице лежал. Там один старичок так мучился. А потом говорит: — Знаешь, мне полегчало. Ничего уже не болит. Ты рассказывай, рассказывай, а я закрою глаза. — После я вышел. Вернулся — гляжу — у дверей дочь его плачет: — Отец умер. — Как же умер? Ему так хорошо было. — Смерть это хорошо. Посмотрите, как я Толстого изобразил. Так трудно было глаза написать, чтобы вышло натурально.

Лукавил он или заблуждался — Толстой был Крамского. Вдоль всех стен и у скульптур стояли, лежали, висели портреты неизвестных лиц, сухая кисть, как передовики животноводства: хозяин ездил по селам и работал на рынок по фотографиям. Но и живопись была не вся ординарна. На оливково-лиловом холсте дряхлый крестьянин и смерть держали по стакану красного вина: ВЕРНЫЕ ДРУЗЯ (без мягкого знака). Жениховского вида хозяин во фраке и смерть в фате, у обоих в руке по свече. Весь фон — стихи со множеством отклонений от русской грамматики, смысл: СОЮЗ НАВЕК.

На подоконнике — глобус, увенчанный пирамидкой черепов. Рядом такая же пирамида из черепов покрупнее. На столе череп — гипсовый? настоящий? Все в мастерской реально до нестерпимости, только линии бюстов, портретов, картин — жестче, намного жестче, чем бывает в природе. И всё это скалит зубы, ухмыляется, подмигивает. Хотелось скорей на улицу, но мой спутник не торопился, ибо видел меньше меня: он был занят фотографированием. А хозяин совал мне тетрадь, книгу отзывов, где одинаковым почерком, одними и теми же словами его благодарили военнослужащие, старые большевики, пионеры и прочая. Пришлось оставить свою запись.

Знаменитый художник назавтра выслушал мой рассказ нервно. Оказалось, они вместе учились в бухарестской академии. Уже тогда к поставленным натюрмортам пририсовывались черепа. Юноша подавал надежды, но цыганская душа увела его в сторону. Неофициальный художник, он богаче любого собрата в Кишиневе.

— Знаете, так неловко, он все зовет посмотреть новое, а я никак не выберусь. Сына у него отобрали: говорят, воспитывал в религиозном духе. Не верится...

1970-е

ЮГОРОССЫ

1

Старичок в шортиках, маленький, как мальчик, но переломленный в пояснице и при галстуке бабочкой и в белой сорочке времен Франца-Иосифа:

— Сейчас в нашу сторону ни одна собака не брехнет. Даже наоборот. На собрании говорили, что в Благотворительном обществе думали только о своей выгоде. Я хотел выступить, но это было бы в диссонансе, а я лоялен.

Мы издавали марксистскую литературу и в газете критиковали политику. Конечно, это не угрожало нашей экзистенции. Тогда правительство не было защищено законом, как теперь. Вас интересует наша история?

Русины это по-древнеславянски — русские. За убийство грека — такая пеня, за убийство русина — такая.

Унию мы приняли в семнадцатом веке. До этого православные священники значились крепостными. Веками возили навоз. А нунций предложил признать власть папы в обмен на гражданские права. Служба и обряды сохранялись.

В четырнадцатом году перед русским наступлением австрияки вывезли всю русскую интеллигенцию Галиции и Закарпатья в Талергоф. Там погибло сорок тысяч человек, цвет народа. Во Львове есть могила Неизвестного талергофца.

Львов — русский город, не имеет отношения к полякам и украинцам. Там был самый древний научно-исследовательский институт на Руси — Ставропигий. На другой день после прихода Красной армии его закрыли. Весь архив погиб. Послухайте меня, что из того, что это духовное учреждение? Надо что-то делать. Может быть, вы поможете? Здание сохранилось, я в прошлом году сделал фотографию.

В день освобождения я по развалинам моста перешел на ту сторону в ратушу и как старший по званию принял власть на себя. Я послал телеграмму Сталину, чтобы нас присоединили к России. Назавтра ко мне пришли из командования фронтом два генерала и полковник. Полковник Брежнев. Я ему заявил, что мы русские и хотим быть в России. Он сказал, что нас освободили в составе Чехословакии, но пожелания народа учтут.

Мы назначили городской митинг на площади, но шел снег, и с гор стреляли немцы. Тогда мы собрали своих в кинотеатре и послали письмо Сталину со многими подписями.

Приехал Свобо́да, говорит:

— Что вы делаете?

Я ему заявляю:

— Теперь уже поздно. Вы нарушили обязательства. Президент Маса́рик говорил, что чехи берут Подкарпатскую Русь на сохранение и отдадут ее, когда Россия будет великой.

С тех пор я в Чехословакии не бывал...

И что же? Нас обидели. У меня отобрали второй этаж, пропала библиотека. Молодежи велят называть себя украинцами. Но Украина — наш враг, про́шу вас, это же креатура Германии. В тридцать девятом в Хусте было правительство Августина Волошина. Сталин про него отнесся, что моська хочет присоединить к себе слона, советскую Украину. Я тогда от ужгородского правительства летал в Братиславу договариваться о демаркации границы. Но тут пришли венгры. Что, венгры? Венгры меня не интересуют. Про́шу вас. Нужно создать на Украине русскую национальную организацию. Наше спасение — в союзе с Крымом!

...С большого портрета за спиной хозяина на нас смотрел красавец-адвокат времен Франца-Иосифа с усиками и в визитке.

1973

2

Потертые рукава, застиранные манжеты. Сухие костяшки пальцев барабанят в двери каплицы:

— Откройте! Здесь люди из Москвы. Скажите, это я́ прошу!

Сквозь каплицу направо — в Ренессанс маленькой Успенской церкви.

— Обратите внимание — витражи нежные, не грубые. Венская работа девятнадцатого века.

Неуловимые рассуждения о тонкости:

— Animus, не anima — дух, не душа.

Во дворе — на башню Корнякта:

— Винкельман писал, в настоящем искусстве должно быть тихое величие и шляхетная простота.

Из подмышки — самодельная папочка с завязками. Конверт наготове с адресом на машинке. Аккуратные копии старых рисунков,:

— Пара́цельс, «Гербариум». Рисо́вник у него был хороший — лучше фотографии. Это для аптеки — вы не посещали? Первая аптека на русских тере́нах. Аптекарь был немец, но человек с большим сердцем. Как потом Иосиф Второй — последний гуманист. Закрыл семнадцать монастырей, начал школы, отменил панщину. Иезуиты его отравили. И представьте себе, чем сейчас похвалились! Триста лет университету! Так это же иезуитский коллегиум!

Уния не удалась. Хотели на латинке печатать — уже поздно. Катедра православная, никакую ябеду не бросишь. Швайпольт Фе́оль за сто лет до Федорова русские книги печатал — пять книг: «Октоих», «Осьмигласник», «Часослов», «Триодь цветная», «Триодь постная». И тексты не в Москве брал, свои нашлись, в Перемышле.

Ну про́шу вас, без префаций, это же всем известно. Конечно, Федоров был иезуит — кто еще? И Скорина. И оба нехорошо кончили. Федоров здесь погребен, у Онуфрия, но могила затеряна. Увы, сам Гутенберг нехорошо кончил — как великие люди, — как Есенин, как Маяковский. Да-да, Пара́цельс был немец. Сами тогда сделали крик, что читает лекции на варварском языке. Но на варварском языке не написали бы Лессинг, Гердер, Гете, Шекспир — простите, Шиллер. И Коперник в Болонье сам записал, что немец — зачем ему было врать. Мы тогда еще вместе были. Это потом немцев — славян повро́знили.

Поляки хотят Коперника захватить. Поляки всегда ищут родину, где ее нет. За это они и Жеромского не очень-то любят. У него лучше, чем «Гайдамаки», лучше, чем «Тарас Бульба»:

— Я хочу построить новую Польшу на гранитном фундаменте. — Ты хочешь построить новую Польшу на земле, пропитанной русской кровью.

Польша это как человек с большим животом вперед — проглотил столько, сколько не может стравить.

В музее вы видели — хитро, чтобы поляков не дразнить: «Вид Львова, XVII век». Там же прямо на гравюре Leopolis Metropolis Rutheniae Meridionalis — Львов столица Южной России. Ruthenia Meridionalis, Ruthenia Rubra, Червоная Русь. Галиция — от слова «гальс», «галлос», по-гречески — соль. Солекопни здесь великие. Тогда прямо говорили: во Львове земля русска, улицы польски, каменицы жидовски.

Жиды, скажу вам, это мировая потуга. Они на брутах зарабатывали. Но надо вам знать, что среди них были благородные люди. Возьмите, Шаф! Этим не надо шутить...

Да-да-да! Это же и есть Ставропигий! В тридцать девятом году я шел на работу в девять часов утра. Видел, как приехали грузовики. В час дня я шел обратно — уже ничего не осталось. Все сожгли за городом! Вы это знаете? Вы знаете моего друга из Ужгорода? Мой брат ни за что в Сибири пропал...

Под рельефной вязью портала кто-то мелом нарисовал звезду Давида и с другой стороны — магическое USA.

1979

ТАЙГАС

— Немцы нас в лес — окопы копать. Мы копаем — они стоят. Им привезли обед — ну, мы убежали домой. Немец в дверь, я в окно. — Где такая? — Вы в лес взяли!

Один раз проснулись — нет немцев. Ушли. Второго мая. Русские пришли. Всех мужчин собрали, большая колонна — как отсюда до Тукума. Никто не вернулся.

Теперь хорошо живем. Раньше сам что имеет или хозяин дал. А сейчас лодку колхоз дает, мотор. Сети порвутся — сети дает.

Все равно в море никто не хочет. Бригада — три деревни, двадцать человек. Не так двадцать, потому что двенадцать — на пенсии. Рыба — одни лу́чи. Ну, салака не рыба.

Привезут на фабрику — все разделать надо, сразу, хоть ночью. Зимой, летом — ноги в воде, руки во льду, справа и слева дверь открыта.

Мужу участок дали — болото. Пусто — как тайга. Ну, мы назвали «Та́йгас». Муж сам канавы рыл, сад посадил, дом построил. Пожить не успел. Отвезли в Энгуре. Там больница плохая. Он там упал — только утром нашли.

Потом один раз вижу, муж идет по двору. Видит меня, говорит:

— Лабдиен.

— Лабдиен.

Я думала, он в Энгуре ездил за якорем, сам немножко ходить в море, а он нет, со всей бригадой, как раньше. Я ему говорю:

— Опять меня не слушаешь? Один раз умер, хочешь еще умереть?

А он мне говорит:

— И я тебе говорил, не ходи больше на фабрику, а ты все ходишь. Тоже скоро умрешь.

Я ему:

— Что ты! Что ты! Пойдем в дом.

А он не хочет, говорит:

— Посидим тут на сене.

Там тогда сено стояло, сейчас не стоит. Я ему говорю:

— Неудобно. По дороге люди ходят.

А он говорит:

— Пускай ходят!

Он постригся так, ну, побрился, в куртке серой — такой у него не было. Я ему говорю:

— Какой кавалер стал!

А он говорит:

— Ты мне всегда говорила: не опускайся, а теперь сама опускаешься.

Тут он видит соль, ну, такая соль, как в солонке, обыкновенная, говорит:

— Дай мне хлеба.

А я помню, если мертвому хлеба дать, в доме кто-то скоро умрет.

Говорю:

— Нет у меня хлеба.

А он говорит:

— А свиньям от этого же кирпичика отрезаешь?

Я говорю:

— А тебе не отрежу. Мертвые не едят.

Он говорит:

— Я и не хочу. Только так спросил.

Тут часы зазвонили. Я хотела спросить, скоро ли умер, долго ли мучился, когда упал. Только хотела спросить. не успела.

После у меня воспаление легких, думала, что умру. Пришла из больницы домой, а соседка из белого дома говорит, что видела мужа на улице.

— Лабдиен, — говорит.

— Лабдиен.

Тут кто-то быстро на лошади по дороге проехал, она не видела, кто, а муж сказал, кто и что больше лошадь ему не даст, а лучше даст ее Жанису. Он говорит:

— Ну, я пойду.

— Куда?

— Домой. Жены дома нет, скотину некому покормить.

1973

ДЕЛА ЛИТОВСКИЕ

За фанерной перегородкой громко декламировали политовски и мешали мне спать после обеда.

На палангском безделии я отпустил бороду, и куафёр из Шауляя постриг ее а ля Ильич.

— Господин цадик, я бы хотела знать вашу настоящую профессию, — окликнула меня во дворе соседка из-за перегородки.

Я сказал, что я переводчик.

— А меня саму переводят! В Каунасе профессор Печкус переводит мои стихи на английский язык. Юргис!

По лестнице тотчас спустился ее муж с пестрой дешевой книжкой наизготовку.

Венцку́нене-Повилайти́те, «Куниги́йкштене О́на». Из длинного списка сочинений того же автора на обороте обложки я понял, что большинство из них не опубликовано.

— В Голливуде перед войной собирались ставить фильм по моей трагедии, но тут умер Вайчкус... У меня есть чудесная поэма «Янтарь» — я ее писала двадцать пять лет. Мне сказали, что рукописи можно сдать на хранение в Академию наук. Я дала им двадцать томов — все в кожаных переплетах!

Назавтра я встретил Антанаса Венцлову и спросил, кто такая Венцкунене-Повилайтите.

Флегматичный Венцлова принял позу кулачного бойца.

— Такого имяни в летовской летературе нет!

— ?..

— Она давно умярла!

— Она живет в одном доме со мной.

— Яё никогда ня пячятали!

— Я видел ее книжку...

— В буржуазное время можно было издать что угодно. Она еще скажет, что по яё сценарию ставили фильм с Гретой Гарбо! Покойник Цвирка говорил, что таких графоманок надо гнать в три шеи...

Мои литовские сверстники ничем не могли мне помочь. Зато замечательный Пятрас Юодялис, редактор авангардистского журнала литовских времен, долго хохотал, утирая слезы:

— То-то-то. Знаменитейший скандал двадцатых годов. У нее был муж, художник Кристутис — он, правда, был как Христосик. Так она от него сбежала к доктору Повилайтису. Тогда Кристутис в отделе объявлений напечатал ей проклятие. Повилайтис обругал его в другой газете. Кристутис ответил. Тогда за него принялась сама Венцкунене. Газеты покупали нарасхват. Каунас потешался, наверно, месяц. Они перешли на такие интимности, что вмешалась полиция...

Отчего же Венцлова так ополчился на вроде бы безвредную для него старуху?

Я думал, думал и вдруг нашел ответ в первых словах самого Венцловы:

— Такого имяни в летовской летературе нет.

А если бы было?

Тогда в перечне литовских писателей Венцкунене в силу алфавитных причин стояла бы непосредственно над самим Венцловой, так как сына его, поэта, зовут Томас, и он по тем же алфавитным обстоятельствам не в состоянии отгородить Антанаса от нежелательного соседства сверху.

В своем первом национальном поколении Пя́трас Юодя́лис был лучше других образован, года на три раньше созрел, добрался до авангарда.

— Таких, как Венцлова, верных попутчиков, мы почитали сволочью.

Лидер левого инакомыслия:

— В тридцатые годы мы слушали Москву, как сейчас — «Голос Америки».

Воспитатель ровесников. Лучший из них, первый поэт Литвы Коссу-Александришкис вспомнил о нем в мемуарах, в Америке, как о погибшем.

Летом сорокового, при нехватке кадров, его назначили председателем комитета по делам искусств.

— В комитете нас было я и моя секретарша.

Благо советской власти: в католической Литве развода не было; теперь же, в 1941, он, свободный, женился на Дануте Гумовской.

Эвакуироваться в голову не пришло. Немцам пришло в голову, что член правительства знает явки. Пытали током. Он пытался повеситься. Тогда немцы утром, зимой, выбросили его на улицу. От Лукишек до Антоколя он добирался весь день.

Знакомый доктор, во избежание, взял его в сумасшедший дом. Повел по лечебнице, сзади дежурный немец. Вдруг тощий усатый поляк, пилсудчик, бросился к нему, лобастому и залысому:

— Здравствуйте, Владимир Ильич! Я — Дзержинский.

Немец, к счастью, не понял.

После гестапо Воркута показалась отдыхом:

— Начальник лагеря говорит: у тебя хороший почерк, будешь моим писарем. Но если к куму ходить станешь — голову оторву.

— Новая партия. Поэт Аркадий Штейнберг, из Москвы. В новом костюме. На лесоповале сел на бревно и просидел весь день. В белых перчатках. И никто его не тронул. Говорит: — Я в законе. — Ну, интеллигенция к нему с почтением. А тут ему посылка пришла. И сразу брюки у него пропали. Единственные. Вечером приходит к нему блатной: — Один наш, понимаешь, нашел твои брюки. Он тебе отдаст — только ты с ним поделись. — Все смеются: вот, значит, в каком законе. Отношения с блатными у нас были идиллические...

После срока — Сибирь.

— В Литве у меня туберкулез был. В Сибири от здорового климата все прошло.

Жене его Дануте пришлось хуже.

Арестовыватели по инструкции совали маленькой Ванде конфетки. Она простояла всю ночь в кровати, не взяла ни одной.

На следствии литовки спасались народным способом. Когда спрашивали о ком-либо из знакомых мужа, тотчас тупили взоры и бормотали:

— Мне о нем неудобно. Я с ним в близких отношениях...

Пуритане из МВД с ненавистью плевались на поголовный разврат.

В Сибири село предупредили, что привезут фашисток. В пристанционном сарае одна из прибывших сразу стала рожать. Родихе село понесло молоко, мед.

Чахоточная Дануте была на лесоповале учетчицей. На работу ходила босиком по снегу. Председатель увидел, велел выдать валенки.

В русской школе Ванда ни с кем не дружила. Часто уходила на сопки плакать. Училась когда как:

— Я все знаю, а как подумаю: зачем говорить?

После смерти Сталина ссыльных вернули. Пятрас сетовал:

— Я в лагере столько людей насмотрелся, что не могу больше. Новый человек, а я взгляну и знаю, что он скажет, что будет делать. Так.

Отмалчивался даже дома, среди своих. Своевольный, безумный, тайно писал, ни с кем не считался, страдая, мог в три часа ночи запустить на всю холодную квартиру любимое трио «Памяти великого артиста».

Дануте как могла, опекала несчастного любимого мужа.

Его не реабилитировали: отбыл срок; но ценили — дали большую непригодную для жилья квартиру, устроили синекуру в музее. Обзессии находили и там: пропадет янтарик — он сходит с ума, уверен, что все думают на него.

Мы встречались по большей части в Паланге. И там он сторонился своих — снимал отдельно, пусть даже в комнате с посторонним. Отдохнувший, сияющий, улыбался отцовской улыбкой; развеселившись, порой хохотал до слез.

На закате у моря любил пофилософствовать:

— «Гамлет» — чисто русская драма. Англичанам ее не понять.

— Если вдуматься, Софронов и Грибачев должны быть лучше, добродушнее нас — у них есть общее дело.

— Чюрлёнис был первый абстракционист. Писал абстрактную картину, но не верил себе и по готовому рисовал ангелочков.

— Чюрлёнису сифилис раздвинул границы. Что же лучше — гений и сифилис или ничтожество без сифилиса? Вопрос Фауста, то-то-то!

— Если писатель не будет эгоистом, то ничего не напишет.

— Иосифас Бродский — это молодой Гете.

— Томас — единственный поэт в Литве. Его не печатают. Предложили написать какую-то брошюру по семиотике — и он согласился! Это как если бы Паганини предложили играть в кино перед началом сеанса, и он согласился!

— Литовцы — оппортунисты по душе. Идут на любые компромиссы.

— В Литве не существует подпольной литературы. Все пишут только в издательство. Никто не хочет писать для себя.

— Раньше переезжаешь границу в Кенигсберг — на сто лет вперед, теперь — на сто лет назад.

— Все бумажные деньги до сих пор стиля сецессии. Тогда был расцвет буржуазии.

— В буржуазное время в Литве асфальт был только на Лайсвес-аллее. Если сейчас провести референдум о независимости — неизвестно, за что литовцы проголосуют.

— Литовцы целый век правили русскими княжествами. Чернигов. Смоленск. Киев. Никакого захвата не было. Географическая Литва — источник, откуда русские сто лет брали князей и войско для защиты от кочевников. Историческая Литва началась на русской земле. Литовцы взяли у русских государственность и официальный язык. Произошло взаимопроникновение. Отношения русских с литовцами были идиллические...

Последний раз я видел благодушного сияющего Пятраса Юодялиса летом шестьдесят восьмого года.

Перед смертью он сжег неопубликованное, написанное для себя:

«Загадка Гамлета»,

«Чюрлёнис»,

«Литовский век».

Лауцявичюс — rara avis — литовец-протестант. Европейский эксперт по старой бумаге и водяным знакам. Тоже писал для себя — есть неопубликованная монография. На вид — российский барин девятнадцатого века в халате.

До войны работал в посольстве в Лондоне. В тридцать девятом вернулся — не в Каунас, где его все знали, а в новоприсоединенный Вильнюс. Дом на окраине, высокий забор: ВО ДВОРЕ ЗЛАЯ СОБАКА.

Дом — музей. Всегда собирал антиквариат, особенно преуспел в оккупацию. Ходил с Юодялисом по брошенным домам, искал брошенные антики. При немцах через его дом на окраине, на высоком заборе: ВО ДВОРЕ ЗЛАЯ СОБАКА — прошло много бежавших из гетто.

— Как-то так получилось, что я всегда с евреями. С детства. И в войну это так. Само собой. Но они меня и отблагодарили! Я не сидел ни разу. Как соберутся сажать, всегда знал, что кому принести. Богатый у меня дом? Так это ничто по сравнению с тем, что у меня было.

«Генерал хочет жене на день рождения бриллиантовый перстень». И еще сколько карат, не меньше.

Всех сажали, а бывший дипломат разгуливал на свободе и даже преподавал английский в консерватории. Естественно, о нем стали говорить плохо. Юодялис, давний его приятель, клялся, что Лауцявичюс чист. Если не Юодялису — кому верить?

Снечкус — единственный первый секретарь, продержавшийся с довоенных времен. Томас Венцлова рассказал, что когда Никита распорядился засеять Литву кукурузой, деревенский Снечкус докладывал наверх о перевыполнении, а сам тайно приказал сажать кукурузу живой изгородью вдоль шоссе.

Я видел Снечкуса один раз, в Паланге.

В полусумерках после заката он возвращался к себе с дачи Вилли Штофа, шел вдоль моря, пошатывался, ворчал песню, мужик.

Справа и слева, отстав на полкорпуса, шагали охранники.

В кустах на дюне заспорили старшеклассницы: йис — ня йис, он — не он? Две сбежали, взглянули в упор, взвизгнули:

— Йис! — и скрылись.

И сам и охранники словно их не заметили.

Назавтра я встретил стариков Венцлова и рассказал. Антанас не мог резюмировать и жевал губами. Лизочка воспарила:

— Милые девочки! Они, наверно, хотели сказать ему что-то очень хорошее.

Мы с Чепайтисом[1] заглянули к Венцлове. Несомненно, он был душевно рад:

— Заходитя, заходитя! Раздявайтесь. Только хорошенько запомните ваши плащи, а то у мяня один раз мой унясли. — Он перевесил свой плащ на самый дальний крючок.

— Что ты говоришь, Тошенька! — ужаснулась шляхетная Лизочка.

[1] Тот самый. Приятный был человек.

— Вы мяня извянитя. Заходитя — прошу! У мяня никого нет. Хорошо, что этот дом маленький, а вот у Грицюса большой, так он ня знает, что с родственниками делать. А родственников и у мяня много.

Чепайтис сказал, что собирается присмотреть недорогой домик в деревне.

— А вы купитя у мяня. Десять тысяч. Новыми. Я-то, конечно, яго дяшевле купил, но рямонт, рямонт. Тут, в Жемайтии, гвоздь забить в пять раз дороже, чем в Вильнюсе. А в Клайпяде до войны все ничяго ня стоило. Только там летовцы немцев боялись. Мы всягда чувствовали на сябе косые взгляды. Мама вязет Томика в колясочке, немцы видят, что это летовский рябенок, подходят и плюют.

— Что ты говоришь, Тошенька!

— Вы мяня извянитя, мне в уборную надо. Три года ня могу найти чяловека вычистить. Запах такой, что Томик тяперь ходит только в лес. — Венцлова удалился.

— Папа знает, что Томик гораздо талантливее его, — спланировала Лизочка.

— В каком смысле? — нажал я.

— Томик книжку по семиотике написал, — попыталась вывернуться Лизочка.

— А в поэзии? — не отставал я.

— И в поэзии, — капитулировала Лизочка. — Борута, покойник, говорил, что в Литве ни одного поэта, кроме Томика, нет. Когда Томик первый раз показал папе стихи, папа сразу сказал: — Ты поэт. Но почему ты пишешь такие книжные, герметические стихи? Поезди по стране, посмотри жизнь. — А Томик говорит: — Да я, папа, только и делаю, что езжу...

1977—79

РОДОВСПОМОГАТЕЛЬ

В Паланге на мужском пляже голый, круглый, как шар, лоснящийся человек заговорил о погоде — естественно, по-литовски: русские на мужской пляж ходят редко.

Я понял, собрал все известные мне слова и выдал приличный ответ.

Он, конечно, сообразил, кто я, и переехал на русский.

Речь пошла о Литве. Сразу сообщил мне, что в республике на сто родов — восемьдесят четыре аборта.

— В Ленинграде был — общежитие плохо, есть плохо, десять кило потерял. В войну у нас лучще было есть. Я спрашивал, а они молчат, я сам стал считать — у них на сто родов четыреста пятьдесят абортов. До революции на тысячу столько рождалось и столько умирало, теперь — столько и столько... Что, медицина плохая? Нет, медицина хорошая. Мы самая большая страна, нам надо иметь миллиард человек. В Литве земля, как в Польще, а плотность в два раза меньше, как в Польще. И там с голоду никто не умер. Значит, может быть щесть миллионов литовцев. Если бы Хрущев дал крестьянам землю, он от еды бы умер!

У меня в Али́тусе на сто родов сорок семь абортов, а если бы врачи считали, как я, было бы много меньще. Я в райсовете сказал, что восемьдесят процентов врачей надо в тюрьму.

— Вы строже, чем папа Павел.

— Да нет, он не запрещает, а — воздержание. Воздержание можно по-разному. Вся Литва живет на ко́итус интерру́птус. А пероральные таблетки — министр их привез — нарушают цикл. А тут только невроз, легкий, и только у женщин. От аборта — бесплодие. Ну, бесплодие лечить просто. В Али́тусе бойня была, тканевая терапия, подсадки. Одна бесплодная от аборта пять детей родила, потом еще одиннадцать абортов. Сейчас у нее климаксас. Мужчин я тоже лечил. Эстрон в мышцу, кусочек тестикула от быка в живот — и сам, как бык!

Он пользовался русским и литовским и добавлял латыни, которая спасала от неприятной двусмысленности. Он говорил увлеченно и деловито, и почему-то приходило на ум, что он не женат, бездетен и живет со старушкой-домоправительницей. А он продолжал:

— Один раз приехала женщина. Акушерка сказала, что у нее все не так. Я надел перчатку — она девять лет с мужем живет, а гимен цел! Положил на стол, снял. Сразу беременность. В Каунасе одной врачи говорили — пора, а она знает — рано. Ушла под расписку, сказала, в

Вильнюс, а сама ко мне. Анализ крови — белок. Я посмотрел — а у нее тройня. Они ее съедают. Сделал кесарево — все живы. И приехал в отпуск.

1967

МИНИСТРЫ

1. ТОЛЮ́ШИС

Голый, без плавок, я вылез из моря и подошел к знакомому старику-антиквару: нет ли чего для меня.

— Победители скупают национальное достояние побежденных? — улыбнулся его сосед, тоже седой, тоже в костюме при галстуке.

— Вот именно, — постарался я в тон.

— Вы, русские, молодцы — когда сто на одного, всегда побеждаете.

— Это точно. — Ирония и улыбка мне ужасно понравились. — Не цивилизовали нас. Наполеон приходил с несерьезными намерениями. Поляки весь Петербург заполонили, могли Россию без боя взять, поучить, а вместо того устроили в тридцатом году восстание.

— Поляки — славяне. Славянам ничего не удается... Простите, я не хотел вас обидеть. — Передо мной, голым, он встал, величественный, как лидер Государственной думы, представился: — Толюшис, — и протянул мне — два пальца. Это продолжалось долю секунды. — Простите, ради Бога, у меня пальцы не разгибаются. Следователь сломал. — И меня же утешил: — Это прошлое. В будущем так долго продолжаться не может, потому что русский народ — великий народ! Я горжусь тем, что я — воспитанник санкт-петербургского университета.

Вечером взбудораженный Юозас, о́кая, забивал в меня гвозди:

— Это же Толюшис! Я тябе тысячу раз говорил, Прядседатель вярховного суда, который в двадцать щястом году расстрялял коммунистов!

Дануте рассказывала, что еще до войны отец отечества, женатый Толюшис, влюбился, а развода в Литве не

существовало. Тогда все осталось в тайне, как осталось в тайне потом, когда Толюшиса пять раз сажали. Выйдя в последний раз, после смерти Сталина, Толюшис раскон-спирировался и женился. Он был уже стар, не работал, не получал пенсии, жил на посылки из США. В газетах время от времени о нем вспоминали: *Тунеядец с Лайсвес-аллеи.*

Дальнозоркий, он первым видел меня на улице и улыбаясь ждал. Мы брались за мировые проблемы на Ви́тауто, на базаре, в парке, на берегу.

— Это очень хороший вопрос: откуда берутся национальные кадры. Во-первых, было много литовцев с высшим образованием — сыновья крестьян, которым после шестьдесят третьего года отдали землю польских помещиков. Просто тогда образованным литовцам не разрешали работать в Литве. Во-вторых, и это главное, в первую мировую в эвакуации были литовские землячества, литовские клубы, две литовские гимназии. Весь государственный аппарат произошел таким образом из России.

Толюшис вел себя как хозяин земли Литовской:

— В Швянтойи на раскопках нашли что-то интересное. Во вторник поеду посмотрю.

— Я рад, что Косыгин приехал в Палангу. Пусть посмотрит, что Литва до сих пор живет богаче России. Кроме того, я благодарен Косыгину, что уже много лет могу спать спокойно.

Я подарил Толюшису свои переводы из Фроста. Он посмотрел на портрет старика и смущенно:

— На старости лет я сам стал писать стихи...

2. УРБШИ́С

Толюшис — литовец российский, Урбшис — западный. Представил меня Юозас: лучшая рекомендация.

— Я знал всех: Гитлера, Муссолини, Даладье, Чемберлена. Должен сказать, по сравнению с ними Сталин производил хорошее впечатление. Те неврастеники, а Сталин спокойный, уверенный, хлебосольный хозяин за столом. Молотов тоже производил впечатление типичного русского интеллигента — пока не начинал кричать и

топать ногами. Он мне ткнул акт о вводе советских войск в Литву — я говорю:

— Я не могу подписать этого без консультации с моим правительством. Решается судьба моего народа.

— Вы привыкли торговать своим народом!

Это Молотов. Я хорошо знал — мы часто встречались по работе — Алексиса Леже. И представления не имел, что это великий Сен-Джон Перс.

...Утром 21 августа 1968 года я, как обычно, спустился на кухню к хозяевам. Они молчали и глядели издалека. В тот день Паланга была обыкновенная.

Назавтра на мужском пляже прикрытые от солнца рубахами вовсю по-русски орали транзисторы. *Голос* круглосуточно передавал о радиовойне, толпах, пропаже дорожных знаков.

Этот день я провел на пляже с Урбшисом. Он расспрашивал о работе: сам стал переводчиком, перевел на литовский *Манон Леско.*

Рассказывал:

— В сороковом меня выслали. Маленький городок под Владимиром. Это поразительно, как русские ткачихи хорошо относились к нам с женой. Арестовали меня 22 июня 1941 года. Я провел одиннадцать лет в одиночке и никогда не скучал. Всегда есть что вспомнить. Как я в детстве любил выходить к поездам... Когда Лубянку эвакуировали в Саратов, там было очень скученно. Знаете, неприятно иметь дело с нервными озлобленными людьми. Один раз в мою одиночку поместили армянина, редактора *Московской правды.* Он обижался, что я ему не доверяю. А как я мог ему доверять: он же коммунист! Вскоре его расстреляли. Как-то открывается дверь — ревизия, начальник тюрьмы и инспектор из Москвы:

— Жалоб нет?

Я совсем размечтался, говорю:

— Что вы, какие жалобы, я тут почти счастлив.

И тут вижу, что он мрачнеет, и понимаю, что нарушил правила игры. Поскорей исправляюсь:

— Голодно здесь.

Он улыбается:

— Все, что вам положено, вы получаете...

Обвинение мне предъявили через одиннадцать лет, в пятьдесят втором году. Вызывает следователь:

— Вы обвиняетесь в пособничестве мировой буржуазии.

— Помилуйте, в каком пособничестве! Я и есть мировая буржуазия...

Когда мы прощались, Урбшис сказал:

— Я вам так благодарен, что мы ни слова весь день не сказали о Чехословакии. Ну подумайте, что мы могли бы сказать друг другу?

1979

ЖЕМАЙЧЮ КАЛЬВАРИЯ

Автобус ахнул: русские сходят в Кальварии!

Палангская Люся привезла нас к родителям.

Мама встречала величественно, на холме. Папа в ограде заходил чортом:

— Гости дорогие! Я — Юозас, по-русски Осип. Фамилия — Даугнорас, значит — много хочу. Я всегда много хочу. Ай, дверь низкая!

Дому лет полтораста, ровные корабельные сосны. Мама выносит моей жене расшитое полотенце. Папа тянет с дороги на Вардувý. Купаются здесь в кальсонах и отдельно от женщин. Папа ликует:

— Я по-русски лучше всех говорю! При царе — два года учился, Николаевская гимназия в Паланге. После войны — шесть лет учился в России. Мне следователь руку сломал, до сих пор мешает. Вон та маслобойка была моя, и поле за речкой мое. Мне не жалко. Я все равно живу лучше всех!

К обеду нежданно, как мы, явился из Салантая сын Витас, продавец рыбного магазина: подвез попутный начальник милиции, который сел вместе с шофером за стол.

Сервизных тарелок-ложек хватило на всех. Первое — холодный борщ с ведром горячей картошки. Второе — мясо и рыба, кто что захочет.

В анекдоте жемайтис выставил на стол все, что было, и пошел в поле работать. Аукштайтиец налил чаю без сахару и занимал разговорами. Занямунец ничего не дал и ничего не сказал.

В Паланге мне говорили, что в здешнем костеле роскошное собрание облачений и утвари, а настоятель приторговывает смутка́лисами, резными фигурками святых. Я спросил, как пройти. Папа хмуро показал:

— Сам не пойду. Я с ним давно поругался.

Настоятель был в отъезде. Домоправительница отвела к алтаристу.

Маленький сгорбленный старичок нас благословил.

(Когда мы вернулись, папа радостно об алтаристе:

— Пуки́с — хороший человек. Пукис значит Пухов.

— Не хороший, а святой, — поправила Люся.)

Алтарист объяснил:

— Вам надо найти закрастийо́наса, — и на бумажке с печатью епархии дрожащей рукой вывел ради нашего безъязычия: «Кур чя гивя́на по́нас закрастийо́нас? — Где здесь живет господин церковный староста?»

Молодой парнишечка развернулся у дома на мотоцикле, извлек из-за пазухи и шикарным жестом вручил цветастой девке пачку небольших грампластинок.

— Я закрастийо́нас. Только не по́нас. Я по-русски могу — только из армии.

Он тут же отвел нас в храм и показал облачения и утварь. Я достал бумажку, он потемнел лицом.

— Деве Марии, — поправился я. Он показал глазами копилку.

Он не сказал, я не спросил: тут хранится кусочек Того Креста.

Маленькие высокие холмы крутой зеленью заслоняют небо. На них дома, в оградах — деревянные кресты метра в три-четыре. Говорят, такие кресты под дождями выдерживают лет пятьдесят-шестьдесят. Капли́цы Крестного Пути с большими, в рост человека костёльными изваяниями. Алтарист рассказывал:

—Там, где Христос под крестной ношей, крестьяне решили, что от зубов помогает. За год сгрызают весь крест. На Пасху меняем.

У выхода в поле на столбе в прозрачном пушкинском фонаре — дивный Рупинтое́лис, Христос Скорбящий. На поле бабы в цветастых платьях наступают на яркий оранжевый хлеб. И везде — у домов, под холмами, вдоль улиц, на самом шоссе — низенькие капли́чки с битыми

стеклами, и в них — смутня́лисы, не допущенная в костелы божественная деревянная готика девятнадцатого века. Чем старее, тем лучше, легкие, растрескавшиеся, редкостной выразительности.

Везде на нас откровенно глазеют.

За ужином папа без конца ставит на стол «Да́рбо по ве́на», «Трижды девять», кипрский мускат. Он обегает гостей и глядит в рюмки:

— По обычаю петербургскому.

По обычаю святорусскому... — И вообще разговор шел на русском.

Сын Витас пил и мрачнел, может быть, из-за нас. Одного брата его убили лесные, другого — стребу́касы[1].

Застрявший начальник милиции наваливался на меня (говорят, если литовец сволочь, то сволочь):

— Зачем Хрущев китайцам атомную бомбу не дает? Зачем с китайцами поругался. Если бы не Сталин, где бы мы теперь были?

В девять, по бою часов, папа — как тот жемайтис из анекдота — поднялся:

— Кушайте, гости дорогие, пейте — не забывайте, а мне в стадо пора. Коровок доить.

В окно я видел, как он, шатаясь, уехал на стареньком велосипеде.

Литовцы запели.

В одиннадцать шофер объявил, что пора. Машина начальника оказалась грузовиком. В кузове уже стояло десятка три молодых цветастых. Начальник и Витас под руки подвели шофера к кабине. Витас потянулся к дверце, и шофер рухнул. Его с трудом упихнули за баранку.

— Здесь шофер всегда пьяный, никто еще не разбился, — крикнула из кузова Люся.

Грузовик рванулся во мрак. За ним долго тянулось:

Венс, ду,
Гра́же Летува́...

Мы оставались к утренней мессе.

— Гости дорогие, я с вами уже прощаюсь, — вступил папа. — Завтра ни свет ни заря в Плунге картошку везу — председатель машину дал.

---

[1] Комсомольцы-добровольцы, истребители лесных.

Ватикан,
Папе Иоанну Павлу Второму

Ваше Святейшество,

именно Вам, может быть, пригодится мое свидетельство.

Летом 1963 года в Жемайтийской Кальварии я видел необыкновенного священнослужителя.

Отец По́вилас Пуки́с долгое время был настоятелем здешнего знаменитого храма. После войны он десять лет отбыл на Воркуте — донесли, что отпевал лесных. По его словам, туже всего пришлось в Бурятии, где не было ни соотечественников, ни Писания.

В Кальварии он слишком многих крестил и венчал. Люди собрали ему на собственный домик и перевезли из дома для престарелых в Бурятии. Он прямо сказал, что приехал домой умирать, и уже положил на кладбище плиту. Теперь он был алтаристом на вольных хлебах и в случае надобности служил за настоятеля.

И в Кальварии, и в Паланге, где он был во время войны, его считали святым. По тому потрясению, которое я испытал от самого его присутствия, я тоже уверен, что он — святой.

Я застал его в глубокой старости, он уже был не от мира сего. Не знал часов и шел в храм на звон колокола, в любое время навещал больного и всякого, кто в нем нуждался. На литургии он отодвигал от себя рассеянным жестом Писание и обращался вверх, тихим голосом, в тишине. Может быть, он нарушал правила богослужения, но его торжество был так огромно и абсолютно, что я проплакал всю службу.

Рассказывают, что на его похоронах настоятель пытался вырвать из рук усопшего серебряный крест, но был уличен и отведен в Тельшай.

На могиле вместо простой черной плиты с именем и датами теперь большое полированное надгробие складнем. Надпись:

ПРЕЛАТ ПОВИЛАС ПУКИС, ТРЕХ ХРАМОВ СТРОИТЕЛЬ.

Хочу надеяться, что Ватикану небезразлично суждение Жемайтийской Кальварии и мое.

С любовью и уважением

Андрей Сергеев.

1977—80

О БРОДСКОМ

Бродский пришел ко мне на Малую Филевскую в начале 1964. Открываю дверь, вижу стоит ражий рыжий парень. Широкоплечий, здоровенный, внушающий доверие. Сует крепкую сухую ладонь — пожать одно удовольствие.

До этого о Бродском я слышал сколько угодно. Фатально и довольно долго избегали меня его стихи. Сам я никаких усилий не делал, потому что хорошее — придет само. В Паланге в 1963 Найман похвалился, что у него с собой Бродский. Я тут же получил пухлую пачку листков и пошел на дюну читать.

«Холмы»,
«Черный конь»,
«Ты проскачешь во мраке...»,
«Я обнял эти плечи...»,
«Рождественский романс» и так далее.

Два часа читал под елкой — устал. Но все стало совершенно ясно: вот новый, ни на кого не похожий, крупный, замечательный и очень близкий мне поэт. И естественно я спросил:

— Толя, а какой он, Бродский?

— Такой чахлый еврейский росток.

Ничего себе чахлый росток! Мы прошли в комнату. Я усадил его на свою любимую качалку, слово за слово пошел разговор. Иосиф был по делу — Ахматова дала ему мой телефон: Иосифу хотелось попереводить что-нибудь *чистое. Чистыми* тогда считали переводы с западного языка и не прогрессивного автора. Говорили мы о деле и, конечно, не о деле часа два.

Пришел он ко мне утром в тот день, когда собирался в Ленинград. Было как-то известно, что его должны посадить. И Анна Андреевна, стараясь его охранить и хорошо зная нравы, советовала ему задержаться в Москве, пото-

му что дело местное, ленинградское, пройдет кампания — забудется. Но зов, который сильнее всякого разума, требовал его пребывания в Питере. Через день или два там его и забрали. А потом был суд — он описан у Фриды Вигдоровой, потом — Норенское.

Анна Андреевна дала мне адрес. Не хотелось писать ему абы как, да и цензору лишнего сообщать не хотелось. С месяц я муслил свои листочки. Обычно я письма пишу одним махом, а тут у меня даже черновик сохранился:

Москва. 16 апр. 1964.

«...Вся штука в том, чтобы ничего не потерять из того ценного, что уже имеешь. А для этого, Ося, прошу вас, будьте терпеливы и мужественны. Быть мужественным это не совершать ни детских, ни стариковских, ни женских поступков. Я продолжаю наш с вами разговор. Все, что я сказал насчет переводов, остается в силе. У вас в нашем деле отличные перспективы — не то, что у австралийской антологии, которая уже который год тянется не дотянется — но конечно выйдет и, надеюсь, при вашем участии. Книжку-то вы мне, наверно, зря передали. Все в силе. Черкните мне — коли захотите, я вам пришлю австралийских стишков получше. А пока — дело высокое — шлю вам Браунинга. Не теряйте времени на метания — почитайте, приглядитесь — чудный ведь поэт. Потом вместе сделаем — тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!»

Почта минимум неделя туда и неделя сюда, еще не знаем, сколько наши письма валялись в соответствующих инстанциях. Через месяц пришел ответ.

От руки. 16 мая 1964.

«...Живется мне не весело, но я не очень обескуражен (физически меньше, чем психически). До последнего времени не было возможности работать, а в ближайшие дни она, нав[ерно], совсем исчезнет, в связи с «так называемой посевной» — и попросту с жарой и комарами. Такие уж тут места...

(Мне кажется, райская была бы жизнь, если бы мы вместе взялись за что-ниб[удь]; хоть за Браунинга!)»

Стали оттуда доходить и стихи. Анна Андреевна показала мне «Инструкцию заключенному». Как-то я прово-

жал Марину; у самого метро она достала машинопись «Двух часов в резервуаре». Читать у метро на улице — это не метод. Чтобы быть на высоте, я сказал, что здесь влияние Одена. Хотя стихотворение понравилось, его метафизический message я оценил позже.

Письма наши — продолжение того первого разговора, когда мы за два часа обсудили все, что только возможно. Он писал гораздо более раскрепощенный и своей натурой, и фактом уже состоявшейся ссылки.

Машинопись. 14 мая 1965.

«Я не мастер писать короткие стихи. Вернее, даже если они и удаются, они дают повод для таких вот, не имеющих со «мной» ничего общего толков. Динамика, статика, моторное и духовное движение — все это ералаш. Поэтому и обидно посылать Вам отдельные стихи. Потому и тяжело мне тут жить, что самое главное писать не удается. Не меньше 200 строк — и тогда вы почувствуете, с кем имеете дело. «Холмы», «Большая элегия», — все это только экзерсисы. Реален только «Исаак и Авраам». Да и еще одно большое стих[отворение], но оно в другом роде и запрещено. Ну, что-то я сильно раскрутился. Словом, все, что Вы говорили насчет тех стихов, что послал Вам — правда; да только они — не я. Если года через полтора меня выпустят (по половинке), надеюсь, покажу Вам мое «пусть прекрасное» место в поэзии».

Переписке уже год с хвостом. Письма его замечательные — мужественные сетования и очень много конкретности. И вдруг письмо совершенно смятенное.

Машинопись. 13 августа 1965.

«...Как хороший туземец, я все сижу и жду советника юстиции Джеймса Кука [когда-то он просил прислать ему в Норенское мой перевод «Пяти образов капитана Кука» Кеннета Слессора. — *А. С.*] с подзорной (надзорной) трубой из обвинительного акта. Но так как мне не на что обменять «свою свинью» (Ницше), то, боюсь, я скоро стану плохим туземцем. И если в один прекрасный день я сам, шэкспиря и шэйкспауэря, не отправлюсь открывать один меловой остров за другим, то, м.б., я сколочу пирогу и спущусь в ней по Мариинской системе

в Яузу. И меня линчуют, Андрей, под Вашим окном, на Филевских холмах, на глазах у Вас, Вашей жены, Вашего соседа-метафизика, или кто он там [Саша Пятигорский. — *А. С.*]. В год от Рождества Христова 1965. А?

Детские, старческие, женские — говорите Вы — поступки. Можно было бы пошутить насчет пола и возраста одновременно. Но, знаете, скучно. «И не такие, как я...» — уес, барин — не такие. Теперь, знаете, после смерти Ф[риды] В[игдоровой], мне что-то больше не хочется благоразумия, не хочется этого русского долготерпения — тем более, что мне-то самому этого и не нужно. Тем более, что я — еврей.

Андрей, сегодня я праздную труса. Стихи у меня не пишутся, и я обнаружил, что не хочу их писать. И что, когда я их не пишу, я — ничто. И что, значит, безразличие ко мне так естественно. Примем же слабые решения — мы, которые сами учили других мужеству. Одно уже принято: письмо Вам. Скажу по секрету: я похож на Броунинга. Я хотел дотянуть до его возраста, но теперь — плевать. Знаете, как узнаешь, что ты уже стар? Это когда твой конвоир моложе. В Вологде мне тыкали автоматами в рожу двадцатилетние мальчишки. Мировая, скажу Вам, тема. А теперь — прощайте. Я не очень хорош сегодня и завтра, боюсь, буду еще хуже. Чертовски хочется поболтать с вами, сидя в качалке. У меня ничего не осталось, даже формальных привязанностей. О Вас думать приятно. Знаете, долго занимаясь собой, устраивая все в себе, понемногу дичаешь. Верней, становишься инородным телом, и на тебя начинают действовать все эти мировые законы: сжатие, вытеснение etc. Старая мысль, но такая горькая. Нечего Вам послать; но поэт я (был?) хороший...»

Получил Иосиф мой ответ или нет, не знаю. Но через несколько дней он вдруг сваливается мне на голову. Анна Андреевна и не только Анна Андреевна ждали его в Ленинграде, но он в Ленинград на сей раз не стремился.

Дни наши протекали таким образом. Часов в десять пьем чай, потом обсуждаем весь мир и окрестности. После обеда разговор продолжается. После ужина минут пятнадцать-полчаса Би-би-си и опять разговоры — до 12. Я с вот такой головой ложился. Но самое замечательное, что Иосиф

мог говорить сколько угодно, никогда не повторялся и никогда не скатывался на какой-то недостаточно высокий для него уровень. (Был у Иосифа черный момент в биографии, когда он слал из ссылки рифмованный рыцарский роман — вот это было за пределами добра и зла.)

Встанешь утром:

— Андрей Яковлевич, вот послушайте... (меня он с приезда называл на Вы и Андрей Яковлевич — такой у него был для меня иероглиф). Или, убравшись из дому рано, оставлял на столе какой-нибудь коротенький стишок, который сочинил ночью — ночью и поколобродить мог, и под душем постоять, и бутылку допить.

Я ночь проведу без
вас, о друзья, но с
водкой, чей дух — бес —
щекочет мне нос.
Я — капитан, чей
фрегат, осудив дурь
моря, забрел в ручей,
пятясь от бурь.
Ах если бы Джеймс Кук
знал бы, как я борюсь
с водкой — тогда б юг
презрел — и открыл
Русь.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ДИВАНУ СЕРГЕЕВЫХ

Диван Сергеевых, на,
прими благодарность за
ночь с девятого на
десятое, за
много других от
Бродского И.А.
В тебе все прекрасно от
пружин до подушки. А
я так люблю все
прекрасное. Просто до
безумия. Вот и все.
Ля, соль, фа, ми, ре, до.

[Или где-нибудь на полях:]

Наташа Ростова,
героиня Толстого,
перелив из пустого
в порожнее...

Царь, царица и царевич
раз пошли гулять,
а навстречу шел Гуревич,
подцепивший блядь...

Я плохо переношу присутствие постороннего человека в доме. Но с Иосифом было легко, очень легко. Никаких закидонов, никаких претензий. Ну, конечно, способствовало то, что я его просто обожал. Несколько недель прошли абсолютно мирно, любовно.

25 летний Иосиф пришел ко мне, имея законченное представление о русской поэзии. Как и обериутам, ему не мог не импонировать нетронутый пласт поэзии XVIII века — Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков. Он любил идею оды, длинного стихотворения, ему нужны были их полнозвучие, громогласность, он сам так писал. Он делал лирическое высказывание на 200—300 строк, и это вызов поэтике XIX—начала XX века, когда культивировалось стихотворение строк на 20—30. И никогда у него не многословие.

Александр Сергеич был, конечно, хороший и на языке постоянно. Но больше все-таки Иосиф любил Баратынского, так и говорил: «Баратынский — мой любимый поэт».

Со средней полки снимали Библиотеку поэта — безобразные синие х/б б/у. Из закрытой части стеллажа — старые нежные книжечки — кого угодно, весь серебряный век. Первоиздания какого-нибудь Кузмина: не первоизданий тогда не было. Иосиф безмерно восхищался Ахматовой, хотя говорил, что ее стихи ценит меньше, чем ее саму. Цветаеву восхвалял при всякой возможности, наверно, видел в ней мотор, работающий на соизмеримом числе оборотов те же 24 часа в сутки. Придавал несвойственные ей черты: необыкновенный ум, мудрость, видит на сто верст в глубину и на сто лет вперед. К моему любимому Пастернаку отношение у него было напряженное. Бездоказательно предположу: его настораживало, что теми же чрезвычайными средствами, какими Цветаева вызывала вихрь, Пастернак устанавливал райскую погоду. Для отбреха же Иосиф говорил, что терпеть не может пересказов евангельских сюжетов в стихах, имея в виду стихи из романа — ну, и блистательно опроверг это позже собственными стихами.

Проза ему, по-видимому, была нужна мало, о ней практически не говорили. Как Анна Андреевна, Толстого не любил. Федор Михалыч был вроде как старший товарищ, из своих.

Мы перебрали всю мировую поэзию и в основном сошлись. Впрочем, и расходясь не спорили, он просто излагал свое. Кроме русской, мы больше всего любили англо-американскую. В середине стеллажа толстыми, жирными массивными корешками стояли английские книги, несколько полок. В руки он их брал редко, стоял, рассматривал, говорил: «роллс-ройсы». На Фросте мы обнялись и расцеловались. Однажды он даже сказал:

— Когда я выходил в люди, я мечтал научиться писать, как Найман. А потом прочитал Фроста и понял, что мне так никогда не написать.

В Норенском он выдумал гениальную систему самообразования. Брал английское стихотворение, которое в антологии или сборнике ему почему-либо приглянулось. Со словарем по складам переводил первую строчку, точно так же расшифровывал последнюю. Мог ошибиться, очевидно. А потом подсчитывал число строк и заполнял середину по своему разумению. Лучшей школы стиха не придумать. «Деревья в моем окне, в деревянном окне» — примерно такая переделка фростовского «Дерева у окна». В деревне он начал читать по-английски — как может человек, интересующийся поэзией, жить без английского?

Когда я ему послал в Норенское три австралийских стихотворения, он их разобрал, два из них, Флексмора Хадсона, перевел замечательно, они пошли в антологию. Несмотря на предостережение Ахматовой «Переводить это все равно, что есть собственный мозг», он все-таки не отказывался от идеи перевода. И при первой встрече и много раз потом мы говорили о том, что не худо бы вдвоем сделать книжку Браунинга, вроде бы и дело новое, и проходимо.

В первый час знакомства с рукописями Иосифа в Паланге я увидел в его стихах Эдвина Арлингтона Робинсона. Впоследствии он сказал, что, разбирая поэму Робинсона «Айзек и Арчибальд», он преобразовал внутри себя героев в Исаака и Авраама. И в поэме, и в Библии старик и мальчик путешествуют долго, но так как Иосиф читал мучительно, со словарем, путешествие показалось ему

бесконечным, на многие тысячи строк. Его «Исаак и Авраам» — действительно тысячи строк, а 500 строк моего перевода, как в оригинале, ему показались до обидного куцыми. Робинсона он знал еще по великой антологии Зенкевича и Кашкина «Поэты Америки — XX век».

Одена Иосиф по-настоящему полюбил уже после того, как с ним встретился.

Американская проза его не увлекала. Не могу себе представить его отпадающим от Хемингуэя, модной фигуры, необходимой в бытовании шестидесятников. Иосиф, не будучи шестидесятником, Хемингуэя видал в гробу. Позднее его восхищали переводы Мики Голышева из Фолкнера, которые, как он говорил, обновили русский литературный язык.

Всех нас тогда тянуло в сторону Америки. Вышедшим из-под Сталина казалось, что всему плохому нашему противостоит все хорошее американское. Кому-то Америка нравилась через книги, кому-то через кино, кому-то через джаз. Нравилась красивыми одежками, которые мелькнули во время войны. Добропорядочностью, надежностью. Совершилось великое открытие, что Америка — это не то, что оплевал Чарли Чаплин и ему подобные, — серая, отвратительная страна, над которой не восходит солнце, но замечательная страна замечательных людей с потрясающей природой, — и все это есть в великой американской поэзии, лучше которой на Западе в этом веке не было. Появлялось ощущение второй родины — что есть запасная родина.

Другая страна интересов Иосифа в то время — Германия. Тут его влекла мрачная эстетика германизма. Когда однажды он попал на одесскую студию — пробовался на роль какого-то комсомольского босса — он первым делом снялся не в лысом гриме, а в вермахтовском мундире, помоему, с крестами. Помню, мы с ним ходили на «Нюрнбергский процесс» в кинотеатр «Украина» на «Багратионовской». Как он реагировал на большого американца Спенсера Трейси, на обожаемую немку Марлен Дитрих! Вернувшись на Малую Филевскую, мы крутили немецкие пластиночки — чехословацкие, лицензионные, с ходкими немецкими певцами. Иосифу страшно нравились

тогдашние звезды — Петер Александер, Удо Юргенс. Была такая песня «Was ich nicht sagen kann, sagt mein Klavier», медлительная и в ней было некое походное движение, так что эту лирическую могли бы петь солдаты. И мы слушали по нескольку раз и фантазировали, что вот немецкие танки идут из Парижа на Балканы, брать Югославию. И сидят на броне этакие рыцари вермахта, в пыли, поют эту песню. «Компарсита» (тогда на этикетках писали еще не «Кумпарсита») тоже была немецкого происхождения — мы с Иосифом слушали ее по многу раз и вспоминали бездарный геббельсовский фильм «Восстание в пустыне» — там она впервые предстала нашим детским ушам.

Иосиф говорил, что обожает джаз, что иностранцы нанесли ему джазовых пластинок (джазовых у меня не было); утверждал, что лучше всех в Ленинграде знает Моцарта — хотите верьте, хотите проверьте.

Я пытался показать Иосифу город, который он совершенно не знал. Оказалось, что смотреть он не способен. Грандиозная удача, можно сказать, прорыв: я сводил его в свой любимый Донской монастырь, который был благодатным тихим местом, за исключением неуместных могил старых большевиков над рвом с расстрелянными. А так — могилы патриарха Тихона, Чаадаева, пушкинская родня, вообще масса хороших людей. Стильные надгробья XVIII века. И еще чудесная скульптура Андреева — Христос. Иосифу там очень понравилось. На обратном пути из Донского долго шли пешком, в приподнятом настроении, рассуждали, строили планы — насчет нас самих, насчет того, что будет. Как удастся прожить, просуществовать в условиях максимальной социальной и материальной несвободы, что удастся написать, перевести, сделать — без утопий.

Иосиф зачастил в Москву, останавливался и у меня, и во множестве других мест, чаще всего у своего лучшего московского друга Мики Голышева.

В разных домах, при любом стечении публики много читал свое. Начинал он обычным своим голосом, отрубал строку от строки по живому мясу анжамбеманов, разо-

гревался от строки к строке, повышал голос до крика — куда исступленнее, чем видно по поздней кинохронике. И эта исступленность была как в маленькой комнате, так и в большой аудитории.

Читал предпосадочное (редко), сочиненное в ссылке, новое:

«Одна ворона (их была гурьба...)»,
«Пророчество»,
«Послание к стихам»,
«Одной поэтессе»,
«Письмо в бутылке» и т. д.

На моих глазах росла гениальная постройка «Горбунова и Горчакова». Не менее гениальной показалась не дописанная из-за посадки поэма «Снег, снег летит...». Наверно это и была та самая *запрещенная*, о которой он упоминал в письме. Иосиф показал ее очень не сразу, обтерханную, засаленную — блины пекли.

Я не жалел слов, когда нравилось. Когда не понравилось стихотворение «Прощайте, мадемуазель Вероника», раскритиковал как написанное на холостых оборотах, почти обидел. Вообще страшно много делал всяких замечаний, которые он практически не учитывал, но выслушивал без скандала.

Некоторые его стихи выдают один присест. А длинные огромные стихи писались — вот такой напор идет, за день он иссякнуть не может. Назавтра рождаются какие-то новые видения того, что уже сделано, и — исправлений множество. Переделывал он свои стихи основательно, пристрастно переделывал. Печатал стихи на машинке — не любил писать от руки, потому что писал размашисто, — печатал через один интервал вровень с левым обрезом убористые-убористые строфы, так чтобы на страницу влезло как можно больше; огромное стихотворение в несколько столбцов, два, или даже три, помещалось на одной, двух, может быть, трех страницах. Никогда на обороте не писал — ему нужно было видеть текст, как картину. По картине и правил. Выразительно марал перьевой самописка, разгонистым почерком. Яростно зачеркивал, вписывал, заполнял поля, — и мог бутерброд маслом вниз уронить на рукопись совершенно элементарно.

Иосиф страшно много ловил из воздуха. Он с жадностью хватал каждый новый item и старался его оприходовать, усвоить в стихах. Можно сказать, ничего не пропадало даром, все утилизировалось — с невероятной, ошеломляющей ловкостью.

В Москве Иосифа очень скоро повезли к Надежде Яковлевне Мандельштам. Он принял ее на ура — и саму, и книгу. Захлебываясь, с восторгом, с улыбкой: «самая веселая вдова в мире». Н.Я. говорила про Иосифа нежно: «Ося второй, Ося младший», что не мешало в другой раз сказать: «обыкновенный американский поэт».

И у Н.Я., и в других домах, куда ходил Иосиф, собиралось общество. Общество бывало разное. Когда про Иосифа говорилось «великий», кого-то это скандализовало. Даже многие из тех, кто потом пел Иосифу дифирамбы, тогда смотрели на него как баран на новые ворота.

Но и при нормальном понимании, и без понимания к нему относились с открытой душой. Нельзя сказать, что всюду он сразу попадал в центр внимания. Конечно, он много и замечательно говорил — хотя все-таки это был не тот блеск, какой в общении с глазу на глаз.

В откровенно дружественных домах Иосиф был сама ласковость. Когда ласкали его, он почти мурлыкал и мог сказануть такое, что прямо противоречило его обычным словам и утверждениям. По-моему, Иосиф чрезвычайно зависел от собеседника, иногда чуть ли не попадал в рабство — на десять минут, полчаса. Но вот уже, развивая тезис или отвечая, он вскидывал голову и в сослагательно-мечтательном наклонении выдавал что-нибудь безапелляционное. К тому же в характере у него был дидактизм, и самые невинные вещи он мог выговаривать четким вразумляющим тоном.

Иосифу не было свойственно обдумывать в разговоре следующий шаг — свой или ближнего. К счастью, он не находил удовольствия в том, чтобы по-бытовому перечить всему на свете. Но были вещи, которые он безоговорочно не принимал.

При мне Иосиф редко бывал спорщиком, врагом собеседника. Только однажды я видел, как он убивал. Столярова, секретарша Эренбурга, пригласила Иосифа и неле-

по соединила с литературоведом Пинским. Кончилось тем, что Пинский выкрикнул:

— Пастернак, Ахматова, Заболоцкий — я бы хотел, чтобы они умерли в 29 году!

Иосиф, выдержав хорошую театральную паузу, с нажимом спросил:

— А о чем они писали после 29 года?

Пинский сказал, что он так не может. Иосиф нравоучительно-назидательно:

— А я могу. После 29 года они писали о Боге. Вам *это* не нравится?

Иосиф не был профессиональным остряком, хотя часто бывал шутлив. Иной раз, брякнув что-нибудь замечательное, сам собой восхищался, удивлялся и повторял вполне наивно и трогательно. Хихикая, выдавал любимые присловья:

«Дело вот какого рода —
Бога нет, а есть природа».

«Мойше, не дергай папу за нос и вообще отойди от покойника!»

«Первая статья конституции Ганы: Каждый мужчина по природе полигамен».

Стихотворцем-импровизатором не был. С ходу при мне только раз выдал двустишие. Принес Саше Пятигорскому фотографию Вивека́нанды (Иосиф успел в юности отдать какую-то дань индийскому), Пятигорский умилился, Иосиф перевернул фотографию и написал:

Господин Вивекана́нда,
специальность — пропаганда.

По-толстовски мог определить человека какой-то одной чертой, довести эту черту до общей характеристики, и потом, никогда не меняя, повторять, например, «душный еврей Н. Н.». Конечно, про тех, кого любил, говорил многослойнее.

Однажды мефистофельски похвастался, как пришел к Эткинду и сказал:

— Ефим Григорьевич, мне очень нужна моя книга [речь шла о первой, вышедшей в Америке. — *А. С.*], я знаю, у вас есть.

Эткинд достал книжку:

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Понимаете, Ефим Григорьевич, мне за нее такие хорошие джинсы дают...

Иосиф был много взрослее своих лет. Но и неизжитого детства в нем был вагон. Кто-то ему подарил американские штампованные часы со Спиро Агню (My Hero is Spiro) на циферблате. Он их радостно носил и всем показывал. Увлеченно, подолгу мог обсуждать скульптурные достоинства маузера или парабеллума. Думаю, этого детства хватило до конца.

На лотке перед собой он никогда не держал самоуважение. Всегда отзывался о себе и о своих стихах скорее с юмором, говорил «стишки». Но конечно, знал себе цену. Неприкосновенность себя и своих *стишков* старался оберегать от вторжений.

— Звонит Клячкин, говорит, приходи на концерт, я твоих «Пилигримов» петь буду. Я ему говорю: моли Бога, чтобы я не пришел, я тебе гитару на голову надену.

Когда по записи Фриды Вигдоровой в Италии и Израиле поставили пьесу:

— Какой-то юный тип там меня изображает — а мне каково?

Иосиф блюл себя, но с самого начала на протяжении лет общения со мной — и, конечно, не только со мной — бывал предельно откровенен. Не боялся говорить с подробностями о своих обидах, претензиях к кому-то, о своей удаче, о горе, оскорбленности, уязвленности. О своей действительно душераздирающей истории — с предысторией, с развитием шажок за шажком. До истории и помимо нее у него было огромное количество увлечений — он рассказывал, что в юности чувствовал себя, как он выражался, мономужчиной. Вот об увлечениях он мне практически ничего не рассказывал. В изображаемое время Иосиф был этаким жрецом морали. Помню, когда у него что-то произошло, вряд ли по его инициативе, с женой одного художника, он угрызался и явно раскаивался.

С одной стороны, Иосифа влекла литературная Москва, с другой — он не интересовался ни маститыми, ни эстрадными шестидесятниками, ни союзписательскими новичками, ни андерграундом. Не был читателем ни журнальной прозы, ни поэзии. Максимально официальный писатель, к которому заходил Иосиф, был Эренбург, «ребе». Наиболее продвинутые из союзписательских литераторов любопытствовали насчет Иосифа. У тогдашнего Слуцкого была широта и желание что-нибудь тебе дать. Иосифу он понравился: «Добрый Бора, Бора, Борух». Самойлов, который ненавидел неэпигонские стихи, стал целоваться с Иосифом: за Иосифом стояла Анна Андреевна. Евтушенко, обладая гиперразвитым чутьем, сразу зазвал его к себе и стал хвастаться живописью Юрия Васильева, потом — собой: «Что вы обо мне думаете?» Иосиф сказал: «По-моему, Женя, вы говно». Евтушенко в истерике грохнулся на пол: «Как можно при моей жене!» Это рассказ Иосифа.

Аксенов очень приметил Иосифа и взял на крючок, хотел облагодетельствовать и позвал на редколлегию в «Юность». Иосиф на этой редколлегии, наслушавшись того советского кошмара, в котором жили писатели «Юности», просто лишился сознания. На Малой Филевской говорил, что присутствовал на шабаше ведьм. А на самом деле это был максимально возможный тогда либерализм.

Короткий обморок в «Юности» не изолированный случай. Бывало, что Иосиф вырубался, когда ему делалось морально невыносимо. Может, это предохранительный механизм, следствие голодных месяцев. Он был эвакуирован из Ленинграда зимой 1941—42, но что-то от блокады осталось. Это именной рескрипт Господа Бога, что спасся блокадный ребенок — он родился в мае 1940, а в сентябре 41 уже начался голод, так что обреченным побыть он успел. И при том, что он был физически сильный, хорошо развитый, с невероятным заводом, с прекрасными мускулами — казалось бы здоровяк, — какая-то органическая хрупкость в нем все время присутствовала. К здоровью он относился «кривая вывезет», курить не бросал — был неукротимым паровозом. При этом врачей слушался и когда они приговаривали его лечь в

больницу, безропотно ложился и, надо думать, проделывал все, что ему предписывали. Он считал, что жить ему так и так немного. Что при благополучно сложившейся биографии, без особых вмешательств со стороны государства, проживет тридцать с чем-нибудь. Может быть, сакраментальные 37. И совершенно не случайно в 40 лет написал: «жизнь моя затянулась».

Я был некоторым образом организатором трех его поэзоконцертов в Москве. Один родственник наших палангских знакомых пригласил Иосифа выступить в каком-то вузе. Дело было в конце мая или в начале июня, очень неподходящее время, когда студенты заняты сессией, а не стихами, тем не менее парень позвонил, попросил. Иосиф, естественно, согласился, и мы поехали куда-то, кажется, в Лефортово, по-моему это был Бауманский. Мы пришли в общежитие, в довольно большую комнату — может быть это была не очень большая комната, сильно наполненная, или средняя комната средней заполненности — мне показалось, довольно многолюдно, человек пятьдесят — семьдесят. И те, кто пришли, слушали его замечательно. Перед этим квантумом студентов Иосиф выкладывался на полную катушку. Не думаю, что они его слушали с очень большим пониманием. Скорее — с огромным вниманием и с уважением, он для них был человек, который в жизни уже какую-то планку взял и в чем-то победу одержал, не только поэт, который свои полтора-два часа что-то вдалбливал. Когда дело кончилось, молодой человек, который Иосифа приглашал через меня, дал мне пук бумажек: «Вот ребята собрали, тут немного, правда». Иосиф был совершенно поражен, потому что никак не ожидал, что ему беспортошные студенты что-то соберут.

Второе выступление. Из ФБОНа мне позвонила необыкновенно милая дама : «Как бы устроить у нас — вы сами понимаете... мы хотим, но не разрешат... Может быть, вы нам поможете устроить вечер переводов: Андрей Сергеев и Иосиф Бродский». «Прекрасно, замечательно, делайте такую афишу, я начну, прочту два перевода». Иосиф ничего не говорил, но — красноречивее всяких слов — готовился, старался хорошо выглядеть. Зал ФБОНа был битком, в проходах стояли. Иосиф воз-

двигся на трибуне, он был необыкновенно вдохновлен обширной аудиторией. Как Зевс Громовержец, метал перуны. Он был хорош, великолепен, все шло на ура, абсолютно на ура. Произошло редкостное взаимодействие обоюдного интереса. Аудитория была просто потрясена. Когда все кончилось, устроительница отозвала меня в профком и дала толстенный конверт с деньгами. В то время рубль был еще очень дорогой, а в конверте рублей 600—700, невероятно много. Иосиф почти растерялся. Насчет какого-то гонорара за выступления мысли не было, ни когда он шел к студентам, ни когда во ФБОН.

Третье выступление. В интеллигентнейшей и соответственно либеральнейшей секции союза писателей — переводческой — на регулярных средах давали выступать и оригинальным поэтам, которых не печатали. Помню, СМОГи всем составом читали стихи. Их встретили благожелательно, очень вежливо поблагодарили. Был вечер Сапгира, из-за наплыва публики пришлось переносить в помещение побольше, люди живо реагировали, аплодировали. Снова среда, читает Бродский. Присутствуют переводчики и не меньше интересантов. Может быть, Иосиф для учтивости и прочел пару переводов. Самое главное, что он начал с тем же напором, как и в два описанных раза. И споткнулся. Потому что встретил непонимание, отчуждение. Прошибить аудиторию не удалось. Кроме того здесь сидели живые литературные оппоненты — СМОГи. Губанов, когда потом было обсуждение, пытался убивать Бродского совсем по-советски, что было весьма неожиданно. Ну, и я Губанова заткнул по-мильтонски. Лианозовцы тоже Иосифа не любили — это еще очень мягко сказано — за то, что он другая эстетика, но столкновений не бывало.

Иосиф после выступления на среде говорить ничего не говорил. Был в очень мрачном настроении. Лицо выражало всегдашнее брезгливое отношение к союзу писателей.

От друзей Иосиф почти ничего не требовал. Даже не всегда искал в них понимающего читателя. Требовал, чтобы они его не предавали, не делали пакостей. Требовал верности, сам был очень верным другом. Единственная претензия — хотел, чтобы ближние принимали действительность лицом к лицу. Частое и осуждающее слово

его — «эскапизм». (В частности, мои занятия нумизматикой считал эскапизмом.) Сам стремился, как он однажды сказал, к стопроцентности или в другой раз другими словами — «прыгать выше головы».

Но и по-своему проявлял галантность, любил, расшаркиваясь, по собственной инициативе, оказывать друзьям знаки внимания. Раза два приезжал (прилетал?) из Питера на мои дни рожденья.

В первый раз подарки были:

Плотный лист изрисованный и исписанный разноцветными словами; четыре фигурных стихотворения: две греческие вазы, куст, елочка + посылка:

Эту маленькую вазу
Вы полюбите не сразу.
Не приводит эта ваза
в состояние экстаза.
Но рисунок мой статичный
(отражая опыт личный)
на поверхности античной,
при содействии «столичной»,
может быть (о это жженье!)
приведет (на помощь, боги!)
в состояние броженья
Ваши мысли, Ваши ноги!

В углах вазопись: шестистолпный храм, крылатый гений с флейтой, красный кораблик.

И машинописный лист:

АНДРЕЮ СЕРГЕЕВУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал... —

и так далее до конца. И дата: 3.VI. 66

Иосиф в разговорах упоминал всегда одни и те же имена: Анна Андреевна — и Найман, Рейн, Бобышев, которые все трое существовали в разных контекстах. Других ленинградских имен при мне он не называл. И на встречу Нового 1971 в Ленинграде позвал только моего старинного приятеля Леню Черткова с женой и всем

известных Профферов. Он принципиально не стремился перезнакомить своих друзей. На этом фоне многозначительный в Иосифовой семиотике жест — когда он в ЦДЛ на каком-то просмотре свел меня с Голышевыми, Микой и Наташей, и сказал:

— Я вас хочу познакомить, это самое лучшее, что я могу сделать.

Сам я знакомил Иосифа с кем мог. Главная моя заслуга — интродукция Иосифа в Литву. Об этом написал Ромас Катилюс, написал как было, может, немножко улучшил.

Газета «Согласие», 11—17.06.1990

«...Летом 66-го разговор чаще чем раньше касался Бродского... Чуткий к психологическому состоянию друга, Андрей Сергеев от нас ему постоянно звонил. В какой-то момент, в ответ на реплику Иосифа, наверное, типа «конец света» или «полный завал», Андрей, повернувшись ко мне и моему брату Аудронису, зажав ладонью трубку, шепнул: «Иосифу плохо». Мы в один голос сказали — пусть едет к нам. Андрей передал эту мысль Иосифу, и Иосиф... назавтра же был в Вильнюсе. Вечером, сидя за круглым старомодным столом в нашей столовой, он уже читал нам стихи».

В Литве Иосиф получил прекрасную замечательную историческую страну, куда всегда можно съездить, и где тебя встретят с распростертыми объятьями.

Из поколения отцов, интеллектуал 20—30-х годов Пятрас Юодялис, такой же безденежный, как Иосиф, вдоволь нагулялся с ним по осенней почти дармовой Паланге и обсудил все проблемы. Его приговор на его манер:

— Иосифас — это молодой Гете.

В израильском журнале стихи «Коньяк в бутылке цвета янтаря» были напечатаны под заголовком: «Пану Пятрасу Йодялису с любовью».

Помимо гостеприимного дома Катилюсов, бывал у Чепайтисов. Тумялис принес пачку отличной машинописи, в ней обнаружились чужие опусы. На одном из листов Иосиф черкнул: «Этих стихов я никогда не писал. К сему И. Бродский».

Самое существенное — он приобрел в Литве собрата-поэта и равноценного собеседника — Томаса Венцлову. Глобтроттер от рождения, Томас бывал всюду, в Ленинграде жил долгими месяцами, так что Иосиф получил почти регулярного напарника.

Весьма вскоре Ромас Катилюс перебрался из Вильнюса в Ленинград. Ромас с его трезвостью и высотой взгляда был всегда объективным судьей Иосифовых поступков. Потому что Иосиф, по своей прихотливости, хаотичности, может быть, невротичности, был способен выкинуть номер. Ну вот, допустим, Иосифа не печатали. В Ленинграде образуется какой-то альманах, то ли день поэзии, то ли еще что-то. Иосифа приглашают, только, конечно, надо бросить кость. В ссылке Иосиф написал послушное стихотворение «Народ», которое, кажется, было напечатано в местной районной многотиражке. В стихотворении нет ничего неприличного, но сказать, что это — стихотворение Иосифа, что оно выражает его существенные мысли и чувства — нет, это стихи на случай. И вот Иосиф, поддавшись, выбирает стихи некоторым образом нейтральные — хотя эстетически нейтральных стихов по отношению к ... — у него не было. Вот он берет какие-то стихи, более или менее проходимые, и предваряет их стихотворением «Народ». Ромас говорит, что не ему мараться, выходя впервые в печать, что он не должен этого делать. В редакции был, конечно, разговор, шум, но «Народ» не пошел. Только какие-то два стихотворения.

Рубеж 60—70-х — время восхитительных, может быть, даже превосходящих более ранние, стихов Иосифа:

«Конец прекрасной эпохи»,
«Люди и вещи нас...»,
«Я всегда твердил, что судьба — игра»,
«Холуй трясется, раб хохочет»,
«Письма римскому другу»,
«Сретенье» и др.

Зимой 1969—70 я провел два месяца в больнице. Иосиф прислал мне ободряющее письмо с вложением первой версии «Альберта Фролова» (которого я тут же заучил наизусть). Потом объявился сам — на сей раз мы занимались не его, а моими душевными перипетиями.

Когда Иосиф впервые пришел ко мне на Звездный, то потянул ноздрями, огляделся:

— Красиво.

В тот вечер мы с ним куда-то шли, и я надел новый твидовый пиджак. Он сразу:

— Андрей Яковлевич, вы хорошо одеты.

И когда я приехал в Ленинград на Новый 1971, опять сказал, что я хорошо одет. Ничего такого он прежде не говорил. Это был его способ выразить согласие с моей новой жизнью.

Форма, одежка — это было для него очень существенно. Ужасно гордился своей ирландской кепочкой. Советским гнушался.

В вечер встречи Нового года я впервые увидел Иосифовых родителей. Очень понравилось, что отец его, Александр Иванович, перед уходом переоблачившись из домашнего в парадное, из босяка превратился в сэра Роя Веленского.

Когда Иосиф впервые видел человека или попадал в новую среду, он вбирал все глазами, ноздрями, ушами, порами кожи. Причем делал это на удивление тактично — на удивление, потому что не был хорошо воспитанным юношей, как и все наши сверстники. В стихах он проявлял эту сенсуальность в такой степени, что меня, с задатками пуританина, она даже несколько приводила в смущение.

Но, как всякий выросший в эсэсэр, в коммуналке, Иосиф не был человеком изысканных, прихотливых, невероятных вкусов. Говорил: «Мой идеал — это кастрюля с котлетами, и чтобы руками из нее доставать одну за другой». Любил государственные пельмени в пачках по 50 копеек, мог пообедать в любой тошниловке. Какой-нибудь особенный Шато-де-чего не производил впечатления. Было время, когда и я, и он пристрастились к джину. Может быть, ему нравился джин, а еще больше виски, по той же причине, по какой нравилось все американское.

Мне как-то представляется, что ему было несвойственно влезть в какой-нибудь сидячий или лежачий поезд Москва—Ленинград, он скорее гнал на аэродром. По го-

роду — только такси, когда он был один или когда инициатива была решительно у него в руках. Вместе — мы с ним отлично ездили в метро. В Ленинграде в первый же вечер он повез меня к Ромасу и Эле Катилюсам — на метро до Финляндского, и на электричке до Удельной, там мы прошлись на своих двоих.

В Ленинграде он мне показал родные палестины — улицу Пестеля, Пантелеймоновскую, храм с оградой из турецких пушек, показывал двор, где бестолковый Рандольф Черчилль орал, выкликая Исайю Берлина, который засиделся у Ахматовой. Потом — двор Третьего отделения — «Сквозь узенькую арочку вкатиться в казенный двор и поминай как звали» — эти свои строчки я зрительно зафиксировал на той прогулке. Иосиф торжественно подвел:

— Вот здесь и я сидел, здесь был суд.

Историей в то время Иосиф интересовался только современной, XX века, а политикой скорее гнушался. Слишком многое разумелось само собой и выносилось за скобки разговора. Политики как таковой в разговорах было, может быть, процента два. Единственную острую реакцию — активную радость — помню на той же встрече Нового 1971, когда объявили, что Кузнецова и самолетчиков помиловали: расстрел заменили сроками. Позже Иосиф сетовал, что в Ленинграде нельзя ни с кем встретиться — вместо «добрый день», говорят «кого посадили?»

Около того времени не раз назидательно:

— Андрей Яковлевич, запомните, если меня снова посадят, прошу, чтобы за меня никто не хлопотал. Так всем и говорите, такова моя воля, это мое персональное дело.

Тема выезда в широкий свет никогда не была темой для разговоров. Совершенно ясно, что каждому из нас хотелось поглядеть мир. Здешнее Иосиф все пересмотрел — в геологических партиях, на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, на Кавказе, в Прибалтике, в Средней Азии. Чего и кого только не насмотрелся в Москве, Ленинграде. Ленинградцы рассказывали, что, придя в гости, Иосиф сидел как на шиле и думал: вот сейчас бы сбежать туда,

там, может быть, лучше, — но и там повторялось то же самое.

Иосиф хотел не уехать, а ездить — уезжать и возвращаться. Весной 1968 предпринял нелепейшую попытку. Раз-два у меня на кухне как бы между прочим сказал, что надо сходить в ЦК и поговорить. Потом, что уже сходил — и сказал референту, что мог бы лучше других представлять страну за рубежом. Не дурак референт записал его на прием к Демичеву. И поход, и текст были настолько не похожи на Иосифа, что за ними виделась подсказка какого-нибудь либерального *прогрессиста*. В назначенный день на той же кухне я сказал Иосифу, что он никуда не пойдет. Иосиф был предельно нацелен на визит — но все-таки не пошел.

От руки. 22.VI. 1971

«...вообразите себе такое крово-стечение обстоятельств: из окон больницы, где я когда-то служил санитаром в морге и где сейчас нахожусь в качестве пациента, я смотрю на окна заведения «Кресты», где я тоже обретался некоторое время и где как раз тогда, в марте 1964, и началось то, результатом чего является мое здесь пребывание: обнаружилась какая-то ерунда с кровью. Но мало того; граница (стеной) с «Croix», больница, в довершение всего, другой стеной, а также своим фасадом соседствует с заводом «Арсенал», где я совершал свои первые шаги — фрезеровщика, сверловщика etc. Это было в 1956 году, 15 лет назад, и сейчас, видя, как в камерах загорается свет, я, имея, кажется, все основания не думать об имеющемся view как о перспективе, испытываю чувства совершенно не ностальгические, но ровно наоборот. Видимо, это и значит «вернуться на круги своя». Впрочем, пес с ним.

Вчера произошел забавный эпизод. Я повел пришедших навестить меня К[атилюсо]в к prison wall с целью сделать им небольшое show и молодой warder заорал на нас в том смысле, что сюда смотреть нельзя, что оштрафует etc, etc. Я хотел ему сказать, что я имею большее право, чем он, смотреть на этот ансамбль, что, в конце концов, это мой дом и проч., но Ханум [жена Ромаса Эля. — *А. С.*], ожидающая 2-го ребенка, увела нас с Р[омасом] прочь, а warder выкрикивал мне вслед, что я иду на обострение».

Может быть, действительно, Иосиф шел на обострение. Сознательно — или самим фактом своего существования. Власть не могла не оскорбляться всем, что он делал: работал, бездельничал, гулял, стоял, сидел за столом или лежал и спал.

Только что он был в Ереване, в первой машине ехал с академиком, во второй, открытой, везли охапки цветов. По возвращении в Ленинград сразу Большой дом:

— Убирайся, а то за себя не отвечаем!

Говорят, заранее посоветовались с популярным поэтом. И израильская виза наготове. И необходимость ехать на бессмысленную волокиту в Москву. Я видел в окно, как он шагал по нашему двору, — плечи высоко подняты, голова втянута — шагал чугунной походкой грузчика. Ночевать остался у нас на Звездном. Много говорил; напоследок, почему-то, не сразу начав от смеха, прочитал «Чучело перепелки». Не нажимая, сказал, что сделает изгнание своим персональным мифом.

На другой день прощались у Голышевых — посидели, как на дорогу, — обожавшая Иосифа Микина мачеха Лидия Григорьевна (Мики и Наташи не было в Москве), Марина, Маша Слоним, мы... Иосиф просил не приезжать в Ленинград на проводы.

Дальнейшие отношения в письмах.

Открытка от руки. Вена.
20 июня 1972

«...Лечу вместе с Оденом в London на Poetry Festival... Оден — 10 баллов по пятибалльной системе; я трижды ездил к нему в Кирштеттен на lunch; великий дачник, но не эскапист, как был наш [Пастернак. — *А. С.*]. Считает порнографию реализмом, говорит, что принадлежит к сигаретно-алкогольной культуре, не к культуре drugs. В общем, удивительно похож на А[нну] А[ндреевну] — особенно, взглядом, хотя — слегка обалделым... Морда напоминает пейзаж. Завтра (если нас не хайджахнут) будем читать стишки в L[ondon]. Пустяк, но приятно. Жалко улетать из Европы...»

Машинка вроде бы прежняя. Анн Арбор.
12 декабря 1972.

«...Святофранцисск шикарен, прекрасен, похож на Владивосток и Севастополь, расположен на семи, кажет-

ся, холмах, столь крутых, что будь я существом четвероногим, одна пара конечностей была бы короче другой. Подниматься и опускаться жутковато — пешком, а тем более: в автомобиле. Благодаря чему (не хотите ли) здесь и не бывает зимы. Потому что, если бы выпал снег, месту сему пришел бы .издец. По причине тяготения моих камрадов [Профферов. — *А. С.*] к люксусовости, был поселен на надцатом этаже Марк Хопкинс Отеля, откуда открывается вид, за который действительно следует платить валютой. У меня в таких местах обычно возникает ощущение какого-то гротеска: я и это... Я только хочу сказать, что главный в семье Штраусов не Иоганн, не Рихард, не тем более, Леви, но Джозеф, соорудивший Голден Гейт. Сукой буду, есть на что посмотреть. И вообще я считаю, что город, желая быть великим, должен иметь: выход к океану, уникальный бридж или чорч и китайский город, по которому вечером идешь, как по электрическому винограднику, и запахи бросаются в лицо, как цветы...

В Мичиганске, естественно, зима, и это приятно вернуться в систему четырех времен года. Которая — система эта — есть единственная для меня реальность. Кроме, конечно, дня и ночи. Все остальное выглядит приблизительно и временно и не рождает (а может и не требует) серьезного респонс; так что чувства мои как бы дремлют. Что — мучительно. Имеет место только физическое уставание и физический же отдых. Я бы пожаловался еще, но на таком расстоянии Вашу жилетку не промочишь.

Жизнь моя проста, незамысловата. Два раза в неделю происходят семинары; по понедельникам и средам. В 10 утра для градюэйтс (дипломников) по-русски, в 4 часа пополудни — для андерградюэйтс, сиречь просто студентов (плюс профессора из разных депар[таменто]в и всякие, кому интересно) по-английски. Этот второй, конечно, есть комбинация моей наглости и ихней терпимости, но чего-то толковое получается. Заставляю, например, независимо от возраста и пола, учить стишок на память. Ну и объясняю, как могу, что к чему. Думаю, что доходит. Вечером — возвращаюсь в свой пустой дом, пытаюсь чего-то сочинять. Иногда — да, чаще — нет. Готовлю, прибираюсь, смотрю телик; когда нервы позволяют — читаю.

Раза два в месяц — минимум — летаю куда-нибудь по оральным делам, как, например, во Фриско. Что до личной жизни, то хватит с меня личной жизни. Тут она была бы, по меньшей мере, эскапизмом, попыткой разгрузить душу, заслониться от — как бы поточнее — от ужаса. Что и желательно, и нежелательно. Я все-таки приучил себя к хандред персентности...

Сообщаться же почти не с кем, кроме Карликов [Профферов. — *А. С.*]. Потому что слависты с течением времени, как хозяин на собаку, становятся похожи на свой сабджект, и я нахожусь среди тех, с кем это уже случилось. Очень аэропортовские люди, только женаты не на чернявых. Департамент — настоящий зоо; это даже приятно, что такая вэрайети имеется: тут тебе и мистики, и бодисатвы, и вегетарианцы, и гомосеки, и просто крейзи. Но у нас он еще хороший. Вот в Калифорнии — так там не зоо, а цирк со своим распорядителем, укротителем и клоунами. Насмотрелся я и скажу, что те, кто нам дома нравился, и есть лучшие.

Вы не поверите, Андрей, но мне скушно. Дело, конечно, в характере моем гнусном, и в языке несовершенном, конечно. Но знаете: все на свете можно вычислить. Человека, пейзаж, погоду, содержание книги. Скажу так: я увидел много нового, но не услышал и не прочел. Не знаю, где происходит самый процесс, но уровень в сообщающихся сосудах одинаковый...

Эмигре меня ненавидят, считают, что я их позорю. Любят поговорить о свободе: психология холуя, сбежавшего от хозяина: все время сапоги снятся...»

Та же машинка. Инисбофин.
21 июля 1973

«...Инисбофин на местной фене означает Остров Белой Коровы, — и хотя я ее еще не видел, — должен Вам сказать, что коровы и есть главные обитатели сей части суши, где кроме них, коров, есть еще овцы, зайцы, несколько кур, лошади, ослики, псы, кошки и 250 душ местного населения. Я — 251-й и, думаю, первый русский, к[ото]рый на остров этот когда-либо ступал...

В качестве 251-го я был перевезен сюда с «мейнленд» на небольшом баркасе по довольно бурному морю. Ду-

маю, что не испытывал ничего подобного прежде. Дело не только в баллах, но и в утлости судна, чей шкипер (по имени Падди, конечно) — 6 пудов веснушчатого мяса — всю дорогу крестился и орал на трех пьяных молодцов, норовивших вылезти из трюма на палубу, где сидел — а вернее — катался от борта к борту, хватаясь за что попало, я, а справа и слева громоздились жидкие трехэтажэные вещи...

Я остановился в доме местного поэта, Тома Макинтайра (с к[ото]рым познакомился зимой в Мичиганске, где он преподавал айриш феню). Он живет тут со своим бабцом америк[анского] происхождения, тратя на еду 3 фунта в неделю. Это при том, что норм[альный] обед в китайском, (следоват[ельно] дешевом) ресторане в Лондоне будет 2—2.5 на нос. Выкручивается он просто: ловит рыбу — макрель — к[ото]рая и составляет 90 % их меню. Остальные 10% падают на картошку, свеклу, морковь, выращиваемую тут же, и на хлеб — того же т. е. домашнего происхождения и производства. Имя всему этому одно: нищета, но его никто не произносит. Ирландскому поэту (а Макинтайр — поэт хороший) заработать невозможно... Ср. членов СП... Главный вопрос в семье Макинтайров сейчас: купить или не купить (разумеется, в рассрочку) револьвер, чтоб стрелять диких кроликов, которых тут пруд пруди, ибо есть мясо здесь — хотя бы дважды в неделю — вопрос престижа. Топят торфом, леса нет никакого (винят англичан, к[ото]рые будто бы его свели в 17-м веке). Основное правило: если увидел кусок дерева, — подбери и отнеси домой. Потому что все время холодно, ветрено и сыро, но именно поэтому я сюда и приехал...

На чердаке, где я сижу сейчас и пишу все это при свече, пахнет рыбой; также ею пахнет в сенях и в спальне. Из того, что я видел, это не похоже ни на что. По своей бедности и некоторой отверженности это напоминает Норенское, но океан меняет все...

Смешно, что для Инисбофина Ирландия — мэйнленд, ибо для Ирландии мэйнленд — это Англия, для которой, в свою очередь, мэйнлендом является Европа. А он говорит «ни один человек не остров...»

От руки на двух открытках с видами Венеции. 31 декабря 1974

«Хотя бесчувственному телу
равно везде... Но ближе к делу:
я вновь в Венеции — Зараза! —
Вы тут воскликнете, Андрей.
И правильно: я тот еврей,
который побывал два раза
в Венеции. Что в веке данном
не удавалось и славянам.
Я прилетел в Париж, который
завешен как тяжелой шторой,
лефтистами и прочей мразью:
мир, точно Сартр, окосел.
Провел там сутки, в поезд сел
и, вверив взор однообразью
окна, как недруг власти царской,
направился в предел швейцарский...
Тристан Тзара, Джеймс Джойс, другие
творцы (и жертвы) ностальгии
здесь пели о грядущих бурях
простейший применяя трюк:
немецкого не зная, Цюрих
они считали за цурюк.
Я ж, feeling strange, в таком пейзаже
не вышел из вагона даже.
Состав бежал быстрее лани.
В семь вечера я был в Милане.
Гулял по местному собору.
В музее видел Пиету —
не знаменитую опору
туризма местного, не ту,
что снята в каждом повороте, —
но смертный крик Буонаротти.
Теперь передо мной гондолы.
Вода напоминает доллар
своей текучестью и цветом
бутылочным. Фасад дворца
приятней женского лица.
Вообще не надо быть поэтом,
чтоб камень сделался объятьям
приятнее, чем вещь под платьем.
Да убедят Вас эти строки,
что я преодолел пороки;
что сердце продолжает биться,
хоть вроде перестать пора;

что — факт, известный не вчера —
Ваш друг — плохой самоубийца;
что он, в пандан Царю Гороху,
свой срам не валит на эпоху.
Се, покидая черным ходом
текст, поздравляю с Новым годом
Вас, Вашу — in italian — bell'y.
Поздравив, падаю в кровать...
Хотя бесчувственному телу
равно повсюду истлевать,
лишенное родимой глины,
оно в аллювии долины
ломбардской гнить не прочь. Понеже
свой континент и черви те же.
Стравинский спит на Сан-Микеле,
сняв исторический берет.
Да что! Вблизи ли, вдалеке ли,
я Вашей памятью согрет.
Размах ее имперский чуя,
гашу в Венеции свечу я
и спать ложусь. Мне снится рыба,
плывущая по Волге, либо
по Миссисипи, сквозь века.
И рыба видит червяка,
изогнутого точно «веди».
Червяк ей говорит: «Миледи,
Вы голодны?» Не громче писка
фиш отвечает: «Non capisco».

[Внизу рисунок рыбы с сигаретой].

Машинка. Нортхэмптон.
21 мая 1975

«Из двух вещей, составляющих смысл жизни — работы и любви — выжила только работа. Не удивляйтесь, что не видите воплощений: я никому ничего не даю, потому что выяснилось, что некуда — внешне — спешить, а внутренне меня все равно никто не нагонит... Детки бывают славные, девки просто роскошные, но, переводя на язык родных осин выражение «заниматься любовью», я бы делал упор на «заниматься».

...В жизни моей происходит нечто цыганское или лучше сказать — агасферье. Сколько квартир я сменил, сколько гостиниц, мотелей, неприбранных постелей осталось за спиной за эти три года — страшно подумать... Это у меня-то, жильца и домоседа. Невольно возмечтаешь о

четырех стенах, хотя бы и звукопроницаемых. Они, поди, уже превратились в трилобиты, эти вещи.

Мне хотелось бы как-то объяснить вам, на что тутошняя моя жизнь похожа. Чтоб каждый день с интеллектуалами я общался, так этого не скажу. Редко это бывает, в связи с неурожаем на оных. Неделю тому назад имел первый за три года разговор про Данте — так это было с Робертом Лоуэллом... Не говорит — бубнит, по звуку невразумительное, по смыслу — весьма дельное. Впечатление какой-то цифры, все время выходящей за скобки. Я не видел человека, держащегося на сигаретах и кофии больше, чем я. Теперь это Лоуэлл. Хотя единственный человек, к[оторо]го я тут любил и люблю, мертв: Оден. Говорил ли я Вам, что я заказал — вернее, устроил огромную поминальную мессу, в НьюЙоркском Святом Джоне Недоделанном (Сейнт Джон оф Коламбия, в просторечии — Анфинишд), где Уилбер, Уоррен, Хект и др. читали его стишки вслух. Никому почему-то это в голову не пришло сделать. Читали ли Вы когда-нибудь Оден ен массе? Вот чего нашей Музе недостает, этого отвлечения от себя плюс диагноза происходящего, но без личного нажима.

Разговоры, которые веду, из числа тех, без которых всю жизнь обходился. При всем местном тонкачестве, отсутствует элемент приверженности — к идее, какой бы она ни была. Человек может всю жизнь дрочить средневековых аскетов без какого бы то ни было влияния на его личное поведение. Он вам прочтет про Савонаролу, а потом поедет играть в теннис. Это — правило, есть, конечно, исключения; но главное, чем я занимаюсь, в классе и вне, это изыскиванием способов, как взорвать те или иные мозги. Иногда получается, но бывает себе дороже...»

Новая машинка. Анн Арбор.
29 марта 1976

«... я все больше склоняюсь к мысли, что штатская и отечественная литературы (как, впрочем и самые языки) представляют собой не столько явления противоположных культур, сколько крайности той же самой цивилизации — цивилизации белых. Я всегда грешил этноцентризмом; теперь, при двух-трех фенях, мне и карты в руки, — имеющаяся разница есть разница между аналитическим и синтетическим отношением к действитель-

ности. Первое позволяет осуществлять над ней контроль, жертвуя зачастую доброй половиной феномена; второе развивает восприятие (до степеней Льва Николаевича), но за счет способности действовать. Разница — как между тахтой и автомобилем, но общий знаменатель тот же; я, например...»

Машинка. Нью-Йорк.
10 июня 1977

«Переселился я в Сверхгород, и, как говорят пшеки, по раз первши со времен велкего скачка завелось у меня нечто вроде настоящего шелтера. Совершенно чарминг, как в кино показывают, или как то, чего мимо всю жизнь по улице вечером проходишь, а в окно видать книжные полочки, слыхать Вольфганга Амадея, и еще баба ходит. Баба не ходит, и вряд ли вообще пойдет, кроме оккэйжнл или просто цветной домработницы, к[ото]рая пыль у других людей с китайских ваз вытирает, а тут один стакан в раковине моет, не потому что друг накануне вино приносил, а потому что из того же, из чего кофе утром пью, пью вечером белое. Все это в Гринич, само собой разумеется, Вилэдж, в трех кварталах от Гудзона; — стрит оканчивается пирсом, у к[оторо]го на приколе стоят два «либертоса», превращенные местным муниципалитетом в поваренную школу, чтоб удержать нек[ото]рое кол[ичест]во молодых негритосов от поножовщины и рейпизма. В общем, посвящается Макаренке. Гудзон тут шириною похож на Волгу у Куйбышева, и на той стороне заместо Жигулей — Нью-Джерси, плоский штат, застроенный заправочными колонками. Довольно кошмарное зрелище, этакая технологическая тундра. Но в профиль, то есть, с этой стороны, с Манхаттэна, похоже на помесь второй грэс и ул. Горького, у Охотного ряда.

Впрочем, на пирс этот приходя, смотрю я в другую сторону: в сторону лагуны, образуемой слиянием Гудзона с Вост[очной] Рекой, и там маячит мадам Свобода, проплывают лайнеры, пролетают вертолеты, садится солнечко и т. д. Бессмысленно все это описывать, но как-то ведет когда пишешь восвояси, возникает комплекс форина, какового как-то совершенно нет. Просто, волею обстоятельств, я оказался человеком с четко разграниченным настоящим и прошлым: прошлое означено семьдесят вторым годом и сводится к Евразии».

Сюжет тех лет. Приятель принес мне чемодан рукопечатных стихов. Из всего понравился Лимонов, и я — учитывая цензора, — написал, что в Нью-Йорке бедствует молодой поэт Эдди Лемон. Post hoc, конечно ничего не значит, но спустя немного в «Континенте» появилась подборка Лимонова с внушительной врезкой Бродского.

От руки на открытках. Нью-Йорк.
26 декабря 1978

«O tempora, o mores, o цорес» Horace. Меня разрезали и зашили обратно. Грудь и др. части тела выглядят, как «москвичка» 50-х годов. Мог бы гулять голым, надев только лондонку. Операция называется «bypass», по-русски — «объезд» — знаете, когда грузовик лежит на боку. Грязь кругом, трактор надрывается и гаишник руками машет. Ничего, очухался, не курю вот уже 2 месяца кряду (к ляду)».

От руки на открытке. Нью-Йорк.
30 января 1986

«... есть такая часть (того) света — Инфарктика. Был там трижды (13 дек[абря] прошлого года во второй и 27 дек[абря], уже под ножом и ничего посему не соображая, в третий раз) — что Вам сказать за пейзаж? Много, конечно, белого; но еще больше красного и черного — совершенно, однако, вне-стендалевского пошиба. Если вернусь на круги своя — в чем далеко не каждый день уверен — придется завязать с рядом уланских привычек, включая одну фабрично-заводскую: курение. Придется завязать, иными словами, с пиш[ущей] машинкой и перейти на вставочку (к[ото]рую бычки и заменили). Хотя Мика всегда от руки писал. В общем, не знаю, на сколько меня хватит. Хорошо бы увидеться, как говорил Ваш сосед-Буддильник [Саша Пятигорский. — *А. С.*] еще в этом воплощении».

В ноябре 1988 я прилетел в Нью-Йорк. Не успел встречавший меня Томас Венцлова водворить меня на квартиру, как в дверях возник Иосиф:

— Андрей Яковлевич, в этой жизни мы уже увиделись, что же мы будем делать в следующей?

Иосиф ошарашил меня своим ужасным видом. Он был какой-то распухший, большой, белый, не бледный,

а белый. Только что прилетел, из Франции что ли. В общем, с самолета, усталый, физически никак не расположенный к заседанию с разговорами. И вот мы втроем немного поболтали вполне легкомысленно. Было, наверное, около одиннадцати, Иосиф сказал очень авторитетным тоном:

— Андрей Яковлевич, одиннадцать часов, пора спать, вы еще не знаете, что такое jet lag [реакция на быструю смену временных поясов после самолета. — *А. С.*]. Ложитесь, завтра утром мне в девять звоните. И приходите, *мы* вас ждем.

Имелся в виду Иосиф и его кот. Эту фразу я слышал много раз за те немногие дни, что был в Нью-Йорке. Пристрастие к кошкам у Иосифа, наверно, было наследственное: очень легко представить Александра Ивановича — как и Иосифа Александровича, наглаживающих на коленях кота. И гриничвилледжская квартирка была питерского пошиба, ибо сильно смахивала не на две, а на полторы комнаты. Он гордился, что в его полуподвал есть вход сверху с крылечка, другой вход из-под крылечка и третий — во двор, через терраску на полметра ниже земли. На терраске стояла какая-то дачная плетеная мебель. Кот выходил именно в этом направлении. Иосиф острил: «идеальная квартира для адюльтера».

Назавтра утром, когда я ему позвонил, он мне сказал, что лучше всего прогуляться пешком, — да и не по восьмому авеню, а, скажем, по шестому — приятнее, наряднее, столичнее. По-российски подробно объяснил, как к нему пройти, как найти. Дорога заняла не меньше двадцати минут. Я получал полное удовольствие от уютного Манхеттена. Поднялся на крылечко, как мне было сказано, позвонил. Иосиф сломя голову выскочил из своего полуподвала по довольно-таки крутой лестнице с резвостью польского улана и с неосмотрительностью такой же. Бурно, динамично провел меня в свою гостиную, усадил. Хотелось все посмотреть, и письменный стол с бюро и полочку с фотографиями матери и отца, а напротив — огромная рамка, в которую были вставлены многочисленные фотографии друзей — ну и тех, кого ему хотелось видеть. Под торшером — диван, на котором он сидел, так сказать, главное место в комнате. Справа от торшера стойка с полным Брокгаузом-Ефроном, который создавал

впечатление очень отечественной квартиры. В углу аккуратно, довольно дизайново лежала стопка книжек «Less than one» — Иосиф знал, что я не большой ценитель его прозы, так что книжка мне не досталась. Осмотревшись таким образом, я сел. И вот этим утром Иосиф был выспавшийся — красивый, молодой, здоровый, подтянутый, меловая белизна ушла, кожа активная, здоровая — все совершенно замечательно.

Какой бывает разговор при первой встрече — разбегающийся.

— Ну-с, Андрей Яковлевич, какие будут первые впечатления? Как долетели?

— На Эйр-Индия. Индусы изуродовали монументальные своды своего Боинга — все изрисовали мелкими красными фигурками. Несчастные, даже жалко их.

— Андрей Яковлевич, не жалейте. Вас никто не пожалеет.

Он не расспрашивал о нашей политической обстановке, он ее на удивление хорошо представлял. Про Америку — до выборов оставался, что ли, день — сказал:

— Знаете, я был в Белом доме. Буш — это последний патриций. Дальше будет все попроще.

В мои планы входила Метрополитен-Опера.

— Билеты, кажется, можно достать, если нет, позвоню Барышу, билеты будут.

Мне нужно было отметиться в Пен-центре, сравнительно недалеко, в Сохо.

— Пойдемте, я вас провожу.

Погода восхитительная — теплая благодатная осень. Мы шли по умиротворенному Нью-Йорку, я наслаждался курортным воздухом — на авеню с машинами чудесный освежающий морской бриз. Прошли несколько кварталов, Иосиф остановился у хот-догщика, съел хот-дог, с чувством сказал:

— Вот моя основная еда здесь — как там пельмени.

И назавтра в девять я должен был непременно позвонить. Опять:

— Мы вас ждем.

Накануне мы с ним скакали с пятого на десятое, сейчас это было довольно размеренно обо всем.

Сначала о его тамошних стихах. Я предположил, что он перешел от пятистопника к разностопному дольнику

под влиянием всемирных пространств и масштабов; Иосиф не согласился. Что он набрал и высоты, и разнообразия средств. Что стал тщательно обрабатывать почти каждую строку. Самые лучшие стихи:

«Литовский ноктюрн»,
«На смерть друга»,
«Я хотел бы жить, Фортунатус...»,
«Ты забыла деревню, затерянную в болотах...»,
«Зимняя эклога»,
«Летняя эклога»,
«Я пил из этого фонтана...»

Он прибавил:

«Осенний крик ястреба».

Перешли на других.

В России Иосиф, кажется, как и все, отпадал от Набокова. Теперь отнесся о нем сдержанно, недружелюбно.

От Солженицына всегда отгораживался, видел в нем Николая Гавриловича. И сейчас:

— О Солже? Что о нем говорить? Он в «Теленке» о себе все написал. Сам, наверно, не подозревает, что. Жуть!

Иосиф ходил по комнате, проверял корешки, говорил, что вот в возрасте перечитывает, перечитал Анну Андреевну, очень многое понял. Прочитал Кузмина в какой-то раз и тоже что-то нашел. Не то чтобы потрясен, но все-таки.

Я, героически закончив к тому времени «Улисса» по-английски, сказал, что в совершенном восторге. На что Иосиф ответил — мне показалось, нью-йоркским мнением, — что «Улисс» сейчас не смотрится, что он проигрывает «Человеку без свойств». И спросил меня, кого я ценю из новой прозы.

— Саша Соколов «Между собакой и волком».

Иосиф это отмел: Саша Соколов — средний московско-ленинградский уровень, ничего особенного нет, а из новых лучше всех Кутзее. Я не согласился, что Саша Соколов — средний уровень; Кутзее читал «В ожидании варваров» — не понравилось, провинциальный Кафка. Иосиф говорил, что Моцарт сейчас звучит хуже, чем Гайдн, вот Гайдн, действительно... его симфонии...

Иосиф — улавливатель из воздуха. Когда-когда Оден пустил это про симфонии. Перед Америкой я слышал это от знакомого итальянца.

Иосиф говорил со мной с милой открытой душой, но за словами я ощущал такой опыт, какого у меня не было. Он сильно возмужал, вырос, за ним стояла Америка. Но и этот разговор — по-прежнему обмен мнений, никоим образом не спор.

Дошли до его нью-йоркских знакомых. Он говорил, что в очень хороших отношениях с Сьюзен Зонтаг и поэтами Марком Стрэндом и Энтони Хектом. Но в друзьях и «по корешам», что для Иосифа разные вещи и очень смыслоразличимые — с Дереком Уолкоттом:

— Замечательный человек, вокруг него всегда что-то интересное происходит.

Жаловался, что «в Америке не с кем поговорить», что лучший собеседник на высокие темы был Роберт Лоуэлл, да и тот умер. Про Одена говорил с замиранием, с пиететом — и даже похвастался:

— Знаете, кто поставил мемориальную доску на его доме? Ваш покорный слуга!

Я спросил о Шеймасе Хини.

— Мой друг Шеймас Хини — явление чисто литературное.

В середине разговора вторгся почтальон с огромной сумкой корреспонденции, в основном рекламы и проч. Но и первый договор из Худлита. Иосиф посмотрел и дал мне на инспекцию. Я сказал, что, по-моему, все в порядке, только тираж 25 тысяч при тогдашнем дефиците и спросе надо бы удвоить. Прибавил, что у меня дома есть самиздат московских студентов — роскошно отксеренный том «Урании» — лучше оригинала.

И естественно возник вопрос, который не мог его не мучить и который я неоднократно задавал себе сам, и поэтому был готов отвечать: приезжать ему или не приезжать. О возвращении в Россию речи быть не могло, только — «приезжать или не приезжать». Я твердо высказал свое выношенное, не с налету мнение, что приезжать ему ни в коем случае нельзя, потому что его живым не выпустят. И друзья, и враги растерзают на куски, как менады. По удовлетворенной реакции было видно, что он хотел

услышать именно это, поддержку своего собственного нежелания ехать. Его душа была неспокойна, и я, как вероятно многие, внутренне помогал ему закрыть тему.

При расставании он сказал:

— Андрей Яковлевич, завтра я буду занят, мне надо кое-что сделать, но вы нам в 9 часов обязательно позвоните.

Я позвонил.

— Приходите к нам, мы вас ждем.

— Но вы же заняты.

— А, оставьте.

Пришел, смотрю — у него из пишущей машинки торчит лист, начало вступительной речи о приехавшем из России поэте.

— Я умею говорить вступления, день тратить на это не буду.

И слово в слово повторил сказанное в 1968:

— Посредственный человек, посредственный стихотворец.

(В тот же вечер перед аудиторией он назвал гостя не то светом в окне русской поэзии, не то зеницей ее ока. Помню разговор у окна на Звездном еще в 1972. Почему-то было актуально спросить Иосифа, как он относится к стихам одного из своих знакомых. Он ответил: «Поймите, меня настолько не интересуют чужие стихи, что уж лучше я скажу что-нибудь хорошее». И в этот же день в Нью-Йорке: «Все равно меня никто не обскачет».)

— Давайте лучше я вам стишки почитаю.

И он сидел и читал мне «Рождественскую звезду», потом еще несколько вещей, и «Путешествуя в Азии», а под конец — «Представление». Как в былые времена, я горячо сказал, что «Рождественская звезда» очень хорошее стихотворение, «Путешествуя в Азии» совершенно гениально, а «Представление» — ослепительное, и нельзя ли это все получить. Он сказал:

— Получить можно, кроме «Представления», там еще надо кое-что доделать.

Мне предстояло выступать на конференции, посвященной Аллену Гинсбергу. Иосиф оглядел меня:

— Брюки-то надо погладить. — [Вчера был ливень, я под него попал]. — Не беспокойтесь, у меня все есть.

В полукомнатке рядом с кроватью стояли медицинский велосипед и гладильная доска типа чудо техники. Иосиф распрямил брюки под прессом — ему это явно доставляло удовольствие. Было видно, что у нас джентльмен сам всегда очень свежий и ходит в хорошо глаженных брюках.

Всюду во всем я видел и узнавал Иосифа. Америка его преобразовала. Он превратился в нью-йоркского нобиля. Появилась вдумчивая предупредительность англосакса. Он научился формальному искусству общения, сгладились углы, неровности и шероховатости. Но и все лучшее из прежнего было на месте.

На обратном пути я три дня жил в Нью-Йорке у Аллена Гинсберга. И снова к Иосифу заходил, тем более что с 12-й Восточной улицы до Иосифовой Мортон-стрит прогулка тоже не лишена. На эти дни пришелся усыпительный День Благодарения, когда все закрыто и деться некуда, а вечером обязательно идти в гости и есть индейку. Иосиф повел меня к своим друзьям-американцам:

— Они замечательные люди. Только, Андрей Яковлевич, это не Россия — будет скучно.

И вот уже мы говорили, что завтра я улетаю, кончилась американская гулянка. Что замечательно съездил, все хорошо, пора домой, сколько примерно стоит такси.

— Об этом речи быть не может, вас повезу я.

— Иосиф, вы с ума сошли, день губить. Ни в коем случае.

— Никаких разговоров. Давайте адрес Гинсберга.

Гинсберг прекрасно знал, кто такой Иосиф. Мы с ним договорились, зная Иосифа, что будем его оттеснять от вещей: вещей пустяк, но все-таки четыре этажа вниз без лифта. Так оно и получилось. Иосиф к моим сумкам порывался отчаянно...

Иосиф принес выдирку из «Континента», где была напечатана подборка, включавшая «Путешествуя в Азии» и многие другие стихи. Гинсберг, который всегда старается со всеми поделиться, провел по своим комнатам, говорит:

— Мы ваши стихи можем сейчас напечатать — хотите, маленькой книжечкой?

Иосиф загорелся: такая игрушка! Гинсберг подошел к огромному японскому ксероксу, взял стихи и сделал ксерокс для меня — нормальный, а для Иосифа — размером с записную книжечку. Иосиф тут же загнул поля, со всем тщанием, с любовью, сложил и спрятал в карман. Потом, когда Гинсберг был чем-то занят по делам выхода, сказал, вспомнив Слуцкого:

— На Боруха похож, правда? Есть в нем что-то такое...

Мы спустились вниз к машине, и тут, из соседней квартиры, увидев нас в окно, в сильно похолодавший Нью-Йорк срочно сбежал ближайший друг Гинсберга Питер Орловский, растерянный, в одной пижаме, у него на руке была почему-то перчатка, и он стал протирать ветровое стекло у Иосифова мерседеса, а Аллен Гинсберг протоколировал каждый шаг мировой поэзии, вращавшейся вокруг него, и своим аппаратом профессионально снял меня с Иосифом и Питером Орловским. Орловский вышел нерезко, я — замерзшей куклой, а Иосиф — парит, не касаясь ногами асфальта.

И вот мы с Иосифом после некоторого драйва приехали в аэропорт. Было видно, что в аэропорт он приезжает в N+первый раз. Мы оказались в очереди — советские люди и тут образовали очередь и устроили советскую власть. Я говорю:

— Иосиф, тут не на час. Езжайте-ка домой.

— Нет, я постою.

В помещении аэропорта Иосиф курил одну за другой, выплевывая фильтры. Я стоял в очереди взвешивать багаж, мы разговаривали, хотя какие разговоры в последнюю минуту. Вещи сданы, мы идем к контролю, и перед выходом в накопитель, где собираются пассажиры, Иосиф говорит:

— Что, Андрей Яковлевич, в рабство возвращаетесь?

Я сказал «Да» — время было горбачевское, и я себя свободным не чувствовал.

Иосиф оказался за стеклом, несколько повыше, стоял, курил, ждал, смотрел на меня, я смотрел на него, он стоял, смотрел на меня интенсивно, и я подумал, что он здесь физически, а мыслями уже где-то.

Больше в Америке я не был. Хотел Иосифу что-то сказать, прибегал к почте — как и раньше. Только узнав о его женитьбе и потом о рождении дочери, на радостях звонил. Иосиф позванивал, разговоры его начинались так, как будто продолжались со вчерашнего дня — о его путешествиях, передвижениях, самочувствии, кто что читает и т. д.

С днем рожденья он почему-то поздравлял меня на день позже, в годовщину своего отъезда.

В 1994, прочитав в «Новом мире» статью о группе Лени Черткова, посмеиваясь и с маленьким вызовом:

— А у Лени стихи лучше всех.

(Я отлично помнил, как в московском метро он сказал: «Красовицкому я многим обязан».)

Не помню, в каком году он несомненно огорчился, что я по-прежнему постоянно подчитываю Пастернака.

В августе 1995:

— Я тут о Фросте сочиняю, хочу все поставить на места. Поглядите, на каком издании у вас печать какого концлагеря.

В декабре 1995 бравурно и почти жалобно:

— Трудно стало одолеть расстояние этак с длину фасада...

1996

ИЗГНАНИЕ БЕСОВ

Рассказики

вперемешку

со стихами

ДЕНЬГИ

Мы жили дружной коммуной в боковой комнатушке Юсуповского дворца и занимались социологией.

Человечество бесилось с жиру. Каждый год сносилось и отстраивалось заново по пол-Ленинграда — по одной той причине, по какой дамы меняют наряды.

Несколько лет назад мы были свидетелями полного отмирания бумажных денег. Бригада художников Гознака во главе с Ю. Васильевым лихорадочно печатала кредитки — то рембрандтовски строгие, то дырявые, как кружева, то ни на что не похожие сюрреалистические и абстрактные купюры. Все было напрасно: никто их не брал.

С темпами, свойственными веку, вышла из обращения и жалкая нынешняя мелочь. Ее заменили прекрасные тяжелые старинные рубли. Позапрошлой осенью вошла в моду антика, что было пресечено внутренними войсками: при современной технике Грецию и Рим чеканили в любой подворотне.

И в один прекрасный день Витька Мохов по прозвищу Карл Маркс собрал нас всех и неожиданно спросил:

— Что, парни, может существовать общество без денежного обращения?

— Нет! — хором ответили мы, и эхо гулко прокатилось по нашим пустым желудкам.

— Так вот, тенденции развития неизбежно приведут к тому, что в обращении в качестве последнего средства останется однаединственная монета-уникум. Однако, не располагая достаточной статистикой, я не могу сказать, какая именно...

Витькиным словам было суждено сбыться через неделю. Это был латунный рубль, который партизан Ковпак сделал сам для себя.

Легко представить себе, с какой скоростью он переходил из рук в руки, обслуживая трехсотмиллионное население. Все были довольны, а рубль, истираясь, буквально таял на глазах.

Общество стояло на грани катастрофы...

1956

БРЕВНО

Одержав верх над руситами и муслимами, якутское большинство ЦК поставило посреди Красной площади для народного поклонения бревно, которое на всероссийском субботнике нес Владимир Ильич.

Молодожены приносили к бревну цветы, пионеры давали ему торжественное обещание, перед бревном принимали в партию и комсомол. С утра до ночи вокруг него толпились люди. Многие плакали, многие становились на колени и целовали потемневшую грубую древесину.

Однако в жизни все идет своим чередом. На ноябрьском параде старший лейтенант Бимухамметов танком сшиб и разнес в щепки ленинское бревно. Произошло это по чисто русскому разгильдяйству.

И все же ЦК приказал расстрелять:

самого Бимухамметова,

военнослужащих части, в которой он служил,

бронетанковую академию имени Горького

и ответственных руководителей генерального штаба и министерства обороны — как не оправдавших доверия.

Священные щепки инвентаризовали и передали на вечное хранение ЦК союзных и автономных республик, обкомам, музеям Ленина, Мавзолею Ленина и его филиалам.

1982

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ СТРАНЫ

С целью расширения и углубления социалистических преобразований упорядочить наименования исторических центров страны, в связи с чем с 7 ноября с.г.

столице нашей родины городу Москве как историческому центру, наиболее тесно связанному с расцветом политического творчества основателя советского государства Владимира Ильича Ленина, — присваивается наименование Ленинград;

городу Ленинграду как исторически новому образованию, имеющему целью исполнение интернационалистского долга и оказание братской помощи народам Европы, а также в память

о свержении царского самодержавия — присваивается наименование Новгород;

бывшей столице Владимирского княжества, а ныне образцовому центру ленинского труда и дисциплины городу Владимиру в честь Владимира Ильича Ленина — присваивается новое наименование Владимир;

городу Киеву с целью упрочения его значения как исторического центра всех славянских народов, кроме украинских буржуазных националистов, — присваивается наименование Москва;

городу Новгороду как старейшему историческому центру Древней Руси и матери городов русских, прусских, польских, литовских, латышских, эстонских, финских, шведских, норвежских, датских, голландских и других — присваивается наименование Киев.

Председатель Президиума Верховного Совета
Секретарь Президиума Верховного Совета
Ленинград, Кремль.
7 ноября с.г.

1980

СОЛЖЕНИЦЫН

Солженицына поставили во главе ведомства по вооружению и разоружению. Ежедневно он выпускал обращения к правительствам и народам мира.

Я шел через лес в сторону Глухова и на опушке вдруг увидал поляну

и на ней:

обычные печатные обращения на стволах и —

записки, записки, записки от руки, наколотые на сухие веточки, пришпиленные булавками к пням, разложенные на траве.

Великий писатель находил время обращаться ко всем поименно:

— Виктор Николаевич, уважаемый, очень надёжусь.

— Федя, какие же собаки ненужные бывают?

— ЗИНА, НЕПУЩУ!

1980

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

В Москве 17 сентября 1995 г., днем, на Гоголевском бульваре из 22 респондентов 8 высказались за отмену Нантского эдикта, 1 против отмены, 4 не знали, о чем речь, остальные уклонились от прямого ответа.

7 ноября 1995 г., днем, на шествии и митинге анпиловцев три сотрудника ГИОМ пронесли по Тверской и затем у памятника Марксу держали на видном месте большой красный плакат: ПОЗОР ВРАГАМ НАНТСКОГО ЭДИКТА! Текст плаката не вызвал у окружающих вопросов и комментариев.

В Санкт-Петербурге 25 января 1996 г., днем, во время демонстрации работников просвещения, требовавших погашения задолженности по зарплате, три сотрудника ГИОМ пронесли от памятника Ломоносову до памятника Петру белый транспарант с черной надписью: ЕЛЬЦИН, ОТМЕНИ НАНТСКИЙ ЭДИКТ! Текст транспаранта не вызвал у окружающих вопросов и комментариев.

Указанные эксперименты дают ГИОМ Смегма-Банка ГВ основание заключить, что Нантский эдикт, то есть указ Генриха IV о смягчении гонений на гугенотов, прочно вошел в сознание различных групп населения обеих столиц РФ.

1996

КАК?

— Дедушка, здравствуй, как поживаешь?

— Прекрасно, внучек, прекрасно. Прекрасно.

— Дедушка, я тебя хотел спросить, а как при царе было?

— Что? Гм... При царе? Великолепно было, замечательно. Лучше не придумаешь.

— А как?

— Да знаешь, морозец такой, солнышко светит, день чудесный.

— Значит, хорошо. А после революции как стало?

— После революции? Хорошо стало. Красиво. Пустынно так, просторно. Каждая мелочь до слез радует. Очень хорошо.

— Что ж ты тогда в Париж уехал?

— А я не уехал! Выслали.

— Как же выслали, если все так хорошо было?

— А вот так: взяли и выслали.

— Ну ладно. А как в Париже было?

— В Париже? Как в сказке. Богатство такое, веселье. Европа. Дышишь всей грудью. Каждый день праздник.

— Как же каждый день, если немцы потом пришли! Дедушка, а при немцах как стало?

— При немцах? Хорошо стало. Красиво. Пустынно так, просторно. Каждая мелочь до слез радует. Очень хорошо.

— Что ж хорошего, если немцы тебя арестовали и убить хотели?

— Ну при чем тут немцы! Меня в Гражданскую свои четыре раза арестовывали — красные, белые, зеленые и еще какие-то. Меня даже французы один раз арестовали, правда, эти убить не хотели. И потом после репатриации я свое отсидел. На родине.

— А как тебе теперь на родине?

— И не говори! Изумительно! На родине, друг мой, всегда хорошо. Живу — не нарадуюсь!

1967

СТАРАЯ НОВАЯ МОСКВА

— Кремлевскую стену еще при Ленине построили. Против левых эсеров. И Спасскую башню тоже. Еще кино было «Кремлевские куранты». Там один все старается, чтобы они гимн Советского Союза играли. А Верховный Совет, дворцы и палаты — при Сталине. Украшательство. Архитектурные излишества.

— Церкви хоть там старинные?

— Какие старинные! Были бы старинные, их бы живо снесли. Под метлу. В Москве ни одного старого дома не осталось! Тоже при Сталине построили.

— Зачем?

— А для культа личности. Для иностранцев.

— А на Красной площади Василий Блаженный?

— Тоже при Сталине. Покрасили его, правда, при Хрущеве. При Хрущеве еще на месте арсенала Дворец съездов отгрохали. Там тогда по воскресеньям кино бесплатное было. Сталин — тот всех боялся, арсенал в Кремле устроил. А Хрущев арсенал снес, все хотел показать, что ему-то бояться нечего...

1962

ОДЕССА

Только скрылись парохода́, из моря стали тащить лестницу.

(Комментарий. Мимо Шестнадцатой станции по горизонту тянулись первый, второй, третий пароходы. Когда скрылся четвертый, полуголые стройбатовцы у камней под обрывом стали вынимать из моря — старая пристань? — довольно длинную ржавую железную лестницу.)

1979

КОШКА

Кошке захотелось говна. Она дождалась, что дверь в уборную не притворили, спрыгнула с мусорной урны и юркнула в щель. В первой длинной комнате со скользкой каменной землей ничего не было. За второй распахнутой дверью в стене кипели ключи. Над скользкой землей возвышались два огромных человеческих следа из железа с насечками, а между ними на влажном спуске в узкий провал были бумажка и завиток. Кошка брезгливо обнюхала и принялась есть — склабясь, облизываясь и роняя из пасти. Кто-то вошел в первую дверь. Кошка метнулась, влетела мордой в белые брюки, скользнула между ног и через минуту лежала под солнцем на мусорной урне и умывалась.

Одесса, 1987

ОТОВСЮДУ

Учащиеся 3-го ремесленного училища города Соликамска готовят к Шестому всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве интересный подарок — настольные часы из пластилина.

1955

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК

В один из мартовских вечеров пятнадцатилетние Зоя Семенюк и Михаил Ишко, гуляя по берегу реки Сожи, замети-

ли, что из проруби пытается выбраться человек в барашковой папахе.

Подойдя поближе, школьники узнали в утопающем свою классную руководительницу Б.Н. Фриш.

Зоя и Михаил, не раздумывая, поспешили на помощь.

Спасенная тепло поблагодарила своих воспитанников.

Школьникам вручены грамоты.

1954

СТРАННЫЙ ПОСТУПОК

Директор магазина «Изотопы» некий Ртутман пытался похитить знамена московских профтехучилищ, стоявшие в гардеробе нового здания ЦДЛ, что на улице Герцена, во время проходившей там учительской читательской конференции, причем подверг радиоактивному заражению латунный наконечник древка 613-й школы Шкирятовского района.

Задержанный не мог дать никакого объяснения своему поступку.

Старший следователь московской городской прокуратуры тов. Беглов, учитывая отличную производственную характеристику и профессиональное заболевание Ртутмана, а также невозможность сбыта красных знамен, высказал предположение, что задержанный потянулся к ним под влиянием минутной слабости.

1960

ВОРОШИЛОВ

Я спешил по аллее, окаймленной высокими кустами таволги, и чуть не столкнулся с Ворошиловым. Я не сразу сообразил, что это он, и сделал было шаг вперед, но вовремя спохватился и поздоровался. Я избегаю встреч с официальными лицами, но с Ворошиловым я недавно виделся в одном доме, и не поздороваться с ним значило бы обидеть этого седого старого человека. Он протянул мне руку — небольшую, почти квадратную, с короткими пальцами и жесткую, как мозоль, — и вдруг наискосок подался ко мне и поцеловал в угол левой щеки, туда, откуда начинаются губы. Я остолбенел, но через мгновение вспомнил, что на государственных церемониях

Ворошилов ежедневно жмет руки и целует людей — не то в щеку, не то в губы. И поцелуй, которым он наградил меня, был машинален и ничего не значил.

1955

ЯМА

При дорожке в еще безлиственном лесу солнце уже так пригрело землю, что я в пальто лег и оказался лицом к яме поперечником в шаг, с невысокими отвесными стенами. Яма была увлекательней, чем ясное небо с меняющимися картинами облаков. На дне по песку — один игольник, ни новой былинки, ни одного ростка. Прошлогодние листья, скрученные в трубку, исковерканные или распятые по дну и стенкам. Обязательная горелая спичка. Другая, коленом, — ломаная. Непременный обрывок газеты, уголок, так, что неясно, о чем речь — какое-то заседание. Справа пласталась по отвесу маленькая коровья лепешка, вылинявшая до бесцветности осиного гнезда. Я ковырнул ее прутиком, и она упала, легкая, словно лист, и трухлявая. Подо всем наполовину вросшая в землю и покрытая сверху сеткой земли — огромная поллитровка с полоской воды. Я потянул за ветхую отставшую этикетку. Блекло: «Портвейн. Можайский завод управления...» — и наверху пять четких коньячных звездочек. И рядом свежий, почти не затекший листок из школьной тетради, судя по почерку, первого или второго класса. Не знаю, пишут ли в первом или втором классе диктант, но на меня глядело: «Диктант. Мы учимся писать (без ударения. — *Авт.*). Корова дает молоко. Юра Гагарин отличник...» А напротив меня в углублении стоял толстый, как будто полный, казенный пакет грубой бумаги с печатным бледно-кирпичным текстом: «Рис шлифованный...» и т.д.

— Андрей Яковлевич! Доброе утро. Чем это вы занимаетесь?

Я встал, сделал улыбку, повернулся и отряхнул перёд пальто.

1988

...чем не является, при том, что томность издания отрицательно отражается на последующих контингентах.

Так, из читателей «Войны и мира» I том прочитал 61 проц., II том* — 48 проц., III том — 41 проц., IV том — 39 проц. Обратим внимание на симптоматический разрыв (13 проц.) между I и II томами, демонстрирующий психологический барьер томности; равно как ничтожную разницу в показателях (2 проц.) III и IV томов. Видимо, в последнем случае далеко зашедший читатель решается проделать путь до финиша.

Но как быть с детерминантом 1, с 39 проц. читателей, не дочитавших до конца I том упомянутого издания? Неужели вина за это ложится только на них? Тем более, что в обследованной группе 47 проц. составляют лица с незаконченным и законченным высшим образованием, в том числе несколько носителей ученых степеней? По какому же пра пра пра пра пр

1977

АМЕРИКАНСКИЙ ЛИФТ

По рассеянности он нажал кнопку пятнадцатого, несуществующего этажа. Получив мощное ускорение, лифт с визгом устремился ввысь и, пробив перекрытие над последним, восьмым, этажом, оказался в бескрайней разреженной синеве. Звезды молча смотрели вниз. И только редкие прохожие могли видеть, как над крышей недавно возведенного дома взвилась прямоугольная кабина лифта, за решетчатой дверью которой металась зыбкая тень человека.

1954

НА МОТИВ «БАЯДЕРКИ»

Жизнь на курортах,
Легкий и красивый труд.
Он был фотограф
Из артели «Изумруд».

---

* Здесь и ниже — данные как по томам, прочитанным изолированно, так и вкупе с предшествующими (*Примеч. ред.*).

Снимал он в Хосте
И в Сухуме снимал,
К знакомым в гости
Не хаживал.

Копил копейку,
Капиталы копил.
На пароходе-Победе
В Америку уплыл.

Где ты, фотограф,
Позабывший Кавказ?
А он в Нью-Йорке
Слушает джаз.

1960?

ГОСТЕПРИИМНАЯ БАЛТИКА

К курортному сезону в Паланге готовятся с осени. В беседе с нашим корреспондентом председатель Палангского горсовета тов. Ш. Микунис рассказал:

— Следующее лето будет жарким — 129 солнечных дней за период с первого июня по тридцать первое августа. Эту и другие точные цифры мы получили на новой советской электронно-вычислительной машине «Кама». Мы постараемся достойно принять очень дорогих гостей. Их будет 106 472 человека. По одному месяцу проведут на курорте 76 201 человек, по два —28 830. По три месяца будут гостить у нас 1281 человек. Интересно отметить, что из этих 1281 человека —1280 московские пенсионеры. За тот же период утонут в море 147 человек, в том числе мужчин 32, женщин 19, детей и стариков 96. По национальному составу утонувшие распределятся следующим образом: на первом месте русские (42 человека), на втором евреи (41 человек), на третьем латыши (29 человек). Советуем соблюдать особую осторожность нашим гостям с Кавказа: из 32 азербайджанцев навеки останутся в волнах 27. Зато литовцам бояться особенно нечего — на их долю приходится всего одна утопленница, семилетняя девочка с дефектом речи. Политический облик утопленников будет таков: членов КПСС — 80, комсомольцев — 2, беспартийных — 57,

агентов иностранной державы — 1. По понятным причинам имена утонувших заранее опубликованы не будут.

1967

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

Один шаг — и вы в мире увлекательной повседневности. К порогу зала коваными гвоздями прибиты калоши с монограммами, указывающие на начало экспозиции. Ее открывает старенький скромный половичок на стройном бронзовом постаменте. Тысячи ног оставили на половичке неизгладимые следы. Теперь же к нему суровыми нитками пришит ломоть черного хлеба — символ гостеприимства. Вглядитесь — и вы различите на грубой мешковине затертые цифры 1891. Это одновременно год основания Пярну и дата первой городской выставки домоводства. Тогда новоселы представили на ней дворницкий фартук с картузом и чиненый невод. А сейчас в центре зала — огородное пугало, одетое в бостоновый национальный костюм со своеобразной вышивкой. Вокруг него — щедрые дары домохозяек и домоводов. Семья Переконд выставила отварную капусту, кислые яблоки и маринованный картофель. Народный умелец Тульяк демонстрирует свое искусство — съедобные лапти из стеблей вяленого ревеня. Непременный участник выставок с 1908 года пенсионер Корм, как всегда, предлагает свое любимое лакомство — засахаренных майских жуков. Знатная санитарка порттехучилища Ая Ыя в этом сезоне показывает мозаическую миниатюру — впечатляющий портрет Бруно Лукка, набранный ею из стриженых ногтей учащихся. С каждым шагом перед вами открываются новые чудеса изобилия, трудолюбия и таланта. Завершает экспозицию оригинальная перекличка с выставкой 1891 года — дворницкий фартук из кожзаменителя, таллинка с надписью «Пярну» и многоцветная рыбацкая сеть, сплетенная из хлорвинилового провода. О перспективах развития пярнусцы скромно умалчивают — в эстонском языке пока нет будущего времени, но мы знаем: ему быть!

1971

ЭСТОНСКАЯ СКАЗКА

Двадцать лет Тыну Выйт искал за морем страну Венемаа, не нашел и отправился восвояси. Сошел на берег в Рийе, случаем добрался до Салки, от Салки до Валки рукой подать, а Валка уже Эстляндия. Шагает Выйт по родной земле и всему радуется — и как топь под ногами чавкает, и как сланцы вокруг приветно горят. В отцовской Херне даже домой не зашел — поспешил к Вее. Только с крыльца чужой человек на него накричал:

— Кутта, туррак, уппиррайся фон, каф-каф-каф!

Оглянулся Тыну — над ним злой Уус смеется. Пошел в корчму. Там Уудис, Арро и Аарон ылу ему поднесли, новости рассказали. Не дождалась его Вее, за чужого вышла тому два года, а зовут его Кури Коэр. Дурной человек, на всех лает:

— Уппиррайтесь, турракки, каф-каф-каф!

А отец Тыну, Вана Выйт, в лесу живет, завидит людей, не слушает, сам мудрые мудрости всем говорит. А Пыдер и Хоммик мызы соединили, колхоз «Сельтсимеес» устроили. Карьюмарью на стенку повесили, три года не сеют.

Не успел Тыну темного ылу напиться, как дверь корчмы настежь, в двери двое тощих-драных, а, видать, в теле были и к хорошей одежде приучены. Говорят всем тощие-драные, что Пыдер с Хоммиком Айсу похитили, ломать грозят, если все в их колхоз не вступят. А сзади стоит злой Уус, усмехается.

Пошли миром к Пыдеру с Хоммиком, а те стоят на пустых полях и бранятся:

— Сирп я васар! Чтоб вам всем сирп я васар!

Эне речь им сказал, Бене продолжил, Раас закончил. Не слушают Пыдер с Хоммиком, свое твердят:

— Вступайте в колхоз, сирп я васар, не то Айсу...

— Не надо,— просит их Нээ Убий.

— Надо,— уверяют злодеи.

Тут Хыбе, Ыхту и Йеху в лес позвали, мудрость старого Выйта послушать. Пришли, а он слова не дал сказать, сам все знает:

— Ступайте на мызу Тазуя, там на печи человек томится, он вам спасение.

А Тазуя — злого Ууса. Стоит Уус в дверях, к печи не пускает.

Тыну кричит:

— Эй ты там, на печи, добрый молодец, как тебя звать, спаси нас!

А молодец на печи отвечает:

— Звать меня Ийя Муруметс, тридцать лет и три года по мне дела не было, а раз есть, то сойду с печи — хоть кого спасу!

Не пускает его злой Уус, а тот на печи прямо в дверь выехал, Ууса задавил, спрыгнул наземь и поклонился Херне. Ыйе, Айа и Сыпрус все ему рассказали.

— Ныокогуде!— взъярился Ийя Муруметс и пошел на колхоз «Сельтсимеес». Айсу освободил, Карьюмарью в навоз втоптал, злодеев одной уздой удавил.

— Не надо бы, — усомнился вдруг Нээ Убий.

— Надо, — ответила Херне.

— Надо, — сказали тощие-драные.— Теперь надо и Кури Коэра удавить. Плохой человек, из Куйбышева, и фамилия ему Косарев. Он этих двух и подбил «Сельтсимеес» объявить. Карьюмарью им подарил.

— А сами вы кто?

— Поэты мы русские, стихи писали, пока Россия была, а теперь побираемся, да никто нас на ночь под крышу не впустит.

— Впустить! — заревел Ийя Муруметс. — Ныокогуде! — и пошел убивать Кури Коэра.

Только тот — каф-каф-каф — хитрый был, убежал уже.

1971

ПОЕДИНОК

Небесный пиджак с металлическим зудом,
Прозрачные брюки из мадаполама —
Роскошный грузин возвышался над блюдом,
И в блюдо смотрела, как в зеркало, дама.

Но вдруг монотонной струной контрабаса
Артист разбудил карталинского Будду.
Роскошный всем телом на стуле затрясся
И пальцами дробно ударил по блюду.

Смешались купаты, салаты, тартинки,
Кофейник улегся у ног, как борзая,
Литые фужеры помчались в лезгинке,
За всеми краями стола исчезая.

И сам незабвенный, любое умея,
По кругу швырнул свое круглое тело.
Кто встал на сиденье, кто вытянул шею,
А дама шикарно и явственно ела.

Прозрачные брюки скользили, сползали —
Роскошный откалывал третью программу,
Но тщетны старанья: сидевшие в зале
Глядели на властно едящую даму.

А дама терзала печенки фазаньи,
Глотала стаканами крымские вина...
Так русская дама при всем ресторане
Однажды сразила большого грузина.

1960-е

ИГРА

Во дворе дети играли в арабов и евреев. Евреи оборонялись за парковой скамейкой, арабы кричали «Бей жидов!» и шли на приступ. У евреев не было боевого клича, и они пускали в ход кулаки.

Во время военного совета у арабов к евреям попросился полиомиелитный Толик. Евреи вытащили его из коляски и положили вдоль скамейки:

— Ты будешь Суэцкий канал.

Очкарик Боря Прупис, отвергнутый обеими сторонами как жид, сидел в тени под забором и назло ребятам играл сам с собой в мирные переговоры.

1970

БЕТХОВЕН

Бетховену дали однокомнатную квартиру со встроенным роялем на первом этаже тысячеквартирного блока окнами на карл-маркс аллее. Гудки машин и хрип транзисторов не беспокоили глухого музыканта, зато летними вечерами гуляющие могли в открытое окно слушать «Лунную сонату» или что-нибудь столь же успокоительное. Во избежание недоразумений под окном прибили мемориальную доску: «Здесь живет вели-

кий немецкий композитор Людвиг Бетховен (1770—1827—1968—)».

Эксперимент удался на славу, тем более что Бетховен не нашел общего языка с гражданами ГДР и, следовательно, не мог заниматься вражеской пропагандой.

Скрытые микрофоны и телекамеры круглосуточно регистрировали отправления воскрешенного маэстро. Контейнер под унитазом давал ценнейшую пищу для размышлений. Наконец, параметры гения были установлены, и электронно-вычислительная «Кама» стала производить 1,32 симфонии, или 4,75 сюиты, или 5,20 сонаты, или 146 багателей в смену. Произведения в порядке очередности приписывались активистам и осведомителям из народной консерватории. Бетховен тем временем что-то кропал вручную, но никто не обращал на него внимания. Когда он вторично умер, Ульбрихт прислал роту штази для воздания воинских почестей.

«Нойес Дойчланд» взахлеб восхищалась новой немецкой классикой, а западные газеты нехотя писали об унылых эпигонах, которых невозможно отличить друг от друга. Арт Бухвальд даже договорился до того, что вся гедеэровская музыка сочинена компьютером, по-видимому устаревшей конструкции.

1967

СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ ЭВМ «КАМА-3»

Муж мухоловки, убившей пантеру, убитой
На потолке сапогом мимоезжего комедианта,
Возле жены возлежа, переваривал жирные звезды,
Но недопереварил их, наступленный сеттером на.

1960-е

ВОЕННАЯ МУЗЫКА

Капеллу собрали за месяц до фестиваля народной музыки. На первой же репетиции бас Фюлеп безобразно сфальшивил. После рентгена доктор Шпиц легко обнаружил, что Фюлеп тайно залечивает колит. Фронтовые товарищи с позором изгнали дезертира.

Репетиции шли. Поскольку ни один из участников не мог протянуть более восьмитакта, партитура была расписана со

скрупулезной точностью. Зияние, образовавшееся после удаления Фюлепа, было поистине катастрофическим. За двадцать дней до открытия маэстро фон Галустьян скрепя сердце пригласил на вакантное место фройляйн Магду Позен, давно добивавшуюся этой чести. Капелла роптала, ветераны говорили о фронтовом товариществе и окопном братстве, но все понимали, что поделать уже ничего нельзя.

За неделю до фестиваля доктор Шпиц посадил капеллу на усиленную зондердиету, исключив из рациона белый хлеб и введя в него консервированную болгарскую фасоль в томате.

В день открытия перед культурхалле собралась невиданная толпа. Несчастные спрашивали друг у друга, нет ли лишнего билетика, и не удостаивали друг друга ответом. Важно шествовала на концерт столица. Весело неслись Штирия и Каринтия. Чинно шагали баварцы в охотничьих шляпах с перышком. Соря деньгами, двигались американцы. Рассказывают, что на концерт без билета прошел один рисковый советский турист, пожертвовавший всей своей скудной валютой на проезд от Вены и обратно. Словом, вся Австрия с соседями и гостями была в этот вечер в Линце. И это несмотря на то, что поблизости в Граце для отвлечения публики гастролировал хор Александрова. И никто не обращал внимания на нескольких мрачных немолодых субъектов, обреченно стоявших в углу с плакатами: «Дружный бойкот реваншистскому сборищу!», «Мир победит войну!» и «Янки, прочь из Вьетнама!».

Как шел концерт — неважно. Все ждали заключительного номера. И наконец вислоухий детина, позвякивая голосовыми связками, как связкой ключей, зычно возвестил:

— Музыка двух мировых войн! Выступает объединенная австро-германская фурцкапелле под управлением Зигфрида фон Галустьяна!

Занавес пополз вверх, и восторженные зрители, допущенные не ближе десятого ряда партера, увидели фронтовых товарищей, которые возлежали на черных шезлонгах без сидений. На фраках поблескивали ордена и медали. На груди дирижера лоснился серебряный веночек за пятьдесят танковых атак.

— Зиг хайль! — крикнул кто-то из ложи.

— Баба! — охнула галерка, увидав элегантную Магду Позен.

— Марш Радецкого! — выкрикнул вислоухий детина.

Дирижер поднял палочку, капелла натужилась. И вдруг дробь невидимого барабана рассыпалась в напряженной тишине. Звуки военных флейт и труб заметались по сцене. Бас Магды Позен и фагот одноногого ландштурмиста зычно обобщали гармонию. То тут, то там глухо проезжал контрабас...

— Венн вир марширен! — объявил детина, и тут зал не выдержал. Звуки песни, которая была песней молодости большинства присутствующих, воскресила в памяти веселые и отчаянные годы, когда они с шутками шли по Варшаве, Парижу, Афинам, Риму, когда блеск легких подвигов затмевал все на свете. Пели тирольцы и баварцы, пела Штирия, Каринтия и Северный Рейн-Вестфалия. Подпевали ничего не подозревавшие американцы. Подпевал даже рисковый советский турист — тем более что песня напоминала ему не то Бланте-ра, не то Мокроусова...

Стоит ли говорить о дружном возмущении газет, о дипломатических нотах, клеймивших реваншистскую вылазку. Это и правда была реваншистская вылазка. Но это также событие и, как всякое событие, заслуживает благосклонного внимания художественной литературы.

1966

ПРЕКРАСНАЯ ФРАНЦИЯ

Ясновидящий Кукушкен не советовал генералу Ауйе лететь на Мартинику.

И вот теперь Кукушкен стоял на панихиде в Доме Инвалидов и с огорчением видел, что в урну якобы с прахом разбившегося генерала чья-то бесчувственная рука натрусила горелой обивки от самолетного кресла.

Сопровождая выспренние слова дидактическими телодвижениями, президент Де Голль произносил длинную, самовлюбленную речь. Кукушкен понимал, как досадно президенту, что гибель генерала нельзя приписать происка м американцев или хотя бы англичан.

— Не пущу их в Общий рынок, — думал Де Голль. — Пусть себе хуже сделаю, а не пущу!

— А ведь и правда хуже сделает, — понял Кукушкен. — Если только не помрет вовремя. — Кукушкен привычно сосредоточился. — Съедят его евреи. — Кукушкену стало неловко от неуместного профессионализма, и он уставился в пол.

Плита, на которой он стоял, была стесана снизу на дюйм. На стесанной поверхности ее когда-то было выбито: «Здесь гниет зловонная туша контессы Де Ноай, любовницы последнего Капета. Прохожий, плюнь на эту могилу. Патриоты XI аррондисмана».

Кукушкен горестно вздохнул и под косыми взглядами присутствующих протиснулся на другое место. Теперь под ним не было никакой надписи, зато справа и чуть впереди он увидел сквозь сияющие новые сапоги сбитые в кровь ноги советского военного атташе. Лицо атташе изображало неподдельное страдание.

— Чтоб вы все разбились! — прочитал Кукушкен мысли представителя Великобритании. Зато американский атташе был светел лицом и чуть не радостен.

— Вот славный парень был! — думал американец про усопшего. — Как мы с ним здорово пили! Умеют это французы, жаль только, что на такую дрянную фирму работал!

Кукушкен повернулся и стал пробираться к выходу. Стоявший в почетном карауле за урной кофейный господин с Мартиники смотрел на уходящего с ненавистью. Кукушкен спиной чувствовал, что кофейный господин думает:

— Чорт бы тебя побрал! В кои веки раз помянут Мартинику, так ты нос воротишь! Метрополия...

1962

ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ

Жена, гони мне пять рублей
Во имя мира на земле,
Во имя мира на земле
Пошлю их Жолио-Кювье.

Пусть он и Падло Пикасой
Горючей моются слезой,
Во имя мира на земле
Горючей моются слезой.

И скажет Падло: «В дальний стран
Живет Иванович Иван,

Во имя мира на земле
Пренебрегает свой карман».

И скажет Жолио-Кювье:
«Мы пять рублей возьмем себе,
Во имя мира на земле
Мы пять рублей возьмем себе».

Жена дает мне четвертной:
Пусть выпьет Падло Пикасой,
Во имя мира на земле
Пусть выпьет Жолио-Кювье.

1960

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ МОНОЛОГ

Лавры, лавры тебе, Каррера, освободитель Гватемалы.

Лавры, дважды лавры тебе, Артигас, освободитель Восточного Уругвая.

Лавры, трижды лавры тебе, О'Хиггинс, освободитель Чили.

Лавры, четырежды лавры тебе, Сан-Мартин, освободитель Аргентины.

Лавры, пять раз тебе лавры, Идальго, скромнейший провозгласитель свободы Мексики.

Лавры, шесть раз тебе лавры, Дуарте, освободитель от негров, творец Доминиканской республики.

Лавры, семь раз лавры тебе, божественный Боливар, освободитель семи республик.

Но я скажу лишь одно слово: лавры, стократно лавры тебе, наш возлюбленный Сукре, освободитель родины.

Я любуюсь — не я, почему я один? — мы все любуемся твоим благородным индейским профилем.

Мы, коренные жители континента, любуемся твоей — своей — красотой. Твоей — своей — силой. Твоим — своим — мужеством. Твоим — своим — гением.

Высокие духом, как ты, рождаются только в горах — в Андах, в Альпах.

Мне сказали, что в Альпах был герой Вильгельм Телль, освободитель Швейцарии. Думаю, ты превзошел Телля. Ибо Швейцария — маленькая страна на краю Европы. А нам,

сынам Сукре, Господь и природа дали место в самой середине земли.

Мне сказали, мне было неловко слушать, что срединной страной китайцы считают Китай, прилепившийся к тесным желтым морям.

Мне было стыдно слушать эти слова. Ибо посередине земли — мы. Середина земли в каждом звуке нашего наименования. И мы глядим в океан, в распахнутый мир.

В нашем гербе гора, океан, пароход. Символы высоты, бескрайности и всемирной отзывчивости. Мы думаем обо всем человечестве и говорим всему человечеству.

Скажите — вы, нет, лучше вы, нет, лучше вы все скажите, кто в мире не слышал наш голос? Кто в мире не слышал «Голос Анд»? Кто не слышал слово спасения?

Колумбия? Восточный Уругвай? Янки?

Даже русские в мрачной России, где снег не только на горных вершинах, но и на полях и на пастбищах, — даже русские слушают «Голос Анд».

Ради русских к нам с края света, из дальней Канады приезжает несравненный Яков Соленко, и русские, затаив дыхание, слушают его пение, слушают «Голос Анд», слушают Голос Господа.

Ибо Богу было угодно, чтобы наш голос стал Его Голосом.

Голос Господа, «Голос Анд» всесилен.

Общеизвестно, что третья мировая война давно назрела. Поджигатели готовы развязать ее даже сию минуту. Но смотрите — смотрите — смотрите — ее нет! Ее нет уже сто — что я сказал? — сто пятьдесят лет! В мире мир. И причиной тому — я, вы, мы, наш благодатный голос. Смолкни на миг «Голос Анд», и на юг с пением «Таракана» ринутся орды захватчиков. Только подумать, вместо геральдического животного — у этих людей геральдическое насекомое! Но голос не умолкает, и реваншисты бессильно в своем кругу поют мерзкого «Таракана», отвратительную «Кукарачу». Стоя по правую руку Господа, мы сознаем свою силу и с презрением позволяем им тайно мечтать о Великой Мексике в границах империи Итурбиду. Наш голос вечно хранит мир в Западном полушарии и во всем мире.

Лавры, тысячекратно лавры мне, ему, ему, и ему, и ему, и всем сынам Сукре, палабра.

Я счастлив, что я эквадорец.

1984

ТОВАРИЩ ФУЛЬХЕНСИО

Если в приверженцах какого-либо учения видеть не фанатиков, ослепленных целью, но обычных людей, более всего поглощенных повседневными заботами и увлечениями, то придется признать, что Куба при диктатуре Фульхенсио Батисты была настоящим раем для коммунистов. Они получали деньги и указания из Кремля, деньги безбоязненно тратили на свои личные надобности, указания исполняли про форма, щеголяя революционными фразами и послушно голосуя за благодетеля на международных форумах, но к власти не рвались, предпочитая ей тихое процветание под сенью необременительного режима. Видя это, Батиста не только не притеснял их, но даже делился с ними некоторыми внешними атрибутами власти, возвышая членов коммунистической партии до министерского ранга.

Москва радовалась успехам кубинских собратьев, а те так привыкли благословлять Батисту, что на XIX съезде ВКП(б), намереваясь провозгласить здравицу товарищу Сталину, Сьенфуэгос невольно воскликнул:

— Да здравствует товарищ Фульхенсио!

За исключением пишущего эти строки, вряд ли кто из присутствующих заметил его оплошность, ибо, как известно, Сьенфуэгос был косноязычен, а под влиянием общего энтузиазма как испаноязычные гости, так и советские переводчики в сознании соединили благое пожелание с верным его воплощением.

Однако никакой статус-кво не бывает вечен, и с течением времени на Кубе Батиста всем опротивел. В отличие от своего доминиканского аналога Леонида Трухильо, продержавшегося у кормила поистине мафусаилов век, Батиста не обладал ни львиной свирепостью, ни счастливой наружностью, ни изящными манерами. Если доминиканцу не стоило труда переименовать столицу из Санто-Доминго в Трухильевск, то Гавана ни при каких обстоятельствах не превратилась бы в Сьюдад-Батиста, ибо приземистый, толстобокий Фульхенсио, справедливо опасаясь насмешек, не посмел даже воздвигнуть себе конную статую, которую уже изготовил для него известный венгерский скульптор Кишфалуди-Штробл.

Радость Москвы, революционные лозунги и мнимые успехи кубинских коммунистов вкупе с одряхлением диктатора не на шутку встревожили Вашингтон, и поэтому, когда Кас-

тро поднял мятеж, Соединенные Штаты поддержали его как движение, направленное против возможной и нежелательной революции, и тем самым вместо мнимой опасности приобрели реальную, ибо для успеха своего предприятия Кастро вынужден был объявить себя истинным марксистом, то есть лицом более радикальных воззрений, чем весь кубинский истеблишмент от диктатора до коммунистов. Кремль увидел в кастроатах, не признававших его авторитета и откровенно занимавшихся вымогательством, силу, ослабляющую заокеанского соперника, и предоставил им щедрую помощь, которая все более и более отдаляла Кубу от американского материка.

Мог ли что-нибудь предпринять Вашингтон, когда Соединенные Штаты еще переживали те блаженные времена, в которые слава бессмертных братьев Маркс намного превосходила известность их темного лондонского однофамильца? И могли ли американские государственные деятели — а среди них было немало людей трезвых и дальновидных — могли ли они, воспитанные в понятиях джентльменской добропорядочности, отказаться от данного слова и прийти на помощь к расползавшемуся по швам Батисте и тем более — обреченным на физическое уничтожение коммунистам? Читатель сам даст верный ответ на эти вопросы, особенно если учтет, что антидемократические устремления Батисты никогда не казались американцам хоть сколько-нибудь привлекательными.

Телезрители обоих полушарий помнят, как перед расстрелом Сьенфуэгос со скорбной улыбкой промолвил:

— Товарищ Фульхенсио...

1970

СОБ. ИНФ.

Вопреки распространенному мнению, Колумб не открывал Америки. К западу от Канарских островов его шхуны «Пинта», «Нинья» и «Санта Мария» попали в зону действия известной магнитной аномалии. В силу этого дальнейший путь Колумба пролегал не к Америке, а к Гренландии. Рассказы его моряков о тропических лесах следует приписать стрессовому состоянию, вызванному недостатком витамина С. Однако сообщения о голых туземцах не надо считать вымыслом: доказано, что при определенных условиях эскимосы могут

оставаться на сильном морозе без одежды по пять и более часов. Известный норвежский путешественник Хер Туйердал, повторивший путь Колумба от Палоса до Гренландии на базальтовом плоту, утверждает, что открытие Америки и проникновение в Новый Свет европейских поселенцев относится к концу XVIII — началу XIX века. Он полагает также, что Соединенные Штаты могли быть основаны не ранее 70-х годов прошлого века.

1964

ТЕЛЕГА-ДЕРЕВО

Он убил его. Он убил его, как всякий русский может убить китайца. И вот его вели на казнь. Вернее, не вели, а вел безоружный конвойный китаец, все время путавший хорошо утрамбованные безлюдные улицы и переулки дачного поселка. Наконец, китаец увидел за полотном железной дороги название станции и кивнул головой.

Мимо них прошли две пожилые женщины с кошелками. Одна говорила:

— ...и написано: от десяти сорока часов до восемнадцати сорока часов...

Надо было спускаться с насыпи на полотно, и китаец сказал:

— Иди вперед.

В голосе его слышалось сочувствие. Русский пошел вперед, но китаец, плохо координировавший движения, сбегая, опередил его и первым пересек полотно, спотыкаясь ногами обо все рельсы.

— Ишь, телега-дерево, — подумал русский, — спотыкается, — и сам споткнулся правой ногой о последний рельс. Внутри его что-то оборвалось.

— Господи спаси, Господи пронеси, Господи избави, — быстро заговорил он про себя, взбираясь на противоположный скат, но душа была ленива, и молитвы не получилось.

Перед ними была поляна с тремя виселицами из телеграфных столбов. Слева на сосне виднелось облупленное объявление, на котором можно было разобрать только:

«...от 10—40 часов до 18—40 часов...»

Кругом не было ни души.

— Бежать! — мелькнуло в сознании. Но бежать не хотелось.

И вот он висел, отделенный от всех тонкой красной полоской на шее. Лицо его было гладко выбрито. На лбу чернела царапина.

1957

О БОДИСАТВАХ

Когда в назначенный час Будда преставился от объедения, дух его незамедлительно переселился в постороннего человека, который тут же утратил интерес к жизни и начал заботиться о человечестве. Покойный всю жизнь опекал ближних и дальних и по смерти не пожелал оставить излюбленного занятия. Одержимые Буддой, по-тибетски бодисатвы, сменялись со все возрастающей быстротой, ибо, по буддийским представлениям, убить бодисатву — значит причаститься его многочисленных и несомненных достоинств.

Пока на Тибете и в остальном мире было сравнительно немного людей, одного бодисатвы хватало на всех. Однако род людской множился, и самый расторопный бодисатва не мог бы справиться с возросшими обязанностями. Стало появляться по два или несколько бодисатв сразу, порой равномерно распределяясь по всей известной земле, порой сталкиваясь в одном месте.

Японская хроника одиннадцатого века повествует о таком столкновении, имевшем место в префектуре Ноги. Бодисатва-самурай рассек мечом непослушного бодисатву-гончара на две половинки. Но тот, отличаясь большей святостью, мгновенно склеился и насадил на голову самураю кувшин, который никто не мог снять.

Особенно осложнились взаимоотношения Будды и человечества в девятнадцатом веке, когда ученые ламы открыли, что кроме Индии, Китая и Японии на свете существуют также Англия и Россия с многочисленными окрестными княжествами, не заслуживающими отдельного упоминания. Непредвзятый взгляд в их историю обнаруживал великое множество бодисатв, которые на протяжении веков спасали народы от возвращения в животный и растительный мир. Так, несомненными бодисатвами были Марк Красс, Карл Маркс, Лев Толстой и негритянский актер Айра Олридж. Особенно святой

оказалась безымянная окраина России, которую попеременно опекали Тарас Бульба, философ Сковорода, кобзарь Шевченко и батьки Махно, Ковпак и Будденный. Лучшие лица в том краю доныне ласково именуются Буддками. Видимо, там же возникла и получила широкое распространение народная клятва «Бля Будду!».

Русский писатель девятнадцатого века Ф. Достоевский создал немало образов бодисатв. Так, в романе «Преступление и наказание» он вывел бодисатву-неудачника, в котором ущербное христианское начало одерживает верх над буддийским. Главный герой другого романа бодисатва Смердяков совершает страшное преступление во имя человечности.

В двадцатом веке в силу малозначительных земных обстоятельств при заметном росте народонаселения число ученых лам резко сократилось, и теперь уже не они, а буддийские интеллигенты Востока и Запада занимаются выявлением и пропагандой бодисатв своего времени. По совпадающим свидетельствам А.М. Пятигорского и Аллена Гинсберга, к числу современных бодисатв относятся Кони Зиллиакус, Ч.П. Сноу, Уолтер и Ежи Липпманы, проповедник Б. Грехем, Ж.П. Сартр и, вероятно, генеральный секретарь У Тан. Автор этих заметок видел редчайший случай супружеского союза бодисатв в лице Г. Померанца и поэтессы Серебряного века З. Миркиной. Все они в назначенный час теряли интерес к жизни и принимались опекать человечество.

Читатель! Помни, что Будда в любую минуту может вселиться в тебя или твоих ближних. Современная наука пока бессильна предотвратить эту трагедию. Сам прими меры предосторожности. Пуще всего перестань думать и говорить о буддизме, ибо Будда то, чем ты его себе представляешь, а бодисатвами могут явиться лишь те, кого ты ими сочтешь. Помни: Будда не дремлет!

1967

СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Все знают, что сиамские близнецы рождаются не только в Сиаме. Однако до сих пор бытует ложное мнение, что они бывают только мальчиками. Поэтому я хочу рассказать вам невыдуманную историю Ли Бо-я и Ли Бо-ты.

При рождении девочка, появившаяся на свет первой, неожиданно за руку и за ногу повлекла за собой маленького братца, отчего они оба тут же остались сиротами. Девочку назвали Ли Бо-ты, что означает «Утренняя луна, отразившаяся в речных камышах», мальчик же получил имя Ли Бо-я, то есть «Сто тысяч приветствий празднеству весеннего равноденствия от несчастных детей, с момента рождения...» и т.д.

Близнецы росли дружными и веселыми. Они соединялись хрящами руки и ноги, и могли складываться наподобие записной книжки, что немало способствовало им в настольных и половых играх. Однако согласие продолжалось недолго. Достигнув известной зрелости раньше братца, Ли Бо-ты стала напоминать ему о своем старшинстве и требовать повиновения. В один прекрасный день она завлекла Ли Бо-я в темный сарай, где ее ждал сосед, двадцатилетний Чан.

Возмущенный брат пытался воспротивиться гнусности, но Чан больно ударил его палкой по голове. После этого у Ли Бо-я навсегда пропала охота вмешиваться в личную жизнь сестры. Впрочем, по достижении зрелости он и сам не раз воспалялся прелестями сестры и безвозмездно пользовался ими. Чан не отличался верностью, и вскоре Ли Бо-ты вышла на панель.

Девушка с присоединенным братцем вызвала в Шанхае необычайный интерес, и круглые белые доллары дружно закапали в сумочку, которую носил за ней неразлучный Ли Бо-я. Но и он не был забыт. После нескольких атак гомосексуалисты овладели юношей. Им щекотало нервы постоянное присутствие женщины.

В отношениях близнецов настал мир. Иногда они даже принимали любовников одновременно. Фотографии этих приемов продавались на набережной по баснословным ценам. Один японский майор даже снял сцену на кинопленку и отослал домой в Осаку.

Но случилось несчастье. Летчик-голландец заразил Ли Бо-ты европейской болезнью, и ее маленький носик стал проваливаться на глазах потрясенного брата. И тогда он опоил ее бетелем и срочно созвал консилиум. Медицинские светила Срединного государства заявили, что единственным путем спасения является сепарация. Отныне Ли Бо-я держал Ли Бо-ты в состоянии постоянного делириума. Операция прошла успешно. Впервые Ли Бо-я надел нормальную мужскую трой-

ку и с легким сердцем вышел из больницы. А Ли Бо-ты выбросили на улицу. Она была больна, одинока и никому не нужна.

Так закончилась история Ли Бо-я и Ли Бо-ты.

1960

ДАР НАРОДА

I

За ужином Ху Эр изловчился добыть второй стакан чаю. За полночь он проснулся. Лишний чай распирал его. Ни о чем другом он думать не мог. Но что делать, когда уборная на производстве, а на пороге барака спит хунвейбин? Ху Эр приоткрыл глаза.

Его сосед Ху Эр извивался вокруг себя.

Сообщить, — пронеслось в голове Ху Эра, и, на миг позабыв о нужде, Ху Эр побежал к дверям докладывать хунвейбину.

Ху Эр понял, что разоблачен.

А Ху Эр, несмотря на бдительность, не попал в уборную до начала смены и недовыполнил план на четыре процента.

II

Ху Эр был непростой человек. Во время войны с Бумажным Тигром он несколько раз ходил в тыл врага и многому там научился. И когда после войны хунвейбины вылавливали всех, кто общался с врагом в бою или иным способом, Ху Эр ловко отвел им глаза и устроился на работу в городе Ъ. Однако за ревизионизм город Ъ преобразовали в народную коммуну. Ху Эр не сумел избежать общей участи. Но и тут он сумел постоять за себя. При вступительной стерилизации он отвел глаза хунвейбинам и остался нетронутым, что и привело к описанному инциденту.

III

Наступил День критики. Хунвейбин Ы встал перед портретом председателя Мао и объявил:

— Ху Эр из сто семнадцатой бригады четыре дня назад недовыполнил план на четыре процента. Разве это не вызов мудрости председателя Мао?

Коммуна подняла руки. Хунвейбин Ы вызвал Ху Эра из строя, сорвал с него номерной флажок и застрелил.

— В той же сто семнадцатой бригаде есть человек, который обманул председателя Мао, — продолжал Ы. — Это Ху Эр. — И он поманил Ху Эра к портрету.

Ху Эр сделал шаг вперед и, вдруг повернувшись, стал быстро срывать с коммунаров опознавательные флажки. Ряды смешались. Ху Эр сорвал флажок с себя. Теперь никто не мог отличить его от соседей. И каждый лишенный флажка усомнился в себе и подумал: «А, может, Ху Эр — это я?»

Хунвейбин Ы не мог застрелить их всех, потому что в его трофейном нагане осталось четыре патрона.

IV

А в это время Ху Эр бежал гаоляном к Правительственному шоссе.

Ждать пришлось недолго. Из-за поворота в клубах пыли вылетел «Ветер с востока». Над открытой кабиной висел транспарант: «Дар народа Ухани председателю Мао».

В клубах пыли Ху Эр поравнялся с кабиной. Бросок, и водитель лежал на полу, а Ху Эр отчаянно накручивал водительскую баранку. Этому он обучился во время войны с Великим Северным Соседом.

Погони не было, и Ху Эр остановил грузовик. В кузове жалобно блеяла коза. Коза лучше жены. Любить ее можно так же. Молоко у нее вкуснее. Коза не пишет доносов.

Ху Эр перенесся с неба на землю. Он приколол себе флажок убитого с иероглифами «Водитель Ху Эр». Потом он переехал Ху Эра машиной и мелом вывел на синей спине: «Дезертир из коммуны Ху Эр. Хотел обмануть председателя Мао. Убит мной в опасном бою. Водитель Ху Эр».

V

Громыхая всеми болтами, «Ветер с востока» несся по одностороннему Правительственному шоссе.

Путь преградило полотнище: «Привет водителю Ху Эру, который везет дар народа Ухани председателю Мао!» Ху Эр выключил мотор, и грузовик силой инерции въехал в толпу. Кругом стояли люди в синем, как все в Ухани, но подозрительно юные. Ху Эр понял, что он в коммуне для проштрафившихся хунвейбинов.

Хунвейбин с наганом в руке любезно представился:

— Ху Эр.

— Ху Эр, — ответил Ху Эр.

— Пароль, — еще любезнее проговорил Ху Эр.

— Пароль может знать враг, — высокомерно сказал Ху Эр. — Друг познается в труде. — И он бесстрашно шагнул в толпу.

Производство было горшечное. За шестнадцать часов Ху Эр перевез на тачке и просеял ручным ситом двадцать три му речного песка. С ужасом смотрели на него опальные хунвейбины. Они знали, что завтра двадцать три му станет производственной нормой. С подъемом работал Ху Эр. Он знал, что не выполнивших норму постигнет участь доносчика Ху Эра.

VI

На дворце красовался плакат: «Козу председателю Мао!» — и Ху Эр с тоской подумал о неизбежной разлуке.

Из-под плаката вышел хунвейбин с наганом и брезгливо спросил пароль.

— Пароль — слово, — прочувствованно сказал Ху Эр. — Слово может узнать враг, — Ху Эр поднял палец. — Ты недостаточно бдителен! — в голосе Ху Эра звенела сталь. — Я скромный водитель Ху Эр. Народ Ухани доверил мне доставить дар председателю Мао. По дороге в бою я убил врага народа Ху Эра и совершил трудовой подвиг в коммуне горшечников. Пусть председатель Мао узнает весть от тебя, а я постою на страже.

Отведя глаза хунвейбину, Ху Эр отобрал у него револьвер и встал под плакатом. Хунвейбин потоптался и ушел в дворец. В кузове жалобно блеяла коза.

VII

Ничего более не дожидаясь, Ху Эр направился в сад к Беседке Дракона. Газета «Хунци» каждый день сообщала, что председатель Мао сидит в Беседке Дракона и пьет какао-хуа.

Председатель Мао сидел в Беседке Дракона и пил какао-хуа.

— Я водитель Ху Эр, — отрекомендовался Ху Эр. — Народ Ухани доверил мне привезти тебе в дар козу.

Председатель Мао радостно захлопал в ладоши.

— Водитель Ху Эр привез председателю Мао дар народа Ухани, — сообщил подоспевший хунвейбин.

Ху Эр ударил его наганом по голове.

— Мешает, — пояснил он. — Нам надо поговорить, чтобы никто не мешал.

Председатель Мао закивал головой.

— Мы поедем на лодке, — сказал Ху Эр, а когда председатель Мао стал колебаться, Ху Эр ткнул ему в спину наганом.

VIII

Ху Эр закончил рассказ о своих подвигах. Лодка была на середине Янцзы.

— А теперь плыви, — ласково сказал Ху Эр и посоветовал: — Плыви! Плыви, дорогой председатель Мао, — пропел он и приказал: — Плыви!

Увидев дуло нагана, председатель Мао неловко перелез через борт и поплыл. Ху Эр быстро погреб к противоположному берегу.

— Стой! Помогите! Тону! — кричал председатель Мао.

На крики его сбежались пятнадцать-семнадцать миллионов крестьян, работавших на окрестных полях.

— Спасать не спасать? — спрашивали они себя и топтались на месте.

К берегу подплыла лодка, в которой сидел человек с именным флажком на груди.

— Спасать-не спасать? — кричали люди.

Ху Эр вышел на берег и важно посмотрел на утопающего.

— А если он враг народа? — сказал он, и толпа рассеялась, как туман.

1955—1966

ЛЮДИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛУЦКОГО

Лошади умеют плавать,
Но — нехорошо. Недалеко.
«Глория» по-русски значит «Слава», —
Это вам запомнится легко.

Слуцкий. Лошади в океане

В Харькове на Конной площади слышался крик:

— Шлёму напечатали во второй раз! Сколько ты будешь сидеть на моей шее!

Слуцкий вытянул руку вперед и сказал:

— Ничехо, — мама, — будет — и на — нашей — улице — праздник.

В тот же день он снес на толчок любимого Брема с любимой главой о лошадях, которая начиналась так:

«Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко».

На вырученные деньги Слуцкий купил билет и поехал в Москву.

В Москве он сел в трамвай и поехал дальше. Неожиданно в вагон вошел Горький. Слуцкий растолкал всех локтями и сказал Горькому:

— Алексей — Максимович, — хотите — я — вам — билет — куплю?

Горькому это страшно понравилось, и он рассказывал всем знакомым:

— МОтёрый челОвечище этОт БОрис!

Сначала Слуцкий пошел в Малый Совнарком, потом в Большой, потом в Рабкрин, ВСНХ, ИККИ, ВУФКУ, но это его не устроило, и он записался на прием к самому главному. Однако в тот же день он встретил самого главного в коридоре и, схватив за пуговицу, сказал:

— Иосиф — Виссарионович, — я — Слуцкий.

— А-а, очэнь приятно, — сказал Сталин. — Много о вас слыщал. Будэт врэмя — заходите.

Разговору пытался помешать злобный подозрительный Ягода, но Слуцкий оттер его плечом, и Ягода затаил хамство.

Слуцкий привел к Горькому молодого поэта.

— Алексей — Максимович, — это — хений. Шлёма, читай!

— Называется «Танки»:

Танки, танки, танки, танки,
Танки, танки, танки, танки.

Всё.

— ИнтереснО, — сказал Горький. — ТОлькО все же надО бы глОзами пОсмОтреть.

Когда пошли погромы, Горький поинтересовался:

— БОрис, а вы часОм не яврей?

— Нет, — ответил Слуцкий. — И могу — документально — подтвердить — это — стихами:

Я — Борис Абрамович Слуцкий,
По национальности — русский,
По месту рожденья — москвич,
Как Ленин Владимир Ильич.

Горький вздумал болеть чахоткой. Слуцкий пробился через врачей и заявил:

— Алексей — Максимович, — не моху — допустить, — чтобы — вы — померли, — не узнав — вот это.

И он прочел ему «Лошади в океане».

— БездарнО, нО самобытнО, — заключил Горький и спросил: — КтО этО?

— Это — Самойлов! — злобно сказал Слуцкий.

Горький философствовал:

— В удивительнОе время мы живем, БОрис. Сейчас каждая кухарка рОман пишет. ЧтО пишет ваша кухарка?

— У — меня — нет — кухарки. Я — на — медные — деньхи — учился.

— Чему ж вы учились? — изумился Горький.

— Стихам. И еще — на скрипке.

— ВОт и ОтличнО, — обрадовался Горький. — ГОстей пОзОвем — сыграете. ЯгОду приглОсим — у негО слух — тО-Онкий.

Поводя усами и обливаясь потом, Слуцкий играл на Шлёминой скрипке «Раскинулось море широко».

Плакал Горький. Плакал Сталин. Плакал злобный подозрительный Ягода.

Горький позвонил Слуцкому:

— БОрис, дОвайте в бОрдельчик сходим — превОсхОднейшая вещь! ПО семишнику скинемся, ЯгОду с сОбОй прихватим — для безОпаснОсти.

Сказано — сделано.

Приходят — а там Блок.

В отличие от злобного подозрительного Ягоды, добрый проницательный Блок сразу полюбил Слуцкого и, умирая, написал ему стихи:

На обеде у Семена Исааковича Буденного Слуцкий поковырял вилкой в жидком супе и, вытащив кусок мяса, сказал:

— Это — как — лошади — в — океане.

Буденный побагровел и, двинув стулом, вышел из-за стола.

Когда Слуцкий рассказал о происшествии Горькому, Горький страшно перепугался:

— ДО Он зО тОкие слОва писателя Бабеля шашками пОрубал!

Слуцкий похудел, потом растолстел, потом простудился и чуть не умер. Но не умер, а обобщил свои переживания в художественной форме:

Человеку — свойственно — худеть,
Человеку — свойственно — толстеть,
Коли — простудился — заболеть,
И — поскольку — нужно — умереть.

Горький восхитился:

— ЗдОрОвО этО вы Семашку прОдёрнули!

На съезде писателей Горький произносил историческую речь:

— Прескверную гОрчицу прОизвОдит гОрькОвский сОвнОрхОз. В наше время в Нижнем гОрчица была куда смОчнее. ОсОбеннО славилась наша, кОширинская гОрчица — ее каждый извОзчик знал. А эта гОрчица, тОварищи, извините меня великОдушно за фрОнцузскОе слово, пОхожа на кОнглОмерат гОвна и мОчи.

Под гром аплодисментов на трибуне вырос Слуцкий:

— Пальцы — очень — легко — сломать,
Ежели — по — одному — подставлять.
Но — ежели — пальцы — сжать — в кулак,
Не сломает — их — ни — один — враг.

Гром аплодисментов покрыл и это выступление, и только с галерки Шлёма Самойлов тонко крикнул:

— Долой Слуцкого!

— Не выйдет! — отчеканил Слуцкий, и столько власти было в его голосе, что тут же двое штатских вывели Шлёму из зала — и больше никто никогда нигде его не видал.

Когда Слуцкого кооптировали в ЦК, Горький позвонил ему:

— ДОрОгОй вы мОй, изумительный челОвек, сделайте челОвеческОе ОдОлжение — придите завтра на тОржествО — гОстем будете — младшенькую выдОю!

— Не — приду! — отрубил Слуцкий. — Завтра — у — Тухачевского — пулька.

На заседании ЦК Сталин попросил Слуцкого:

— Будьтэ добры, если вам только нэ трудно, пэрэдайтэ мнэ спички.

Слуцкий встал, обвел взором присутствующих и громко сказал:

— Иосиф — Виссарионович, — вы же — бросили — курить!

Сталин пожевал губами и сказал, оправдываясь:

— Да мнэ только в зубах пакавирать...

Слуцкий долго рылся в коробке и протянул Сталину горелую спичку.

На другом заседании ЦК Софронов обознался и спросил:

— Кто этот рыжий еврей?

— Это же Слуцкий! — хором упрекнули его присутствующие.

— Нэ люблю я его, — тихо сказал Сталин в сторону.

Желая разобраться в собственных чувствах, Сталин попросил Ягоду:

— Будьтэ добры, если это только вам нэ составит труда, принэсите мнэ личное дэло Слуцкого, если это только возможно.

Обрадованный Ягода покатил на Лубянку. Он вернулся с подозрительно тощей папкой. Сталин раскрыл ее — в ней был всего один лист:

«Когда умер Блок, Слуцкий сказал свою первую надгробную речь.

Когда умер Некрасов, Слуцкий шагал в первых рядах траурной процессии.

Когда умер Пушкин, Слуцкий был распорядителем церемонии.

Когда умер Рылеев, Слуцкий держал веревку».

А Слуцкий тем временем начистил сапоги, покрасил усы, надел буденовку и шинель и пошел в Спасскую башню. Часовые сделали ему на караул.

А когда туда пошел Сталин, часовые его не пустили и сказали:

— Уже прошел.

Горький решил догнать и перегнать Слуцкого и тоже написал стихи. Стихи получились такие, что их лучше не приводить. Однако Сталин назло их похвалил:

— Я нэ спэц, товарищи, но, по-моему, эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете.

— Эта — штука — сильнее, — чем — «Фауст» — Гете, — перебил его Слуцкий и сунул ему под нос кулак.

На этот раз Сталин так обиделся, что решил устроить тридцать седьмой год. Для этого он собрал у себя на квартире конспиративное заседание ЦК.

— Пасавэтуйтэ, товарищи, что дэлать со Слуцким — ума нэ приложу. То одно викинэт, то другое, то пятое, то дэсятое. И как сам нэ панимаэт — культурный чэлавэк! Скажи ты, Каганович!

— Я не имею понятия, — Каганович развел руками.

— Скажи ты, Молотов!

— Нет, — сказал Молотов.

— А, ат тэбя другого слова нэ услыщищь. Скажи ты, Софронов!

Софронов с трудом привстал и выпалил:

— Перевести из членов в кандидаты!

— А вот это ти ему сам скажи, — произнес Сталин, и Софронов упал замертво. — Скажи ти, Ягода!

— Расстреляць! — сказал Ягода.

— Это нэ мэтод! — возмутился Сталин. — Нэльзя всэх пад адну грэбенку. Когда Слуцкий на скрипке играет, ты плачэщь, а тут — расстрэлять. Нэт, это нэ мэтод. Скажи ты, Клим!

— Мобилизовать в РККА, в Первую Конную к Семену Исааковичу — из него там живо вся дурь выйдет.

— Да ты что! — напустился на него Буденный. — Ты что, не видел, какой у него глаз? Да он у меня зараз всех коней перепортит!

— А все-таки Слуцкий — враг народа, — не унимался Ягода.

— Я — друг — народа, — сказал Слуцкий, выходя из стены.

Сталина доставили в Боткинскую в бессознательном состоянии.

1956—1976

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(с кавказским акцентом)

Нас спрашивают, в чем истинный смысл постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Люди понимают, что ЦК ВКП(б) не забьет тревогу из-за двух отстающих журналов.

Отвечаю прямо: постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» направлено против украинских буржуазных националистов.

Не секрет, что на Западной Украине имеют место бандитские налеты на советские и партийные учреждения. Во Львове среди белого дня из-за угла убивают наших товарищей.

Мы задали себе вопрос: какая идейная поддержка обеспечивает жизнеспособность националистических банд?

Из Львова нам сообщили, что в местной писательской организации (ответственные Ярослав Галан, Гнедюк) сложилась ненормальная обстановка. Гнедюк обратил внимание соответствующих органов на провокационную деятельность Галана.

Пробравшись в местную, республиканскую, всесоюзную печать, Галан опубликовал сотни статей. Под видом борьбы с украинским буржуазным национализмом в этих статьях Галан пропагандировал его цели и методы. Почитать — получается, что на Западной Украине настоящая гражданская война.

Двери советских издательств захлопнулись перед Галаном.

По материалам следствия прокуратура дает санкцию на арест Галана. И в этот же самый день Галана убивают его дружки.

Спрашивается, зачем? Замести свои следы? Или скрыть далекие связи?

Мы рассмотрели деятельность основных писательских организаций страны.

В киевской писательской организации (ответственные Корнейчук, Ванда Василевская) обстановка нормальная.

В московской организации (ответственные Фадеев, Леонид Соболев) — тоже.

В ленинградской (ответственные Александр Прокофьев, Кочетов) — ненормальная.

В ленинградской писательской организации уже несколько лет тон задает известный пошляк ЗощенкО.

Под его крылышком вылезла из нафталина и предложила советским читателям свой залежалый товар салонная поэтесса Ахматова, настоящая фамилия ГоренкО.

Я прошу минутку внимания: ЗощенкО, ГоренкО — случайное ли это совпадение?

...Не торопитесь, товарищи, у нас нет оснований утверждать, что Зощенко и Ахматова-Горенко с головы до ног в крови советских людей.

И все же...

1982—1983

РОГУЛЬКА

(Что хотел написать Зощенко)

Значит, я из таких блокадников, которых вывозят из Ленинграда во Владивосток через Северный морской путь.

Только мы вышли в открытое море, как немец сверху разбомбил наш пароходишко.

Я человек уважаемый, при рабоче-крестьянской власти вышел в водопроводчики. Можно сказать, всю свою трудовую жизнь заправляю водой.

Плавать, однако, не научился. То ли особого таланта нет, то ли потому, что нога одна.

Другую мне во время гражданской войны белые детской коляской переехали. Я праздновал пролетарский праздник и лежал поперек Кирочной. Они и переехали. У кого еще тогда детские коляски были?

Короче говоря, барахтаюсь я в Северном Ледовитом океане и вижу, что из воды рядом рогулька торчит. Я за нее схватился. Под ней вроде ведра, но больше и не тонет — как поплавок.

Отдышался, набрал воздуху, кричу:

— Помогите блокаднику!

Куда там! Которые в шлюпку набились, те от меня прямым ходом. Которые за трубу или за снасти держатся, тоже отгребают подальше.

Кричал я недолго. Часа два. В северной ледовитой воде того гляди сам станешь ледышкой.

Тут военно-спасательный катер подходит. Как все заорут:

— Эй, на катере! Не подорвись! Там какой-то шкет немецкую мину собой камуфлирует.

Камуфлет. Поглядел я на рогульку. Поглядел на катер. С него уже на меня трехдюймовку наводят. Как жахнут!

Не знаю, что меня разнесло — вражеская мина или отечественный снаряд. Нечего сказать, эвакуировали ленинградца.

1984

БЕСНОВАТЫЙ

Я священник, служитель культа, то есть культработник. Как культработнику мне и выдали рабочую карточку. Я возликовал. Во-первых, попадье облегчение — на одних доброхотных даяниях не проживешь. Как-то две недели подряд одни яйца носили. Но главное то, что гордыня моя удовлетворена. Я человек тщеславный, мне льстит, что рабочее государство выдало мне рабочую карточку. Из тщеславия я чуть не сбежал из семинарии в РАУ — Рязанское артиллерийское училище. Благочинный извел на меня всю диалектику. Я ему прямо сказал, что артиллеристы нужны для защиты России, что им всюду почет, что форма у них красивая, а жизнь веселая. Благочинный сразил меня доводом, что артиллеристов в наше время пруд пруди, а молодых священнослужителей днем с огнем не сыщешь — и это потому, что артиллеристом может заделаться всякий, а священнослужитель отмечен свыше.

После семинарии прислали меня сюда. Храм Бориса и Глеба открыли в 1939 году после переписи населения, когда Сталин решил на минутку с Богом помириться. Храм стоит в лесу поодаль двух деревень, где тоже можно бы открыть храмы, но в одном из них база, а в другом — МТС. Говорят, что церковь открыли в лесу, чтобы отпугнуть молящихся волками, коих здесь великое множество. Они-то и сожрали моего предшественника, о. Федора. Правда, на этот счет есть и другая версия. Дьякон на ухо сообщил мне, что о. Федора убили

активисты колхоза «Пехотинец». Но я строго посмотрел на дьякона и сказал, что обстоятельства кончины о. Федора общеизвестны и что в наши дни разговоры не только бесполезны, но и пагубны. Поговорить-то я и сам люблю — вот сейчас — о чем я? Уклонился и забыл. В многоглаголании нет истины. Впрочем, меня здесь любят больше, чем о. Федора именно за многоглаголание. Про того говорили:

— Не успеешь божественным проникнуться, а он уже кончил.

Я произношу проповеди длинные и на тему дня. Приход — одни бабы. Я им и рассказываю про войну. Один раз рассказал о танках — о движителе, бортовой и лобовой броне, важности правильной подвески. Слушали — не шелохнулись.

И нате — приносят телефонограмму из «Пехотинца» — вызов в райком. Заутра поехал. Вхожу — в кабинете рядом со вторым секретарем — архиерей за столом.

Второй секретарь на меня матом:

— Ты что свое христианское рыло в наш советский огород суешь? Ты поп, а не агитпроп!

Архиерей от него не отстает:

— Нечестивец! Материалист! По-твоему, мы врага не верою, а металлом, железкою побиваем? Сейчас все церкви будут собирать на постройку танковой колонны имени святаго Димитрия Донского — а как ты молящимся в глаза смотреть будешь? Не Божья вера, а движитель, лобовая броня?

Донесли, значит. Все во мне ходит. Одному бы в глаз, а другого за бороду! Да с сильным не борись. Смиренно выстоял, выслушал, обещал план на Димитрия Донского превысить.

Подлецы! Чем спасибо сказать — ругаются. В довершение зла встречаю в Доме колхозника однокашника — друга Анастасия. И он меня не одобрил — да не в этом дело. Вот то самое, о чем я вам речь веду, к чему клоню — о гордыне я. Гордыня моя уязвилась не выговором и не тем, что друг Анастасий в Загорске доцент, а тем, что ему литерную карточку выдали. НР — научный работник! Тоже научный работник! С семинарской скамьи Дарвина опровергает. Пусть, говорит, Дарвин от обезьяны произошел, не спорю, не возражаю, но сам не хочу и других от этой чести спасу. Научный работник! Научный работник — это я! Книги всякие читаю, в науках стройность нахожу и соразмерность, не то, что наша амвонная казуистика! Это мне полагается карточка НР!

Сбор на танковую колонну храм Бориса и Глеба выполнил первым в области, план превысил, и еще много денег я утаил. А говорят, лобовая броня не нужна! На утаенное решил обновить храм. Выписал из Кугуева бригаду художников.

— Отреставрируйте мне росписи так, чтобы все было как новенькое! Чтобы все в соответствии с государственными требованиями к искусству. Вы лучше меня знаете, как теперь в Москве на выставках пишут. Чтобы у меня было не хуже! Валяйте!

Храм закрыли на ремонт. А тут Борис и Глеб — поспел хлеб. Уполномоченный из райсовета прикатил:

— Почему в день Бориса и Глеба Борисоглебская церковь закрыта?

Я усмехаюсь. Ничего, думаю, моя возьмет.

Когда после обновления храм открыли опять, то мальчишек из него нельзя было выгнать целую неделю. Еще бы — таких росписей ни у кого нет! Все просто, натурально, без позолоты, святые — как люди, лики у них как живые. Когда Христос крест несет, видно, как мускулы у него вздулись. Одного святого даже в гимнастерке представили. Народу на службы ходит — не протолкнешься. Только семечки стали грызть.

И тут донесли. Сам архиерей пожаловал:

— Ты, сукин сын, Божий храм опоганил! Древние одежды защитной краской замалевал. Не образа у тебя, а фотографии деревенские! К тебе миряне не молиться ходят, а семечки лузгать, как в клуб!

Больше всего мне досталось за скамейки. Приказал я в церкви скамейки во всю длину поставить: для старух и инвалидов Отечественной войны — их теперь с каждым днем прибывает. Так архиерей за эти скамейки объявил меня нехристем и разбойником.

И вот повестка — в Москву вызывают. Как бы из попов не проперли. Надо заранее на Крайний Север записаться — а то живо на фронт загремишь. Попадье что? Баб в армию не берут!

1960

ДВА ДРУГА

Самодрачка на любой патрон.

Патронов шесть: два малокалиберных, два простых и два крупнокалиберных, здоровых, как огурцы.

На кухне.

— Комар в молоке!

— Малокалиберным на расстоянии пятнадцать сантиметров — коц! Был и нету.

— Муха! На окно села...

— Обыкновенным, калибр семь целых шестьдесят две сотых — коц!

— Стекла́ посыпалось... ё! Отрываться надо!

— Отрыв Петрович!

В высоченном малиннике по забору.

— Сорока через дорогу.

— Сидит как чучело. У, падла, долго у меня не просидишь. Коц!

— Совсем не слышно.

— На то и малокалиберный. Ни хрена. Ни уда. Пусто. Пусто.

— Предохранитель на столбе!

— Коц! Фарфор, врот, не железо. Ой, провод оборвал — очка! Пусть вечерок без света посидят. Да-ачнички...

Осталось два крупнокалиберных.

— Ляга под ногами!

— А-а, курвятина... Тьфу, ты б твою мать, капсюль. Он не от этой гильзы. Я простой хлебом присобачил. Ништяк. Повело! У-у, баля, говноедина жирная. Врот дешевый, калятатя... Порох сыпется. Я его сам собирал. Пули такой не было. Я немецкую на тисочках обжал. У-у, врот! У-у...

— Прутом, прутом! Да не бей, проткни. Во. И в патрон — заместо пороха, суку рваную. Порядок. Не зря добру пропадать.

— Да, не зря... Патрона нет. И все бе́з крови.

— Иди ты — у тебя вся рука в кровянке. Вытри. Вон газета лежит. «Приезд монгольской правительственной делегации». Цеденбал всех уррот ибал. Осторожно, с той стороны она в говне. Атанда! Старшина на тарантасе выехал.

— А-а, ссукоед. Жид. Паскуда. Я у тебя как патрончика просил? Жопа. Я те покажу, слизь гимнастерочная, бегом-ло-

жись, на первый-второй рассчитайсь! По старшине крупнокалиберным бронебойным на расстоянии пятнадцать шагов — А!

1964

ПОВЕСТЬ О ВОЙНЕ

1

Утро еще не забрезжило над городком, а Костя уже стучался в окно:

— Вовка, вставай — война!

— Чего? — спросил Вовка, садясь в постели.

— Фашисты напали.

— Чего делать будем? — опять спросил Вовка.

— Ты как хочешь, а я в школу не пойду, — с чувством превосходства объявил Костя. — Я в военкомат.

— Я с тобой! — обрадованно вызвался Вовка.

2

Когда они прибежали к военкомату, там уже стояла тысячная толпа. На крыльцо вышел военком в остроконечном буденновском шлеме. В лучах занимавшейся зари на груди его слабо светился большой круглый орден. Военком протер пенсне и поднял руку:

— Товагищчи, — сказал он, — как вам известно, на нас напала фащистская Гегмания. Мы газгромим вгага на вгажьеской земле одним удагом. Поэтому никакой мобилизацьии не будет. Возвгащчайтесь к мигному тгуду!

3

Вечером того же дня из перелеска выбежала небольшая стрелковая часть. Бойцы шли на штурм Берлина. Впереди с красным знаменем наперевес бежал герой боев с белофиннами старший лейтенант Камионский. Сзади на Зееловских высотах стоял железный нарком и в гомзовский бинокль наблюдал падение вражеской столицы.

1960

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА

В школу Женя пришла заплаканной. Галстук ее был повязан криво, нашивка на рукаве еле держалась. Она ничего не ответила на расспросы товарищей по звену, пионервожатого и классной руководительницы, а на уроке естествознания отказалась отвечать про размножение амеб и получила неуд. После уроков Тимур созвал команду.

— Миша, узнай, отчего плачет дочь командира Женя Каменева, — приказал он.

Раскаявшийся в грехах молодости активист Квакин взял под козырек и, щелкнув каблуками, отправился на разведку. Первые дни наблюдения не дали ничего. Каждое утро Женя приходила в школу заплаканной и на уроках естествознания отказывалась исправлять неуд. Выяснилось, что со дня недавнего приезда отца она постоянно грубит старшим. За комнатой Каменевых было установлено круглосуточное наблюдение. К концу третьей недели бывший хулиган-рецидивист Фигура, лучше всех тимуровцев видевший в темноте, заметил, что примерно в четверть первого ночи Женя, дотоле недвижно лежавшая в постели, вдруг встрепенулась и затряслась крупной дрожью. Фигура приник к окну и увидел...

На следующее утро он докладывал Квакину:

— Дочь командира Женя Каменева плачет потому, что ее родители, проживающие с ней в одной комнате, размножаются по ночам в ее присутствии, полагая, что она спит.

Вечером того же дня Тимур, как всегда, в портупее, с красиво повязанным галстуком и четырьмя командирскими нашивками на рукаве пришел к майору Каменеву и, вызвав его в сад, сказал:

— Известно ли вам, товарищ майор, что ваша дочь плачет потому, что вы по ночам размножаетесь с Марией Федоровной? Совет команды требует, чтобы вы прекратили это безобразие.

Малаховский нарсуд противозаконно, но по-человечески объяснимо отказался принять к производству дело о зверском избиении военнослужащим Каменевым пионера Тимура Горбаня.

1965

ШКОЛЬНАЯ УБОРНАЯ

Скребется в трубах пленная река,
Свистят питоны, и щебечут птахи,
И дразнят любопытство чудака
В сосудах парафиновые бляхи.

На гвоздике измазанный диктант
Показывает правленые строки,
Качается латунный аксельбант,
Билет метро висит на водостоке.

А на стенах бушует юный пыл.
Здесь некто, отлученный от уроков,
Стихами неумелыми снабдил
Наивные портреты педагогов.

Заблудший лозунг верной швабры ждет,
Он не вспорхнет — замазано окошко.
И вот уж юбка мокрая идет,
И тянется следящая ветошка...

Как я люблю спокойное житье:
Долой штаны! Садись, мечтай, отшельник!
Здесь возмужал невозмутимый Дельвиг,
Нашептывавший Пушкину своё.

1950-е

КАРТИНА

В кабинете футболиста Старостина висит картина: Старостин, Горький и Молотов играют втроем в преферанс. За игрой с интересом следят их товарищи, ударники первой, второй и третьей сталинских пятилеток:

Кривонос, Карацупа, Стаханов, Лунин, изобретатель Дегтярев, Иван Гудов, Паша Ангелина, Мария Демченко, Куляш Байсеитова, братья Покрасс, Дунаевский, Любовь Орлова, Утесов, Ботвинник, Бюль-Бюль, Мамлакат, Лемешев, Козловский, Ставский, Фадеев, Гайдар, Джамбул, Ойстрах,

Чкалов-Байдуков-Беляков,

Громов-Юмашев-Данилин,

Раскова-Гризодубова-Осипенко,
челюскинцы и папанинцы.

Когда в глубине картины проходит Сталин, — Старостин, Горький и Молотов встают, а ударники поворачиваются спиной к зрителю.

1980

РАССКАЗ

для подрыва и дискредитации выслать в подозрительные точки за рубежом сто тысяч фотографических портретов Калинина с четкой печатной подписью: ТРОЦКИЙ.

1986

СЦЕНА ИЗ ТРАГЕДИИ «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»

Сталин, Молотов.

Сталин

Ты, Молотов, со мною не шути —
Я памятью не ослабел покуда
И иногда сижу и вспоминаю
О прошлом, давнем... Что дрожишь?

Молотов

Иосиф Виссарионч, пред партией я чист...

Сталин

Ты чист? Послушай, Молотов, не ты ли
Прислуживал в Самаре интервентам?

Молотов

Не я! Однофамилец мой!

Сталин

Допустим.
А может, дед твой не был поляко́м?

Молотов

Так что ж что дед? Ведь я-то не поляк!

Сталин

Ты не поляк, а дед поляк — логично.
Позвать сюда Лаврентия!

Лаврентий входит.

Лаврентий,
Займись им, что-то он сегодня скучный.
А я пойду — мне принесли роман
О славных битвах, выигранных мною.
Названье неплохое — «Буря».
(Уходит.)

Лаврентий

Ну,
Почто невесел, Молотов?

Молотов

Прошу вас...

Лаврентий

Уж лучше не просил бы.

Молотов

Я прошу вас...

Лаврентий

Вот бестолковый человек: заладил
Одно и то же: бу-бу-бу-бу-бу!

Молотов

Лаврентий, не забудьте, я вас старше
И возрастом, и стажем...

Лаврентий

Бу-бу-бу!
Заладил, сразу видно, что старик!

Молотов

Не смейте говорить мне это слово.
И он — вы слышите, — и он старик!

Лаврентий

Я понимаю так, что ты решил
В моем присутствии хулить того,
Кто создал все, что есть на этом свете,
Кто выстроил заводы, кто задул
Мартеновские печи, кто возвел
Величественные сооруженья,
Чтобы потомки дальние могли
Судить о нас по славным их руинам!
Стыдитесь, Молотов, вот протокол.
В нем ваши добровольные признанья
В измене, шпионаже...

Молотов

Боже мой!

Лаврентий

В религиозной пропаганде...

Молотов падает.

Что с ним?
Воды сюда, воды! Нет — валерьянки!

После доклада Хрущева

ПЛАСТИНКА

Сталин любил музыку и за работой не выключал трансляцию. Когда радиостанция имени Коминтерна объявляла перерыв до шести утра, он слушал пластинку.

Домком Моксин тоже любил музыку, ту же, что Сталин.

Сталину патефон подарили коломенские паровозостроители. Моксин купил патефон для красного уголка, сэкономив на вентиляции газоубежища. Сталину патефон заводил Шкирятов, Моксину — активистка Бараева.

В газетах Моксин искал рассказы героев-летчиков о встречах со Сталиным. Летчики спрашивали Сталина, что он любит, и он отвечал им. Три года назад это было «Эй, ухнем», потом — «Сталин — наша слава боевая», года два, как Сталин хвалил «Сулико».

Моксин купил в культтоварах два «Сулико». На ногинской пластинке его исполнял духовой оркестр НКВД (на обороте «Марш-велотур»), на апрелевской — Утесов (на обороте «Будьте здоровы»).

Моксин внимательно выслушал обе пластинки. На лагерных сборах мстибовские слухачи говорили, что Моксин лучше, чем ПУАЗО, ловит звук приближающегося бомбовоза. Моксин сквозь стены слышал разговоры жильцов и принимал меры. Он вызвал на социалистическое соревнование знатного пограничника Карацупу с собакой Индусом, обязуясь к концу пятилетки выявить шпионов, троцкистов, зиновьевцев и диверсантов не меньше, чем Карацупа с Индусом задержат нарушителей, — но ответа не получил.

Моксин внимательно выслушал обе пластинки. НКВД, как всегда, был на высоте. Утесов пел с чувством, но в словах его песни было вредительство. Сталин по сто раз за ночь выслушивал «Сулико» по-грузински. Моксин один раз выслушал «Сулико» по-русски. В строке «В поисках уйдя далеко» было зашифровано слово из трех букв, оскорблявшее песню и самого вождя.

Моксин немедля послал активистку Мараеву с донесением. Часа через два у дома остановилась машина, и сквозь решетчатое окно полуподвала, в котором размещался красный уголок, Моксин увидел кожаные командирские краги и понял, что меры приняты.

Он не ошибся: Шкирятов щадил чувства вождя, и Моксина без суда расстреляли. Активистка Сараева, как соучастница, просидела семнадцать лет.

1960

ТВ

ТВ — техволокно. Волокно не техническое, очёски для одежки трудящихся.

Приезжал еврей из торгпредства, привозил костюм, английский. Твид. Давал пощупать. Даже подпаливали. Пахнет шерстью.

На собрании ударник Извозчиков пошел разоряться:

— На ихний твид дадим по всем показателям наш твил — техволокно имени Ленина!

Из носу кровь — сделали.

Потом еще один ловкий вылез перед начальством нам на голову:

— Надо идти в ногу со временем, но еще быстрее. Догнать-перегнать! Даешь твис!

Поди возрази.

А Извозчиков, сука, вроде его обскакали, надысь обратно воздвигся:

— Смерть врагам народа! На ихний твид будет наш твид — имени товарища Дзержинского!

Хана...

1985

ПРИМЕР

1

Мужчина, похожий на бабу, но в галстуке, говорил художникам:

— Каждое произведение искусства естественно распадается на форму и содержание. Они, так сказать, образуют единицу произведения. Отсюда всякому ясно, что чем больше формы, тем меньше содержания. А вы опять за свои фокусы!..

Кто-то в задних рядах неодобрительно кашлянул.

— Да-да, товарищи, и в жизни то же самое. А искусство — это, так сказать, жизнь. Возьмите, к примеру, товарища Сталина. Какой скромный человек, а какой содержательный. Вот у кого учитесь.

— Да здравствует товарищ Сталин! — крикнул кто-то.

Все встали.

2

Дядя в велюровой шляпе говорил ученым:

— Вы вот заладили, что вы какие-то там термодинамики. А стране нужно поднять сельское хозяйство. Чего ж тут раздумывать? Нужно так нужно. Вы ученые, вот и занимайтесь той наукой, которая нужна.

Кто-то в задних рядах неодобрительно кашлянул.

— Нечего кашлять! Вот товарищ Сталин, он кто? Он поэт. А когда понял, что народу не стихи, а революция нужна, сразу бросил.

— Да здравствует товарищ Сталин! — крикнул кто-то.

Все встали.

3

Горбун в гимнастерке говорил рабочим:

— У нас восьмичасовой рабочий день, и у них восьмичасовой рабочий день. Значит, кто кого. Если мы сверхурочные работать не будем, они нас живо скрутят. Так-то, товарищи.

— Опять ночь не спать, — сказал кто-то в задних рядах.

— Не спать, товарищи. Может, последнюю ночь и осталось не спать до полной нашей победы. Вот товарищ Сталин все ночи не спит. Иду я вчера по Красной площади аж в два часа. А в Верховном Совете на верхнем этаже справа крайнее окошечко светится. Работает товарищ Сталин по ночам и не жалуется.

— А я видел, окно горит слева, — сказал кто-то.

— Вот-вот! Я и говорю. У товарища Сталина забот целая страна. То в одном кабинетике не спит, то в другом. Так-то, товарищи.

Рабочие, зевая, побрели обратно к станкам.

4

Старикашка в пенсне с полевым биноклем на груди отмахивался от наседавших мужиков:

— Да погоди ты, Изот, не бей! Убери палку! Хлеба тебе мало! Сдавать не хочешь! Плохо тебе. А в Америке небось мужик в поле работает, а за ним два негра с нагайками ходят. И во Франции то же, и в Англии. А в Германии, доподлинно известно, с девятнадцатого года хлеба не видели. С чем его едят, забыли. А вы помочь не хотите! Ой, не бейте! Погоди, Изот, не бей! Ой! Ой! Постойте, погодите! Не бейте! Да постойте же! Караул! Изот, Христом-Богом молю! Братцы, не бейте, я уж вам все скажу. Тайну открою! Секрет выдам. Погодите! Вот так. Фу!.. Циркулярчик я вчера получил. Вот вы, говорите, голодаете. А товарищ Сталин, думаете, не голодает? В циркулярчике-то тайном что говорится? У товари-

ща Сталина Иосифа Виссарионовича сынок с голоду помер. Пух, пух и помер. Трехгодоваленький. Яшей звали...

1965

18 АВГУСТА — ДЕНЬ АВИАЦИИ

1

В Союзе Советов построен крупнейший в истории моноплан. Размах его крыльев —1200 м, длина фюзеляжа (кузова) —762 м. Двенадцать пропеллеров повлекут его ввысь со скоростью до 300 км в час. Бензобак усиленной емкости даст возможность покрыть дистанцию до 800 км. Аэрогигант назван в честь самого знатного гражданина республики — МАКСИМ ГОРЬКИЙ. В выходной 18 августа вузовская профессура, инженеры, геологи, ирригаторы, агрономы и животноводы — всего в группе без малого две тысячи участников — совершат на новом корабле первую воздушную прогулку, беспосадочный перелет по маршруту Москва—Ленинград—Москва.

2

Сообщение совнаркома эсэсэр.

...18 августа в 17 час. 01 мин. корабль МАКСИМ ГОРЬКИЙ сбросил над ленинградским аэродромом парашют с пламенным приветствием ленинградскому пролетариату и согласно расписанию взял курс на Москву. В 17 час. 43 мин. с борта поступил сигнал бедствия, после чего связь с аэропланом прекратилась. На рассвете 19 августа поднятые по тревоге местные осоавиахимовские бригады обнаружили севернее Бологого обломки кораблекрушения, разбросанные на площади свыше 42 кв. км. Уцелевших, по-видимому, нет...

3

МАКСИМ ГОРЬКИЙ угробился 18 августа 1934 года. Шуму, конечно, было. Но поохать не дали. Сразу же началось — троцкисты, вредители, диверсанты. Расстрел приведен, приведен, приведен... И надо всем — герои-летчики. Сталинские соколы. Беспосадочные перелеты. Москва — Дальний Восток. По сталинскому маршруту. Остров Удд. Леваневский. Чкалов-Байдуков-Беляков. Через Северный полюс в Америку... И вдруг во всех газетах, по радио: 18 августа — день авиации. Устроил себе юбилей! И, прямо скажем, он не ошиб-

ся. За пять таких лет все забудешь. Кто не забудет? Я. У меня на МАКСИМЕ ГОРЬКОМ отец погиб. Ну, теперь я на всех углах буду орать:

—18 августа — День авиации!!!

1986

СНЫ

— Что ты видел во сне, Золотце?
— Ничего. Селедку.
— Какую селедку?
— Никакую. Простую.
— И что ты с ней делал?
— Ничего. Смотрел.
— А она что делала?
— Ничего. Лежала.
(В этот день в магазине давали селедку.)

— Что ты видел во сне, Золотце?
— Ничего. Школу.
— И что было в школе?
— Ничего. Ребята учились.
— А ты?
— А я не учился.
(В этот день Золотце исключили из школы.)

— Что ты видел во сне, Золотце?
— Ничего. Тетю Пусу.
— И что делала тетя Пуса?
— Ничего. Стояла.
— Где стояла?
— На улице.
— Почему тетя Пуса стояла на улице?
— Она не могла перейти дорогу.
(В этот день тетя Пуса попала под грузовик.)

— Что ты видел во сне, Золотце?
— Ничего. Папу.
— И что делал папа?
— Ничего. Он хотел забить гвоздик.
(В это время папа висел на гвоздике в ванной.)

— Что ты видел во сне, Золотце?
— Линеечку.
— . . . . . .
— . . . . . .
(К дому уже неслась перевозка с санитарами.)

1971

ЯКИР

С командных высот нам бросили нужный лозунг: «Даешь ГНЗ!» Он понятен всем командирам и комиссарам, за него идет в бой каждый червоноармеец. Мы провели совместные маневры трех округов и рапортуем наверх: «Есть ГНЗ!»

Граница На Замке, но враг не дремлет. На маневрах мы впервые в истории успешно применили массированное использование воздушных десантов и танковых соединений. Каков будет наш ответ, если это применение использует панская Польша или боярская Румыния? Наш ответ: сегодня на замке граница, завтра — вся республика.

Начнем с центра. Товарищ Скрыпник правильно предложил наименовать его районом сплошного ПВХО СРУ. Столица радяньской Украины будет на замке через три месяца. Для этого потребуется четыре мероприятия:

1. Переселение населения с верхних этажей домов на нижние, желательно в подвалы и полуподвалы.

2. Размещение на верхних этажах и крышах свыше четырехэтажных домов артиллерийских и пулеметных гнезд для огня по аэропланам, парашютистам и городу.

3. Сознательное приобретение всеми гражданами противогазов Зелинского—Куманта последнего образца. Обратить внимание резиновой промышленности на производство масок для дошкольников и лиц грудного возраста.

4. Ударная ликвидация в черте города всех зеленых насаждений, как мешающих быстрой дегазации.

Товарищ Косиор напомнил о ПТО СРУ. Есть, товарищ Косиор! Намечены два мероприятия:

1. По периметру внешнего обвода укрепрайона в радиусе не менее 25 километров разместить в лесистых зонах на удалении не более 25 километров друг от друга железобетонные огневые точки с вращающимися бронебашнями. В бронебашнях установить луч смерти инженера Цериовича. Обеспечивает полное уничтожение танков и живой силы на расстоянии свыше 25 километров. Близлежащие села и города в целях маскировки не эвакуировать.

2. Там же построить не менее пятидесяти насосных станций для полного заболачивания предполья на максимальную глубину.

Товарищи Чубарь и Петровский улыбаются. Верно улыбаетесь, товарищи! Часть насосных станций мы соединим с городской канализацией — пусть враг понюхает, как пахнет его смерть!

1974

КУПЛЕТЫ ТУХАЧЕВСКОГО ИЗ ОПЕРЕТТЫ «УГАР НЭПА»

Я кронштадтских матросов истребил,
Я тамбовских повстанцев истребил,
Но зато в полях сражений
Знал немало поражений,
И меня поляк проклятый разбил!

Не терплю большевицкого хамья,
Ненавижу бывших белых, как я,
Презираю все законы
И стремлюсь в Наполеоны,
Чтобы правил страной Я, Я, Я!

1990-е

РАССКАЗЫ О МАЯКОВСКОМ

Краснодеревщики не слали мебель на дом.

— Каждый четверг по дороге в Госиздат встречаю подводы с мебелью. Вчера не удержался, спросил: «Товарищ, куда это вы красное дерево возите?» — «А поэтам Мандельштамам». — «Когда ж поэтам Маяковским?» — «А этого нам не указано».

Сыры не засижены.

— Снижение цен на соль и спички. Пошел посмотреть. У частников все как было. Им наплевать. А в государственных рабкрин ждут, чистоту навели. Даже мух из витрин выгнали. Хоть сыры покупай... Так-то я брезгую.

Рубля не накопили.

Пушкино. Акулова гора.

— Лиличкин гость товарищ Арватов каждое утро бегает с горшком на совнархозную сыроварню. Мочу сдает. Жалуется, что мало платят. Один раз — при мне! — попытался сострить: «Мне и рубля не накопили почки».

Застенчиво:

— Правда, неплохо?

Вести с Кавказа.

— Знакомьтесь, товарищ Гога. В прошлом — кутаисская гимназия, ныне — частный сектор. Рассказывает, что Сидоров из нашего класса увел из имения водяные часы.

Шкловский:

— Называется клепсидра. Изобретена в Александрии во втором веке до нашей эры.

Маяковский:

— У клептомана Сидора
Народная клепсидра.

Гога:

— Тише, Володечка! Так ты человека посадишь!

Александр Сергеич, разрешите представиться!

Маяковский (*Пушкину*):

— Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до семнадцатого года?

Гога (*Маяковскому*):

— Сними шапку, Володечка. Неудобно — все-таки с Пушкиным разговариваешь.

Маяковский (*Гоге*):

— Не мешай!

Пушкин (*всем*):

— Зачем он шапкой дорожит?

Чисто вымытых сорочек.

— Привез из Парижа Лиле — «пежо», Осе — «спитфайр», себе — «студебеккер» и всякую мелочь. 365 сорочек, на год. До следующей поездки. Разве у нас чисто вымоют? Так-то мне ничего не надо.

Фининспектор о поэзии.

— Декларация... поэзия, точка... та же добыча радия, ради-я. В грамм добыча, в год труды... Грамм в год... радий, радий... РАБКРИН, РАБОВЛАДЕНИЕ, РАДЕК, РАДИЙ, да... радий: сто двадцать тысяч американских долларов за грамм... Так. Са-мо-об-ло-же-ни-е... Из расчета ста двадцати тысяч американских долларов в год...

1970-е

ОБОСНОВАНИЕ МЫСЛИ

Придет в голову мысль, скажешь ее вслух, и тебе припечатают: парадокс. А так как сейчас мне в голову приходит очередная мысль, то для страховки, чтобы не припечатывали, я дам ей подробное обоснование.

Мысль такая: Маяковский удивительно похож на Тургенева.

Начнем с внешности. И Маяковский, и Тургенев были рослые, представительные, что называется, интересные мужчины. Однако имелась у них в лице какая-то слабина, из-за которой ни того ни другого без оговорок не назовешь красивым.

И в характере у них была какая-то вялость, почти безволие. Громкость и скандалы Маяковского — всего лишь попытка слабого человека скрыть свою слабость. Безголосый Тургенев отыгрывался на письмах, где матерился с большим стервенением.

И Маяковскому и Тургеневу не везло с женщинами. Случайные романы мало их радовали. Главную часть жизни и тот, и другой состояли в браке втроем, то есть при уже сложившейся семейной паре играли в третьего лишнего. И того и другого промискуитетно терпели за знаменитое имя, за связи, просто за деньги.

Разговоры про дочь Тургенева от мещанки неприятно напоминают разговоры о сыне Маяковского от мексиканки.

Ни у Маяковского, ни у Тургенева никогда не было близких, личных, бескорыстных друзей.

И Маяковский и Тургенев начинали как поэты, и поэты хорошие. Правда, Тургенев вскоре перекочевал на прозу. А так как Маяковский прозу писать не умел, то понес такую рифмованную околесицу, что хочется изменить цитату и сказать: а что, если это проза, да и казенная?

Мировоззрение и у Маяковского, и у Тургенева было податливое. Маяковский успешно припал к советской власти и служил, как умел. Во времена Тургенева ближайшим аналогом советской власти был Добролюбов. Тургенев изо всех сил старался припасть к нему, но Добролюбов его гнал. Если бы Тургенев жил после революции, то победившая советская власть не прогнала бы его, а заставила гнать других.

Что он, вероятно, бы и проделывал, ибо, подобно Маяковскому, отличался редкостной недоброжелательностью к собратьям. Если Маяковский поносил Бальмонта и Северянина, Ахматову и Цветаеву, то Тургенев всю жизнь искал, как уесть Толстого и Достоевского или портил стихи Фету и Тютчеву.

Конечно, Тургенев не застрелился, как Маяковский. Однако если бы Маяковскому подавали руку все братья Гонкур и если бы за границу его выпускали так же запросто, как Тургенева, то и он ничего бы с собой не сделал.

И Маяковский и Тургенев при жизни и долго потом заслоняли собой более глубоких и талантливых современников. Именно в силу такой своей заметности оба вряд ли пережили бы тридцать седьмой год.

Судите сами, парадокс или не парадокс, что Маяковский удивительно похож на Тургенева.

1986

НИКОЛАЙ ВТОРОЙ

За Шестнадцатой станцией наверху по берегу дыры. Нырнул — и вынырнул в Аркадии, на Ланжероне. Или не вынырнул. Исполком заколачивает дыры досками. Доски растаскивают.

Здесь поселился бывший император с семьей. Сначала всякий бегал к нему порвать на себе тельняшку. В домик летели куски ракушечника. Царь, не боясь, выходил и всем объяснял:

— Рабоче-крестьянский суд вынес мне и моей фамилии полное оправдание.

Хуже, что каждое утро с Отрады выныривал бывший генерал-адмирал Брусилов и требовал объяснений за проигранную войну.

— На то воля Божья, — говорил ему император.

— Какая воля! Да я каждую Божью ночь из-за этого спать не могу. — Брусилов с воем бросался вниз головой в дыру.

И бывший капитан бывших шаланд Севастопуло, сдававший царю домик, —

когда западный ветер нес холодную воду,

и ему смерть как надоедало валяться на пляже, —

тащил застарелые ревматизмы наверх

и обрушивал на жильца смесь наглого добродушия и умелого глотничества.

Сегодня я проходил мимо и видел, как Севастопуло, пришивая к царской крыше снесенный ветром кусок толя, подложил под рейку — всем на прочтенье — бумагу:

ПЕЙ МОЮ КРОВ
ПОКУДО Я ЖИВ

1980

СЕКРЕТОРНАЯ

На станции Секреторная никто их не встретил. Сталин легко спрыгнул с подножки и кошачьей походкой направился к станционному зданию. Он успел убедиться, что там нет ни начальника, ни кассира, ни телеграфиста, а Ворошилов еще спиной вперед тяжело выползал из вагона, вцепившись обеими руками в древко правого поручня и беспомощно перебирая ступеньки короткими ногами. Плечи ему оттягивал огромный круглый мешок.

— Никого, — сказал Сталин.

— Никого, — пусто отозвался Ворошилов и вдруг прибавил: — Ты как хочешь, а я пойду.

— Куда? — удивился Сталин.

— На завод. К немцу. — И заверил: — Примет, у него забастовка.

Сталин долго стоял на перроне, глядя, как с одной стороны по пыльному шляху удалялась паукообразная из-за мешка фигура главнокомандующего, а с другой — коробчатые очертания уменьшавшегося поезда.

1970

БЛОК

Знаменитый поэт Александр Александрович Блок сидел в нетопленом зале Мариинки и со скукой смотрел на сцену, где его знакомая Любовь Александровна Дельмас изображала Кармен. Где-то пели смычки о любви, и Александр Александрович вспомнил о вопиющей немузыкальности госиздатского Ионова, который не хочет его печатать...

— Ионов не настоящий революционер, — размышлял Александр Александрович. — Настоящая революция — это гоголевская птица-тройка, копыта коренника над головой гибнущей интеллигенции. Как со мной давеча на Кронверкском. Удар копытом по темени привел к революционному выходу из лиловых миров и мгновенному озарению. Как я добрался домой, не помню.

— Что с тобой? — спрашивает маленькая.

— Сегодня я гений, — говорю я и сажусь за стол. Она разводит руками и уезжает к своему Кузьмину-Караваеву. Пишется мне прекрасно. Сколько писал, не знаю, но не случайно кончил, когда маленькая, разгоряченная, возвратилась, вся в немузыкальном одеколоне этого Караваева.

— Ну как ты? — спрашивает она.

— Сегодня я гений, — повторяю я и подаю ей поэму.

— Ты правда гений, — говорит она, прочитав. — А поэму мы назовем «Двенадцать». — В маленькой удивительно развит дух музыки.

Оркестр проиграл вступление к хабанере. Дельмас подбоченилась.

— Стареет, — подумал о ней Александр Александрович.— Интересно, настоящая она Кармен или я ошибался. Если настоящая, то при слове «крылья» взлетит.

— У любви, как у пташки, крылья... — пропела Любовь Александровна и осталась стоять, где была.

— Откажу ей от дома, — решил Александр Александрович. — Маленькая поймет. Поняла же она «Двенадцать», когда символисты устроили мне обструкцию. Я им говорю:

— Господа, помните о власти лиловых миров! — а они шушукаются.

Я им читаю:

— Пальнем-ка пулей в святую Русь! — а Зинаида Николаевна говорит:

— Иуда.

Я думаю, что недослышал и переспрашиваю:

— Как вы сказали?

Повторяет:

— Иуда.

Выбрала же такое немузыкальное слово! Три гласных на одну согласную! Почти ИУА — как у футуристов. До чего докатилась интеллигенция!

Я требую:

— Революцьонный держите шаг! — а они берутся за шляпы.

Наутро телефон от Ахматовой:

— Я освобождаю себя от знакомства с вами. — Во всей фразе ни одного музыкального аккорда!

Александр Александрович презрительно фыркнул.

Сидевший рядом бедно одетый старичок, похоже из сенаторов, взглянул на него с укором.

— Да, акмеисты без божества, без вдохновенья, — распалялся Александр Александрович. — Особенно Гумилев. Этот руки мне не подал. Все должны знать, что его за это поглотит лиловый сумрак! Да, я напишу в газету, — Александр Александрович забылся и кончил вслух:

— Поэт Гумилев не желает слушать музыку революции!

Старичок из сенаторов наклонился к нему и строго сказал:

— Милостивый государь, слушайте музыку!

Блок посмотрел на него, как на сумасшедшего.

1960-е

МАШКОВ

Машков, хороший «Бубновый валет», но не столп отечественного искусства, неожиданно получил приглашение из Колумбии: персональная выставка в Боготе́.

Машков покрутил глобус: тропики. Не поверил, но все-таки покатил в Петроград.

Колумбийский консул подтвердил, что ошибки нет, выдал бумаги и посоветовал одеваться теплее: в Боготе — как в Петрограде.

Машков решил, что его дурачат и отправился на этюды под Обоянь. Там он и услышал об Октябрьском перевороте.

Мы знаем, что стало с Машковым потом, вернее, как ничего с ним не стало.

Но никакое воображение не может представить, кто бы он был в Колумбии:

основатель национальной школы или ненужный экспатриант,

ярый авангардист или салонный комплиментщик,

опасный революционер или величественный консерватор.

Вся эта история придумана для того, чтобы развенчать воображение.

1985

РАССКАЗЫ О ЛЕНИНЕ

Умный мальчик

Маленький Володя Ульянов ненавидел пчел. Он был умный мальчик и знал, что пчелы могут больно покусать.

Однажды он забрался к соседу на пасеку и стал поливать улья керосином. Пчелам это не понравилось, и они стали летать вокруг него и жалить во все места.

Володя испугался и решил спрятаться в речке, но упал с обрыва и стал тонуть. В это время по берегу гулял маленький Саша Керенский. Он был еще меньше Володи Ульянова, но все-таки вытащил товарища из воды.

За это Володя рассказал в гимназии, что Саша гулял по берегу в девчоночьем платье. Поэтому гимназисты смеялись над Сашей, а не над Володей.

Вот какой умный мальчик был Володя Ульянов.

1970

Разлив

Овчарки со сворок рвались в туман,
С апреля вошедший в быт.
Поимкой командовал штабс-капитан,
Охотник, пластун, следопыт.

И как неуместный фиговый лист,
Не там прикрывавший срам,
Плелся в хвосте генералштабист,
Не глядя по сторонам.

Овчарки вели по тропе, по траве,
По росам июля вброд.
Петров-второй шагал в голове
И честно смотрел вперед.

Но вдруг собак понесло назад,
Мордой — волчком — к хвосту.
Петров-второй, русский солдат,
Первым шагнул за черту.

И голос его через пять минут
Дошел, от тумана глух:
— Овчарки дальше след не возьмут:
Явственный серный дух.

Плечами пожал и исчез во мгле
Охотник, пластун, следопыт
И, встав на колени, на волглой земле
Увидел следы копыт.

Пошли по следам, а сзади, скуля,
Овчарки тянули вспять.
Из-под ног уходила родная земля,
А где же другую взять?

Кусты, поляна, опять кусты,
Жалобный плач гудка.
Стога, поляна, из пустоты
Свинцом блеснула река.

Вдомек не взял генералштабист,
Презиравший сей ералаш,
Что он, как был, незапятнанно чист
Проследовал сквозь шалаш.

И штабс-капитан увидеть не мог,
Хоть дело и было днем,
Как он сапогом просадил пенек
И того, кто сидел на нем.

А тот, кто сидел, повел головой,
На коленях поправил листки
И взглянул туда, где Петров-второй
Шагал над свинцом реки.

Приказом посланные в дозор
Солдаты, чеканя медь,
Прошли сквозь невидимый глазу костер
И чайник, начавший петь.

И только собаки чуяли зло
И жадно тянули прочь.
А людям и в голову не пришло,
Что можно беде помочь.

Кусты, поляна, земли предел,
Реки пулевой металл.
Туман сгущался, туман тучнел
И в почву корни пускал...

1960-е

Записка

Не найдете ли возможности освободить 13-летнюю Благонравову, арестованную за пририсование очков к моему портрету? Поспешно арестовывать Благонравову за порчу портрета — верх легкомыслия. Тем более что ее отец, проф. Благонравов, — крупнейший у нас спец по ализарину, а без ализарина мы как власть — ноль. Тов. Кржижановский напоминает, что Антанта вырабатывает 20 млн ведер ализарина. Если 13-летняя Благонравова — законченная контрреволюционерка, назначить за ней наблюдение по всем правилам уголовно-розыскного искусства, чтобы выйти на всю шайку мерзавцев. Вот тогда не расстрелять этих господчиков немедленно и массовидно, вкупе и влюбе с проф. Благонравовым, так, чтобы запомнили на года, — тогда не расстрелять всех их — не диктатура пролетариата, а манная кашка, трусость и архиглупость.

1987

ДОСКА

ЗДЕСЬ
25 ОКТЯБРЯ 1916 г.
ВО ВРЕМЯ ГУЖЕВОГО ИНЦИДЕНТА
ПОМОЩНИКОМ ПРИСТАВА
СТОГОВЫМ
ИЛЛАРИОНОМ ВОНИФАТЬЕВИЧЕМ
БЫЛ ЗВЕРСКИ УБИТ
ИЗВЕСТНЫЙ МОСКОВСКИЙ ПОДПОЛЬЩИК
РАБОЧИЙ ЗАВОДА ГУЖОНА
АСТАХОВ
ИВАН КЕРЕМЕТЬЕВИЧ

литмаст огпу мосгублит

1987

ПАЛЕЦ

У Ивана Михалыча было на левой руке шесть пальцев: большой, указательный, средний, безымянный и два мизинца. В церковно-приходском мальчишки звали его шестопалом. Хуже стало, когда он подрос. В собственную лавку с такой клешней не встанешь. В церкви исповедуешься, а в мыслях одна шестопалость. Ясно: во осуждение. Хоть вовсе не причащайся.

С людьми Иван Михалыч держался особняком, зимой-летом не снимал холщовую рукавицу. Если заговаривал, то когда ожидал услышать совет. Надумал и все рассказал политехническому студенту — ссыльный социаль-демократ. Тот сразу:

— А вы как отец Сергий!

— Какой отец Сергий?

Студент принес книжку. Иван Михалыч неделю шевелил губами. Прельстительно и окаянно. Однако прямой совет.

Положил Иван Михалыч левую руку на колоду, приставил к лишнему пальцу долото, большим-указательным придержал, правой рукой с молотком как махнет! Кровь брызнула, это не книжка. И мизинец в угол отскочил. Что с ним делать, о. Сергий не пишет.

— Вы его в печку. Сгорит — ничего не останется, — сказал студент и ушел.

К вечеру рука стала пухнуть. Поднялся антонов огонь. На третий день позвали священника. Причащался Иван Михалыч и знал, точно во осуждение: кого обмануть хотел? Себя? Людей? Бога?

1980-е

САВЕЛОВСКИЙ ВОКЗАЛ

Построил помещик Савелов
Савеловский дивный вокзал.
На этом ненужном вокзале
Он сам никогда не бывал.

Поскольку он ездил в карете
С упряжкой в шестерку борзых
И смутно мечтал о прогрессе
Для правнуков дальних своих.

Вот так и стоит на отшибе
Савеловский чудный вокзал —
Дар обществу от ретрограда,
Который любил идеал.

1969

ФАКИРОД

Войдя в темноватое помещение лавочки «Факирод и сын», вы обычно видели в глубине налево за дощатым прилавком заострившиеся черты всегда небритого, высохшего человека с костлявыми ладонями и плечами. Это и был сам Иван Исаевич Факирод, неожиданно тощий колбасник, паук и ворон здешних мест.

Иногда же за прилавком не было никого, зато направо под аквариумом с золотыми шемаханскими рыбками, служившими для привлечения покупателей, вы вдруг замечали отвислый тучный живот и ноги, похожие на колонны. И вам на минуту казалось, что аквариум покоится не на тоненьких железных ножках, а на этих двух слоновьих ногах, одетых в серые полосатые брюки. Однако и на сей раз это был тот же

Иван Исаевич Факирод, сам залюбовавшийся своим сокровищем и застигнутый вами в редкую минуту задумчивости. Ибо неожиданной его худобе в лице, груди и руках соответствовала еще более неожиданная тучность, даже отечность всего, располагавшегося у него ниже пояса.

Сын его, Гавриил Факирод, получавший образование в прогимназии и склонный к наукам, попытался как-то объяснить данный феномен стоячим образом жизни, за что был нещадно высечен и три дня не пускаем в дом.

Рыбки ловили ртами протухлый воздух. Николай Гаврилович зашел и спросил фунт чайной.

1958

ИЗ ВЕЛЬТМАНА

Фекал Иваныч был мирной башкирин. Фамилию его я вряд ли слышал более одного раза и теперь не припомню, а это особенно огорчительно, ибо именно ему я обязан своим спасением и жизнию.

В 188* году я по роду своих занятий должен был объехать верхом всю Голодную степь. Цели моего путешествия я точно не знал, да и когда впоследствии осведомлялся о ней в Петербурге, то неизменно встречал лишь многозначительное пожимание плечами или туманные рассуждения о материях столь возвышенных, что простому смертному о них лучше и не задумываться.

Поездка моя была однообразна и утомительна, и, быть может, о ней не стоило бы рассказывать так подробно, если бы не то обстоятельство, что на всех этапах моим попутчиком странным образом оказывался кандидат ***ских наук Тригорев, с которым я незадолго до того познакомился в Пишпеке.

Трагедия разыгралась одиннадцатого августа. Добрейший Фекал Иваныч поднял меня ни свет ни заря. Губы его дрожали, с кончиков пальцев капала кровь.

— Вставай, бачка, — говорил он. — Тиригори тебя убила — ай-яй-яй.

Я приподнялся на кошме и увидел пустое место в том углу юрты, где располагался на ночлег мой непрошеный спутник. Напрягши слух, я различил слабый стук удаляющихся копыт.

— Бир манат, — сказал Фекал Иваныч.

Мне нечем было отблагодарить славного туземца, и я с немалым сожалением отдал ему сопутствовавший мне во всех скитаниях по морю житейскому эмалевый портрет моего

деда — известного реформатора времен Александра Благословенного — графа Алексея Андреевича Аракчеева.

1966

ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ

Рыскул принес в аул весть про болезнь богачей: запор.

Вариант:
Рыскул
принес
в аул
весть
про болезнь
богачей:
запор.

1987

КУЗНЕЦ ИГНОТАС

Жил в селе Папиле кузнец Игнотас. Всем славный был парень — и ростом вышел, и с лица пригож, и работы не бегал. Одна заминка: прожил на свете двадцать девять лет, а жениться вот не сумел. Забоялся он. Добрые люди знают: когда холостому тридцать стукнет, хер у него отваливается. Осталось Игнотасу до тридцати три недели, не выдержал он, бросил кузню и как челнок засновал по земле литовской.

И Тришкяй прошел, и Гришкяй,
и Детишкяй, и Ребятишкяй,
и Григишки, и Вилкавишки,
и Пильвишкес прошел, и Шишкес,
и Любавас, и Явас,
и Плунге, и Крянге,
и Кедайняй, и просто Едайняй.

А за день до тридцатилетия встретил в селе Пукучай девицу Ону. Всем взяла Она — собой ладная, с лица ровная, нравом кроткая. Единственная беда: родилась в один год, один день с Игнотасом, а до сей поры замуж не вышла. Добрые люди знают: когда девке тридцать исполнится, хер у нее вырастает. Страху она натерпелась, хоть из дому прочь. Да только Сваёне вот-вот отелится. Где ж тут бежать?

Увидел Игнотас Ону, увидела Она Игнотаса, поняли вдруг — судьба. Ксендза позвали, соседей, какие нашлись, свадьбу сыграли. Только гости ушли, Сваёне телиться стала. Притомились они с гостями, намаялись и со Сваёне, свалились с ног и заснули. Наутро проснулись — и что?

У Игнотаса хер отвалился, у Оны хер вырос. Сделался парень девкой, а девка парнем. Горевать? А хозяйство-то ждет — сено косить, картошку окучить, морковь проредить, корм скотине задать, попоить, подоить — тосковать некогда. А вечером после ужина схоронила Она Игнотасов хер у забора. Сели они рядком и давай утешать друг друга — хорошие были люди. И решили, что можно и так прожить. Год не прошел, Игнотас дочку родил, Она выкормила. Только слабая девочка-то была, переставилась скоро. У забора, где Она хер схоронила, дуб вырос, в три обхвата, высокий, сейчас стоит.

1967

РАССКАЗ

...даже величайший комик столетия Чарли Дарвин...

1970-е

КОНТРОВЕРЗА

Как известно, Маркс обозвал Герцена царским шпионом, а Герцен обозвал Маркса плюгавым мерзавцем.

Замечательно, что этот обмен репликами не имеет какой-либо политической подоплеки.

В Марксе говорила досада ущемленного собственника, в Герцене — сознание сексуального превосходства.

Речь идет о малоизученном и психологически не вполне объяснимом романе Герцена с Женни Маркс.

Поистине непонятно, что нашел Герцен в перезрелой матроне с шестью дочками. Равно непонятно, что нашла бывшая аристократка в прижимистом, неопрятном варваре. Разве что ее дворянскую чувствительность еще более оскорблял цветущий фурункулез мужа.

Перед историком в неожиданном свете предстает идеальная Елена Демут, сыгравшая роль сводни. Елена усердно служила Марксу многие годы и даже родила ему сына, Карла Младшего — и не получила за это ни гроша вознаграждения.

Можно предположить, что ею двигала обида за отверженного сына, а может быть, она прельстилась на широкие посулы и небольшие подачки русского барина.

1986

ТРИ ГЕРМАНИИ

Когда баварцы расколошматили пруссаков под Штутцем и вступили в Берлин, не было на свете людей несчастней, чем венские классики.

Сообразив, что темный Берлин не будет долее выгодным противовесом просвещенной Вене, Брамс с чемоданчиком забежал предупредить ленивого Шумана.

— Вена погибла. Теперь нам тут нечего делать. Наша столица — Мюнхен, — выпалил он.

Слова его доходили до слабоумного Шумана добрую четверть часа, столько же понадобилось ему, чтобы оценить их справедливость. Еще минут десять Брамс собирал в дорогу хозяйские вещи и ноты, так как Шуман все время путался под ногами. Когда они вышли на улицу, было уже поздно.

Весь Мюнхенский тракт, насколько хватал глаз, был запружен напуганными композиторами. Впереди всех несся, бросив семью, Моцарт. За ним поступью гриммовского скорохода мерно вышагивал счастливый Глюк. Пронырливый Малер бодро толкал перед собой тачку с имуществом. Впрягшись в телегу, упрямый Бетховен с ненавистью тащил партитуру Девятой симфонии. Добрый Гайдн нес на закорках больного Шуберта.

А в дальней дали, там, где небо сходилось с землей, Вагнер уже раздавал пограничникам золотые дукаты, чтобы те не впускали в Баварию конкурентов.

Весело улыбался в Лондоне предусмотрительный Гендель, а в Берлине Бисмарк брел под конвоем на виселицу — но и ему было легче, чем Брамсу и Шуману.

1972

РУССКИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

пили фурцвассер с барышнями и рассказывали о Карлсруэ.

1970-е

ГЕНЕРАЛ ДЕЛЬВИГ

Как сейчас слышу идиотический гогот Степана Аксакова, на всех углах оравшего, что он девственник.

Но не за это попал он в Сибирь, как и не за призыв истребить на Руси всех французов и англичан. Монарший гнев постиг его, лишь когда они с братцем пытались публично лишить жизни профессоров Кюи и Бекетова, объявив их французом и англичанином.

Подобно как декабристы в Чите получили известное послание Пушкина, братья Аксаковы в Кадае получили «Буря мглою небо кроет». Впоследствии оказалось, что старший балбес заготовил его загодя впрок — и как в воду глядел.

Когда в нем развилась чахотка, жандармский полковник под честное благородное слово отпустил его для леченья в Италию. Наш герой не уехал далее Петербурга, где закружился в балах. Как известно, чахотка содействует пылкости, и, будучи каторжным поселенцем, он тем не менее предложил руку и сердце фрейлине Тютчевой, засидевшейся в девках дочке поэта.

Рассказывают, что, выбрав минуту, старая императрица просила за обрученных. Государь долго хмурился, но не выдержал и смеясь простил сразу двух братьев. Досталось только великодушному жандарму, коего перевели в Кемь.

1981

ДВОРОВЫЙ МАЛЬЧИК

Молодой Шереметев зазвал Николая Павловича в Останкино и повел себя как диндон де ля фарс.

Государь объявил, что завтра вернется в Москву, а пока никого не желает видеть.

Государь не привык к одиночеству и томился за утренним кофием. Глядя в окно, он заметил, что из-за Артемиды с колчаном и стрелами на него смотрит дворовый мальчик.

— Сей будет мой сотрапезник! — громко сказал он и спросил: — Ты любишь своего царя?

Мальчик кивнул.

— Тебя как звать?

— Андрюня.

— Не Андрюня — Андрей, — исправил Николай Павлович. — Век будешь помнить, как пил кофий с царем!

Николай Павлович жестоко ошибся в госте. Дворовый Андрей, уже после кончины Николая Павловича, убил его сына и преемника, императора Александра Второго.

1982

ПУШКИН

Не помню, в тридцать третьем или четвертом году прибегает ко мне Платон Измайлович и говорит, что в город приехал Пушкин, остановился в «Вязьме» и просит всех дворян с ним отужинать. Я заложил тарантас и отправился сказать Кучкиным и Авсеенкам. Вечером приходим в «Вязьму» и видим: точно Пушкин, ростом невысок, сутул, волос — как смоль: арап. Нос тоже длинный. На литографиях благообразней. Тут же градоначальник и полицмейстер. Только я зашел, Орест Кондратьевич отводит меня в сторону и советуется, как быть. С одной стороны, Пушкин — сочинитель и волтерианец, с другой — монаршими милостями осыпан. А Пушкин, бестия, словно догадался и громко так объявляет, что государь пожаловал ему чин выше губернаторского. Тогда Орест Кондратьевич приглашает общество к себе и задает бал-импромптю. Славный бал вышел! Пушкин, когда не ел, наизусть «Евгения Онегина» декламировал, а под конец даже сплясал казачка...

1968

ЖИТЕЙСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Авенир Иваныч был душа-человек, но любил подразнить гусей.

1970-е

АНРЕП

Анреп был перновским выблядком Остермана. При крещении Остерман хотел дать ему фамилию Пернов или по-немецки Пернау, но Головкин сказал ему, что с такой фамилией в России не жить. Остерман колебался, и тогда пастор прочел Пернау справа налево и получил У. Анреп.

Однажды императору Павлу Петровичу приносят реляцию за подписью Генерал-аншеф Анреп.

— Ан-шеф Ан-реп — что за балаган! — возмутился Павел Петрович. — Что будет, если повысить в чине?

— Генерал-фельдмаршал Анреп, — объясняет Безбородко.

— Ну, это ему густо, — говорит Павел Петрович. — А если на чин понизить?

— Генерал-лейтенант Анреп, — отвечает Безбородко. — Только это невозможно.

— Отчего? — удивился император.

— Гвардия роптать будет, что безвинно обижен.

— А ежели я его в солдаты разжалую? — любопытствует Павел Петрович.

— Тогда все в порядке, — отвечает Безбородко.

— Отчего? — изумился император.

— Да все поймут, что есть тайный резон.

— Вот и отлично! — восхитился Павел Петрович. — И еще прибавить ему десять плетей в подтверждение.

1960

КОСТЮШКО

Генералиссимус Суворов познакомился с Костюшкой во время девятого польского бунта. При штурме Праги щуплый человечек поймал трех казаков за пики и попытался вонзить острия себе в сердце.

— Отставить! — крикнул Суворов.

Казаки приволокли человечка.

— Помилуй Бог, да это Костюшко! — Суворов запел петухом. — Гей, чудо-богатыри, согласны служить под таким героем?

Как всегда, казаки были согласны.

— А ты — ты хочешь быть их есаулом?

Костюшко не захотел.

— Нех пан пулководец пустит меня до Америци.

Суворов никогда никому не отказывал.

В Америке Костюшко познакомился с генералом Вашингтоном.

1982

ЭВОЛЮЦИЯ

Когда волнуется народ,
Кляня традиции и власти,

И хочет собственный живот
Публично разодрать на части,

Припомните игру страстей
И вольности последний выдох,
Когда в имении Ферней
Руссо мечтал о троглодитах,

Что-де с дубинкою в руке
В его родительской Лозанне
Вздохнут о голубом цветке
Смиренномудрые пейзане.

Руссо обдумал новый том,
Перо попробовал о палец,
А в это время за кустом
Уже стоял неандерталец.

Философ подбирал слова,
Дикарь в кустах жевал травинку.
Писатель вывел букву А,
Его герой занес дубинку.

Потом он рылся в сундуках,
Явив находчивость и смелость,
И это в гаснущих зрачках
Зачем-то вдруг запечатлелось.

Дрожи, хранительная тьма!
Вторгайся, свет бесцеремонный!
Философичная страна
Отплясывает кроманьону.

В чести мужчины без штанов,
Везде науки и искусства
И свежие кочны голов
Взамен исчезнувшей капусты.

Теперь герой махнет в Париж,
Усвоит новые манеры,
Утратит хвост, а там, глядишь,
Довоплотится в Робеспьеры.

1957—1967

КУРГАНОВ

— Светон, добрая душа, — говорили о нем, когда утром он гнал гусей по мосту, и то же самое говорили о нем, когда вечером он совершал обратный путь в бричке с плисовым верхом, ибо это была ИСТИННА.

1975

ФИЛОСОФ И КОНЮШИЙ

На постоялом дворе Лейбниц приказал дать коню меру овса.

Присматривавший за лошадьми горбун для начала всыпал в денник половину требуемого.

— Ну, это полумера, — заметил философ.

1971

СТАРИННЫЙ АНЕКДОТ

Некий человек, вынося вазу, узрел в бариновом дерме золотую иглицу и, паки удивившись, вопрошал:

— Како возможно, прияв сию иглицу, издать ее, не оцарапамшись?

— Дурак, — ответствовал барин, — это от камзола.

1967

КУЗЬМА-ОБОЖАЕМЕЦ

Жил в городе Брынске поселянин Кузьма. В городах живут дворяне, купцы и мещане. Кузьма был ни то, ни другое, ни третье. Он пришел с дороги и поселился, почему и назвал себя поселянин.

Кузьма построил забор и дом в два окна. И каждый день живет — как в игры играет. То грядку вскопает, то кабана пощекочет, то курочке-рябе зерна насыплет. И приговаривает:

Сам себе мужик и баба,
Соврать не даст курочка-ряба.

А так — ни с кем не знался, никуда не ходил. Разве на базар купить петрушки, укропа или еще чего такого заморского.

Беда стряслась. Пошел на Россию индийский царь Васудева.

Созвал наш белый царь Думу, спрашивает, кто такой Васудева и что с ним делать.

Ближний боярин говорит:

— Это кто-то у вас, похоже на васударь.

Митрополит предполагает:

— Не, это дева какая, должно быть гулящая.

А купец Афанасий Никитин сказал:

— Беглый это холоп Васишка, бить его батогами.

Так и решили. Да как бить? У белого царя деньги на войско кончились, а Васишка все прет и прет.

Приехал белый царь в Брынск, просит:

— Помогите, хрестьяне.

Кто пятак несет, кто семитку, кто девять рублев.

А поселянин Кузьма говорит:

— Государь белый царь, возьми у меня все. Я поселянин Кузьма. Я весь мир обошел, только у тебя, белый царь, хорошо. За это я тебя обожаю. Вот тебе забор, вот тебе дом в два окна, вот тебе кабан и курочка-ряба. Вот тебе мое богатство — семь тыщ золотых корабельников. Честные это деньги, а откуда они, не спрашивай.

— Верю тебе и не спрашиваю, — отвечает белый царь. — А за любовь твою я сам тебя обожаю и ничего твоего не возьму. Окромя денег. Очень уж деньги хорошие. На них я хоть Васишку, хоть кого хошь разобью и в кнуты возьму.

И остался поселянин Кузьма на прежнем месте. Белый царь Васишку разбил и гулять послал. А Кузьму повелел звать Кузьма-Обожаемец, только никто не звал, потому что Кузьма ни с кем не знался.

А когда он через сто лет умер, открылось, что он не поселянин Кузьма, а тайный милорд Овцын.

1984

СЦЕНА ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН

— Мир тебе, крестоносный брат мой, ты кто, подыми забрало, я — неустрашимый Кранк фон Бубнов, истребитель неверных!

— Хвала святому Евстафию! Я — благородный Мауэрпронин, мир и тебе, брат мой!

— Святой Урсуле угодно, чтобы мы с тобой пировали над Везером под той осиной.

— Я три года, три месяца и три дня как из Святой земли, переметные сумы мои пусты.

— Не беда, мои распирает.

— Слава святому Детлефу!

(Садятся и пируют. Бубнов продолжает.)

— Еще когда я в пажах ходил, понял, что для борьбы с неверными незачем ехать на край света, их тут не меньше, а даже больше, не далее, как вчера я ворвался в табор одного манихейца из тех, которые, знаешь, коней лечат, коней куют и коней крадут, и — клянусь моей Прекрасной Дамой — я рассек его вдоль на две равные половины, а его жена — она так визжала, — она пригодилась мне более, чем один раз, — постой, что с тобой?

(Мауэрпронин спешно расстегивает гульфик.)

— Ты что, дал обет безбрачия?

— Я поклялся моей Прекрасной Даме не прикасаться ни к одной женщине. Сарацинки не в счет.

(Голос его дрожит.)

— Я ведь три года, три месяца и три дня как из Палестины...

— Осторожно, брат мой, не забрызгай доспехи, а то на этом проклятом железе пятна такие будут, что в Иванову ночь тимофеевой травой не свести.

1960-е

АБСОЛЮТ

— Почто не шевельнешься? — спросили убитого.

Оный не удостоил ответом.

1960-е

МАРК АВРЕЛИЙ

— Август, спаси...

— Кто здесь? Раб, посвети! Луцилий... Как ты сюда попал?

— Мне сломали обе руки... обе ноги... Выбросили сюда... О-о!

— Несчастные! Что за несчастные люди, Луцилий! Я не хочу даже спрашивать, кто они. Это всякие те, кто не знает добра и зла. Они не узрели в природе добра, что оно прекрасно, а в природе зла, что оно постыдно. А ты, друг мой, в природе их, грешников, усмотри, что они родные тебе по причастности к разуму и божественному промыслу. Пожалей их, добрый мой Гай Луцилий!

— Казни их, сын Антонина...

— Подумай, чего ты хочешь! Противодействие противно природе, тем более людям. На кого сердишься ты? На потного сердишься, на того, у кого изо рта пахнет? Скажи мне, что ему делать? Такой у него рот, подмышки такие, раз так, такое из них и выделение. Порок ли это? Вдумайся, что есть порок? То, что ты часто видел. Кто не хочет, чтобы дурной прегрешал, похож на того, кто хочет, чтобы младенцы не ревели, конь не ржал — и прочие неизбежности. И вообще, среди тех, на кого ты ожесточился, никого не найдешь, кто бы что-нибудь сделал такое, чтобы стало хуже твое разумение мира. Подумай о будущем!

— Антонин, император, что со мной теперь будет?

— Немного еще — и будешь никто и нигде. Как Александр, Помпей, Гай Цезарь. Гераклит учил о воспламенении мира, а сам наполнился изнутри водой и умер, обложенный навозом. Демокрита насмерть заели вши. Сократа — другие вши. Помни, что каждый жив только в мгновенном, ныне текущем. Остальное либо прожито, либо неявственно. Отчего ты так смотришь? В текущем тебе больно?

— Еще как... О-о!

— Представление. Все на свете, и боль твоя — представление. Сотри представление. Не дергай себя. Не забывай, что в природе движения плоти то гладкие, то шероховатые. Не кричи: несчастный я, такое со мной случилось! Нет. Но: счастлив я, что такое со мной случилось, а я по-прежнему беспечен, текущим не уязвлен, пред будущим не робею. Что случилось, не помешало мне быть справедливым, великодушным, здравомысленным, неопрометчивым, нелживым, скромным, свободным и прочее.

— Убей меня, Марк Аврелий!

— Но я дал клятву на Форуме, что не пролью кровь всаднического сословия.

— Пожалей...

— Это ты, словно христианин, захотел сострадания. Но сострадание не углубляет ведущий ум, а гонит его наружу к средним вещам. Раз ты решил, что пора удалиться, — уйди сам, так же легко, как на всякое дело из тех, которые можно сделать тихо, скромно, почтительно. Я оставляю тебе меч.

— У меня обе руки переломаны!

— Обдумай, Луцилий, хорошенько обдумай, как приключилось то, что приключилось с тобой. Нет ли в этом особого промысла — многим ли переламывают сразу обе руки и обе

ноги? Нет ли в этом какой для тебя выгоды. Попробуем разобраться, во-первых, из-за чего это произошло?

— Из-за флейтистки Харибды.

— Удивил ты меня, Луцилий. Если все рождено для чего-то, для чего рожден ты? Неужели для наслаждений плотью? Ты погляди, держится ли эта мысль. Плоть же грязь, кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. И ты желал насладиться такой мерзостью? Философия в том, чтобы беречь от глумления и ран живущего внутри тебя гения, того, кто сильнее наслаждения и боли. Ты не философ, Луцилий. Прощай!

1987

ЗАМЕЧЕННАЯ ОПЕЧАТКА

стр.	напечатано	следует читать	по чьей вине
292	Домик в Коломне	Домик в Коломые	метранпажа

1975

НАДПИСЬ ОТ РУКИ:

Читаешь тебя и не знаешь, чему верить, чему не верить. У меня нет данных, чтобы проверить, но невольно закрадывается сомнение: возили красное дерево Маяковскому или нет.

Саша.

Часть II

ДРУГИМИ СЛОВАМИ

АКИМ НАХИМОВ

ЭПИГРАФЫ

Виртуозу Антипу

На лире золотой когда Орфей играл,
То горы, и леса, и Тартар подвигал;
А ты, Антип, когда на скрипке заиграешь,
Смычок лишь подвигаешь.

Ему же

Коль Роде или Диц играет,
В веселье каждый восклицает,
Восторга ощущая жар:
«О музыка! небесный дар».
Но лишь Антип в гудок зазвонит,
То каждый охает и стонет,
Вопит: «О бедствие людей!
О музыка! ты бич ушей».

Ему же

«Что, каково вчера оркестром мы играли?» —
Мне с гордостью Антип сегодня проворчал.
«О Боже! — я вскричал. —
Вы слух мой растерзали;
Согласья нет у вас, иль скрипки ваши в ссоре?» —
«Согласья? — крикнул он в задоре. —
Какой нелепый вздор
Искать согласия меж нами:
Меж флейтой, скрипками, басами, —
Когда в Европе всей господствует раздор!»

Эпитафия Антипу-виртуозу

Весь век Антип играл, несносно слух терзая;
Он умер наконец, гудок свой обнимая,

И положить его с собою завещал.
Прохожий! берегись, чтоб он не заиграл.

Ему же

Здесь плоть Антипова по смерти почивает,
Но в аде дух его нынь должность отправляет:
Для муки грешников на скрипке там играет.

Ему же

Неутомимый здесь Антип слег для покоя:
Он был толь дивный виртуоз,
Что от игры его во время летня зноя
Крещенский каждого по коже драл мороз.

Ему же

Прохожий! трепещи, могилу зришь тирана;
Он зверством превзошел Нерона, Тамерлана;
Покоя никому мучитель не давал;
Младенцев, старцев он, родных, друзей терзал;
Ни плач, ни вопль его не трогали утробы;
Он резал у живых сердца, был тигр, палач!
Дрожишь и хочешь знать, кто, кто сей изверг злобы,
Кто был сей живодер? Он был Антип-скрипач.

СОЧИНЕНИЕ

Чимароза-самородок
Блещет всюду и везде.
Странный, словно зимородок,
Вьющий гнезда на воде,
Тайный, словно самородок,
Поглотивший свет и тень,
Вдвинул скрипку в подбородок
И застыл — как цифра семь.
И застыло без дыханья
Благородное собранье

От портрета до колонн
(Зимородок, по преданью,
Усмиряет Аквилон).
Чимароза в назиданье
Вывел первый вавилон.

Обтекая изваянья
Декольте и эполет,
Свечи сверху льют сиянье,
Освещая высший свет
И иное состоянье,
Двадцать душ по двадцать лет —
Взоры, полные отваги,
А в мундирах Марса нет,
Неначищенные шпаги,
Из сапог торчат бумаги —
Словом, университет.

Отрицатели приличий,
Вольнодумцы, антре ну,
Что им Бог, что городничий!
Ходют, воют на луну,
Докучать берут обычай
Обывательскому сну:
Ночь под окнами прошаркав,
В спорах вспомнют сатану
И плюют с обрыва в Харьков,
В отраженную луну.
Хуже всех Аким Нахимов,
Дворянин из жидовинов,
И Акимов антипод,
Древлеросский патриот.
Антипода звать Антипом,
Он, разинув длинный рот,
Огласил собранье хрипом,
Как казарменный фагот.

Виртуоз белее гипса:
Перед ним Антип воздвигся,
Пьедесталом выбрав стул,
Стал на нем подобьем икса,
Над собой взметнул баул
И ужасной тенью Стикса
С пьедестула сиганул:
«Не дозволю сих турусов —
Россов за нос водит галл!
Государь биет французов,
Как Суворов их бивал!

Соревную!» — из баула
Шустро выпростал гудок
(Сей снаряд кузнец Вакула
Шил из липовых досок),
Взял воинственную позу,
Курью шею накруглил
И француза Чимарозу
Тот же час перепилил.
Оттесненный на задворки,
Зимородок скок да скок,
От погудки-живодерки
Подскочил под потолок
И крючком своей семерки
Зацепился за крючок.
А тщедушный бич французов,
Преградив дорогу злу,
Все скребет лучком о кузов,
Словно кремнем по стеклу.
Где Антип — ищи Акима,
Оный харьковский пиит
Сочетает доблесть Рима
С пиетой Ерусалима —
И дерзает, и дрожит
(Рифма просит: аки огнь).

Разорделся перед птицей:
«Экскюзе ну, нотр ами», —
Потянулся к ней десницей
И поставил пред людьми,
Дабы те могли сторицей
Руки выплескать свои.
Черновласый, тонколицый,
Схожий с римской единицей
И десятеричным і,
Поелику в одиночку
Надо всем поставил точку
В гордом пламени стыда:
«Зимородок — Альциона,
Не вина ее — беда,
Если в поисках притина
Цесаревна Аквилона
Залетела в нашу тину

Отовсюду никуда.
Скифской мерзости пример —
Встать пред гостьей, точно хер.
Знай, рожденный бить баклуши
И давить зевая мух:
У осла велики уши,
Невелик ослиный слух!»

Напрягая ворот бычий,
Въяве грезит городничий:
Хер преломлен пополам,
Голый зад поверх колена,
И свисают оба члена,
Как углы, по сторонам.
Древлеросс, подобный козлам,
Враскоряку внемлет розгам
Вредоносных эпиграмм.
Русский бдением поносным
Перед гостем вышел монстром,
Это стыд, но пущий стыд,
Что в раченье самочинном
Дворянин над дворянином,
Жидовин над славянином
Экзекуцию чинит!

Зря попрание приличий,
Туго мыслит городничий,
Что в его полку служил
Маиор Нахимов-старший,
Николай (Нафанаил) —
В жизни словно бы в испуге,
В дружбе добр, в службе бодр.
(Дикой милостью монаршей
Сим Нахамам за заслуги
Даровал дворянство Петр.)
Пропуская годы мимо,
Достоял неколебимо
Городничий до ста лет,
Много пережил Акима,
Видел посрамленье Крыма
И сему открыл секрет,

Изумляя по гостиным
Захолустный высший свет:
Де причина всем кручинам —
Горбоносый адмирал:
Будь Нахимов славянином,
Севастополь бы не пал.
Аким Нахимов

1972

АРХИВНЫ ЮНОШИ

Забавное созданье человек.
Я, например, или Жозеф Денницын —
Влетел в архив, за полу тащит шубу,
Взметает аля леттр пыль веков:
«В столице — бунт! Почти из первых уст:
Ядром снесло Петрушу — конь и ноги,
Из Петропавловской стреляли в Зимний.
Коломна подоспела на подмогу,
Адмиралтейство тоже отвечало.
А гвардия — ее и след простыл.
Великий день: грядет другой Пожарский!» —
«Зачем он? — говорю. — Кого спасать?
Не нас ли от самих себя? Мы месяц
Лениво присягаем Константину.
Чего ж еще? Прекрасная пора...
Благослови, Всевышний, нашу лень!»

И Кока Мглинский тоже человек;
Сияющий младенец с толстой жопой,
А вызубрил и немцев, и французов:
«Две армии стоят у Петербурга.
Командующий первой — Витгенштейн,
Пружина в вахтпарадном сюртуке,
А во второй — шотландская овчарка,
Залысый белолобый Остен-Сакен.
Не иначе, один из них — Пожарский!»

«Да что Пожарский, разве мы горим?
Примите, — говорю, — из первых уст:
Герои ваши не идут в герои:
Пролаза-грек, мильонщик Астанзаки

Купил за полцены мундир и имя
И может взять на откуп пол-России.
А человек-пружина Выкинштейн —
Полишинель, упрятанный в шинель, —
Бежал от немца в Риге из вертепа,
Расстроил кукольное представленье
И жив, пока жандармы наши спят.
Уж если врать, друзья, извольте: Миних —
Тьфу, что я, Минин, русский гражданин:
Грядет с Кавказа генерал в ермолке —
Ну, в мурмолке — и плисовом халате
С гусарскими шнурами, как у Глинки, —
Он лень от истребленья сохранит».

Я не умею видеть через стену,
И Кока не умеет, и Жозеф —
А надо бы. Пока мы тут болтаем,
К Москве летят порожние возки —
Один, два, десять, сто, наверно, больше —
И растекаются по переулкам,
И окружают в сумерках дома
И наш архив. Три двери разом настежь —
По диспозиции иль мизансцене —
Кордебалет, помещичий театр,
Уездный фарс — на каждого из нас
По три солдата с ружьями на взводе,
По два жандарма с палашами дыбом,
По дворнику с метлой наперевес.
Смешно, противно и зачем-то жутко.
На каждого — возок, линялый кокон,
Рассохшийся от тряски и покляпый, —
Чтобы с удобством за пять сотен верст
Сквозь тоненькую арочку вкатиться
В казенный двор — и поминай как звали.

На следствии я пел и танцовал,
Жозеф, как говорят, метал перуны,
А Кока философию порол.
Друзья мои, зачем, друзья мои?
На людях всяк иной, чем по себе, —
Зачем же быть иным себе во вред?

Как говорит заслуженный пиита:
«Вся жизнь моя — ристание над бездной».
Ристай, ристай, ты камни вержешь вниз —
Из-под себя — и сам не загреми.
Что значит бонмотист и обормот?
Друзья: свободу. Петербургский дядя
За вахлачка легко замолвил слово.
Я поплясал, а он похлопотал,
Так что́ важнее, что́ меня спасло?
У Коки — дядя, у Жозефа — дядя...
Друзья мои, других мне не найти,
И по пути домой теперь осталось
Молиться на кладбищенскую церковь.

Проглянет солнце — и ему не рад.
Что может осветить оно? Такое,
Чему обрадуется сумасшедший.
Скорей бы ночь! Во тьме зажгутся свечи,
Оставшиеся съедутся на бал,
Чуть-чуть раздастся черная тоска.
Приедет не заслуженный поэт —
Он возвратился. Совестно подумать,
Что на больших весах существованья
Он перевесил сгинувших друзей.
...Забавное созданье человек...
И совестно сказать, что, слава Богу,
Мою Полину он не чтит вниманьем.
А что до вящей славы в поколеньях —
Слепой Козлов воспел ее красы.

1972

ШВАРЦ

ЧАСТЬ I. МЕТТЕРНИХ

1

Поди сюда, поди сюда, смутьян!
Я не кусаюсь, а — глаза в растрате.
Австриец, младочех и басурман
Передо мной сошлись в одном дитяти;

Перед тобой — отживший интриган
На солнце дрогнет в ваточном халате.
Я — призрак дел, ты — испаренье книг,
Но все ж немецкий — общий наш язык.

2

Идеалист, послушай лицемера:
Ты все в Европе проклял наперед —
Но это старомоднее Вольтера!
Ты пробуждаешь к жизни свой народ —
Опять ветхозаветная химера!
Потом народ пускаешь в оборот,
Дуришь его дурманом мессианства
И топишь в гуртовом котле славянства.

3

А что славянство? Далеко зашло?
В холодную, на царские полати.
Меж тем у нас привольно и тепло:
Когда страна — заплата на заплате,
Мундир не душит, и, срывая зло,
На братьев-немцев можно срать в рейхсрате.
Ну, как же тут не подрывать основ?
Прости, я для тебя не слишком нов?

4

Теперь, шаблоны школьные отбросив,
Взгляни на мир со всех шести сторон:
О диво! Недалекий Франц-Иосиф
Куда мудрей, чем сам Наполеон, —
В полях сраженья не багрят колосьев,
Дунай гудит под Брамсов камертон,
Избытком чувств клокочет оперетта...
Да, трудно жить в спокойный век расцвета.

5

Вооружись подзорною трубой —
И вот Европы скифская изнанка:
На Вацлавском мосту ко мне спиной
Среди сокольских спин твой ментор Ганка
В обвислой шляпе, с чинною удой,

И рядом, как у всех, ведро и банка,
Хотя он ловит души, а не рыб,
И ветер нам доносит жаркий хрип:

6

«...порукой древний Краледвор. Не много ль
Мы Габсбургов терпели произвол?
Пусть разум в сущем обнаружит Гегель!
И что за имя — истинный козел.
Другое дело — полнозвучный Гоголь!
Он вывел русский паровой котел,
Он сочинил чугунную дорогу.
Кто храбрый — гей в Россию на подмогу!»

7

Верь, верь ему, фантазии купай
В разлитии национальной скверны.
На скверну ты ответишь: «Маха, Май».
Но слов красоты краю соразмерны —
Дашь маху, коли хватишь через край.
Зачем отец твой, урожденный Черны,
Славянский, как и ты, провинциал,
Стал Шварцем и Европой забряцал?

8

Затем, что мать истории Европа —
Столица чести, чувства и ума.
В дерьме ж ее гнездится род микроба —
Спасительская русская чума.
Спасители не крышей — крышкой гроба
Покроют возводимые дома
И вместе с нами в них умрут. Ответствуй:
Того ли для тебя хотел отец твой?

9

Херр Шварц! Он был достоинства пример.
А ты схватился за бродяжий посох.
Ну что же, каждый врет на свой манер;
Но я, старик из кресла на колесах,
Скажу: Москва бранится словом «херр»,

Затем что у скуластых и раскосых
Достоинство не ставится ни в грош...
Ступай! Еще в герои попадешь.

Комментарии к ч. I.

Октава 1. *...Но все ж, немецкий — общий наш язык.* — Боборыкин в мемуарах описывает панславистский съезд в Чехии, где делегаты изъяснялись между собой на общеславянском, т.е. немецком языке.

Окт. 3. *...Когда страна — заплата на заплате.* — Австро-Венгрию называли лоскутной империей.

Окт. 5. *...Среди сокольских спин твой ментор Ганка.* — «Сокол» — гимнастическая и национальная организация в Чехии, основана в 1863 г. Вацлав Ганка — чешский русофил.

Окт. 6. *«...порукой древний Краледвор».* — «Краледворская рукопись» — фальсификация Ганки, выдававшего ее за памятник древнечешской словесности.

Он (Гоголь. — *А.С.*) *вывел русский паровой котел, // Он сочинил чугунную дорогу.* — «В обожании сына Мария Ивановна (мать Гоголя. — *А.С.*) доходила до Геркулесовых столбов, приписывая ему все новейшие изобретения (пароходы, железные дороги)»... (Данилевский).

Окт. 7. *На скверну ты ответишь: «Маха, Май».* См. ниже.

ЧАСТЬ II. ПУТЕШЕСТВИЕ

1

В Россию путь — на русском колесе.
Сокольский хор отгрохал «Гей, славяне»,
Момент — и в приграничной полосе
Богемской сталью кованые сани
Кресалят по рокадному шоссе,
И с гор бегут гуцульские крестьяне,
Чтоб искру драгоценную в горсти
Домой, до черной печки донести.

2

Во время оно кельты, карпы, даки
Здесь разжигали жизнь, и ей в ответ

Вопили жертвы, плакали собаки;
Но постепенно все свелось на нет.
Идет гуцул. Душа его во мраке
От перебытых зря двух тысяч лет.
Он шляпу снимет, с добрым днем поздравит
И добрый день до вечера отравит.

3

Сыреет в яме Лемберг, он же Львов,
От жалоб украинских самостиев:
Шинки рыдают о правах батьков —
Их, только их первоначальный Киев,
А москали пошли от комяков
И превратились в новый бич Батыев,
И тем страшней, что для царя хохол
Иуда Гоголь порох изобрел.

4

А по кофейням толк — уже немецкий:
«В Санкт Петерс Бурге силу взял масон,
Католик и поляк Мартын Пилецкий
(Распутный педель, что когда-то вон
Был выгнан из Лицея силой детской),
И двор славянством польским полонен,
И православью смерть в борьбе религий».
Герой решил проведать Ставропигий.

5

Се был Москвы передовой собор,
В австрийстем Риме община монасей.
К чужим дозор, а от чужих забор,
За коим сонм ученых ипостасей.
Там в русской филологии запор
Усердный тайнописец Копростасий
Навеки вызвал, «Слово о полку»
По вдохновенью взявши с потолку.

6

Ключарь открыл герою, что Украйна —
Окраина Руси. Другой монах
Хотел сказать про Киев, но нечаянно

Соврал, что был у Гоголя в гостях.
А бывший царскосел видал случайно,
Как Пушкин — ангелок о двух крылах —
В Пилецкого стреляет из рогатки.
С монасей дале были взятки гладки.

7

Из польской Праги прибыл скороход,
И братия, решась, Отца и Сына
Упорно молит ночи напролет,
Чтоб, не дождав до торжества Мартына,
Полупаны, студенты, прочий сброд
Восстали — ибо клин взыскует клина:
Да разрешит державный мордобой
Старинный спор славян между собой.

8

Бог свят. Закрыты русские границы.
Во тьме варить историю спорей,
И над душой не виснут очевидцы
С причудливым чутьем нетопырей.
Пилецкий клином выбит из столицы —
Ему Березов, каша и Борей.
Пока шалят варшавские смутьяны[1],
В Россию путь ведет через Балканы.

9

Момент — и в русском воинстве герой.
Яицкий есаул калмык Черняев
Стоит за брата сербского горой:
То щиплет оттоманских попугаев,
То ищет под дубовою корой
Добро упрямых, как дубы, хозяев.
Узрев российства с азиатством связь,
Союзников домой спровадил князь.

10

Вот Чичиков досматривает сани.
По щиколотку потонув во мху,

[1] Вариант: Пока рычат варшавские полканы.

Хор трубачей выводит «Гей, славяне».
Пустырь. Кусты. Поодаль на ольху
Пейзанин в монополечном тумане
Наносит милый вензель «Ха» и «У».
Знакомый мир — за полосатой гранью.
Герой, прими награду за старанья.

Комментарии к ч. II.

Окт. 1. *В Россию путь — на русском колесе.* — «В России большую часть года полозья заменяют колесо» (Де Кюстин).

Сокольский хор отгрохал «Гей, славяне»... — Имеется в виду панславянская песня (муз. Огинского), впоследствии — государственный гимн Югославии.

Окт. 2. *Он шляпу снимет, с добрым днем поздравит // И добрый день до вечера отравит...* — «Самый вид гуцула надолго поселяет уныние» (Адам Олеарий).

Окт. 3. *...Шинки рыдают о правах батьков...* — Ср. укр. «шинки» с рус. «сынки».

Иуда Гоголь. — Гоголя звали Николай Васильевич.

Окт.4. *Масон... Мартын Пилецкий // (Распутный педель, что когда-то вон // Был выгнан из Лицея силой детской)...* — Действительный факт. См. роман Писемского «Масоны».

«Двор славянством польским полонен, // И православью смерть в борьбе религий». — Такая возможность имела место в начале XIX в.

Герой решил проведать Ставропигий. — Ставропигийский институт — старейшее православное научное учреждение; служил российским интересам в Австро-Венгрии.

Окт. 5. *...В австрийстем Риме община монасей.* — Католическая Священная Римская империя германской нации распалась во время наполеоновских войн.

...Усердный тайнописец Копростасий. — Копростаз (*греч.*) — запор.

Окт. 7. *Из польской Праги прибыл скороход...* — Польская Прага — предместье Варшавы.

...Чтоб, не дождав до торжества Мартына, // Полупаны, студенты, прочий сброд // Восстали... — «Поляки сами всегда губили свои шансы на независимость и даже господство над Россией» (Ключевский).

...Ему Березов, каша и Борей. — Березов — место ссылки в XVIII в. См. картину Сурикова «Меншиков в Березове».

Окт. 9. *Яицкий есаул калмык Черняев...* — Не все догадываются, что «яицкий» происходит от р. Яик (ныне Урал).

Окт. 10. *...Пейзанин в монополечном тумане...* — Винная монополия была введена в 1896 г.

ЧАСТЬ III. АПРАКСИН ДВОР

1

Россия для приезжего — орех,
Который надо разгрызать зубами,
Экзаменуясь под зевотный смех
На роль в еще не сочиненной драме
С негаданной развязкой. Юный чех,
Как чацкий мотылек, летел на пламя
И сам подставил шею под удар,
Порхнувши с парохода на пожар.

2

Апраксин двор горел стоймя, как свечка.
Спекались кожи, фыркали меха,
Искрило сало и стреляла гречка.
У красного родного петуха
Народ локтями добывал местечко
Поближе к пре, подальше от греха.
Купечество учло небес немилость
И воевать стихию не стремилось.

3

Герой с разбегу взял барьер толпы,
Нырнул в бурун крошащегося крова
И вынес штуку ситца, куль крупы
И дикого с похмелья домового, —
Но не разгрыз расейской скорлупы
И был предъявлен в качестве улова,
Когда пожарный заспанный обоз
На поджигателей повысил спрос.

4

Всегда фекаловатый Чернышевский
Петролеем и серой вдруг запах;

Он выскочил на освещенный Невский
В покрытых свежей копотью очках;
Ему навстречу мчался Достоевский;
Городовой был рядом, в двух шагах,
Но по гнилой интеллигентской складке
Писатель не донес и слег в припадке.

5

А встав, он поднял виденное зло
До эсхатологического чина:
«Отечество нам Царское — Село,
А Верховенским адская — машина:
Безумцы бредят, что в аду тепло,
Что бытие — колеса и пружина,
Что надо рвать Россию, как запал,
Чтоб мир взорвался и в тепло попал».

6

Москва гудела, запирая крепость:
«За Бологим чадит чухонский хлев!
Неправый левый видел в нас нелепость,
Но если правый прав, то левый — лев
И днесь являет зверскую свирепость,
Как здесь являют мудрый древний гнев:
Мы, москвичи, пошли от Хомякова
И нам с Европой спорить ох не ново».

7

А в Питере мундирный воротник
Героя притеснял в казенном доме:
«Тебя из чешской Праги Матерник
Прислал погнить в холодной на соломе?
Ты бунтовщик, ей Богу, бунтовщик
И живо загремишь к царю Ерёме.
Нам твой дружок Поганка не указ:
Ни херр отсюда ни хера не спас.

8

Орех раскрылся дружбой часового:
«Ну что ты, что ты, это, брат, того,
Того, а не чего-нибудь иного —

Оно ведь, право слово, ничего,
Тем более что ничего такого
И, стало быть, сойдет безо всего.
Вот так-то лучше. Ладно, не печалься,
Рассудит Карла Карлыч. Он начальство».

9

«Вы взяли имя Черный? Это жаль.
Верните Шварц. В России хватит черный.
Вы, как герой с балканская медаль,
Найдет занятий чистый и просторный —
Учить московский барышня рояль.
Российский человек — слуга покорный,
Хороший человек. Вы заживет,
И ни назад не надо, ни вперед».

Комментарии к ч. III.

Окт. 1. *...Порхнувши с парохода на пожар.* — Пароходом первоначально называли паровоз. См. «Попутную песню» (муз. Глинки, слова Кукольника).

Окт. 2. *...Поближе к пре, подальше от греха.* — «Пре» — дат. от «пря».

Окт. 4. *Всегда фекаловатый Чернышевский...* — Из дневника Чернышевского от 16 дек. 1848 г.: «...в баню за 7 к. сер., много народу было, однако ничего, вымылся, кажется, хорошо. Пошел, собственно, потому, что на подбородке стала от грязи дрань, руки слишком загрязнены от кисти до локтя, и дело свое в нужнике слишком делал грязно и неловко, так что все должен был чесать».

...Но по гнилой интеллигентской складке // Писатель не донес. — «Представьте себе, — говорил он (Достоевский — *А.С.*), — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились бы к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы по-

шли бы? — Нет, не пошел бы. — И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода, набивая папиросы. Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые не позволили бы это сделать. Это причины прямо ничтожные. Просто — боязнь прослыть доносчиком» (Суворин, «Дневник»).

ЧАСТЬ IV. ШВАРЦ

1

Сто лет Россия киснет без реформ
И колупает старые болячки.
Страну пустили на подножный корм,
И я, дошкольник, озверев от жвачки,
Алкая цельных красок, чистых форм,
Вязался с бабкой в гости, ждал подачки
И с нищих брал свой нищенский оброк —
Открытку, марку, царский пятачок.

2

Однажды нас окликнули: «Ирина
Никитична, зашли бы! Это внук?»
...Под белым полотенцем пианино,
На нем Бетховен, Моцарт, Гендель, Глюк,
На полочках фарфор, фаянс и глина,
По стенам Беклин, Рафаэль и Штук
В багете под стеклом. С голодным жаром
Я прилепился к дивным обжедарам.

3

Седой хозяин был заметно рад:
«Мой друг, я вижу, ты прекрасным занят.
Ты видишь то, чем славился Закат:
Пока хватает глаз, гляди на Запад,
Пока хватает сил, иди назад —
Иначе можно обезуметь за год...
Ты любишь ли стихи? Сильней всего?
Вот чешский Пушкин, гений, божество.

4

Он прожил двадцать три или четыре,
Но Махе поклонился весь народ:
О Данте, о Гомере и Шекспире
Чех слышал слух — и видел перевод.
Да что такое русский Пушкин в мире,
Сам Бог отсюда вряд ли разберет.
Вселенские проистекали души
Лишь из вселенских языков. Но слушай:

5

«Был поздни вечер, првни (первый) май,
Вечерни май, был ласки (ласки) час,
Звал благовоньем вдаль боровы гай,
Звал к ласки грам грдлички (птички) глас...»
Как музыка. Но нет, не понимай,
Что это слышит кто- то кроме нас:
Наш чешский слишком избранный сосуд.
Учи немецкий — все тебя поймут.

6

Ах, немцы! Я взрывался, как шутиха,
И проповедал ложный идеал,
За что имел отслушать Меттерниха —
О, как он врал, какую правду врал...
И здесь у вас, когда изведал лиха,
Мне русский немец в руку подыграл.
Ах, если бы философ нами правил,
То русским немцам памятник поставил!

7

Без немцев, господа, не вглубь, а вширь
Растет когда-то славное славянство,
Историю свою ведет в Сибирь,
А географии дает дворянство.
Без них кругом китайский монастырь,
И если где-то шум, то, верно, пьянство,
А если книга, то словесный сор,
Как «Слово о полку» и «Краледвор».

8

Так что меня к России повернуло?
Я услыхал, что Запад — западня,
И убежал от участи гуцула.
О, как меня звала назад родня!
Но тут болото мигом затянуло,
И силы вдруг оставили меня...
Друзья, прошу прощенья за ворчанье;
Примите этот снимок на прощанье».

9

Прямой старик на жактовском дворе,
При галстуке, с лопатой, возле тачки;
Покатый лоб в косматом серебре,
Усы на взлете — никакой потачки,
Напоминатель о былой поре,
Живой и бодрый в центре общей спячки;
А ближе — клумба, кажется, в цвету
И рамка, подводящая черту.

1972—1973

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА К ПОЭМЕ

Меттерних, Клеменс (1773—1859) — князь, австрийский канцлер.

Шварц, Александр Александрович (1852—1940?) — чех-музыкант, бабушкин знакомый и сосед.

Франц-Иосиф (1830—1916) — император Австро-Венгрии.

Ганка, Вацлав (1791—1861) — чешский филолог, публицист и фальсификатор древностей.

Гоголь, Николай Васильевич (1809—1852) — русский писатель.

Маха, Карел Гинек (1810—1836) — чешский поэт.

Пилецкий, Мартын Степанович (1780—1859) — воспитатель Царскосельского лицея, масон.

Польские восстания имели место в 1830—1831 и 1863—1864 гг.

Черняев, Михаил Григорьевич (1828—1898) — русский генерал.

Русское вмешательство в Сербии имело место накануне русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Апраксин двор горел в 1862 г.

Чернышевский, Николай Гаврилович (1828—1883) — русский литератор.

Достоевский, Федор Михайлович (1821—1881) — русский писатель.

Хомяков, Алексей Степанович (1804—1860) — славянофил.

Ирина Никитична (1877?—1952) — моя бабушка.

СЧИТАЛОЧКА

От небритости колюч
Вышел месяц из-за туч
Послонялся над поселком
Понаделал зубьев елкам
Поболтался над рекой
По песку провел щекой
И смотался
Утром рано
Смотрят дачники
В длину
Всей реки
Погранохрана
Протащила борону

Ваше милое здоровье
Нет уж ваше Это что ж
Госграница в Подмосковье
Не проедешь не пройдешь
Это ж более чем это
Ваша мать Едрена вошь

Председатель поссовета
Бывших красных каторжан
Яков Сарыч Суперман
Поскакал искать совета

На столе седьмой стакан
И пузатый словно бомба

Трехведерный самовар
Квартирант
Четыре ромба
Спозаранку гонит пар
Командарм товарищ Урин
В заседаниях прокурен
Надо воздухом дышать
К сообщению прищурен
На глаза спускает прядь
По воззрению нахмурен
Кто-то будет отвечать
И не видя что сказать
Тоже помнит вашу мать

Яков Сарыч скачет вон
Не удово летворен

Балетмейстер Агний Птица
Рассуждает на вопрос
За границей — заграница
Кто по случаю случится
И боязни не боится
Там
Для габтовских мимоз
Или мхатовских берез
Добывает фильдекос

Заглотав такие речи
Сарыч крыльями гребет
И пыля желает встречи
С категорией народ
А народ как на картинке
У крамольной полосы
Апаше
Полуботинки
Кепки
Тапочки
Трусы
Платья
Зонтики
Панамы

Тюбетейки
Галифе
Майки
Тенниски
Пижамы
Гимнастерки
Сарафаны
Полотенца на плече

Нам бы только окунуться
Окунуться и вернуться
Выпить чаю с сапогом
И на станцию бегом

На работу на работу
Опоздания у нас
Подвергаются учету
За минуту под указ

И еврей Исай Механик
Чует нацией Госстрах
И открыв пожарный краник
Рухнул кучею в слезах

Грубияны Пьер и Петя
Понимают все на свете
Может выгорит
Пора
Обмахнуть свою планету
Если под бок Магомету
Вдруг подъехала гора
Или может по секрету
Где-то что-то началось

И ушли ступая на ночь
Через речку на авось

За окошком Яков Сарыч
Кепку вешает на гвоздь
И за пачкой папирос
Сочиняет в Наркомспрос

Вышел месяц из тумана
Вынул ножик из кармана
Буду резать буду бить
Буду родину любить

Полномочный Филька Шкворень
По привычке смотрит в корень
Бывших красных каторжан
Подчистую в Магадан
Их дома на постоянно
Передать под детский сад
А смутьяна Супермана
Размолоть в суперфосфат

Закачались палки елки
Дрогнул мир при свете фар
И фугасный самовар
Разлетелся на осколки

Разложенец бывший Урин
В помещении бравурен
И за лишний тарарам
Получает девять грамм
Балетмейстер Агний Птица
Очень может пригодиться
В политическом вопросе
За границами везде
Погорит на фильдекосе
Сам запросится в Уде

А еврей Исай Механик
По профессии кларнет
Угодив-таки в предбанник
Обратился в Наркомбед
Похвалил казенных нянек
Всем доволен жалоб нет
Но сознательно печален
Тут всего товарищ Сталин
На сто нас один портрет

Меж кустов паучьи сети
Время возле сентября

Грубияны Пьер и Петя
Вроде шастали зазря
В перекрашенном поселке
Копошится детский сад
Самоварные осколки
В чистом воздухе висят
Что упало то пропало
Что прошло то миновало
На сегодня кончен кон
Пьер и Петя вышли вон

Январь 1973

НА ДАЧЕ

Сигети в восторге от Буси Гольдштейна
Клемперер поцеловал руку Брюшкову
А я больше всех люблю Льва Оборина
Нейгауз про него сочинил стишок
«Велик Оборин он и робок и Лев»
Если прочитать справа налево —
То же самое что слева направо
«Велик Оборин он и робок и Лев»
Я не знал что Нейгауз пишет стихи
Конечно Нейгауз Игумнов и Гольденвейзер
Большие виртуозы но какие-то не наши
Вот Миля Гилельс и Лиза Гилельс
Получили первые премии в Варшаве
Но самая талантливая Роза Тамаркина
Такая молодая и вдруг умерла
Оксана Петрусенко тоже умерла
Говорят неудачный аборт от Ворошилова
Знаете он в Киеве был на маневрах
Мне наркоматская массажистка говорила
Мейерхольд зарезал Зинаиду Райх
Шпиллер повесилась из-за Козловского
Теперь ему назначили спецохрану
В Кратове у дачи Лемешева в выходной
Забрали четыре машины лемешисток
Из-за него утопилась Пашкова и Целиковская
Пришлось отменить премьеру у Вахтангова
«Ромео и Джульетта» постановка Охлопкова

Музыка Хренникова слова Исаковского
Неправда мы были на этой премьере
Пашкова играла Сакко, Целиковская Ванцетти
Не Сакко и Ванцетти а Монтекки и Капулетти
«Сакко и Ванцетти» это карандаши
Карандаши что-то совсем не пишут
На обложках пушкинских тетрадок вредительство
Из моря у дуба выходят белогвардейцы
Вещий Олег — вылитый Бухарин
А если перевернуть тетрадку с Калининым...
В учебнике истории для пятого класса
На пуговице у Ленина фашистский знак
Не верите сами посмотрите в лупу
Какая гадость кому это нужно
Мы живем никому не мешаем
Почитайте «Гитлер и Германия» Эрнста Генри
Как же почитайте ее изъяли
Вы читали окончание «Тихого Дона»?
Говорят Шолохов пишет не сам
Говорят говорят мало ли что говорят
Про других ничего такого не говорят
Правильно что писателей надо критиковать
Здорово Ильф и Петров придумали
«Критиковать значит крыть и ковать»
Старостин подковал вратаря Замору
Ему запретили бить с правой ноги
Эйзенштейна опять крыли и ковали
Любовь Орлова развелась с Александровым
Вдова Чкалова и вдова Серова
Снимаются в картине «Свинарка и пастух»
Я думала вдова Чкалова выйдет за Белякова
Правда у Серовой роман с Симоновым?
Что вы что вы подымай выше
Я слыхала что Молотов любит балерин
Давайте лучше заведем патефон
Только не Козина — тембр такой приятный
Такой лиричный и надо же чтобы
Утесова не надо у самого голоса нет
А тянет за собой эту пищалку Эдит
Говорят на даче у них написано
«Нам песня строить и жить помогает»
Заметили в «Сулико» неприличное слово?

«В поисках уйдя далеко» Ничего себе
В других песнях у него то же самое
«Служили два друга в нашем полку»
«Широка страна моя родная» не лучше
«Много в ней лесов полей и рек»
Скоро будет страшно подойти к патефону
Да что вы Утесов такой душевный
Жить не могу без его «Парохода»
И «Легко на сердце от песни веселой»
Давайте поставим «Эх хорошо»
Нам ведь на самом деле хорошо
Столько молодежи все такие талантливые
Везде занимают первые места
Будем честными время ласковое

1973

ЗИМНИЕ СТРОФЫ

I

По Москве, как обычно, шатались Гиштонцы,
Гишпанцы, Гишландцы и прочий Зюйд-Вест и Норд.
Визитеру инкогнито Виллему Хенрику Монсу
«Сахотеель себья слобода намен Франс Лефорт».

Вилли Монс был потомком петровского патера.
Он прославился тем, что в вечерней «Гааг Газетт»
Заявил, что папанинцев было пятеро:
Пятый был Просоданов (в дальнейшем утерян след).

В обтекаемом мире удобно упрощены связи —
Сообщенье наутро читали на ста языках.
Романтический блик на густой политической грязи
Позабавил Европу, поверженную во прах.

На ростках и руинах резвились бесхозные дети,
Листовое железо небес сотрясали латунные глотки громык.
Было время судов. Из земли выходили свидетели,
Недостаточно знавшие русский язык.

Во дворцах заседали возвышенно и лицемерно.
На столе перед каждым скрипел целлулоидный флаг.

Мир давно переплюнул Платона, Дефо и Жюль Верна:
Просоданов восстал из имперских бумаг.

Соучастник какого-то исполкома,
Русской печи размах и подзола податливый стих,
Весь пшеничный, продельный и васильковый,
Улыбнулся — и славу распили на четверых.

II

Трасса вечно в ремонте. Машина считает ухабы.
Перерыв на обед. Над забором слепые часы.
Землекопы с цигарками. Черные, в ватниках, бабы
Возле пастей продмагов выстраиваются в усы.

«Я хотель мне увидеть немеески кладбушке...»
Кроме парочек, кто забредает сюда?
Ну а Вилли услышал — грохочут потешные пушки,
Юный Петр сокрушает игрушечные города.

А потом в ассамблеях полно иностранцев
Под единым российским названьем: Немчин.
Костомаров еще не успел поделить на Гишпанцев,
Гишландцев, Гиштонцев и прочих заезжих Мущин.

Над маршалем Вобаном изволят персоны и лица
Надрывать в конверсациях тонкие ниточки тайн.
Ритурнели играют. И не шевелится
За спиной ненасытный Кит Китыч Китай.

Дорогие могилы оставили люди в России.
А Россия забыла. Растила на них лебеду.
Время было домарксово: за усилья
Получали приезжие не по труду.

Но чтобы туриста извлечь из кладбищенских зарослей:
«Зеен зи? Новостройка. Гебаут». — «О, я». —
«Вир марширен».
Здесь Москва вылезала в буэносы-айресы
И на эпос выклянчивал каждый аршин.

Всюду елок борьба за сосновые высшие принципы,
И поэты, как черта, чураются длинной строки.

По земле поспешают калошные аргентинцы,
По-боярски задравши барашковые воротники.

На оазисы дышат колючею злобой барханы,
По песчинке стекает единый великий песок.
На хромых лошадях спотыкаются чингисханы,
И опорой у моря замер Владивосток.

III

Вилли был здесь в тридцатых. Работал посильно,
Создавал эталоны тарелок, турелей, тазов, мисок,
масок и касок кастрюль, капониров, корыт.
Улыбаться Востоку считалось тогда прогрессивно.
Возвращался Куприн, наезжал Андре Жид.

И казалось, что вдруг на казанских тишинах,
Там, где Богвтехнопомощь и новый Потемкин-Дерстрой,
Происходит вселенское исправленье ошибок,
И исправленный мир, сами видите, не за горой.

Не петровское шуточное переодеванье —
Направленье не то и начальственный дух не Петров,
Да и гонка такая, что меридианы,
Затрещав, остаются в шершавых руках шоферов.

Хитрый Шоу сказал: «Хорошоу» — и, фигу в кармане
Затаив, покатил на родной Белорусский вокзал.
И бежали за Шоу якуты, киргизы, армяне.
Вилли тоже бежал, но потом понемногу отстал.

IV

Кто вас тронул за локоть? Все тот же ветер...
Мерно тикают в небе слепые куранты властей. Тишина.
Под чекистские шорохи туго светающих веток
На постели ворочается страна.

И не верит, и верит приписанный к Аргентине,
Беспартийный, продельный, крамольный, глухой, винтовой,
В то, что был кто-то пятый на исторической льдине,
Что китайцы желают не мира, а две плюс одна мировой.

В то, что люди без спичек, не ведая, как обогреться,
После общего бенца забившись в забытый закон,
По хохлацко-бурятской степи поплетутся к второму прогрессу
Под эгидой монгольского слова ООН.

31 декабря 1955—1976

. . . . . .

что ем их русский хлеб, чтоб лучше у-
бирался и что там мне будет хуже.
Но я же не скажу, что хлеб канадский.
Потом переживаю, пережe-
вываю, говорю с самим собой...
Не смейтесь над несчастным инвалидом.
Вы не смеетесь? Правда? Извините,
я, кажется, ошибся к вам окном.
Я дверью, если поздно, избегаю —
кругом соседи, длинный коридор
коленом. Получать под зад коленом?
Спасибо.
Есть окно. Спасибо, первый
этаж. У вас второй? Ну да, ошибся.
В мои года и вы начнете путать.
Нет, я не сумасшедший: вы живете
Олеко Дундича,четыре, восемь,
а я четыре: я как раз под вами.
Над головой ни топота, ни крика,
ни телевизора. Я удивляюсь —
интеллигентный тихий человек.
Я вас давно заметил и — простите —
хочу поговорить с разумным русским.
Вы не боитесь? Я не помешал?
Спасибо, не курю. Вот чай — спасибо.

Что хорошо, так это быть не дома.
Сидишь — никто не застучится в дверь,
что я забил их унитаз капустой.
Вы оцените: я и вдруг капуста!
И не припрется патриот Белявский:
«Послушай, ты позоришь переулок
Олеко Дундича. А если Тито

захочет вдруг приехать посмотреть
на память югославского героя?
Из-за таких, как ты, нам будет хуже». —
«А что мне Дундич? Так, рубака-парень.
Я сам бывал на фронте. Только псих
под пулями гуляет с папироской.
Я б с Дундичем в разведку не пошел». —
«Ага, проговорился, сам сказал:
«Я бздун». Ты бздун и судишь по себе.
Ты ненавидишь нас за нашу славу».

Он прав. Я мало верю в славу. Я
всю жизнь боялся, всю. До революции — погромов, после революции — своих же комиссаров:
они забыли счет,
что нас — чуть-чуть.
В тридцатых — это ужас, что в тридцатых!
В войну боялся немцев, после — русских:
вы вспомнили, что вас-то — ой-ой-ой!
Вас — не боюсь. А почему? Сказать?
Я видел вас с учебником иврита
тут, за столом, в окно: я дальнозоркий.
Вы тоже, да? Ну да, не к, а от.
Вы русский, значит, вам не будет хуже.
Там ничего, но много трескотни.
Я это знаю, потому что знаю.
Ну, просто я там был не так давно.
Ну, был и был. Не можете поверить?
У вас тут есть альбом «Иерусалим».
Вот посмотрите: двор, а это дом.
А кто идет по лестнице? Узнали?
Ну то-то. Каждый может, как умеет.
Мой сын с невесткой подали и ждут.
Начальники грозятся больше года,
а я считаю так, что им завидно.
И есть чему — ведь это правда счастье,
когда чего-то ждешь, и есть надежда,
и разочарованье не сейчас.
А я? Что я? Я прожил слишком много.
На что мне счастье, было б хорошо.
Но хорошо ни здесь, ни там не будет.

Мои уедут — что ж,
и я тогда подам —
отцу нехорошо быть хуже сына, —
а повезет — не доживу до визы.

Вы замечаете — все вверх ногами.
Стол вверх ногами, мы ногами вверх,
сидим на потолке; над головой —
линолеум, ботинки и диван.
Но почему не падает диван?
И шкаф, и книги с полок? Может, мы
уже в Австралии? Мы антиподы...
Тсс! Тише! Это патриот Белявский.
Меня нашли, какой там к телефону!
Скорее уберите мой стакан.
Прощайте. Я в окно. Все вверх ногами,
и я имею шанс упасть на небо.
Пустите! Я уже держусь...

16 мая 1973

МОЛЧАНИЕ

Просвет меж веток чист
Высокий купол пуст
Просох опавший лист
И вдруг багровый куст
Квадратный чинный луг
Сухой австрийский лист
В Лесу на белый бюст
Набрел сюрреалист

Все чуждо что вокруг
На полпути на юг
Движенье и пейзаж
Дыханье и словарь
Похож один портрет
Усталый белый бюст
Похож Почти что наш
Освободитель царь
На большем склоне лет
Освободитель царь

Ушел в подполье дом
Жилье слилось с быльем
Быльем порос родник
Расчищенный с трудом
И мыслящий тростник
В краю запретных книг
Удерживает крик
Не размыкает уст
Кричит Кричит
молчком

Чтоб отчужденный крик
В безжизненной среде
Рождался как бы сам
Не наводил на след
Не подводил под суд
А словно был ответ
Собрата по беде
Так утвердилось там
Так повторилось тут

Я Я хочу сюда
Хочу остаться здесь
Мне надо быть неда-
леко оттуда Есть
Естественная честь
Хранить хотя бы часть
Попав на новый круг
Насущный даждь нам днесь
Я вырвался сюда
Отсюда гонит власть
А там остался друг

Багрово-черный куст
Весь прогорел насквозь
Но не посмел опасть
Усталый старый бюст
Не размыкает уст

Мой сударь что стряслось

Стряслась земная ось
Напал взаимный сглаз

Мы покатились вниз
За скобками у вас
Осталась напрочь Транс-
И три четвертых Цис-
Но в скобках вы спаслись
А мы вот разрослись
За скобки Но внутри
Но что у нас с людьми
Молчу Шуми шуми
Послушное ветри-
Размежевался свет
И век на Да и Нет
На тот и этот свет
И то где кто живет
Слывет за этот свет
Или наоборот

И нет ни Да ни Нет

Кругом порочный круг

Я вырвался сюда
Отсюда гонит власть
А там остался друг
Привычная среда
Болезненная страсть
Всему что есть вокруг
Давать двойной ответ
По месту жизни Да
По отношенью Нет
Я вырвался Я здесь
Он там или Бог весть

Должно быть он решил
Не покидать родник
Заглохший под быльем
Или не стало сил
И воли на подъем
Но нет Он проводил
Меня в тернистый путь
И если разомкнуть
Реченье Путь Тернист

Мне достается Путь
Ему боюсь Тернист
О кто бы доказал
Какая часть мудрей
Традиционалист
Он почитает вас
Добрейшим из царей
И положить букет
И рассказать рассказ
Просил Но денег нет
И в мыслях теснота
И все ж я наломал
С горящего куста
Букет на ваш алтарь
Вот так и мы горим
Примите государь

Спасибо пилигрим

Ноябрь—декабрь 1974

МАРАМОРОШ

поэма

Всё теперь по Москве: не вступишь — прощай весы. И не то беда, что вступил, — все там будут, — а то, что в партии пьют. И помолиться за тебя неудобно.

На горе из кустов Ривка помешанная зовет:

— Дядя Георге, когда на Москву поезд?

— Откуда мне знать?

— Ты ж на железной дороге!

Идет Марюкин отец пьяный домой, тоскует. Два часа на носу. Над Говерлой звезда зажглась, одна, как свеча, не к добру.

Так и есть: дорога уже не ведет. Впереди вода, слева вода, справа тоже вода, сзади, где только шел, обратно вода. Не должно быть воды на горе!

Дома мама с Марюкой изводятся — нет отца, хоть ищи. А как искать? Не на улице ночью страшно, в своей ограде.

Вчера отец подбивал Марюку:

— До помидор дойдешь — десять рублей дам.

Марюке деньги вот так нужны: язык до Тячева доведет, а до Хуса — плати. Но не идти же ради десятки ночью на огород!

(Хус, конечно, не Хус, немножко не так, но все говорят «Хус», чтобы русских не обижать, хотя русских в Солотчине нет и не было.)

С петухами мама с Марюкой смотрят — колодезный журавель сам собою качается. Ходит бадья вверх-вниз, в бадье отец спит. Стали его будить — добудись тут!

Попа к отцу теперь не позвать. Хорошо, есть бобыль, дед Жован, он разное может. Отнесла ему мама новые ватные шаровары, а он в них харк! — и скорей в солекопню плевок смывать. Бросил в соленую лужу, сверху опять присолил. Натянул на себя, согласился:

— Поедем в Италию.

Дома отцу петухом крикнул в ухо, потом в другое. Проснулся отец — ничего не помнит. Помнит одно, что вступил и пить теперь должен.

Всё теперь по Москве, а Москва — она где? Никто не знает, и Ривке помешанной не узнать, хоть весь мир спроси, хоть столетнюю бабу Марию — баба разное знает, и хвост у нее обезьяний.

Бегут за Марией по Тячевской мальчишки, а может девчонки, кричат:

— Ведь-ма, ведь-ма! — и за хвост норовят ухватить.

Она их черными юбками отрясает, а после с порога глядит дурным глазом.

Из-за Москвы в Солотчине полдень теперь в два часа. А всё случается в полдень.

Марюка на часики глянула, вспомнила:

— Домой пора, два часа...

И тут же Дица далеким голосом зазвенел:

— Помогить, помогить, тону...

Друг его Гица как был в новых брюках — бултых в Тису, да как бросится — нет, не к Дице, на ту сторону, там и пропал в камышах.

А Дица звенит комаром:

— Тону, тону, тону... — и плывет ногами вперед, головой воду черпает.

В корни у берега врос ногами — не оторвать, голова под воду ушла.

Тот же час и столетняя баба Мария душу свою отдала — Богу, а может, не Богу.

Увидали мальчишки — осела она на пороге, и хвост обезьяний сухим корешком из-под юбок выкатился — хватай, кто смелый! И смерклось вдруг, и град без дождя помидоры побил. Не Дица это, тут баба Мария.

Хоронить бабу — не труд, хвалиться некому, да и поп не к селу.

Поворчал дед Жован, утешил:

— Может, поедешь в Италию.

И зарыли бабу — авось успокоится.

Не то с Дицей: отец.

Когда сосед дом строил, отец свой по камешку разобрал, чтоб фундамент узорами, как у соседа.

И чтобы всё по Москве, поставил в горнице ванну из самого Хуса и к ней — электрический кипятильник, как граната, но белый, фаянсовый, изнутри спираль выдвигается, от немцев остался.

Хус ничего себе, тоже столица. Жупа его, если по-старому, не в обхват на двух берегах Тисы. И за границей должны слушаться, но не слушаются, потому что граница.

Не успел отец Дицы крышу покрыть и в ванну залезть — как сына пора провожать.

Отцу только бы похвалиться.

Невесту сыну купил на похороны самую лучшую. Кто лучше Марюки?

Отец у нее весовщик на железной дороге, деньги десятками считает, дочь обучает в Шишгороде.

И Марюка сама ничего — кто добрее в Солотчине, кто красивей? Такой не грех Мариорой зваться — да это в городе можно, здесь засмеют.

Дица-то ей не парень.

Марюкина парня не знают.

То есть все его знают, не знают, что он Марюкин.

Потому что это мадьяр Хорват Аттила, а за мадьяра родные голову оторвут.

Конечно, мадьяры ребята культурные и по-румынски умеют. Правда, румыны тоже могут по-ихнему, но, уж если придется, кличут мадьяр по-русски. Дед Жован мадьяра в Италию не позовет.

Всё теперь по Москве, а Москва — она всюду.

Загнали Марюкина парня в армию, спасибо, недалеко, в Хусскую жупу. То Марюка к нему в Хус съездит, то он к ней в Солотчин по-разному прибежит. Хус — не Тячев, не ближний свет...

Велика Хусская жупа, а если взять больше, получится Мараморош. Лектор болтал: Мараморос — «орос» по-мадьярскому — русский. Русских в Хусе полно, каждая собака брешет:

— Я русская.

А в тридцать девятом году там была Украина. Братья Августин и Максимилиан Волошины назвались Украиной, воевали со всем светом — и с Москвой, и с мадьярами, и со словаками. Кто победил — не понять. Вроде бы не они, а вроде бы и они: Украина так и осталась. Да черт с ней! Вот что неясно: кто когда мадьяр спрашивал, как называть жупу?

Стоит Марюка у гроба, шапка на ней невестина, черная, шитая, сзади две ленты. В гробе — Дица, ноги ковдрой покрыты, чтобы корней не видать — так приросли, что рубить пришлось.

Народу идет — от Тячева. Гости в ограде, за оградой — баба Мария ходит, чего-то просит. Всегда просила — теперь-то чего бояться? Да и время не два часа.

Поп Поп пришел, молитву прочел, поклонился Солотчину:

— Простить Дице грехи его, вольные и невольные.

А какие у Дицы грехи? С мадьярами разве дрался — так кто не дрался? Румыны — ребята грубые.

Из людей Ривка помешанная выступает, на голове коробка от торта, сзади ленты черные, матросские, с якорями — тоже невеста:

— Здравствуй, поп Поп, сына тебе родила я, а до сих пор все невеста!

Поп Поп краснеет, бледнеет, смирный такой человек, вдовец, девок бегает. Сына у него два взрослых — один в армии, другой в лагере — какой тут еще сын? И Ривка жидовской веры.

— Не бойся, поп Поп, не твоя я невеста. Я Хрущева невеста, только все до Москвы не доеду.

Надоело Марюке у гроба плакать, глянула незаметно на часики: два часа...

Всех растолкал, прибежал Гица мокрый, без новых брюк. Как на той стороне пропал — оказался в корчме, сунул десятку с Лениным — ниоткуда двое, одетых в одно: пограничники. Увели, новые брюки забрали.

Увидел Гица Марюку, кричит:

— Невеста, пляши со мной! — и деньги из рукава сыпет.

Гица на брошенных солекопнях шофер. Там под землей приезжих от астмы удушьем лечат. Бедные туда не приедут. Гица всегда деньги считал десятками. Но теперь-то они откуда? За границей забрали всё!

Сыпет Гица десятками, требует:

— Музыку! Танец невесты!

Тут же из-под земли двое цыган, толстый и важный. Толстый на брюхе аккордеон пробует, зубы скалит. Важный скрипку к плечу ладит, вдоль носа смотрит.

Гица столько насыпал, что похороны перекупил — теперь у него свадьба.

Дице глаза закрыл десятками, кличет Марюку:

— Пляши!

И она отказать не смеет: куплена и перекуплена.

Вдруг собака большая, какой никогда не было, прыг на Гицу — свалила! Зубы кажет, но не грызет. Не грызет — значит, это Аттила из Хуса на помощь пришел, а не грызет потому, что мадьяры — ребята культурные.

Все молчат, как заснули.

Один поп Поп не заснул, добрый такой человек — перекрестил Гицу с собакой, перекрестил людей — цыгане под землю ушли, собака пропала, Гица бежать — за ним отец с топором до Тячева гонится.

— Омойте грехи, — просит поп Поп.

Всех он перекрестил, как всегда, обо всех подумал, себя одного забыл. Воздел он очи горе, опустил — и конец.

Под ногами монета белеет, до середины разрублена. Глядит на нее поп Поп, оторваться не может. Бородатая морда с монеты глазом косит, зовет. Гнется поп Поп к земле, словно тянут его.

Из людей Ривкин отец без страха выскочил, весь трясется:

— Йивочка, Йивочка, пойдем домой, ехать надо.

— Я не Ривка теперь, я Ривкуца. Погоди вот, вернусь из Москвы — всех вас жидов пиф-паф!

Мама Дицы скорей в дом — грехи отмывать. Залезла в полную ванну, кипятильник включила, бросила перед собой...

А Марюкин отец сидит сзади людей и пьет — теперь ему надо пить.

Пожалел его дед Жован:

— Пропадешь, добрый человек, поедем в Италию, — и увел.

Гости толпами разбегаются.

Один поп Поп стоит, скрючился: с места ему не сойти.

Бежит Марюка домой через кладбище. В могилке младенчик взныл: зарыли, видать, некрещеного, без имени в рай не берут. Марюка скорей десятку пополам и через плечо:

— Не плачь, Васику.

И дома покоя нет, с улицы баба Мария просит:

— Марюка, ты добрая, выставь тазик с шампунем — косматую не пускают.

— Куда не пускают?

— Откуда мне знать? Может, в Италию.

Просит, а никого — пыль под луной, желтая, как свеча. На желтую пыль Марюка поставила тазик с шампунем, маму к себе позвала.

Заперли дверь, легли — сквозь дверь Дица идет, корни в ногах путаются:

— Где тут моя невеста? — Глаза закрыты десятками, желтый, теплый, скользкий, отодвинул мать — и к Марюке.

В ограде цыгане грянули, собака в дверь заскреблась.

Мама Дицу перекрестила — ничего, пропал.

Над Говерлой звезда погасла.

Соседский петух пропел.

Монета с мордой рассыпалась.

Распрямился поп Поп. Людей никого не увидел, себя благословил. Слышит — дурным несет. Заглянул в горницу — мама Дицы в ванне кипит, разварилась вся.

Грехи, грехи в Солотчине, а омыть их никто не умеет.

1973

РОЗЫ

Город — моя стихия,
Петербург или Феодосия,
раскрытый том десяти или ста поколений,
в городе понимаешь природу —
тяжелый большой ботанический сад,—
слоняюсь по солнцу в розарии
и в мои сорок три впервые
понимаю метафоры цветоводства.

Gloria Dei почти на земле,
огромная роза готического собора,
но светится, словно витраж,
но свет изнутри и ярче дневного,
но прохладней, как в глубине собора, —
нагромождения музыки после суммы:
«Мария, Мария» и «Езаус Кристаус мусу Вешпоте»,
но западнее, столичней —
в Германии, Франции, по дороге к Риму в Пьемонте,
но с незападной верой,
близко к земле, как слава Господня;
кто из поэтов сегодня решится сказать:
роза — Слава Господня?

Mainzer Fastnacht — сирени вспышек
угасающего карнавала;
не понять, как на улицах взрослые
хохочут, поют, дурачатся —
к тому же немцы, северяне, как мы, —
в их самозабвенье мне было бы не по себе;
другое — будничный великопостный Майнц,
породитель и порождение Гутенберга —
кажется, в каждом доме печатают книги,
книги, книги...

Centenaire de Lourde вдруг напоминает,
что Матерь Божья также являлась в Фатиме
детям, не знавшим слова «Россия»...
Я видал Острабрамскую Матерь Божью,
строгую за глухой серебряной ризой,
в окруженье серебряных рук, сердец, голов, автомобилей,
над беззвучной толпой — по логике, русской:
поляки давно ушли через Остру Браму,
литовцы ушли при мне через Аушрос Вартай —
прелат Пукис, Толюшис, Юодялис, Наливайкене, Томас...
Что осталось? «Столетье Лурда» благостно утешает,
забываешь про «Лурд» Золя
с толкотней туристов минувшего века —
смесь «Лоригана», и пота, и смрада железной дороги.

Ясная Поляна — как можно!
Лев Толстой не одобрил бы розы в Ясной Поляне:
в сущности, бесполезная вещь.
Почти языком Чернышевского...
Приезжает Чайковский с квартетом,
старик плачет, наутро бесстыдно в дневник
словами главлита: в сущности, лишнее...
Высокий призрачный куст без цветов
тактично скрывает безвкусицу и неуместность.

Feuertanz — Саломея Бердслея,
Иродиада Оскара Уайльда,
пляска с английского на немецкий,
венский, пляска болотных растений,
болотных огней, ядовитых линий,

линий фасадов, дверей и роялей,
линий стеблистых, переплетенных,
тонных, томительных и усталых,
бледных принцев, мертвых русалок —
Пшибышевский прозрел в растенье
букву «эль» и открыл растленье.

Dame du coeur — Гранд-опера,
вспученный бархат лож,
Кармен,
духи Кармен,
пудра Кармен,
помада Кармен,
брильянтин Кармен,
фиксатуар Кармен,
депилатуар Кармен,
пургатив Кармен,
конфертатив Кармен —
Франция Наполеона Третьего, Третьей республики
ногу уже задрала для последнего шага
к мюнхенским обжедарам,—
для дамы сердца
китч
важней, чем Эльзас—Лотарингия.

Утро Москвы не красит нежным светом
грязно-лиловое с непрозрачными кровоподтеками
утро стрелецкой казни,
не первое, —
вместо кремлевских башен — выше, страшнее —
безъязыкие колокольни высотных зданий,
лобное место — весь город:
розы в России...

Lagerfeuer в черной ночи без дыма и желтизны
узкие красные языки на далеком склоне горы,
исхоженной, обжитой, не свалишься, —
разве ведьмы помогут —
путешественник, путник, странник,
испытатель себя и природы
расположился там на ночлег,

устроил привал, разбил лагерь —
мыслим «лагерь» без ассоциаций,
как во времена
от Вильгельма Майстера до Вильгельма Второго?

Frau Karl Druschki — свой дом или полдома,
влажно-алый невянущий кайзеровский кирпич
станций и трансформаторных будок Восточной Пруссии —
кто родился там, не забудет:
генеральландшафтсдиректор Шой
соблюдал каждое дерево;
перед домиком в Пруссии, Померании, Силезии или Судетах
херр Карл Друшки, славяно-германец —
что может быть лучше? —
к серебряной свадьбе выводит для фрау Друшки
нежно-розовые, невинно-белые розы;
шестидесятые годы в Баварии: переселенец Карл Друшки
к золотой свадьбе выводит для фрау Друшки
трогательно повторяющиеся семейные розы.

Lilli Marlene во множестве вдоль дорожек,
маленькие, похожие — все непохожие — крепкие, яркие —
юность, простонародная прелесть, открытая радость,
для каждого и для тебя — своя Лили Марлен:
мечта об отцовском доме и будущем собственном доме,
песня Норберта Шульце, дозволенная в сорок третьем, —
с ней успели поубивать, —
песня — воспоминание о тишине после артобстрела,
ложное воспоминание о героическом братстве,
песня — забвение прошлого,
сентиментальная глупость отжившего поколения.

Super Star — рок-н-ролл, поп-н-бит, рок —
не восковые пальцы Мими, накалываясь на иголку,
складывали, вырезали, сшивали, —
молочный акселерат щелкнул кассетником:
Супер-Стар Иисус Христос, Пол Маккартни, Тухманов, —
выдал за смену план поролоновых на хлорвиниле,
вышел с кассетником под рукавом
в толпы молочных акселератов не-супер-старов:
суперы жмут на акселераторы фирменным драйвом —

штатники в кадиллаках не слабого сорок восьмого, —
папы выводят почти хипповые розы
с холуйским названием Супер-Стар.

Chicago Peace, неоновый полдень
над синтетикой набережной у текниколора озера —
купаются там? купаются; яхты скользят,
и глаз соскальзывает с глянцевитого фото
небоскребов и шумной петли на пилонах
в уют переулков к Солу Беллоу
посидеть на его московской кухне,
послушать из уст нобелевского
свои собственные суждения:
русский еврей из Канады.

John F. Kennedy, алый на солнце,
пылает ярко, так ярко, что можно поверить,
поверить в него, и обрести надежду,
и полюбить его как свою надежду —
если б его не убили, мы разлюбили бы;
если бы Картера вдруг убили через полгода
на самых гражданских правах,
он прошел бы в святые.

Queen Elizabeth — что за портретное сходство! —
вся в отца, ганноверские черты,
самая милая немолодая женщина мира,
улыбка,
Великобритания — школа мира,
Англия — сад Европы,
колледж порядочности и постоянства,
четыре века великих поэтов
от Эдмунда Спенсера до Дилана Томаса;
в пятидесятых мы пили
за английскую королеву —
англичанин-стажер отказался.

White Christmas, песенка Бинга Кросби,
англосаксонское Рождество на снегу,
Новая Англия, Роберт Фрост, зеленые горы Вермонта,

снег на зелени, Мидлбери, русский лагерь,
в воздухе снег и зелень:
осень с весной, Старый Свет с Новым Светом,
Россия с Америкой:
Россия — святая Русь, Америка — God's own country —
где еще Рождество на снегу?
Идея ломится в окна.

1977

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЬБОМ ДЛЯ МАРОК

Том первый. **ЕВРОПА**

До войны *7*

Война *30*

Квартира *55*

Отец *75*

Большая Екатерининская *112*

Том второй. **ЮБЕРЗЕЕ**

Семилетка *171*

Удельная *205*

Новая жизнь *221*

ВГИК *258*

Лучшее время *288*

ПОРТРЕТЫ

Нумизмат *325*

Дима Рощин *338*

Процедурная сестра *343*

Сосед по очереди *347*

Воркутянка *349*

Археолог *351*

Двойник *356*

Хитрин *357*

Внук *363*

Издатель *366*

Чуковский *368*

Зенкевич *371*

Ахматова *375*

Винокуров *382*
Слуцкий в Малеевке *385*
Республиканский Членкор *393*
Австрийский коммунист *394*
Эрьзя *398*
Словист *402*
Художник *403*
Югороссы *405*
Тайгас *408*
Дела литовские *410*
Родовспомогатель *417*
Министры *419*
Жемайчю Кальвария *422*

О Бродском *426*

ИЗГНАНИЕ БЕСОВ

Часть I. РАССКАЗИКИ

Деньги *467*
Бревно *468*
Указ Президиума Верховного Совета об упорядочении наименований исторических центров страны *468*
Солженицын *469*
Общественное мнение *470*
Как? *470*
Старая новая Москва *471*
Одесса *472*
Кошка *472*
Отовсюду *472*
Благородный поступок *472*
Странный поступок *473*
Ворошилов *473*
Яма *474*
...чем не является *474*

Американский лифт *475*
На мотив «Баядерки» *475*
Гостеприимная Балтика *476*
Прежде и теперь *477*
Эстонская сказка *478*
Поединок *479*
Игра *480*
Бетховен *480*
Стихи, сочиненные ЭВМ «КАМА—3» *481*
Военная музыка *481*
Прекрасная Франция *483*
Во имя мира на земле *484*
Латиноамериканский монолог *485*
Товарищ Фульхенсио *487*
Соб. инф. *488*
Телега-дерево *489*
О бодисатвах *490*
Сиамские близнецы *491*
Дар народа *493*
Люди шестидесятых годов, или
Приключения Слуцкого *496*
Постановление *502*
Рогулька *503*
Бесноватый *504)*
Два друга *507*
Повесть о войне *508*
Тимур и его команда *509*
Школьная уборная *510*
Картина *510*
Рассказ *511*
Сцена из трагедии «Культ личности» *513*
Пластинка *513*
ТВ *514*
Пример *515*
18 августа — День авиации *517*

Сны *518*
Якир *519*
Куплеты Тухачевского из оперетты «Угар нэпа» *520*
Рассказы о Маяковском *520*
Обоснование мысли *522*
Николай Второй *523*
Секреторная *524*
Блок *525*
Машков *526*
Рассказы о Ленине *527*
Доска *530*
Палец *530*
Савеловский вокзал *531*
Факирод *531*
Из Вельтмана *532*
Голодная степь *533*
Кузнец Игнотас *533*
Рассказ *534*
Контроверза *535*
Три Германии *535*
Русские за границей *535*
Генерал Дельвиг *536*
Дворовый мальчик *536*
Пушкин *537*
Житейское наблюдение *537*
Анреп *537*
Костюшко *538*
Эволюция *538*
Курганов *540*
Философ и конюший *540*
Старинный анекдот *540*
Кузьма-обожаемец *540*
Сцена из рыцарских времен *541*
Абсолют *542*
Марк Аврелий *542*

Замеченная опечатка *544*
Надпись от руки *544*

Часть II. ДРУГИМИ СЛОВАМИ
Аким Нахимов *547*
Сочинение *548*
Архивны юноши *552*
Шварц *554*
Считалочка *567*
На даче *571*
Зимние строфы *573*
...что ем их русский хлеб... *576*
Молчание *578*
Мараморош *581*
Розы *587*

Сергеев Андрей Яковлевич
ОМНИБУС

Дизайнер
Д. Черногаев
Редактор
Н. Зиновьева
Корректоры
Э. Корчагина, Л. Морозова
Компьютерная верстка
В. Дзядко, С. Пчелинцев

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Адрес редакции:
129626, Москва, а/я 55
Тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlobooks.ru

Формат 84×108$^{1}/_{32}$
Бумага офсетная № 1
Усл. печ. л. 19. Тираж 1000. Заказ №4090

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
2011 год

«Художественная серия»

Елена Макарова

ФРИДЛ

Роман

Роман написан от первого лица. Художница и педагог Фридл ДикерБрандейс пересматривает свою жизнь после того, как ее физическое существование было прервано гибелью в газовой камере. В образе главной героини предстает судьба целого поколения европейских художников, чья юность пришлась на Первую, а зрелость на Вторую мировую войну. Фридл, ученица великих реформаторов искусства — И. Иттена, А. Шёнберга, В. Кандинского и П. Клее — в концлагере учит детей рисованию. Вопреки всему она упорно верит в милосердие, высший разум и искусство. Елена Макарова — писатель, историк, искусствотерапевт, режиссер-документалист, куратор выставок. На ее счету свыше 40 книг, переведенных на 11 языков.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
2011 год

«Художественная серия»

Марк Далет

ОРБИНАВТЫ

Роман

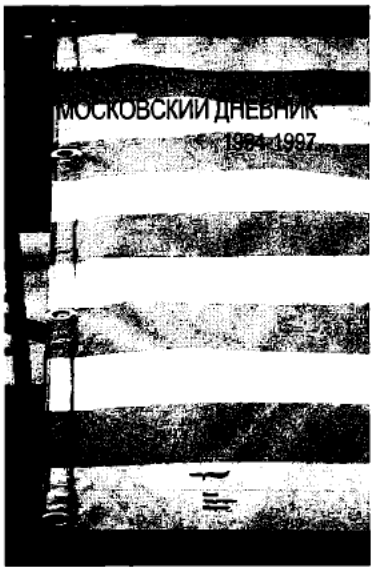
Испания. Конец XV века. Просвещенные европейцы съезжаются в университет Саламанки, горят костры инквизиции, испанские войска осаждают мусульманскую Гранаду... Накануне падения родного города юный Алонсо бежит в христианскую Кордову, чтобы уберечь древний зашифрованный манускрипт, который содержит тайное знание о необычных возможностях орбинавтов — людей, способных силой мысли управлять реальностью. «Орбинавты» — исторический роман-феерия с захватывающим сюжетом, глубокое философское произведение о загадках и возможностях человеческого сознания.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
2012 год

«Художественная серия»

Катарина Вениль

МОСКОВСКИЙ ДНЕВНИК. 1994—1997



Катарина Вениль — переводчик, лингвист. В ноябре 1994 года она приехала из Мюнхена в Москву, где писала диссертацию в Институте русского языка им. В.В. Виноградова. Одновременно Вениль вела дневники, записывая повседневные впечатления. Общаясь с самыми разными людьми и в первую очередь с литераторами, художниками, актерами, часто меняя съемные квартиры, автор близко познакомилась с художественным андеграундом, вплотную соприкоснулась со столичным бытом середины 1990-х. Ее острые наблюдения и заметки рисуют колоритную картину московской жизни, ярко передают атмосферу эпохи. В оформлении книги использованы фотографии автора.

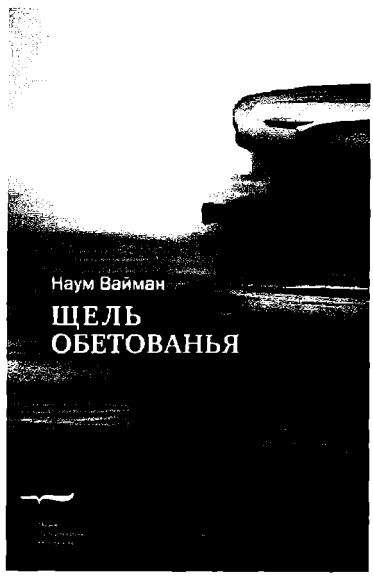
Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
2012 год

«Художественная серия»

Наум Вайман

ЩЕЛЬ ОБЕТОВАНЬЯ

(второй том «Ханаанских хроник). Роман



Книга продолжает дневниковые скрижали романа «Ханаанские хроники», яркость которого была отмечена как в России (лонг-лист русского «Букера» за 1998 год), так и на родине автора — в Израиле. Незримая для случайного и поверхностного взгляда «внутренняя история» современного Израиля прихотливо отражается в жизнетворческих перипетиях частной жизни известного русскоязычного литератора. Разрабатывая эгодокументальность письма, автор приоткрывает занавес над малознакомыми сюжетами художественной и литературной богемы русской диаспоры своей страны, предлагает повествование откровенное и пристрастное, порой ядовитое и неизменно кровоточащее. Это уникальная книга о людях, событиях, исторических перспективах и перипетиях личной судьбы.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
2013 год

«Художественная серия»

Александр Путов

РЕАЛИЗМ СУДЬБЫ

Автобиографическое повествование художника Александра Путова (1940—2008) охватывает все три периода его жизни: советский (1940—1973), израильский (1973—1986) и парижский (1986—2008). Послевоенное детство и школьные годы в Западной Сибири и Подмосковье, московская нонконформистская среда 1960-х — начала 70-х годов, Хайфа и Иерусалим, сквот русских художников в Париже, движение «Art Cloche», дружба с М. Шварцманом, Л. Губановым, А. Хвостенко описаны с живописной выпуклостью, не отменяющей фактической точности. Возвышенные медитации о божественном смысле искусства соседствуют с размышлениями, подчас горестными, на темы «художник и деньги», «гений и общество». Книга щедро иллюстрирована фотографиями, предоставленными семьей и друзьями автора, а также репродукциями работ Путова.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
2013 год

«Художественная серия»

Александр Ласкин

ДЯГИЛЕВ И...

Повести

Петербургский писатель и ученый Александр Ласкин многие годы посвятил изучению жизни и деятельности Сергея Павловича Дягилева, знаменитого русского театрального и художественного деятеля, антрепренера, организатора «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева». Беря пример со своего героя, Ласкин вел работу в разных направлениях — написал три книги, киносценарий, организовал выставку... Эта книга — «проза дягилеведа», результат свободного сочинительства и точного знания. В ней рассказывается о всемирно известных людях (Л. Толстой, В. Мейерхольд и др.), с которыми Дягилеву приходилось встречаться, дружить, работать, а также о тех, кому автор обязан столь длительными отношениями с темой.

Книги и журналы «Нового литературного обозрения»

можно приобрести в интернет-магазине издательства www.nlobooks.mags.ru и в следующих книжных магазинах:

в МОСКВЕ:

- «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6, (495) 924-46-80
- Галерея книги «Нина» — ул. Бахрушина, 28, (495) 959-20-94
- «Гараж» — ул. Образцова, 19-А (магазин в центре современной культуры «Гараж»), (495) 645-05-21
- Книготорговая компания «Берроуз» — (495) 971-47-92
- «Книги в Билингве» — Кривоколенный пер., 10, стр. 5, (495) 623-66-83
- «Культ-парк» — Крымский вал, 10 (магазин в ЦДХ)
- «Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 28, (499) 238-50-01, (495) 780-33-70
- «Москва» — ул. Тверская, 8, (495) 629-64-83, (495) 797-87-17
- «Московский Дом Книги» — ул. Новый Арбат, 8, (495) 789-35-91
- «Мир Кино» — ул. Маросейка, 8, (495) 628-51-45
- «Новое Искусство» — Цветной бульвар, 3, (495) 625-44-85
- «Проект ОГИ» — Потаповский пер., 8/12, стр. 2, (495) 627-56-09
- «Старый свет» — Тверской бульвар, 25 (книжная лавка при Литинституте, вход с М. Бронной), (495) 202-86-08
- «У Кентавра» — ул. Чаянова, д.15 (магазин в РГГУ), (495) 250-65-46
- «Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., 12/27, (495) 629-88-21
- «Фаланстер» (На Винзаводе) — 4-й Сыромятнический пр., 1, стр. 6 (территория ЦСИ Винзавод), (495) 926-30-42
- «Циолковский» — Новая пл., 3/4, подъезд 7Д (в здании Политехнического Музея), (495) 628-64-42, 628-62-48
- «Dodo Magic Bookroom» — Рождественский бульвар, 10/7, (495) 628-67-38
- «Jabberwocky Magic Bookroom» — ул. Покровка, 47/24 (в здании Центрального дома предпринимателя), (495) 917-59-44
- Книжные лавки издательства «РОССПЭН»:
  - Киоск № 1 в здании Института истории РАН — ул. Дм. Ульянова, 19, (499) 126-94-18
  - «Книжная лавка историка» в РГАСПИ — Б. Дмитровка, 15, (495) 694-50-07
  - «Книжная лавка обществоведа» в ИНИОН РАН — Нахимовский пр., 51/21, (499) 120-30-81
- Киоск в кафе «АртАкадемия» — Берсеневская набережная, 6, стр. 1
- Книжный магазин в кафе «МАРТ» — ул. Петровка, 25 (здание Московского музея современного искусства)

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

- На складе нашего издательства — Лиговский пр., 27/7, (812) 275-05-21
- «Академическая литература» — Менделеевская линия, 5 (в здании Истфака СПбГУ), (812) 328-96-91
- «Академкнига» — Литейный пр., 57, (812) 230-13-28
- «Борхес» — Невский пр., 32-34 (дворик у Римско-католического собора Святой Екатерины), (921) 655-64-04
- «Буквально» — ул. Малая Садовая, 1, (812) 315-42-10
- Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия ВО, 29, (812) 323-50-90
- Киоск в Библиотеке Академии наук — ВО, Биржевая линия, 1
- Киоск в Доме Кино — Караванная ул., 12 (3 этаж)
- «Классное чтение» — 6-я линия ВО, 15, (812) 328-62-13
- «Книги и Кофе» — наб. Макарова, 10 (кафе-клуб при Центре современной литературы и искусства), (812) 328-67-08
- «КнигиПодарки» — ул. Колокольная, 10, (812) 715-33-07
- «Книжная лавка» — в фойе Академии Художеств, Университетская наб., 17
- «Книжный Окоп» — Тучков пер., д.11/5 (вход в арке), (812) 323-85-84
- «Книжный салон» — Университетская наб., 11 (в фойе филологического факультета СПбГУ), (812) 328-95-11
- Книжные салоны при Российской национальной библиотеке — Садовая ул., 20; Московский пр., 165, (812) 310-44-87
- Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13, (812) 232-33-07
- «Подписные издания» — Литейный пр., 57, (812) 273-50-53
- «Порядок слов» — Наб. реки Фонтанки, 15 (812) 310-50-36
- «Проектор» — Лиговский пр., 74 (Лофт-проект «Этажи», 4 этаж), (911) 935-27-31
- «Ретро» — Стенд № 24 (1 этаж) на книжной ярмарке в ДК Крупской, пр. Обуховской обороны, 105
- «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28, (812) 448-23-57
- «Университетская лавка» — 7 линия ВО, 38 (во дворе), (812) 325-15-43
- «Фонотека» — ул. Марата, 28, (812) 712-30-13
- Bookstore «Все свободны» — Волынский пер., 4 или наб. Мойки, 28 (второй двор, код 489), (911) 977-40-47

в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

- «Дом книги» — ул. Антона Валека, 12, (343) 253-50-10

в КРАСНОЯРСКЕ:

- «Русское слово» — ул. Ленина, 28, (3912) 27-13-60

в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:

- «Дирижабль» — ул. Б. Покровская, 46, (8312) 31-64-71

в НОВОСИБИРСКЕ:

- Литературный магазин «КапиталЪ» — ул. Горького, 78, (383) 223-69-73
- Магазин «BOOK-LOOK» — Красный пр., 29/1, 2 этаж, (383) 362-18-24; — Ильича, 6 (у фонтана), (383) 217-44-30

в ПЕРМИ:

- «Пиотровский» — ул. Луначарского, 51а, (342) 243-03-51

в ЯРОСЛАВЛЕ:

- Книжная лавка гуманитарной литературы — ул. Свердлова, 9, (4852) 72-57-96

в МИНСКЕ:

- ИП Людоговский Александр Сергеевич — ул. Козлова, 3
- ООО «МЕТ» — ул. Киселева, 20, 1 этаж, +375 (17) 284-36-21

в СТОКГОЛЬМЕ:

- Русский книжный магазин «INTERBOK» — Hantverkargatan, 32, Stockholm, 08-651-1147

в ХЕЛЬСИНКИ:

- «Ruslania Books Oy» — Bulevardi, 7, 00120, Helsinki, Finland, +358 9 272-70-70

в КИЕВЕ:

- ООО «АВР» — +38 (044) 273-64-07
- Книжный рынок «Петровка» — ул. Вербовая, 23, Павел Швед, +38 (068) 358-00-84
- Книжный интернет-магазин «Лавка Бабуин» (http://lavkababuin.com/) — ул. Верхний Вал, 40 (оф. 7, код #423), +38 (044) 537-22-43; +38 (050) 444-84-02
- Интернет-магазин «Librabook» (http://www.librabook.com.ua/) (044) 383-20-95; (093) 204-33-66; icq 570-251-870, info@librabook.com.ua

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Новое Литературное Обозрение

Интернет-магазин

Возможность купить книги НЛО по ценам издательства, которые значительно ниже цен в книжных магазинах

Доставка в любой регион России

Специальные сервисы для покупателей интернет-магазина:

Раздел «Раритеты»
Возможность оформить заказ на редкие книги нашего издательства, тираж которых почти распродан.

Раздел «Print on demand»
Возможность купить книги «НЛО», которые уже давно стали библиографической редкостью.
Мы специально издадим эти книги для Вас по уникальной технологии «Print on Demand», которая позволяет напечатать любую книгу тиражом всего в 1 экземпляр.

Раздел «Специальные предложения»
Возможность купить отдельные книги издательства со значительными скидками

ISBN 978-5-444-80100-0
9 785444 801000

Андрей Сергеев стал несомненным классиком в жанре абсурдной миниатюры, в общем-то, сам этот жанр придумав.

Игорь Шевелев

В своей главной и, несомненно, лучшей книге — "Альбоме для марок" — Андрей Сергеев... сумел написать свежую, очень жесткую, информационно насыщенную и трогательную повесть обо всем на свете и о себе, окрашенную удивительным любопытством к жизни, пересилившим врожденный рефлекс отвращения к ней же.

Игорь Клех

Эта книга — почти полное собрание сочинений замечательного прозаика, поэта, переводчика Андрея Сергеева (1933—1998), в 1996 г. получившего Букеровскую премию за мемуарный роман "Альбом для марок". Кроме этого романа в книгу вошли рассказы и "рассказики" о выдуманных и невыдуманных людях (Б. Слуцкий, Е. Винокуров, М. Зенкевич и др.), воспоминания об И. Бродском, с которым автор был многие годы дружен. Широта эрудиции, острота и точность взгляда, стилевое мастерство, юмор и ирония, лиризм и гротеск — все это делает прозу и поэзию А. Сергеева ярким явлением в современной отечественной литературе.

Новое
Литературное
Обозрение